

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1977

7



1977



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ИЗ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ — Андрей Василевский, Вл. Вишневский, Леонид Вьюнник, Сергей Суша, Ия Сотникова, Равиль Бухараев, Ольга Чутай, Григорий Кружков, Татьяна Веселова, Александр Щуплов, Ирина Путьева, Геннадий Касмынин, Наталья Стельмах, Виктор Гофман, Сергей Каратов, Н. Басовский, Николай Шамсутдинов, Олег Маслов, Валерий Краско, Евгений Глушаков, Владимир Жижлев, Иван Киуру, Наталья Сидорина, Михаил Чердыцев, Вячеслав Куприянов, Римма Катаева, М. Шлаин, Татьяна Николаева 3

ВИТАУТАС БУБНИС — Цветение несезонной ржи, роман. Перевел с литовского Виргилиус Чепайтис 23

ИННА ГОФФ — Медпункт на вокзале, рассказ 162

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЗИЛ — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ВАЛЕРИЙ ДЖАЛАГОНИЯ — Эстафета 173

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ГЕННАДИЙ ГЕРОДНИК — Восточные университеты 189

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЛЕОНИД ТОПОРКОВ — Открытый урок 218

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАДИМ БАРАНОВ — Жизненные корни. О труде современного литератора 231
Л. ЛАВЛИНСКИЙ — На страже века 240

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Михаил Шур. У времени на проверке.— Вл. Гусев. Прошлое и будущее стиха.— В. Пронин. С любовью к человеку.	261
<i>Политика и наука</i>	
Вл. Кузнецов. Ленинским курсом мира.— Ан. Чирва. Очерки о русских издателях.— Вадим Монахов. Поведение: механизмы его регуляции.	270
КОРОТКО О КНИГАХ: Борис Яранцев.— В. Померанцев. Зрелость пришла. Повести, рассказы, роман. ♦ Ал. Михайлов.— Людмила Щипахина. Постоянство. Стихи. ♦ М. Анцыферов.— Ибрагим Кэбирли. Огненная судьба. Стихи. ♦ Нина Надъярных.— Л. Теракопьян. Миколас Слуцкис. Очерк творчества. ♦ А. Турков.— З. Паперный. Записные книжки Чехова. ♦ А. Парфенов.— И. А. Дубашинский. Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». И. А. Дубашинский. Поэма Байрона «Дон-Жуан». ♦ Вера Маркова.— Н. С. Николаева. Японские сады. ♦ И. Дрейцер.— А. В. Рябушин. Развитие жилой среды. Проблемы, закономерности, тенденции. ♦ М. Аджиев.— Н. И. Михайлов. Природа Сибири. Географические проблемы	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

ИЗ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ



АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

От пляски электронов вокруг ядра
до хоровода звезд
в движенье вечном
природа удивительно мудра,
да только нам от этого не легче.
Сквозь смех и слезы, радость и беду
мы равно пролетаем на ходу,
не оглянуться, не остановиться —
вперед! вперед!

И мнится нам порой,
что нет покоя даже за чертой,
к которой нам назначено стремиться.

ВЛ. ВИШНЕВСКИЙ

Ноябрьский армейский призыв.
То ветер, холодный и резкий,
Разнес листопадом повестки,
В твой ящик одну опустив...

Твой год уж вернулся, и здесь
Ты сверстников позже — ну что же,
Ты будешь у тех, кто моложе,
Учиться, ответствуя: «Есть!»

Судьба твоя вехой любой
Поздней, чем могла б, помечалась.
Так, выпало поздним начало,
Как поздней бывает любовь.

Но жизнь, выше планов и дат
Одной и единственной жизни,
Объемлет твою — а в отчизне
Не может быть поздним солдат.

...Пробил уже час вещмешка.
Огромна и ждет за порогом —

А все ж неизвестность легка,
Впервые назначена долгом.

Петь песню, шагая в строю.
Но молча слагать и свою,
И с песней, шагающей в ногу,
Идущий осилит дорогу.

ЛЕОНИД ВЬЮННИК

Море

Как песни, чей гул нарастает,
Чьим крыльям расти и расти,
Шторма не кочуют — летают,
И нет им преград на пути.
Так бейте по звучным ширстам,
Будите прибой и весну...
Эй, слева на палубе,

кто там
Еще не причастный к нему?

.

У всех особенные судьбы...
Мне снились море, и суда,
И волны строгие, как судьи
Во время страшного суда.
В порывах ветра, шторма, грома
Я убедился не вчера —
Моря просторны и огромны,
Что и во времена Петра.
Крепя на бом-брам-стеннге шкоты
Иль перекладывая румб,
Меня трепало в тех широтах,
Где не бывал Колумб.

СЕРГЕЙ СУША

Земля

Кто слушал,
Как дышит земля,—
Тот любит ее,
Черноземную!
Кто слушал,
Как дышит земля,
Кто в землю
Укладывал корни —
Тот вырастит
Черной смородины куст,
И поле ядреными зернами
Добротно засеет,
И колос тугой,

Как локон любимой,
Разгладит ладонью.
Кто слушал,
Как дышит земля,—
Тот семечки яблок
Не бросит в полянь,
Не срежет черешню
Крутыми руками.
Кто слушал,
Как дышит земля,—
Тот яблоню вырастит
Даже на камне!

ИЯ СОТНИКОВА

* * *

Вниманья заслужила моего
любая капля, сброшенная с крыши,
и летний дождик, светел и неслышим,
звезда, что не прельщает никого,
любая ветка, и любой листок,
и на листке тончайшие прожилки,
и путника тощайшие пожитки,
и кинутое птицею гнездо.
Достоин глаз домашний огонек
неприхотливых жителей отчасти,
и их тепло ко мне и их участие
достойны уваженья моего.
Нуждаются всечасно даже те
дрожащие и мокрые снежинки
и человечьи гордые слезинки
и в помощи моей и в доброте.

* * *

Учусь листку довериться, боюсь
перо держать и школьную тетрадку,
секретом подражания украдкой
владею втихомолку, но учусь.
А утром с тайной робостью проснусь,
в ответ на мир ничем не отвечая,
он добр, но если надо — беспощаден,
и этому я заново учусь.
Я постигаю мысли полотно,
по ниточке плетя основу речи,
а после ручейки свои и речки
преобразую в целостный поток.
И управлять движением учусь,
что нелегко бывает и непросто.
Намного безопасней это бросить,
но что-то говорит тебе: не трусь!
И мукам не предвидится конца,
и постиженьем он не обозначен,
и вся учеба так или иначе —
сплошное ожидание листа.

А значит, новой мудрости учусь
и новой песне, новому рассвету
и новому желанному прозренью
над бесконечной новизною чувств!

Танец

Февраль заламывает цену
на все, чему цена дана.
Вот фигуристка гнет по центру,
в кольцо пурги вовлечена,
ее колени онемели,
отняли быстрый бег ветра,
и в замкнутом скользить пределе
ее погода обрекла.
Страсть равновесья голубого
определяет ей черта
та, что от чуда лубяного
не оставляет ни черта,
сужает круг до сантиметров,
волчком замедленным кружа,
и, наконец застыв на месте,
коньком ко льду ее прижав.
Свернулись плечи фигуристки,
она еще зиме назло
рванется, не предвидя риска,
свистя восьмерками лассо,
отвагу музыки услышит,
и стружку снежную взовьет,
и упадет рукой-ледышкой
в сиреневый от стужи лед.
Но, поборов свое бездействие,
затем припустит поскорей
в дом, где господствует в безделье
июль горячих батарей.
Она придет, не прекословя
режиму дома и гостям,
что ждать не склонны в час застолья,
и разольет по кружкам чай.
Как сядет! Как рукой притихшей
возьмет все то в свои персты,
что кратко именуют пищей
для повседневной простоты.
Она вздохнет на тучность вьюги
и, легкость в теле ощутив,
движеньем легким и упругим
по коридору пролетит.
Ослабится в окне погода,
что вновь мечтательность детей
осваивает блеск полета
в непокоренности своей.

Невьянск,
Свердловская обл.

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

Прощание с КАМАЗом

Меня не привлекает даль,
она обманчиво надежна,
но среднерусский злой февраль
предупреждает — это ложно,
и я сижу на колесе,
в автобусе морозно, емко...

Дымится жесткая поземка
на потревоженном шоссе.

В окне — блестящие снега,
оврагов темные изломы,
и возвышаются стога
свежемороженой соломы,
плывут невзрачно облака —
обыденные всё детали,
а дали подождут пока,
довольно отдали **им** дани...

...Весь городок на белом блюде.
Вечерний снег. И гул затих.
Едва заметны стали люди
на фоне контуров стальных.
Ночная смена — снова голос,
далекой сварки белый блеск...

Пустынный катится автобус
От Нов. города до Камгэс.

Прощанье временно — я знаю.
Везде, где понят долгий труд,
в многоэтажных серых зданьях
мои товарищи живут...

Перед зимой

Осень опустила в перелески.
Голубеет в желтом тростнике.
По воде, как лебедь царскосельский,
облако скользит к моей руке.

Это — жизни! Она моя по праву.
Я умру — останется моей.
По иному не заблещут травы.
Небо не засветится синей.
На озерах не умолкнут всплески.
Встанет ива, ветви уронив...

Вами жив, леса и перелески!
Облака и реки, вами жив!

Вознося белеющие крылья,
 облако уходит в синеву.
 Эта жизнь, поблекнув от бессилья,
 выхлестнет весеннюю траву!

Осень красноперая остынет,
 равнодушие зимнее кляня.
 Счастлив я, со мною не погибнет
 эта жизнь, принявшая меня!

Казань.

ОЛЬГА ЧУГАЙ

* * *

Я думала, взойдут мои слова:
 Посеяла, развеяла по свету!
 Но по весне взошла одна трава.
 Взошли растенья. И ни слова. Нету
 Моих «ау», моих «прости», «постой»,
 Моих «увы»! Но в зелени густой,
 В том первобытном вареве травы,
 Мне слышится: склонись ко мне, сорви!
 И каждый стебель словом назови!
 Иван-да-марья, мята, первоцвет...
 Растут слова. До нас им дела нет.

Соловей

Как ты живешь, таинственный певец?
 В лесах российских не рождаются розы.
 Ударили короткие морозы,
 И опустел твой лиственный дворец.
 Но как ты пел в июне! На Тверском,
 В асфальтовом бедламе городском,
 В Сокольниках, у Курского вокзала...
 Я узелок на память завязала.
 Коль не умру — и в будущем году
 За музыкой твоей туда приду!

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

* * *

Бессрочному ты обречен труду:
 Строку dokonчишь — и опять сначала,
 И новую потянешь борозду
 Графитом черным, как земля с отвала.
 И лишь под вечер, распрямясь устало,
 заметишь в небе первую звезду —
 Там, над холмами... Ишь как замерцала!

Но и теперь не время отдыхать.
 Так выдерни из глины плуг щербатый
 И, развернув его за рукоять,
 В иную твердь следы свои впечатай
 И пашню звездную берись пахать —
 Земли оратай и небес оратай.

* * *

Так ярки созвездья, что щурится око...
 И все б хорошо — да дышать одиноко!
 Вдоль высоковольтки, в кустарниках справа,
 Звенят не смолкая июньские травы.
 ...И через боязнь, через косноязычье
 Спокойно проверь, что осталось в наличье.
 Сбери по крупнице святого запала!..
 Ведь вечер не вечен и времени мало.

С годами сильнее земли притяженье,
 И сердца известней в груди положенье.
 И в шуме полуночных крон шелестящих
 Все больше созвучий тревожных, будящих.
 Кузнечиков стрекот настойчив и тонок,
 Как будто будильник трезвонит спросонок.
 Беда отступила, печаль миновала...
 Но вечер не вечен и времени мало!

ТАТЬЯНА ВЕСЕЛОВА

* * *

Над Байкалом сплошная ночь!
 Даже звездами не помочь,

Не рассеять, не растворить,
 Даже гостя не проводить.

Я запомню на целый век
 Светлых волн голубой разбег,

Баргузина густой настой,
 Степью пахнувший и сосной.

И еще не забуду я,
 Как тогда, на исходе дня,

Кто-то берегом шел ко мне
 По каемочке из камней...

Звездный городок.

АЛЕКСАНДР ЩУПЛОВ

* * *

Забей в набат, висок, сверкни очами!
 Встань на дыбы, лепечущая кровь!

С заснеженными тонкими плечами
от нас уходит первая любовь.

Она прошла везучим одночасьем —
навывает — одиночество твое.
Привязанность и нежность поздним счастьем
расплатятся с избытком за нее.

Терзания мальчишества зачтутся.
Допьется — что губам не расплескать.
И в сердце обживутся прочно чувства,
которым и названья не сыскать.

Другим планетам вверю путь незрячий.
Другой любви полжизни подчиню...
А первая должна быть неудачной —
и спрашивать не надо: почему?

* * *

— Тэк-тэк...— пропоет часовщик.— Это дело мы живо починим!
Могу предложить любопытный кроссвордик решить...
Вы молоды и торопливы. По этой причине,
понятно, и часики стали за вами спешить.

Он что-то покрутит, ногтем постучит по чему-то,
распустит пружину павлиньих хвостов веселей
и пустит на волю часы, полугодья, минуты,
как будто наловленных пчел, мотыльков и шмелей.

Закружит моя мошкара и зашмыгает громко носами,
вплывут голоса дорогие до судорог век.
— Тэк-тэк...— пропоет часовщик, проводив до окна их глазами.—
Нельзя быть жестоким таким, молодой человек!

Лишь летнее утро (ты помнишь?) с трамваем и лиственничным сором,
нелетное утро (ты помнишь?), где шарик летит надувной,
стоит и стоит надо мной стрекозой с укоризненным взором,
куда ни отправлюсь — стоит и стоит надо мной...

Жуковский.

ИРИНА ПУТЯЕВА

* * *

Снег, январская поземка —
вот и все доспехи чуда.
Да святится эта елка
в серпантиновой кольчуге!
Ты лети, зимы дыханье,
в бесконечность мирозданья.
Мы с годами лучше, зорче,
потому что время — зодчий
наших судеб...
Время — повесть. Время — память.

Время — совесть.
Я хочу воспеть стихами
сорок первого поземку
и кровавыми снегами
забинтованную елку...
Были сумерки, метели.
Погибали. Леденели.
Но еще глядели очи
на зеленые иголки...
Да святятся эти ночи!
Да святятся эти елки!

ГЕННАДИЙ КАСМИНИН

Три богатыря

Словно сердце на распутье,
Ночь вступила с прошлым в связь.
От дороги веет жутью,
Поезжай, с коня не слась!

Ну, пошел, пошел, чубарый!
Топай, топай, вороной!
Едет в центре дед нестарый
На кобыле коренной.

Как с картины Васнецова,
Разных три богатыря
В поле вешнее отцово
Едут, чуть зайдет заря.

— Э-ге-гей! — что было мочи
Прокричит мой братец млад,
И во тьме сверкают очи
Серой сталью, как булат.

— Э-ге-гей! — ему ответчу,
Подниму свой крик как щит.
Наблюдает нашу сечу
Дед и все-таки молчит.

Не одернет, не прикрикнет,
Укорачивает путь.
И все ниже, ниже никнет
Шапкой заячьей на грудь.

Вот как спутанные кони
Отойдут щипать луга,
Он расскажет о заслоне,
О походе на врага.

И на были, небылицы
О гражданской о войне
С перепугу кличут птицы
Удивленные во сне.

До сих пор мы помним с братом,
Хоть и память коротка,
Хоть и каждый был солдатом,
Быль и подвиги дедка.

Как волшебными устами
Он для нас оставил след:
Мы-то есть, его меж нами,
Деда муромского, нет...

* * *

От колдольчиков степных
До неба краток путь.
Есть много способов иных,
А нужно — раз вздохнуть.
И этот вздох в себя вберет
Полет и высоту.
Но прежде чем лететь вперед,
Вглядись-ка в красоту.
Не бойся яростных жуков,
А знай в траве лежи.
Сбивая мошек, у боков
Пронесются стрижи,
Торит тропинку муравей,
Кусает в грудь, и все ж
Не хмурь заносчивых бровей —
Мир на тебя похож.
Он хлопотлив и суетлив,
Но знает цель и к ней
Летит вперед, ползет, пытлив,
Стрекочет все сильней.
И как легко ей — красоте —
Твой путь к мирам стремить!
Хотя ее и высоте
И небу не затмить.

Звенигород.

НАТАЛЬЯ СТЕЛЬМАХ

Ульяновск

Волга вспыхнула на солнце,
Небо вскинулось над Волгой.
Волны, волны, волны, волны,
Белый парус на воде.
Белый парус, гордый город,
Удивительное всхолмье...
Будто перышки лебязьи,
Полетели облака.
Полетели-улетели.
Плавный мах портовых кранов.
Деревянные ступени
Убегают в высоту,

Где кварталы и растенья
Знают ленинское детство.
На Венце гуляет школьник.
Волжский ветер по щекам.
Мальчик видит — легкой дымкой,
Бесконечной вольной песней
Разметались горизонты,
Разлетелись берега.
Он идет, сутуля плечи,
По большим шершавым плитам.
Между плитами полоски:
Почва, яркая трава.
Над головкой его светлой
Словно чистый жгучий факел,
Как зовущий белый парус,—
Ленинский мемориал!

ВИКТОР ГОФМАН

* * *

Все мне кажется, все мне мелькает,
все мне видится: это не то;
возникает, кружится и тает
в дымке вечера чье-то пальто.

И меня словно током пронзает
преходящая суть бытия
и опять с новой силой бросает
от людей, от любви, от жилья.

Все теряю я в этой погоне,
но сирены... сирены поют,
и опять вдохновения кони
прямо в сердце копытами бьют.

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

Утро

Покой лесистого бугра
тревожит чайника ворчанье.
Вдруг под случайными лучами
я замечаю тень костра:
то подошла уже пора,
когда в овраг сползает темь —
остаток ночи,— и при этом
миг перехода мне неведом.
Но меркнет пламя между тем,
невысоко срываясь с веток,
и то, что прежде было светом,
само отбрасывает тень.

Миасс.

Н. БАСОВСКИЙ

Ребенок

Когда ребенок поднят ото сна
В час предрассветный или, скажем, в полночь,
Ребенку, несмотря на нашу помощь,
Причина пробужденья не ясна.

Весь опыт человечества — не в счет!
Сидит ребенок отрешенный, строгий
И, как поэт в стихи слагает строки,
Из ощущений мир воссоздает.

НИКОЛАЙ ШАМСУТДИНОВ

Прощание с юностью

Два года мотало меня по речонкам,
Рыбацким стоянкам,
Отрогам хвой
В кунгасах, лодчонках,
И веток ручонки
Входили доверчиво в руки мои.

Я жаждал работы
И, к делу примерясь,
На лыжах глотал за верстою версту.
Я бил по урманам тяжелого зверя
И влет оперенную стужей звезду.
Я видел, как зори текут по карнизам
И, полымем смазав рассветный восток,
По снегу струятся червонные лисы
В багрянце и меди тяжелых хвостов.
Два года — две жизни!
Я дерзок и весел,
И, вышвырнув двери, я вижу:
Туга,
В кустах вороная, зеленым замесом
На весь горизонт наплывает тайга.

...Басил по утрам самовар-паровик
(Я жил на займке).
Гнездясь в самоваре,
Прихлебывал с блюда румяный старик
И перст подымал указующе: паря...
И быт, мол, незыблем, и вера крепка,
И дети, послушны, кивают,
А, скажем,
Порушить устои — задушит тайга
И дом-пятистенник, что дедом налажен.

Но ровно, снимая вороньи посты,
 В бобах разуверясь, поверья развеяв,
 Осмыслить гипотезы, недра постичь
 Вошла пропыленная георазведка.
 За медные кочки — вороньи кресты,
 В четыре протектора свист самосвала...
 Рубили временки,
 Ваяли мосты,
 И в сотню метелей зима целовала.
 И глубию урманов, где гнус жировал
 Да вздрагивал сумрак, звездой пробитый,
 До сотни берлог расплескал котлован,
 Свистя автогеном в узлах перекрытий.

Ко мне, оглушая, стучатся прорабы,
 И днем иступленность, и полночь не в сон.
 Бессонное небо над прожекторами,
 И ветер швыряется светом в лицо.
 А день поднимается в башенный рост,
 И дальше, и пуще,
 В глубины озона.
 И я начинаю,
 И голос мой прост,
 На труд и на славу
 Мобилизован.

* * *

Бригадир Третьяков,
 Крушнобровый и лысый,
 Направляет беседу,
 Куржак на висках.
 Лодка смуглой сосны
 Вытребает от мыса,
 Точно жаркая капля стекает
 С соска.
 Полным ходом — путина.
 Ухмыляются сети.
 Чешуя и рубахи цветут по кустам.
 Сила ярого дня, зазывая соседей,
 Полноводною песней течет
 По устам.
 И, шибая в гортань,
 Раздирая рубаху,
 Песня голосом правит, крутая,
 Легко.
 Я тянусь и фальшивлю,
 Но звонкую флягу,
 Усмехнувшись, пустил в каботах
 Третьяков.
 Он матер, Третьяков,
 Он весел в чести —
 Шибко слава идет по распахнутым водам.
 Вот он взрыхлил глубины — и тотчас
 Частит,
 Задыхаясь, срываются вслед мотоботы.
 Они шустро идут, громогласные,
 Те,

Да весло не в пример им теплей и распевней...
 Гул пошел по реке,
 И сиянье сетей
 Далеко уплывает, до самой деревни.
 Сургут.

ОЛЕГ МАСЛОВ

* * *

Столетия ракетодромный день
 не нам ли дан так полно и подробно...
 Но ответам на облаках подобна
 Овидия космическая тень.

И там, где расколовшийся зенит
 зияет бездной звездного колодца,
 приковывая взор первопроходца,
 он с посохом своим уже стоит.

Куйбышев.

ВАЛЕРИЙ КРАСКО

* * *

Не рано — болят по ночам дяди Жени покойного раны.
 Не поздно — в купейных не сплю поездах,
 как в повозке тифозной.
 Не рано, не поздно — сейчас!

Я помню — пургу Ленинграда, одесские каменоломни,
 Я помню — а если забуду,
 в часы звездопада конечно же вспомню!

Я помню — сивашских болот конармейскую кровь,
 что светилась во мраке,
 Я помню — разорванный рот командира,
 оружий «в п е р е д!» в безнадежной атаке!
 Не рано, не поздно — сейчас!

Квазары... Напалмовым адом
 бушуют вьетнамских селений пожары...
 Стожары... За мирной оградой
 пасутся в ночном табуны
 по земле, где вы спите, мои комиссары,—
 вы ярче светил и планет!

Не рано — болят по ночам дяди Жени покойного раны,

Прошумела спелым ливнем,
И, как добрый чуткий сын,
Понял вдруг, что мир покинем,
Чтобы вовсе слиться с ним.

Обнинск.

ВЛАДИМИР ЖИЖИЛЕВ

* * *

Я видел белорусские поля
И хуторов заброшенные тени,
Там осень, свои ветви оголя,
Стучала ветром в старенькие сени.

Небесную наметив колею,
Журавушки с тревогой улетали.
Калиновую вестницу — зарю
Зима и осень холодом литали.

Там белорусов, добрых как земля,
Дела и отношения роднили...
Родился я не здесь, но ты — моя,
Как мать моя — сибирская Россия.

ИВАН КИУРУ

Кони Мороза

...И лед рокотал — как из пушек паил,
Когда к нам Мороз по озерам катил
На тройке гнедых белогривых коней.
И слышались крики, и скрипы саней,

И звон бубенцов, и бренчанье удил!

И радость в тех звуках была и испуг,
И трещин разводья бежали вокруг
Широкой канавой, текучей рекой,
Пугая гнедых под резною дугой...

И смолк в отдалении выстрела звук...

И сверху, любуясь ночным ездоком,
Глядела луна с голубым ободком
И ехала рядом — на звездных конях,
На звездных конях, на зеленых санях!

И вспыхивал Север студеным огнем.

Звенели полозья — быстрее и быстрее...
Как мчали те кони! — лишь пар из ноздрей,
Огонь из ноздрей! — разудалая прыть...
Нам зиму спешил наконец подарить

Мороз из-за гор и холодных морей.

НАТАЛЬЯ СИДОРИНА

Как мне легко сейчас упасть.
Как мне легко сейчас подняться.
Опять пришла ко мне напасть.
Все кажется: пора расстаться
мне с этим домом до весны,
до милой зелени в окошке,
до первой солнечной окрошки,
как будто этот дом не мой
зимой, когда нужны нам стены
и невозможны перемены,
как будто этот дом не мой.

МИХАИЛ ЧЕРДЫНЦЕВ

Яблоко

Такая осень на дворе,
Что кисть сожженная рябины
Поникла головой повинной,
Перезревая в сентябре.

Такое время, что уже
Пора бы с веком разобраться
И в город с дачи перебраться,
Пока тепло на рубеже.

Пока безумствуют еще
На рынке виноград и дыни
И азиатский дух гордыни
Перед наживой укрощен.

Люблю осенние пиры,
Московской осени дворы,
Где на окне лежат, как ядра,
Кавказа щедрые дары.

Щемяще недопонимать,
Что осень 76-го,
Увы, не повторится снова,—
И яблоко в руке сжимать.

Всмотреться в зеркала витрин,
В асфальт рябой и не заметить...
Спешила женщина в берете,
Рукав одернув, в магазин.

Старик троллейбус в листьях весь,
Такая осень, чья-то милость,
Вот женщина в стихи явилась,
И, видимо, ей место здесь.

Сосед ей, ниже этажом,
Торжественно и благочинно
Нож вынимаю перочинный
И режу яблоко ножом.

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ

* * *

И музыки даже не надо,
когда тебе нет и семи
и ты в гулкой зелени сада
ребенком играешь с детьми.

За бабочкой гнаться — потеха,
преследовать стаю стрекоз,
упасть и заплакать до смеха
и снова смеяться до слез.

То выбежать на дорогу,
вглядеться в синий предел,
то тронуть рукой неотрогу...
А сад уже облетел.

И яблоки падают глухо,
и дождь ошалелый летит,
детей за старухой старуха
под крышу загнать норовит.

И снег уже белый ложится,
ты мчишься, услышав «бежим!»,
еще не завидуешь птицам
и на слово веришь большим.

РИММА КАТАЕВА

Ранний снег

Еще не все в природе пожелтело,
Не отплясал веселый листопад,
А бабье лето так и не успело
Одеться в теплый радостный наряд.

Как вдруг зашелся леденящий ветер,
И рухнул снег как «на голову снег»,
И стало белым все на белом свете
Так нереально быстро, как во сне.

Пропал ковер из разноцветных листьев,
Что выткан был умельцем октябрем.
Искристый снег смывает золотистость
И убирает землю в серебро.

Деревья застывают на морозе.
Сдается странным их зеленый лик:
Как будто бутафорские березы
Оклеил ватой выдумщик шутник.

Ударил холод теплую рябину,
Скворцы попали в горькую беду,
И ранит глаз щемящая картина —
Заснеженные яблоки в саду.

А у меня сегодня день хороший:
Сама стихия дня — стихов исток.
Но вдруг случится — душу запорошит
И ранний снег и ранний холодок?..

М. ШЛАИН

Брат

Есть у людей высокие слова.
Скандировали их...
И хором пели
Вблизи противотанкового рва,
На безымянном утреннем расстреле.

На первый взгляд они теряют ценность.
Закон беседы будничной таков:
Коль разговор пошел на откровенность,
Так обойдемся без высоких слов.

Будь проклята лихая трын-трава!
История становится судьбою.
Попробуйте высокие слова
Произносить наедине с собою.

Инерция мышления велика.
Но человек — он должен быть упорней!
Попробуйте их складывать, пока
В них заново не выявятся корни.

Я говорю к примеру, наугад —
Пусть это не покажется игрою, —
Что в слове «братство»
Вспыхнет корень — «брат»
И скажется дыхание второе.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

~~*

Я люблю тебя и без ласк,
и без памятных встреч обещанных,

без иллюзий и без прикрас,
без надежд, без обетов — без вечности.

Я люблю. Всем зарокам своим вопреки.
Вопреки всем решеньям выношенным,
всем уверткам капризным души,
всем мученьям, проблемам и бренности.

Я люблю тебя памятью злой,
до мельчайших подробностей стойкою,
и фантазией — до высот,
до глубин, до прозренья обостренной.

Я люблю —
 не молясь, не таясь,
 не витийствуя, не притворствуя
и без встреч замираю, без ласк,
и упорствую, и безмолвствую.



ВИТАУТАС БУБНИС

★

ЦВЕТЕНИЕ НЕСЕЯНОЙ РЖИ*

Роман

1

Осенней ночью город долго не засыпает — глазами, застланными пеленой морозящего тумана, лениво глядит на лабиринт улиц, на темные и мокрые парки, усеянные листьями каштанов, на голубые, поросшие соснами холмы. Наконец замолкает грохот, затихает далекий тревожный гул, гаснут окна домов, лишь кое-где теплится еще огонек.

Тишину пререзает сирена «скорой помощи». Может, у кого-то последние минуты... Авария? Сердце?..

Дома, улицы и площади заливают кудрявый туман, выпадая белевой моросью. Фонари принарядились в мерцающие венчики, дымка стелется по двору, холодной испариной поблескивают автомобили.

Где-то вдали запевают петух. А может, послышалось? Звук этот, приплывший в тумане, напоминает... не дает забыть ранние деревенские зори...

Прошлой весной почудилось пение, и Антанас Петрушонис решил тогда, что снятся ему петухи. Продрал глаза, подняв голову, прислушался хорошенько и понял: поет-таки петух... В городе, среди высоких домов. А следующим утром опять — петух! С ума сойти!.. Надев шлепанцы, Антанас бесшумно прокрался на балкон. Тишина. Брезжило майское утро, по улице пронеслась машина. Постоял, облокотившись на перила балкона, поглядел на окна дома напротив, на соснычок за ним и вернулся в постель. Полежал, чуть было не заснул, и опять — кукареку! Сунул голову под одеяло, свернулся в клубок и позавидовал жене, что спит беспробудно.

И так потом каждое утро!..

Лежит Антанас Петрушонис на спине, заложив за голову костлявые руки, погрузившись в вязкую тишину. Зачем вспоминать прошлое? И без того забот по горло. Иной раз сжимаешь руками голову, стискиваешь как обручем, а она трещит, раскалывается от невеселых дум.

Видно, час еще ранний, хорошо бы вздремнуть, день-то длинный, ох, какой длинный впереди...

Антанас Петрушонис слышит спокойное посапывание Казюне. Сон у жены всегда глубок; спусти вместе с кроватью с лестницы — не проснется.

* Третий роман из цикла о человеке и земле. Первый, «Жаждающая земля», см. «Новый мир». №№ 10, 11 за 1972 год, второй, «Три дня в августе», — «Новый мир», №№ 1, 2 за 1974 год.

Надо заснуть... Хотя на полчаса...

Темнота рассеивается, брезжит рассвет... В полумраке белеет высокая стена. Вот она треснула сверху донизу и рушится, а под ней на земле сидит Викторас. Почему он здесь? «Сын!» Не слышит. Антанас Петрушонис тоже не слышит своего голоса, но все равно кричит: «Сын! Отойди!..» Стена расплзается медленно, трещина все шире, уже отваливаются кирпичи и повисают в воздухе. «Оглянись, сынок!» Викторас расслышал, улыбается как-то жалобно, но не трогается с места. «Мне нечего бояться», — говорит он и ложится, будто умаялся и хочет отдохнуть. «Сынок!..»

Только глаза закрыл, и вот... Бывает, снится то, о чем подумал перед сном, но сейчас ведь и не вспоминал о сыне. Падающая стена и кирпичи, грозно нависшие над его головой... Что бы это значило? Лицо сына как в час прощанья на продуваемой ветрами площади чужого города, и слова похожи... да, те же самые слова: «Мне нечего бояться, отец!..»

Эта поездка каждый день вспоминается Антанасу. Если бы и постарался забыть, не сумел — все напоминает о сыне, даже скрип двери, даже гамон детей во дворе. Может, потому он и отправился в этот долгий путь?.. И Петрушонис больше не закрывает глаз — как бы снова не приснилась ему падающая каменная стена...

Во дворе шаркает подошвы, звякает поставленное на тротуар ведро. Жесткий голик яростно скребет по мокрому асфальту. Шелестят побуревшие листья, подскакивая, разлетаются в стороны камешки, что набросали за вчерашний день дети. Сердце захлопывается окно — ранняя утренняя возня не дает кому-то спать.

Однажды разговорился он с дворником Повиласом Юодснукисом и обмолвился между прочим:

— Поет да поет по утрам, и не знаю, где поет.

— Кто поет?

— Да петух поет.

Старик вытер ладони о полы оранжевой куртки и взял Антанаса Петрушониса под локоть.

— Пошли ко мне. Зайдемте, сосед.

— Да вроде неудобно...

— Зайдем, раз говорю.

В прихожей, у двери, Юодснукис предупредил:

— Давай лучше разуемся, а то дочка попрекает — мол, грязь развожу.

Юодснукис говорил шепотом; квартира была пуста, но его, видно, пугали и свежеекрашенные стены, и блестящая мебель, и узорчатый, на всю комнату ковер.

— Пойдемте, сосед, пойдемте, — звал он Петрушониса, ведя по пушистому ковру и открывая дверь балкона. — Пойдемте, — сипел старик, и лицо у него было светлое, как у ребенка, знающего большую тайну. — Ничего не оставил, все распродал да соседям роздал, только его с собой привез. В корзину — и привез.

В углу балкона в дощатом ящике отозвался петух. Хлопнул крыльями, растопырил огненные перья, гордо откинул гребешок, поскреб когтями.

— Когда утром запоет, хорошо, сосед!..

Старик взял из жестянки щепотку ячменя, высыпал петуху. Тот высокомерно зыркнул на них одним глазом и стал не спеша клевать.

— Бывало, водит по двору стайку кур, будто вельможа на цыпочках выступает. А как запоет — вся деревня звенит!

— Славный петух, — сказал Антанас Петрушонис, удивляясь не столько петуху, сколько затее старика.

— Дочка сердится, говорит, голову сверну этому балбесу. А я — раз ты так с петухом, говорю, то ухожу куда глаза глядят. Она говорит — воняет. Да разве воняет, сосед? Как тут будет вонять, ежели я утром-вечером эту штучку отношу, выбрасываю да воду спускаю?..

Повилас Юодснукис поднял добрые глаза на Петрушониса, будто проверяя, не смеется ли над ним сосед — может, и показывать не стоило, — но вряд ли что-либо разглядел на лице Антанаса. Петрушонис в тот миг стоял на родном хуторе у колодца и вслушивался в рассветную тишину, живую от птичьего щибета и хрупанья коровы под яблонями в саду, от звона отбиваемой вдалеке косы и громыхания телеги на повороте большака.

— Так говоришь, сосед, слышишь по утрам?

— Слышу.

— Как тут не услышать! — хихикнул старик. — Может, по рюмочке? У меня еще деревенское винцо есть, яблочное..

Он зашлепал в кладовку, опустившись на колени, шарил под полками, что-то бормоча, а потом тяжело поднялся, обернулся, свесив до коленей руки.

— Нету... А было! Сам видел на днях, было..

Провожая к двери, коснулся плеча Антанаса Петрушониса, криво усмехнулся:

— Уж не сердись, сосед, что так получилось..

Петух пел каждое утро, кукарекал в обед, а то и вечером такой концерт устраивал, что заглушал телевизоры и транзисторы, кричавшие из открытых окон.

— Помешался мой петушок, — пожаловался Повилас Юодснукис. — Шутка ли — среди каменных стен взаперти день-деньской. А дочка меня поедом ест... — И бодро спросил: — Все еще голосист, а, сосед?

Антанас Петрушонис прятал голову под одеяло, под подушку, но все не мог заснуть. «Взбесился этот петух!» — ругался про себя, ворочаясь в постели, и все больше завидовал жене, ее непробудности. А когда однажды проснулся на рассвете и не услышал петуха, все равно не заснул. Ждал этого кукареканья, сердился на себя, клял старика Юодснукиса. Но петух молчал, а сон не приходил. И на другое утро так, и на третье..

Встретил Юодснукиса во дворе; прошел старик мимо медленно, будто тень. Потом остановился.

— Сосед! — окликнул Петрушониса. — Все, сосед, нету... Дочка... Я знаю, дочка... Дочка задала ему чего-то — и нету... Гляжу утром — неживой лежит. А она смеется, дочка-то: мол, что с него, старая птица, мяса и собака есть не станет.

Развел старик длинными руками, будто петух огненными крыльями взмахнул, но с таким бессилием и болью, что хоть плачь, и отвернулся к цементному крыльцу.

Это было давно (всего четыре месяца — и давно!), по утрам стало спокойней, спи сколько влезет. И вдруг опять это кукареку!..

«Скоро затрезвонит будильник», — думает Антанас Петрушонис. Заводит он его лишь на всякий пожарный: как бы крепко ни спал, каждое утро в одну и ту же минуту будит его шорох голика. Повилас Юодснукис — живые и верные часы, хоть многие и честят его почем зря: «Посреди ночи старикашка гремит, когда он спит-то...», «Хоть бы хворь его на недельку скрутила, выпались бы», «Вот не выдержу и как запушу в него чем-нибудь из окна...» И в лицо старику говорят, но с него эта ругань как с гуся вода — он свое дело делает: «Поручили мне, и все тут! Работаю, а вы все хоть тресните!..»

Будильник заливается яростным трезвоном и тут же, захлебнув-

шись, замолкает. Казюне переворачивается на другой бок и, зачмокав да что-то буркнув, не просыпается. Вчера вернулась под градусом: дескать, месячный план сделали, предстоит премия, ну и... работа у них такая, коллектив решил отметить, разве откажешься. Антанас от нее объяснений не требует, и когда жена объясняет, что нельзя было иначе, что работа у нее «такая», его разбирает злой смех.

Петрушонис спускает ноги на холодный линолеум, сидит, облокотясь о колени, ерошит пальцами волосы. Потом подходит к окну, раскрывает штору и долго глядит на занимающийся рассвет. Слева — там, где не заслоняет пятиэтажный дом, — на пригорке маячит соснычок, а за ним простирается унылое, искромсанное бульдозером поле, утыканное столбами электропередач. Небо за завесой моросящего дождя кажется серым и беспросветным. Заладило на целый день, пожалуй, а то и на всю неделю. С ума сойдешь от такой погоды...

«Мне нечего бояться, отец...»

Вздвонув, Антанас отворачивается от окна и обводит взглядом темную еще комнату, будто ищет в ней сына Виктораса, так отчетливо сказавшего это. Опять померещилась падающая каменная стена да повисшие в воздухе кирпичи... Трет кулаками виски, встряхивает головой, отгоняя страшную картину. «Вперед!» — по-солдатски приказывает себе, снимая со стула одежду, бросает взгляд на жену. И не шевельнется... Спешить ей незачем, работа-то с одиннадцати.

Пока закипает чайник, Петрушонис успевает умыться и одеться. И тоненькая струйка из-под крана в ванной, и осторожные движения, и медленные шаги — все, чтоб не проснулась маленькая Рената. Сноха Дейманте не раз говорила: «Громыхаете по утрам, а девочка не высыпается!..» Теперь не скажет, потому что Антанас наострился в потемках по своей квартире вором красться. Хотя кто-кто, а он знает, что это не Рената просыпается спозаранку, а сноха мечется в постели и не спит. Да и причина бессонницы для него не секрет — глаза-то у него не завязаны и уши не заткнуты.

Намазывает хлеб маслом, кладет кружочки колбасы. Каждое утро одно и то же. Уже четверть восьмого! А чай-то — чистый кипяток!.. Еще ложечку клубничного варенья. Варенье из холодильника, будто лед, быстрее чай остынет.

У двери останавливается, хлопает себя по карманам пиджака. Ключи на месте, сигареты, спички тоже. Все. Вперед!

На лестнице опять кто-то свет испортил или лампочки выкрутил. Вечерами стоят в обнимку парочки в потемках, целуются, даже мимо пройти неудобно. Но сейчас уже светает. Если б не пасмурная погода, было бы совсем светло.

Мокрый ветер хлещет в лицо, распахивает плащ.

Повилас Юодснукис в оранжевой куртке сметает мусор в ведро. Издали он похож на огромного шуршащего жука.

— У других домов контейнеры для мусора, — говорит Антанас Петрушонис.

— Это у девятиэтажных. И двенадцати, — выпрямившись, уточняет старик.

— Ведра не приходится далеко таскать.

— Точно, сосед.

Антанас Петрушонис бросает взгляд на небо. Поднимает голову и Повилас Юодснукис.

— Зарядил, теперь надолго...

— Рожь вроде посеяли уже. По радио передавали.

— Пахота. В поле не выйдешь.

— Помню, в тяжелое время для колхозов, в пятьдесят четвертом, что ли, целое лето дождь да дождь, все сгнило на корню. И осень вы-

далась слякотная. К середине зимы сено подобралось. Прихожу на ферму, а коровы встать не могут и так глядят, что плакать хочется. Вот говорят — скотина. А какие у нее глаза бывают...

Антанас трет задубелой ладонью небритую щеку, застегивает верхнюю пуговицу плаща.

— Я побежал,— говорит.

Юодснукис, опершись на метлу как на косу у ржаного поля, смотрит на уходящего соседа — только с ним и можно поговорить по душам — и вдруг окликает его:

— Ничего не слышал, сосед?

— А что? — оборачивается Петрушонис.

— Да утром...

— Ничего.

— Вроде кукарекали?

Петрушонис смотрит на холодные плиты тротуара.

Хлопает дверь подъезда, появляется человек и, не сказав ни слова, размашистым шагом подходит к «Жигулям», наклонясь смотрит на фары, потом, все так же не разгибаясь, медленно бредет вокруг машины, касаясь кончиками пальцев капота, багажника...

— Не слышал, значит? — спрашивает Повилас Юодснукис.

— Думал, померещилось,— угрюмо отвечает Антанас.— Выходит, и тебе померещилось-то?

— Да уж не иначе...

По Рябиновой улице с ревом проносится автобус.

Антанас Петрушонис засовывает руки в карманы плаща, втягивает голову в плечи. «Опаздываю,— думает он,— возьму однажды и опоздаю. Сраму-то будет!»

2

Стекло окошка мутное, в извилистых потеках. Дождь хлещет по шиферу крыши, крупные капли разбрызгиваются на железобетонных блоках, сложенных рядом с вагончиком. Третий день как льет дождь; изредка небо чуть проясняется, и тут же снова его заволакивают тучи. А какая работа на дворе в дождь?

— Антанас!

Вроде и рано для ненастья. Что ж, видать, какое лето было — гнилое да холодное — такая и осень. А ведь осенью, как на грех, работы навалом. Близится конец года, горят планы, сроки наступают на пятки. Всегда так, сколько он помнит.

— Петрушонис!

Говорят, если на лужах пузыри...

Тяжелая рука опускается на плечо. Антанас Петрушонис косится на бутылку, которую держит в своей лапище Качергюс.

— Дерни.

— Не хочется...

— Я не спрашиваю, хочется или не хочется. Надо!

Мужики хохочут, даже облако сигаретного дыма малость рассеивается. Антанас берет початую бутылку, подняв к окну, примеривается — оставить глоток или всю в себя влить... Запрокинув, отхлебывает самую малость, но замечает краешком глаза, что на него смотрят Качергюс и остальные, и глотает как следует.

— Надо каждый день тренироваться, старик, без перебоев! — говорит Качергюс и, хохотнув, отправляет бутылку дальше по кругу.

Прикладываются к ней мужики без особой охоты, морщатся, сплевывая на грязный пол. Не забывают и двух женщин. Те отнекива-

ются для порядку, но тоже сосут из горлышка. Пьет бригада и клянет дождь. Если б не эта мокреть, разве сидели бы тут?..

— Только быстрее, ребята, раз-два — и прячем тару, — тревожится Игнас Дрангинис.

Он бригадир, недавно из техникума пришел. «Будто цыпленок, только что вылупившийся из яйца», — подумал Петрушонис, впервые увидев его, щуплого, робкого, по-детски удивленно глядящего на парней. Игнас всегда печется о порядке, вот и сейчас не забывает, что каждую минуту может открыться дверь и войти тот, кому заходить не следует. Хватит прошлого раза, спасибочки. Мужики вот так же пускали по кругу поллитра, а в дверь сунул нос хилый корреспондент-тишка и прославил бригаду на весь город. Не одну бригаду — все управление! Начальник взбеленился, взбучку всем устроил — видать, ему тоже влетело... Это все слова, ладно, но ведь и премии уплыли и двое рабочих из бригады швырнули на стол заявления: раз вы так, то и мы так — ищите, мол, дураков, нам одной зарплаты мало!..

Качергюс грязным сапогом поддевает брошенную у стены старую спецовку.

— А это еще что?! — орет он, поднимая с полу непочатую бутылку. — Кто из вас спрятал? — обводит мрачным взглядом мужиков. — Не признаетесь? Что ж, придется реализовать...

Не новая это игра, но всем весело, бригада беззаботно хохочет, забыв про ливень и план.

— Только, ребята, раз-два — и чтоб тихо!.. — унимает Игнас Дрангинис развеселившихся парней, бестолково мечется по вагончику и наконец встает у двери, решив своим телом преградить путь постороннему.

Эту бутылку Антанас Петрушонис берет без долгих разговоров и отпивает добрый глоток: пускай смотрит бригадир, пускай хоть слово скажет! Так отбрееет, что другой раз не сунется. Будь в бригаде порядок, разве посмели бы так измываться над его, Антанаса, работой. Уложили в траншею желоба, а Антанас зацементировал их, связал намертво. Вечером уселся на куче вынутого прунта, курил и смотрел с удовольствием на сделанное за день — порядок! А наутро пришлось укладывать трубы на не затвердевший еще бетон... Такой приказ! Разошлись швы, покривились желоба, и бригадир тут же скомандовал: «Приведи в порядок, Петрушонис». «Я же только вчера...» — пробовал было объяснить Антанас, но бригадир и слушать не захотел. «Не волнуйся, за ремонт отдельно заплатят», — почему-то ухмыльнулся он. Заплатят... Разумеется, не из кармана трубокладчиков. И не из кармана тех, которые отдали такой приказ. Не мой и не твой это карман, бригадир... С понедельника Антанас Петрушонис копается в траншее и все вроде чужими руками. Да еще дождь хлещет! Раствор раскисает, тьфу!..

— Черти бы драли! — ругается Антанас Петрушонис, топчется у окна, со злостью поглядывая на Игнаса Дрангиниса, словно по его вине дожди нагрянули.

— Работа не сбежит, — лениво отзывается Качергюс, протянув длинные ноги до середины вагончика; он дремлет на широкой скамье у стены, обняв обеих женщин и склонив голову на плечо младшей из них, Ванде. Девушка ласково ерошит его волосы, вылезшие из-под засаленного берета, ухарски сдвинутого набекрень.

На столе из некрашенных досок валяются костяшки домино, но в руках у парней карты.

— Чего ждешь? Кидай!

— Ну и лопух!.. На! Пики!

— Живей! Раз нет, так нет. Бери...

— О-го-го! Конеч!

— Чего в мою карту зыркаешь?

Голоса гулко взрываются в тишине.

— Потерпите еще, ребята,— просит Игнас Дрангинис и выбегает на двор. Запахивает полы промокшего плаща, бросает взгляд на небо, на все четыре стороны и, увязая в раскисшей глине, движется в сторону нового цеха. В провалах окон вспыхивают огоньки сварки, слышен далёкий звон металла. Медленно ползет стрела башенного крана, играючи несет железобетонную плиту.

— Бубны! Бубны берут...

— Пас...

— Хо-хо-хо!..

Антанас Петрушонис спускается по дощатой лесенке и со злостью захлопывает за собой дверь. Будто порыв ветра дверью стукнул. Небо проясняется, капли все реже. Дождь скоро кончится, кончится, и что тогда? В траншею лезть, в грязь, в воду по колено?..

На стене нового цеха аршинные буквы гласят: «ДО СДАЧИ ЦЕХА ОСТАЛОСЬ 59 ДНЕЙ». И вчера гласили и позавчера. И всё пятьдесят девять дней. Никак не убавляется. Пасмурные дни со счета списывают, что ли?

Если б не дожди...

Тьфу!

Зажав мелочь в горсти, Антанас берет поднос и ищет взглядом свободное место. Столики не убраны — громоздятся стаканы, стопки тарелок, на клетчатой клеенке лужицы компота и супа. У окна замечает столик посвободнее, лавируя между обедающими, движется к нему.

— Приятного аппетита, Моркус.

— Спасибо, Антанас, и тебе.

— Давно не видел.

— На бюллетене, сегодня первый день.

— Отодвинь стул, Пятрас, не пролезу.

— Только на голову борщ не вылей.

— Видать, уже раньше ошпарили, макушка-то чиста.

— Баба выдрала...

Сдвигает пустые тарелки в кучу, освобождает место для своего подноса. Окунает ложку, размешивает суп. Совсем есть неохота, от одного запаха еды тошно. Давно уже творится с ним такое — как будто сидит сложа руки день-деньской.

Ест, потому что час обеда и надо, но не чувствует вкуса, глотает с трудом, через силу.

— Узнавать не хочешь?

Антанас недохлеба отодвигает суп.

— Да что вы, дядя Симанас.

— Прошел мимо, и хоть бы хны. Еще окликнул...

— Тьма народу... Присаживайтесь.

Симанас пододвигает стул, смахивает ладонью крошки, садится бочком, пристроив локоть на спинке, сплетает пальцы и ясными глазами из-под седых бровей придирчиво смотрит на племянника.

— Я правда не заметил,— оправдывается Антанас.

Вокруг глаз старика собираются морщинки, указательный палец, пожелтевший и сморщенный, бойко машет перед носом Антанаса.

— Ешь! Чего не ешь?

— Не лезет.

— И у тебя не лезет? У меня-то старость...

— И у меня не молодость, дядя.

— Молчи, сынок. Кому говорить, а тебе помолчать.

Антанас поддевает вилкой жилистые кусочки мяса, долго жует и пытается проглотить. «Хоть бы огурец был или помидор. Осень, а овощей не дают... И что это дядя Симанас так на меня уставился? Правда, давненько не сходились. А если и сойдемся, потолковать некогда. Все торопимся, все бежим сломя голову. А усядемся наконец — молчим. Боимся друг друга задеть, чтоб не разбередить рану. Лучше уж издали, компресс с теплой водичкой усыпляет, баю-баю... Старик-то чувствует: что-то неладно, что-то запуталось... Так почему молчишь, дядя, почему не режешь прямо в глаза?.. И эта твоя усмешечка — не поймешь, что за ней...»

— Ешь давай.

Будто схлопотав по рукам, Антанас роняет вилку. Звякнула тарелка. Сквозь зубы сосет горьковатый компот из чернослива.

— Потопали? Мне в цех пора.

Грузовик с контейнерами ждет, чтоб открыли высокие ворота за вода. Проезжает автобус, трактор, пыхтя, тащит платформу с погромыживающими железными прутьями.

— Когда-то и твой портрет здесь висел, — кивает дядя Симанас на массивную Доску почета у плакучей ивы.

— Недолго.

— А кто виноват? Тогда и правда почет был — фотографию вывесили... Теперь только рубль подавай, ничего больше не надо. Скоро пальцем никто не шевельнет без рубля... Заглянул бы как-нибудь.

— Надо бы.

— Весточки не получил?

— От Виктораса-то? Ничего.

— Пора бы вернуться.

— И жду и боюсь.

Симанас смотрит на него в упор, уголки губ опускаются.

— Как Дейманте?

— Чужое сердце не газета, читать не умею.

— Знаешь все-таки что-то. Давно замечаю.

— От этого не лучше.

— А молчать, язык проглотив, по-твоему, лучше?

— Один черт. — Антанас отводит глаза, смотрит исподлобья. — Вы, дядя, его не хуже меня знаете.

— Это все, что ты можешь мне сказать?

— Начальник цеха. Ваш Лявукас! — вдруг зло, как камень, бросает Антанас.

— Ляонас Райжис? — Симанас наклоняется, втягивает голову в сутулые плечи; видно, попал-таки, больно старику. Его же любимец этот Лявукас.

— Точно. Я Дейманте не оправдываю, но и...

— Может, зря болтают, мало ли... С ним не говорил?

— Это с кем? С Райжисом мне разговаривать?

— Думаешь, не надо? Если с чужой бабой путается? — Симанас молчит, смотрит на грязь под ногами. — Сам-то ты тоже был любитель все запутать. Ах, Антанас, Антанас, — говорит укоризненно и удаляется, топая прямо по лужам.

В руке Антанаса Петрушониса пляшет сигарета. Катает ее между пальцами, сломав, со злостью швыряет наземь, снова ковыряется в пачке, ищет новую.

Бригада сидит на сваленных трубах, курит и гадает — пойдет дождь после обеда или не пойдет.

Прибегает Игнас Дрангинис в развеваемом плаще.

— Раствора не будет! — сообщает издали. — Кончился! Не будет!

— Когда не нужен был, везли и сваливали в грязь. Пускай теперь зубами его грызут!

— Бетономешалка стала. Не будет,— объясняет бригадир и пересчитывает взглядом ждущих мужчин — все вроде.— Ты, Петрушонис, и ты, Качергюс, готовьте опору. Ты, Гедрайтис, и ты, Самуолис, будете изолировать трубы...

— Перекрытия можно укладывать, чего ждем-то,— советует Самуолис.

— Сам знаю! — отрезает Дрангинис.— Раз такой умный, достань автокран. Нету! А план горит!

— Раньше человека хозяин прижимал, а теперь план,— лениво говорит Качергюс, но мужикам его разглагольствования не в новинку.

Антанас берет со склада ножовку, топор, коробку с гвоздями и раскладывает инструмент на краю траншеи. Песок всосал воду, с грехом пополам можно работать, двигаться дальше.

— Владас! — зовет он Качергюса, все еще восседающего на трубе.— Доски принеси, Владас.

От старых корпусов завода долетает звон металла, глухие удары прессов, шипенье вентиляторов. Там, в механосборочном цехе, дядя Симанас. Надевает защитные очки, берет ключ. Его руки движутся легко и весело, будто у живого автомата. Как когда-то... Только голос у него теперь, да и слова...

— Ах, Антанас, Антанас!.. — передразнивает Симанаса и неожиданно пугается, словно только теперь до его сознания дошел скрытый смысл этих слов, не слов даже, а голоса, которым они были произнесены.— Ах, Антанас, Антанас,— говорит еще раз, но уже своим голосом.

По деревянной лесенке спускается в траншею.

— Владас! — зовет снизу.

3

В шершавой ладони — пухлые теплые пальчики.

— Я хочу молочного коктейля.

— Что ж, зайдем...

Легкая, веселая Рената семенит впереди, и Антанас Петрушонис не столько ведет внучку, сколько придерживает, чтобы ее, как пушинку, не унесло порывом ветра. Слышит щебет малышки, ее нескончаемые вопросы, но смысл улавливает плохо, слова плывут мимо ушей, тают, не затронув сознания, потому что все мысли Антанаса там, у заводской проходной. Только прогонит эти мысли, оттолкнет, как они тут же налетают с прежней настырностью.

...Увидел его в вестибюле. Стоит, привалившись спиной к стене у двери с табличкой «Отдел кадров», и смотрит на людей, появляющихся из проходной. Руки в карманах штанов, плечи приподняты, воротник пиджака задран до затылка. Антанас посмотрел и отвернулся. Но сделал шагов пять и оглянулся через плечо. Вроде знакомое лицо. Низкий шишковатый лоб выдается вперед, будто хозяин собрался бодаться, коротко подстриженные волосы приглажены как попало, топорщатся густые рыжие бачки. Беглый взгляд незнакомца скользнул по лицу Антанаса, провел как бы тупой бритвой и опять устоялся на вертушку, скрипуче подсчитывающую людей, покидающих завод... Да мало ли встречаешь новых людей каждый день! На улице, в автобусной давке, в толчее магазинов. Бывает, с одним словом перебросишься, с другим полчаса проговоришь и знаешь, что встретишь наутро и ни за что не вспомнишь. А вот на иного только бросишь взгляд — и целый день мелькает перед тобой его лицо. «Всякие чудеса бывают», — поду-

мал Антанас Петрушонис и от лестницы еще раз, словно его окликнули, оглянулся на человека у стены. Ей-богу, видел где-то! Продолговатое лицо, глубокие глазницы... глубже, чем у других... Совсем как у... А если?! С ума сошел!

Боль зародилась под ложечкой, ударила в голову, затуманила рассудок. Антанас Петрушонис покачнулся, испугался, что упадет, и от этого страха сразу прояснилось в голове. Спустился по лестнице, растерянно остановился, забыв, куда ему, пересек улицу и подумал: хорошо, что не было машины, сшибла бы; подумал вяло, как о пустяке, не стоящем внимания, и поплелся к остановке автобуса. Да разве мало похожих людей? Говорят иногда: они как братья, а на деле совсем не братья и даже не родня! Бывает ведь... Бывает!

— Конечно бывает! — произносит твердо, разозлившись на себя: какого черта ломать голову, когда на каждом шагу можно встретить похожих людей!

— Папочка...

Антанас внимательно разглядывает людей, торопливо идущих мимо, ищет подтверждения своим словам — вот двое похожих! Но старушка с тяжелой авоськой даже отдаленно не походит на хохочущую девушку, вцепившуюся в локоть двухметрового парня. Да и эти мальчишки... Может, малыши с чубчиком и этот непоседа... носы у них как две капли.

— Папочка, а ты знаешь, почему птицы летают?

Женщина с изможденным лицом.

— Папочка... — Рената без отца привыкла деда называть папочкой.

— Потому что они птицы.

Женщина с ярко накрашенными губами, с подчеркнутыми бровями.

— Нет, папочка. Птицы летают потому, что у них есть крылья!

— И у курицы крылья, — смеется Антанас Петрушонис, сразу же перестав сравнивать прохожих.

— А курица разве не летает? Почему?

Рената вечно почемучкает. Почему да почему.

— Если б курицы летали, то кто бы снес для тебя яичко?

Малышка теряется.

— А я знаю!

— Ну кто?

— Знаю, знаю! — топает ножкой Рената и уверенно объясняет: — Яйца носят из магазина, папочка!

— А я и запомнил, — качает головой Антанас Петрушонис, подыгрывая внучке.

Кондитерский магазин просторен, пахнет свежим печеньем и кофе. У окон пять высоких столиков, а в углу еще один, низенький, за который Антанас пристраивает внучку и велит ей сидеть смирно. Хвост небольшой — две женщины и парень в темных очках, уткнувшийся в иллюстрированный журнал. Минут десять — пятнадцать потеряешь, не больше. Солнце еще высоко, вечер погожий, давно не было такого. Рената обожает прогулки, и Антанас Петрушонис, возвращаясь с работы, частенько заходит в садик пораньше. «Как хорошо, папочка!» — бежит она навстречу, повисает у него на шее, прижимается крепко, и эта ласковость внучки каждый раз заливает грудь жаркой волной, бывает, даже горло перехватывает от волнения.

Рената сидит смирно, положив ручки на стол, и смотрит на дедушку. Она хорошая девочка. Но и хитрющая.

— Двойной черный, — говорит парень в темных очках, сунув журнал под мышку.

Грохочет кофейный автомат, шипит пар.

— Любитель крепкого кофе,— замечает женщина, протягивая из-за стойки чашку на блюдечке.

— Обычно у вашего кофе такой вкус, будто его уже один раз пили,— лениво отвечает парень.

Буфетчица заливается краской.

Антанас Петрушонис заказывает молочный коктейль и видит, что женщине от обиды едва удастся налить сок в жестяной миксер. «Стыда у них нет»,— думает он, глядя на широченную спину парня, на длинные волосы.

— Все? — Женщина уже чуть успокоилась.

Он заказывает печенье и для себя чашку кофе. Потом, показав головой на парня, говорит, утешая буфетчицу:

— Они все такие... эти...

— Не все.

— Большинство,— поправляется Петрушонис.

Женщина улыбается, лицо у нее симпатичное, открытое, и Антанасу почему-то вспоминается жена, стоящая за прилавком магазина напротив стадиона. Не часто он туда заходит, но каждый раз ему чудится, что Казюне цепями прикована к своему рабочему месту — такой веет от нее скукой и недовольством. «Они совсем не похожи»,— думает он об этих двух женщинах; и тут же мелькает перед глазами парень у проходной и этот, в темных очках. Вот эти чем-то похожи... есть же похожие люди... хоть и не то, совсем не то...

Молочный коктейль и блюдечко с печеньем он ставит на низкий столик.

— Спасибо,— важно говорит Рената.

Побросав в кофе рафинад, мешает ложечкой, потом отхлебывает, не спуская глаз с малышки, которая с усердием тянет через зеленую соломинку сладкую молочную пену.

— Осторожно, Рената, не разлей,— напоминает он.— Печенье бери.— Звякнув ложечкой и помолчав, говорит, глядя в окно: — Скоро ты будешь сюда ходить со своим папой. Вы всюду будете гулять вдвоем.

— Мы и тебя возьмем,— обещает Рената.

Опустели бокал и чашка; Антанас Петрушонис подает руку внучке.

...Едва ли помнит она отца. Ренате двух лет не было, когда Виктораса призывали в армию... Но с чего это снится такой ужас? «Мне нечего бояться, отец...» Это, правда, его слова, он их говорил наяву.

Рената вырывается, бежит к зеленому газону у мостовой, собирает розовые кленовые листья.

— Машина! — кричит Петрушонис.

Медленно тащится тягач с башенным краном, в нос ударяет запах солярки.

— Хватит, Рената.

Визжат тормоза «Волги», виновато поджав хвост, перебегает улицу собачонка.

Они взбираются по тропинке на холм, идут через соснячок, пропахший мокрой хвоей и побуревшим можжевельником. В высоко поднятой руке малышки алеет букет из листьев.

— Это мой флаг, папочка! — кричит Рената.

Антанас Петрушонис, заложив руки за спину, поднимает глаза на верхушки сосен, откашливается.

— А ты знаешь, на флаге какой страны кленовый лист? Конечно, не знаешь! Канады.

— Она далеко?

- Очень далеко.
- А ты там был?
- Где уж мне... У канадцев хоккейная команда хорошая. Здорово играют, ничего не скажешь. Может, еще в этом году увидишь.
- Где увижу?
- Телевизор-то стоит в углу. А когда вырастешь большая и хорошо будешь учиться, сама в Канаду съездишь, как знать... Теперь такое время, что весь мир можешь исколесить.
- Мы вдвоем поедем, папочка, хорошо?
- Я буду очень старый.
- А я не хочу одна!
- Когда вырастешь, иначе заговоришь.
- Не заговорю...

Каждый раз они находят о чем побеседовать. Ренатины «почему?», «как?» да «откуда?» не утомляют Петрушониса: это ведь доброе стремление маленького человека убежать за свой дом, за улицу, за холм и далекий лес. И Антанас когда-то расспрашивал родителей о том и об этом, но ответ чаще был один — не приставай, и без тебя хлопот хватает. Не все и он может объяснить внучке. «Ты большой и не знаешь?» — сердится внучка. «Знать-то знаю, что Земля вертится, а вот как объяснить — запомятовал»...

Она все хочет узнать, до всего дотронуться своей нежной ладошкой. Петрушонис не сердится и многое позволяет ей. Как-то Рената спросила: «А почему ты куришь?» «Привык когда-то и не могу бросить». — «А почему мамочка курит?» — «Ей-то не стоило бы курить, по правде. Это мужское дело». — «А я знаю, почему мамочка курит!» — «Почему?» — «Ей вкусно!» — «Ты так думаешь? А ну-ка затянись». И подал ей сигарету. Боже упаси, разве он позволил бы ей курить, ему хотелось только, чтоб девочка почувствовала, сколь горек дым; но тут, как на грех, вошла сноха, увидела и такое подняла — можно подумать, он собрался свою внучку угробить!..

Тропа кончается у обрыва, с которого сквозь облетевшие кусты виднеется спокойная, отливающая серебром река. Антанас Петрушонис усаживает внучку на плечо и осторожно спускается по откосу. В башмак попадает острый камешек, гвоздем впивается в пятку. Маленькими шагками, прихрамывая, он добирается наконец до зеленого с желтым луга, останавливается у старой ивы, окунувшей в воду толстую отломившуюся ветку. Летом он часто приходит сюда с мальшккой и часами любит в тишине тем берегом реки, где утопает в разросшейся сирени хуторок, а его хозяин, шожилой уже человек, то копает огород, то картошку сажает, то, мерно приседая, косит сено на лугу. И почему такими прекрасными до слез кажутся вечера, когда слышишь звон натачиваемой косы да хмельные соловьиные трели, когда всей грудью вдыхаешь запах сохнущего сена, душистее которого ничего нет на свете?

— Вот мы и пришли... — Переводит дух, окидывая взглядом знакомые луг и реку — и те же самые каждый раз и все-таки новые.

— А эта... эта страна?.. — говорит Рената.

— Какая?

— Ну... эта?.. — Она машет кленовыми листьями.

Все еще думает малышка о далекой стране, о которой он и сам ничего толком не знает.

— Канада?..

— А эта Канада дальше, чем папа живет?

— Гораздо дальше.

— А папа там был?

— Не был.

— Мы оба поедem с папой.

— Когда-нибудь... с папой. А теперь играй, вот какие ракушки красивые.

Петрушонис садится на холодный камень — не нагревается за день, все-таки осень, — сняв башмак, вытряхивает камешек и смотрит на спокойно текущую воду, озаренную солнцем.

...Осень, она оттуда, с севера, идет. Там пожелтевшие деревья уже в августе роняли листья и по утрам поля серебрили иней.

Поезд пришел рано, и Антанас Петрушонис, не спросив даже, где гостиница, с чемоданом в руке зашагал на окраину города. Город, по всему видно, не крупный, райцентр, большинство домов новые, высокие. «Совсем как у нас, — подумал, — с той разницей, что здесь дома кирпичные — и тепло лучше держится, и скрип кровати в соседней квартире не слышен».

Улица закончилась. В выбоинах дороги поблескивал ячеистый ледок. Наверно, вчера шел дождь, а ночью подморозило. Но Антанасу не было холодно, и тяжелый чемодан не тянул руки. Дойдя до рошцы невысоких березок, он обвел взглядом просторное пустое поле, по которому убегала вдаль линия электропередачи. За жидким утренним маревом виднелась зазубренная ленточка леса. Антанас посмотрел на высокое серое небо и глубоко, всей грудью затаился колючим, чистым северным воздухом. Голова закружилась от бесконечных просторов, пришлось даже поставить чемодан на обочину.

Примчался «газик», резко затормозил, парень высунул из него голову в мохнатой ушанке:

— В город? Подброшу!

— Нет. Спасибо.

«Газик» умчался, подпрыгивая на колдобинах, а Антанас Петрушонис подумал, что зря отказался.

И снова окинул взглядом поля.

Впервые за тридцать лет он оказался так далеко от дома. За тридцать лет, точно... Тогда, правда, путешествие было другим... В новеньких шинелях, сжимая коленями винтовки, они ехали по изрытой снарядами дороге. Продырявленный пулями указатель сообщал: «Nash Koenigsberg 75 km». Впереди громыхал фронт. Они тряслись на лавках всю ночь, а на рассвете, когда всех сморил сон, машина вдруг накренилась, увязла в кювете, и взводный крикнул: «Разбегайтесь!» И тут же услышали рев самолета. Застрекотал пулемет, Антанас перекатился через борт, прополз немного по борозде раскисшей пашни и замер, зажмурив глаза, в ожидании острого удара в голову или спину. Прополз еще малость, а самолет, сделав круг, снова прошил из пулеметов пашню. Когда стихло, встал, стряхнул с шинели грязь, потер рукой, но только размазал по сукну и сказал: «А такая красивая была...» Взводный, стоявший рядом, горько усмехнулся.

Да, это было давно... тридцать лет назад. За эти годы он не раз обещал: «Вот соберусь и проедуь теми дорогами, по которым шагали... А то по всему Союзу прокачусь. Такая даль, и все наша...» Собирался, собирался и... подался на Север сына проведать. Но ради этого ли он ехал — Виктораса проведать? Ведь месяц-другой — и сын будет дома. Зачем тащился добрую тысячу километров? Может, просто решил мир повидать? Как знать, как знать...

Огляделся и повернул снова к городу. Надо спросить, где тут гостиница, но не спрашивал, брел, опустив голову, и с каждым шагом крепла мысль: «Не стоило ехать. Что я ему скажу?» Мелькнуло: «А может, податься назад... на вокзал... В одиннадцать уходит поезд». Испугался этой мысли, увидел идущего навстречу солдата и решил у

него спросить про гостиницу. И в тот же миг понял — да это же Викторас!.. Поставил чемодан на тротуар и смотрел на сына в солдатской шинели. Шаги Виктораса стали медленней, нерешительней. Остановился. По розовому от утреннего морозца лицу пробежала теплая улыбка, мелькнула и исчезла, лишь добрая голубизна глаз кричала: «Это ты, отец!» Викторас поднял руку, снял фуражку и шагнул к отцу. Обнялись без слов, постояли так минуту, не оглядываясь на любопытных прохожих.

— Я в гостиницу заходил, а теперь тут всюду ищу. Где ты пропал, отец?

— Не думал, что так рано встречать будешь.

— Из части привезли. Вечером заберут.

— Целый день дали?

— Да, отец.

— Хорошо. Это хорошо, сын.

Гостиница была неподалеку, напротив белого здания с красным флагом над подъездом. Администраторша, пожилая женщина, поинтересовалась, откуда приехал гражданин да по какому делу, от души порадовалась встрече отца и сына, сказала, что все койки заняты («Наверно, захотите отдохнуть с дороги. Хотя что я говорю, столько не виделись-то...»), но жилец из пятой комнаты сегодня уезжает, значит, койка будет потом, после обеда. Чемодан, конечно, можно у нее оставить, а покамест сын может город показать. Женщина была словоохотлива, вопросов не ждала и сама не задавала — тараторила, пока ее не прервал телефонный звонок.

— Ты завтракал, отец? — спросил на улице Викторас.

— В поезде чай давали. Потом.

Полчаса прошло, но они ни о чем еще толком не поговорили и оба чувствовали: что-то стоит между ними, глушит мысли, гасит тепло встречи. Правда, не стоило ехать, окончательно решил Антанас Петрушонис, но запоздал с этим решением. Вышагивает рядом с сыном, которого не видел почти два года, о котором думал каждый день, которого ждал. Ему бы радоваться, что Викторас так славно выглядит — возмужавший, статный, плечистый. Ему бы любоваться им...

— Как дома?

Викторасу давно полагалось об этом спросить, но только теперь... Голос у него такой, будто это его и не заботит. Или все сам знает.

— Ничего дома. По-старому.

— Как мама?

— Работает. Там же.

— Довольна?

— Да вроде. Маленький магазин, нетрудно.

— Рената здорова?

— Вся моя радость!.. Так хотела со мной поехать.

— Надо было взять.

— Трудно в дороге с малышкой.

— Это правда.

Узкая улочка, по обеим сторонам старые низенькие дома с резными голубоватыми ставнями. Высокие дощатые заборы, расписные ворота, церковка со сверкающими луковками.

— Куда мы идем, сын?

— Не знаю. Никуда.

— Может, в церковь заглянем?

— Ты зайди, я тут постою.

— Да ладно.

— Зайди, отец. Говорят, там есть на что посмотреть.

— Давай вернемся лучше.

Свернули в переулок. Солнце светило, правда не очень-то высоко, но мерзлота держалась, под ногами хрустели комья стылой грязи, потрескивал ледок. Как в ноябре, подумал Антанас Петрушонис, но эту безмятежную мысль тут же вытеснила другая: Викторас все еще не спросил о главном. Молчит, стиснув зубы.

В ресторане сели за столик в углу. Они одни были во всем зале. Официантка подошла и отбарабанила как заведенная:

— Украинский борщ, бифштекс с макаронами, котлеты...

— Все, пожалуйста,— сказал Викторас.

— По порции?

— По порции.

— А еще? — Высокая пышнотелая женщина глядела куда-то в окно и ждала.— Что еще? — настойчиво повторила.

— Бутылочку, сынок,— спохватился Антанас Петрушонис.— Столько не выдались, грех не выпить. Пол-литра,— сказал он официантке, и та улыбнулась ему.

Сидели, облокотившись на столик, скрипели стульями и больше молчали. «Бутылочку» не несли долго, было обидно — авось развяжутся языки, легче станет на душе. Викторас изредка заговаривал о своей части. Все хорошо, говорил он, но служба-то собачья. Другим повезло: пограничники, танкисты, ракетчики... А тут... вроде в наказание; он понимает, конечно,— надо же кому-то охранять преступников, следить за ними, но когда ни на минуту не забываешь, что перед тобой рецидивисты, бандиты, воры... («Бывшие, сынок,— вставил отец,— бывшие!»)

— Нелегко это все дается, правда нелегко, отец...

— Думаешь, на фронте легче было?

— Тогда была война.

— И тут война. Война за человека, сынок.

— Понимаю. Но когда среди них появляется... когда он тебе говорит... Выпьем, отец.

— Ты все близко к сердцу принимаешь.

— А как не принимать?

— Не так меня понял, я хотел сказать просто — ты солдат...

И тут невпопад, прервав отца, Викторас спросил:

— Почему Дейманте мне не пишет?

— Не пишет? — Петрушонис даже покраснел, как ребенок.

Их взгляды встретились, и глаза Виктораса, казалось, заглянули отцу в душу, все знали и понимали, требуя ответа, может, не ответа даже, а подтверждения его, Виктораса, тайных страхов и сомнений. Антанас, по правде, и ехал, чтоб ответить на этот вопрос, объяснить сыну все спокойно и по-мужски — пускай знает, пускай медленно перегорит, сживется с этой мыслью. Но если вчера ему было ясно, если утром за чаем в поезде он еще знал, что скажет, то теперь, в этот миг, он подумал: да какое у него право осуждать Дейманте?

— Ей нелегко, Дейманте-то.

Губы Виктораса сжались, посинели, как от холода.

— Ей трудно, ты поверь, сынок. Трудно женщине одной, да еще молодой. Мужчина — другое дело. И то всякое случается.

— Я все думаю...

— Если о ней что-нибудь... думаешь, то зря. Она Ренату воспитывает, смотрит за девочкой.

— Не могу не думать, отец! Не в силах!

— Худое не надо думать, вот что я хотел сказать.

— Может, ее мамаша сбивает? Она всегда готова была меня живьем съесть.

— Может и это быть... Вернешься, все образуется. Все зависит от тебя.

— От меня? — Викторас зло хохотнул.

— От тебя, сынок.

Викторас поднес рюмку к дрожащим губам и поставил на стол.

— Не хочу... Послушай, отец! — Он схватил руку отца, лежавшую на столе, стиснул обеими ладонями и посмотрел на него, как бы силясь взглядом вырвать ответ на не произнесенный вопрос. — Ты мне скажи, отец. Ты никогда не рассказывал... из послевоенных лет... — И недосказал, крепко стиснул зубы, отвернулся.

Когда они, пообедав, поднялись уходить, пышнотелая официантка удивилась — на столе осталась почти полная бутылка водки.

День клонился к вечеру. Солнце, не очень-то высоко поднявшееся даже в полдень, уже садилось, от полей тянуло холодом. Администраторша в гостинице сказала, что койка в пятом номере давно перестелена, и поинтересовалась:

— Вы из Латвии?

— Из Литвы.

— Литва... Рига столица?

— Вильнюс.

— Всегда путаю! Шяуляй в Литве?

— В Литве. Были там?

— Долго стояли... За освобождение Шяуляя у меня «Слава». Пулеметчицей я была.

Антанас Петрушонис по-солдатски вытянулся перед этой худенькой пожилой женщиной.

— А я по Германии топал.

— Значит, оба хлебнули, — обрадовалась женщина и назвала себя: — Мария Васильевна.

Антанас уставился на женщину:

— Мария? Как вы сказали? Мария?

— Мария Васильевна.

За коротенький миг мелькнули перед ним фронтовые дороги, изрытое бомбами поле, блиндаж на опушке леса, и сквозь густую мглу лет всплыло лицо молоденькой санитарки с мальчишеской стрижкой. «Она тоже была Мария... Просто Мария. Мы иначе ее и не звали — Мария».

— Вспомнили кого-то?

— Фронтовые времена. Если б не видел своими глазами, как погибла, подумал бы: чудо, она самая! Правда, Мария Васильевна, вы очень похожи на нашу санитарку.

Этот недолгий разговор неожиданно столкнул с груди Антанаса Петрушониса тяжелый камень свежих бед. Покосился на Виктораса — у того тоже вроде прояснился взгляд. Но едва они уселись в просторной комнате — отец на койке, Викторас за столом, — как тяжесть невысказанных слов снова навалилась на них.

— На той неделе заключенный бежал, — обмолвился Викторас, наверно, хотел нарушить тишину.

— Поймали?

— На другой день, в лесу. Охранника ранил.

— Ты поосторожней, сынок.

В сумерках Антанас проводил сына до городской площади. Прождали десять минут на пронизывающем ветру, пока не зарычал «газик». Крепко пожали друг другу руки, обнялись.

— До свидания, отец.— В глазах Виктораса любовь, тоска и горечь.

— До свидания.— Слова застыли на губах Петрушониса; хотел задержать сына, хотел взглянуть как следует в лицо, в глаза; этот день промелькнул, будто и не было его.

Чемодан с гостинцами Викторас поставил в «газик» («Будет чем ребят угостить»,— сказал) и еще раз оглянулся на отца, одиноко застывшего на площади.

— Ты поосторожней! — сквозь посвист ветра крикнул Петрушонис, когда дернулась машина.

— Мне нечего бояться, отец!

И захлопнул дверцу.

Петрушонис шагнул вслед за «газиком», не спуская с него глаз, пока тот не исчез за поворотом. Стоял, смотрел в ту сторону и не чувствовал ледяного ветра.

В гостинице долго толковал с Марией Васильевной, думал, забудет обо всем, полегчает малость, но перед глазами все стоял Викторас, раздавался его голос. Утром встал спозаранку, гулял по заиндевшему городу, вышел в поля — если б знал, где искать сына, пошел бы туда пешком. Ведь толком и не поговорили. Тысячу километров ехал, на что-то надеялся, ждал тепла и близости... Антанасу Петрушонису казалось теперь, что Викторас собирался ему что-то сказать, о чем-то спросить, но именно это что-то замкнуло его губы и заставляло отводить глаза. Бескрайность дальше, суровая их красота еще тягостней делали душевную боль...

— Папочка...

...Зашел в церковь, постоял в полумраке; пусто в ней было, только какая-то старушка, опустившись на колени, раскачивалась всем телом, изредка целуя каменный пол. Его передернуло от озноба...

— Папочка!

...Прощаясь с Марией Васильевной, сказал: «Приехали бы как-нибудь в наши края»...

— Почему ты со мной не разговариваешь, папочка?

Антанас Петрушонис только теперь замечает, что на пойму уже опустился голубой вечер.

— Не холодно? — спрашивает он и встает.

— Нет. Я была там, далеко, за камнями. И тебя звала.

— Не слышал.

— А что ты делал, раз не слышал?

— Я сидел и думал.

— А о чем ты думал?

— Я думал... Я вспоминал Север, где твой папа. Там теперь уже зима, наверно.

— А тут не зима?

— Тут осень, бабье лето.

— Почему ты некрасиво говоришь?

— Что я сказал?..

— Бабье... Когда Саулюс в садике девочек бабами обзывает, воспитательница ругает его. Так говорить некрасиво!

— Не буду больше так говорить,— повеселев, обещает Петрушонис.— Дай-ка лапку, пойдем домой.

Рослый, широкоплечий, чуть сутулый мужчина и попрыгунья-девчушка удаляются по берегу, по росистой траве, усыпанной желтыми и розовыми палыми листьями. Поля залил уже сизый туман, и они как бы плывут по разлившейся реке — все дальше и дальше, пока не исчезают.

4

Паренек роется в кармане джинсов; подкидывая на ладони пятак, долго изучает список пластинок. Сует монету в музыкальный автомат, нажимает клавишу. Звучат первые аккорды.

Буря сломала ветки берез,
Буря гнездо соловьев разнесла...

- Шапкаускайте пользуется успехом. Тебе она нравится?
- Это она поет?
- Ну знаешь!

Ты в свои руки мягко берешь
Жизнь мою. Верю в тебя...

— Бывает, звонят по телефону, не могу вспомнить кто, хотя знаю, что знакомый.

— Ты и мой голос не узнавал. Каждый раз требовал, чтоб назвалась. Или это из осторожности? Боялся ошибиться?

— Просто мне не верилось, что это ты, вот я и спрашивал.

Где путь, которым меня поведешь?..
Осенью вишня для нас расцвела...

Дейманте поздней весной сказала: «Ты просто мой, Ляонас...» Испугалась этой откровенности и тут же повторила: «Ты — мой...» Они лежали тогда на берегу прозрачного озера Аглуона. Под двумя цветущими рябинами серела их палатка, дымился догорающий костер, пахло ухой... Но мир перестал существовать для них: ладонь Ляонаса на груди Дейманте была на удивление легкой, она крепко, обеими руками прижимала ее к себе, глядела в ясное вечернее небо и хотела только одного — чтобы не уходила эта минута. И повторяла про себя: «Ты — мой...»

Испытующий взгляд Ляонаса возвращает Дейманте на землю; она опасливо оглядывается, будто забыла, где находится.

— Дейманте...

— Давай послушаем.

Дейманте словно натягивает невидимую струну, и та начинает гудеть так тревожно, что заглушает пластинку. Ляонас слышит этот гул, и ему становится страшно: к чему бы это? Дейманте ведь ничего не сказала, просто по ее лицу пробежала горькая улыбка, просто сверкнуло острие стрелы, нацеленной на него, на нее самую и еще на кого-то, кого нет с ними.

Ты в свои руки мягко берешь
Жизнь мою. Верю в тебя...

Дейманте усталилась на поблескивающее стекло стола, в глубине которого горит лампочка, освещая розовым светом их маленькую нишу. Ничего она не видит и не слышит. Когда замолкает песня, ее лицо так и остается оцепеневшим. Не поднимая глаз, Дейманте берет пачку «Регаты», вынимает сигарету и держит в пальцах. Ляонас чиркает спичкой. В полумраке вспыхивает огонек, и Дейманте, вздрогнув как от вспышки молнии, поднимает голову:

— Зачем мы здесь сидим, Ляонас?

Глаза ее потемнели, затуманились, она смотрит на Ляонаса, но не видит его.

— Раньше ты об этом не спрашивала.— Спичка обжигает пальцы, Ляонас встряхивает рукой не от боли даже, а так, машинально, и снова чиркает по коробку.

— Всеу свое время,— говорит Дейманте и пугается своих слов.
— Полагаешь, настало время сказать друг другу «всего хорошего»?

Подносит спичку к сигарете Дейманте, закуривает сам, затягивается глубоко, всеми легкими. Даже голова закружилась от такой затяжки. Дейманте стремительно удаляется от него, становится нереальной, и Ляонас, как слепец, осторожно тянется рукой к ее пальцам, безжизненно лежащим на стекле столика.

— Слова не соединяют и не разлучают,— говорит Дейманте.

Ляонас, все не улавливая смысла, наливает коньяк в глиняные рюмочки. Дейманте берет его рюмку, подержав в руке, выпивает и возвращает ему, наполнив тминным напитком:

— Тебе хватит.

— Ты всегда внимательна ко мне,— печально говорит Ляонас и думает: она была внимательна к нему еще в тот, первый вечер. Он был тогда для нее начальником мужа, и все.

Дейманте страдальчески прижимает пальцы к виску, но тут же встряхивает головой, и рука опускается на столик. Ляонас хочет поймать ее взгляд, догадаться, о чем она задумалась, но затененные длинными ресницами глаза устремлены на уютно потрескивающий камин посреди ресторана. Вряд ли она думает сейчас о том ноябрьском вечере два года назад...

Викторас пришел еще до обеденного перерыва, попрощался с парнями, потом обвел тоскующим взглядом огромный грохочущий цех и повернулся к Ляонасу:

— Приходи завтра вечером, начальник. Проводы.

— Спасибо, Викторас. Вы там все свои... посиди со своими...

— Приглашаю, начальник, с супругой. Буду ждать.

— Не знаю, не обещаю.

В ту минуту Ляонас и не думал идти на проводы. А наутро решил: хороший парень уходит в армию, почему бы не проводить, почему бы не посидеть вместе вечеров? На работе ладили; а не пойдешь, подумают — нос задирает, рабочего человека чурается. А жене искренне скажешь: тебе скучно будет там, не знаешь никого...

За длинным столом сидели плотно, и Викторас втиснул гостя слева от себя.

— Товарищ Райжис пришел! Ляонас! — Викторас радовался от души, знакомил с родителями, с многочисленной родней, потом вспомнил, что по правую руку сидит жена: — Дейманте. — И рассмеялся: — Будущая солдатка. — Словно обидев ее этими словами, чмокнул в щеку. — Видишь, какой у нас начальник цеха, Дейманте. Говорил, что придет, а ты не верила. У нас на заводе все мужики такие! Дейманте, угощай Ляонаса, а я налью.

Ляонас не ожидал, что будет так просто и славно среди этих людей, уже успевших чуть-чуть захмелеть. И хорошо было, что напротив него сидел старый Симанас, родной дядя отца Виктораса и его, Ляонаса, учитель, слесарь — золотые руки.

— Хорошего рабочего отпускаем, Ляонас, да ненадолго! Отслужит и вернется к нам. Вернется, говорю! — Симанас постучал кулаком по краю стола. — Правда вернешься, Викторюкас?

— А куда я денусь, дядя?

— Вот видишь, Ляонас!

— Первая работа — как первая любовь.

— Слышишь, Ляонас! Дело говорит.

Викторас казался счастливым, беззаботным, и было странно, что

это проводы, что завтра утром он сядет в поезд, оставив дом, молодую жену и крохотную дочку...

— Викторас все о нас знает? — спрашивает Ляонас, не спуская глаз с Дейманте, будто пытаясь этим вопросом вывести ее из странного оцепенения.

Но взгляд Дейманте прикован к трепетному пламени камина.

— Свекор не зря туда ездил. — Ее голос кажется спокойным.

— Оно и лучше.

— Что — лучше?

— Что знает. Раньше или позже — все равно бы узнал.

Дейманте положила на его тарелку кусок жареного карпа, Ляонас поблагодарил и только теперь внимательно посмотрел на молодую женщину. Хороша! Прямой нос, легкие дуги бровей, мягко очерченный овал лица, большие глаза излучали доброту и спокойствие. Счастливчик Викторас! Женщина — драгоценность, но в сейф ее не запрешь, усмехнулся он, вспомнив сентенцию, вычитанную в старом романе.

Кто-то включил магнитофон. Зазвучала довоенная пластинка.

Оните, пойдёте со мною танцевать,
Позвольте, Оните, мне к сердцу вас прижать... —

сладким тенором уговаривал певец.

Викторас пригласил Дейманте на танец. «Красивая пара», — подумал Ляонас.

Старый Симанас между тем вспомнил былое, те годы, когда начинал свой рабочий путь, и ему нужен был слушатель, внимательный слушатель; едва только Ляонас косился на танцующие пары — нет, тогда он действительно не искал взгляда Дейманте, — старикан через стол тянулся к его локтю:

— Ляонас... Слышишь, Ляонас, с чего я начинал? С ничего! Только руки у меня были и здоровье лошадиное. И вся недолга...

Ляонас знал эти рассказы старика наизусть и слушал вполуха. Увидел, как Викторас шепнул что-то жене, и Дейманте тут же пригласила его. Магнитофон теперь крутил оглушительный, задорный танец.

— Неважный из меня партнер, вы уж простите.

Первый шаг дался с трудом, но Дейманте ободряюще улыбнулась ему, и все пошло как-то само собой, хотя со стороны, возможно, эти его кривлянья и подскоки выглядели смешно. Но об этом он подумал позднее, а тогда его закрутило общее веселье, и он только улыбался, видя Дейманте в каком-то тумане; не нужны были слова, да и что скажешь — было чудесно, с плеч слетело десять, нет, двадцать лет, слегка кружилась голова от танца и выпитого, от близости молодой женщины. Даже когда замолкла музыка и они остановились все еще в обнимку, комната продолжала лететь и кружиться...

Громко говорил старый Симанас, его перебивал отец Виктораса Антанас Петрушонис.

Ляонас слушал обоих и никого не слышал — ему по-прежнему казалось, что все вертится, крутится, мчится, и он тоже, и сидящий рядом Викторас, крепко обнявший Дейманте и целующий ее пунцовые щеки.

Рано утром, еще в потемках, они провожали Виктораса через весь город, а у ворот военкомата Ляонас подал ему руку:

— Будь здоров, Викторас. Держись!

— Спасибо, ты всегда мне был... Эх, дай ус, Ляонас!

Они расцеловались.

Ляонас прошел десяток шагов, обернулся. Дейманте стояла, уткнувшись головой в грудь Виктораса. Ее плечи вздрагивали — Ляонас увидел это, и что-то надломилось в душе...

Официант застывает у столика, расплывается в улыбке:

— Желаете чего-нибудь?

— Кофе, только покрепче. Может, тебе пирожное, Дейманте?

— Нет, нет. Поставьте пластинку Шапкаускайте,— просит Дейманте,— «Осеннее цветенье вишни».

Атлетическая спина кельнера враскачку движется к стойке.

Гудит небольшой, круглый, похожий на бочку ресторан с антресолями, где-то выстреливает бутылка шампанского, за спиной раздается металлический женский смех.

— Редко мы с тобой выезжаем, я давно жду этого вечера, но чтобы все так...— Ляонас чувствует, что его голос срывается, и замолкает, вздыхает глубоко.— Мы даже не можем поговорить откровенно.

— Все запуталось, Ляонас.

— Ты отлично знаешь, я на все готов. С женой меня ничто не связывает. Встречаются под одной крышей двое людей, расстаются.

— Она тебя любит.

— Не думаю. Хватило времени и причин, чтоб чувства остыли.

Дейманте тонкими пальцами сжимает виски. «Никогда ночи не казались такими длинными: стою на вышке один и не знаю, что и думать»,— всплывает строчка письма, издали долетает голос Виктораса. Смутный, незнакомый даже — она забыла его голос... Он часто говорил: «Устал я как собака, Дейманте, поваляюсь немножко, а ты посиди рядом». Или: «Обними меня, скажи одними губами, и я угадаю, что говоришь». Но ведь так давно все это было, теперь в ушах Дейманте звучит другой голос — заботливый и близкий: «Дейма, мне кажется, я всю жизнь тебя искал и вот — нашел».

— Почему рядом со счастьем стоит несчастье?

— Мы будем счастливы, Дейма.

— А твоя жена? А Викторас?

— Не лучше ли двое счастливых, чем четверо несчастных?

Дейманте молчит, вращает в пальцах глиняную рюмочку и слушает песню. Кажется, слушает...

Где путь, которым меня поведешь?
Осенью вишня для нас расцвела...
Цвет запоздалый стужа убьет...
Может и сердце мое опоздать...

...Встретил ее месяца через три-четыре.

— Нездоровится, товарищ начальник?

Белый халат, плотно облегающий осиную талию, белая шапочка. Знакомое лицо...

— Не знаю, что случилось. Третий день температура держится.

Заметив, что Ляонас не может ее вспомнить, сказала:

— Вам привет от Виктораса.

Ляонас слегка покраснел:

— Спасибо. Как он?

— Служит,— бодро сказала она и тут же спохватилась:— Раз температура, прошу без очереди.

Ляонас болен гриппом, лежал дома. Как-то поднял телефонную трубку и услышал:

— Как ваше здоровье?

«Не может быть,— подумал он.— Этого не может быть!»

— С кем я говорю? — спросил так, будто сидел в конторке цеха, и тут же испугался.

— Из поликлиники...

— Кто? — негромко, краснея, спросил он.

— Привет от Виктораса.

Это прозвучало как пароль.

Поправившись, пошел за бюллетенем, в коридоре увидел Дейманте, испугался, отвернулся, потом пожалел об этом и целый вечер бродил по улице напротив двери поликлиники. Если заговорит с ней (он не был уверен, что заговорит), скажет, что жена забежала в магазин или приятеля ждет... лучше приятеля... по делу зашел.

— Вижу, опять болезнь ищите, — улыбнулась Дейманте, и они, словно заранее и не в первый раз договорившись, зашагали по вечерней улице, запруженной людьми, хлынувшими из учреждений и кинотеатров...

Ты в свои руки мягко берешь
Жизнь мою. Верю в тебя...

Гаснут, превращаясь в пепел, угольки в камине, и только когда открывается настежь дверь и тянет прохладой, оживают, вспыхивая голубыми болотными огоньками.

Дейманте отодвигает чашку и, открыв сумочку, смотрится в зеркальце с изображением Пражской ратуши на обороте — подарок Ляонаса из поездки по Чехословакии («Если оно разобьется, осколки принесут мне счастье», — сказала Дейманте этой весной над озером Аглуона. «Увы, зеркальце из шлифованной стали — не разобьется»).

— Пора, Ляонас. — Она смотрит открытым, теплым взглядом.

Он берет легкую ее руку, целует, подходит к официанту, расплачивается, не жалея чаевых: Ляонас изредка заезжает в этот укромный летний ресторанчик и всегда для него находится свободный столик.

— Хорошей вам дороги. — Расплывшись в улыбке, официант провожает их до двери.

На скудно освещенной площадке поблескивают автомобили. В трех шагах густая и вязкая темнота. Шумят сосны, пахнет мхом и черникой. Высоко в небе мигают редкие тусклые осенние звезды.

Ляонас заводит двигатель и ждет, пока он согреется. Сидят в темноте молча, задумавшись. Потом он кладет руку на плечо Дейманте, она, покачнувшись, припадает головой к его груди и тут же обвивает его руками, целует жарко.

— Господи, какая я нехорошая... — шепчет, задыхаясь как во сне.

«Вот она, настоящая Дейманте, — думает Ляонас. — Такой я ее знаю, именно такая она дорога мне, я буду счастлив с ней. Буду, буду, буду счастлив с ней... с ней...»

Автомобиль легко катит по проселку, разрезая фарами мрак, сворачивает на просеку, останавливается. Двигатель замолкает, гаснет свет. Ляонас обнимает Дейманте, прячет лицо в ее пышных волосах, дрожащей рукой ласкает грудь. Слова не нужны. Слова все могут изувечить, испортить, ведь не выскажешь того, что чувствуешь, не найдешь нужных слов. «Мне кажется, я любил ее всю жизнь... я любил ее сто, тысячу лет назад...»

Ляонас нажимает на рычаг, спинка сиденья опускается. Они лежат в обнимку, хмелея от близости и забытья. «Она всегда нежная и горячая», — мелькает благодарная мысль и тут же обрывается, потому что Дейманте отталкивает Ляонаса, садится и прячет лицо в ладонях.

— Поехали домой, — шепчет она.

— Дейманте... — Он растерянно пытается обнять ее.

— Едем.

Ляонас поднимает спинку, смотрит на унылую черноту соснового бора, сглатывая застрявший в горле комок.

— Едем, Ляонас...

Ему кажется, что Дейманте вот-вот зарыдает.

— Как хочешь,— говорит он спокойно, даже подчеркивая это свое спокойствие, и поворачивает ключ зажигания.

Автомобиль выбирается на асфальт и летит, разрезая фарами мрак.

Оба молчат.

Дейманте боится смотреть на подрагивающую стрелку спидометра.

5

— Подлить?

— Хватит.

Антанас Петрушонис отодвигает кружку, ладонью смахивает крошки с края стола подальше, чтоб не смести локтем на пол, и переводит дух. Тепло кипяченого молока гуляет по телу, его охватывает сонливость.

— Думала, покрепче ужин приготовлю, да не выдюжила,— говорит с набитым ртом Казюне.— За весь день не присела. Да и народ нынче! Ужасная нервозность. Намазать маслом, Рената?

— Папочка намажет.

Казюне наливает себе третью кружку молока, доедает свежую халу. А ведь умяла еще здоровый кусок окорока, подчистила банку паштета.

— Куда и лезет? — усмехается Антанас, подав внучке намазанную маслом баранку.

— Жалко? — Глаза Казюне вспыхивают, даже поперхнулась женой в сердцах.— Скажешь, не зарабатываю, раз мои куски считаешь?

— Да будет, будет! Пошутил.

— Не имею права досыта поесть!

— Шуток не понимаешь.

— Дурацкие у тебя шутки! Этого уж мне не запретишь — люблю покушать!

— Да ешь себе на здоровье!

— И буду! Рената, испачкаешь платице. Дай-ка пальцы вытру.

— Папочка...

Рената подставляет ладошки Антанасу.

— Папочка да папочка — ничего другого не слышу.— Казюне швыряет полотенце подальше на стол.— Одно слово, спелись. Хор!.. Только вот где эта... дирижерша?

— Казюне, не надо при девочке.

— А что я сказала? Думаешь, Рената про свою маму не думает? Где твоя мамочка, а?

— Казюне!

— Мамочка к бабушке пошла,— уверенно отвечает Рената и даже утвердительно кивает.

— Вот видишь, Рената все знает,— радуется Антанас.

— Слушай ты ее.

Антанас бросает сердитый взгляд на жену, снимает девочку со стула и уводит из кухни.

Просто смешно! Казюне все подмечает, сноха ее не проведет, какие бы небылицы ни плела. И пускай Антанас не придуривается, пускай не притворяется, что ничего нету. Есть! И эта беготня по вечерам

неспроста, не у матери она сидит, железно. Еще Викторас не уезжал, а она, Казюне, знала — жди беды! Такая молоденькая, собой видная не посмотрит, что девчонка за юбку держится. Да и подол у юбки нынче высоко, ребенку не дотянуться, вот и не может придержать мамашу. Смешно! Да и вообще как ни верти... Нет, Казюне ничего снохе не говорила и не скажет. Нервы себе портить? Вернется Викторас, пускай разбирается. Ихнее дело!

Антанас Петрушонис, устроившись в гостиной на диване, одним глазом поглядывает в телевизор, другим в газету. Изучает сводку полевых работ. Как там родной район? Осенняя пахота — семьдесят три процента, уборка сахарной свеклы — шестьдесят девять процентов... А как там другие районы? Что ж, его примерно посередине. Как обычно. Даже тогда... когда-то... его район вперед не вырвался, но и в хвосте не плелся. Все около середины. Что ж, никто не похвалит, но никто и не отругает. Глаза не мозолит. А ведь могли бы... Антанасу вроде и дела нет, но как только увидит в газете столбик районов, тут же отыскивает свой родной. И ликует, если район малость вперед продвинулся: смотри-ка, я-то давно знал, что наши не льком шиты. Но недолго греет его это доброе тепло — тут же гаснет, сам Антанас задувает костер, горящий уголек прихлопывает голой ладонью.

— Что показывают? — спрашивает жена.

Жалобно скрипит стул, раздается глубокий вздох.

— Картина какая-то. Могу выключить.

— Пускай идет.

Рената укладывает в кроватку куклу, приказывает ей спать, обещает рассказать сказку, нет, лучше стихи прочитать: «Заяц учит ребятишек...»

Казюне поворачивает голову, вглядываясь в мерцающий экран, изредка цокает зубом.

— Я Гаргажене на лестнице встретила. Сын ей отписал, обещает на Октябрьские вернуться. Тоже где-то на Севере служит, на границе, что ли.

— И Викторас на праздники объявится.

— Съездил тогда и будто воды в рот набрал.

— Говорить нечего.

Антанас правда не знал, что рассказывать. Вся поездка была как в тумане. И разговор с Викторасом, и неожиданное знакомство с администраторшей гостиницы Марией Васильевной, разбудившей в его памяти другую Марию, которую он, казалось, давно забыл. О чем рассказывать-то? Да и кто поймет Антанаса... Вдобавок он бы и не сумел все передать словами. Казюне ведь только посмеялась бы. И это было бы страшней всего; много лет прошло, но сквозь ужас и кровь войны по сей день чудится добрый свет девичьих глаз. Зачем же гасить его? «Вот война кончится, мы разъедемся кто куда...» — сказал Антанас в минуту затишья в душевной землянке, когда его товарищи уже спали. Мария ворошила огонь в печурке, отсветы пламени плясали на ее усталом лице и сырых стенах. «У каждого свой дом», — негромко ответила она. Антанас замолчал. Ему хотелось подсесть к девушке, коснуться ее узеньких плеч, маленькой руки, но он не посмел тронуться с места. Легче было перебежать поле под обстрелом, чем произнести слова, которые давно носил в сердце. Мария была тихая, незаметная, обо всех заботилась одинаково, все ее уважали, может, и любили все. И Антанасу казалось, что он посягает на неприкосновенную драгоценность, хочет погасить огонек, который светит всем в непроглядной ночи. «Мария, — приоткрыл спекшиеся губы Антанас, — Мария, после войны я тебе буду писать. Чтоб знать, как ты живешь». «Мы все будем

переписываться, весь взвод, кто останется в живых»,— ответила она очень просто. Кто останется в живых... «Мы останемся в живых!»— хотел закричать Антанас; он был уверен, что они останутся (по правде, он думал только о Марии и себе); почему же он не сказал: «Люблю тебя, Мария!»? «Люблю тебя, Мария»,— пошевелил губами. Но как прозвучат эти слова в землянке, провонявшей портянками и дымом? «Только не здесь... потом... завтра»,— решил он и подумал: в окопе скажет и пустит очередь из автомата по врагу, как бы поклявшись этим. «Почему ты не спишь, Антанас?»— спросила Мария и, пересев к нему на сбитую из досок лавку, откинулась рядышком к стене, закрыла глаза. «На берегах Преголы, я видела, фиалки цветут,— сказала она тихо.— Весна...» Вздохнула легко и заснула. Антанас глядел на потрескивающий огонь, чувствовал рядом плечо Марии и повторял про себя как заклинание: «Весна... весна...» Откуда он мог знать в ту минуту, что на рассвете ее кровь впитает весенняя немецкая земля?

О чем же рассказывать? О Марии?

— Ах да!— вспоминает Казюне.— Ты ничего не слышал? Говорят, на Каменной улице гаражи снесут.

— Не первый раз говорят.

— Теперь уж точно. Дома будут строить. Крягжде не рассказывала, у нее из окна видно. Сегодня утром, говорит, измеряли с аппаратами.

— Если еще только меряют, то не скоро.

— Как знать. Лучше б поспрошал в горисполкоме, может, другое место дадут.

— Теперь легче квартиру получить, чем гараж.

— Говорю тебе, поспрошай, не жди, а то поздно будет.

Конечно, худо дело, если это так. Антанас сам этот гараж слепил, своими руками. Один водитель подкинул самосвал кирпича, другой цемента... Тогда ни проекты не требовались, ни всякие там разрешения. С домоуправом пол-литра выпили— и стройся. А ведь гараж нужен был. Построил на совесть, с погребом для картошки. И бочонок капусты каждую зиму квасил. Хороший погреб, не то что этот, под домом,— сушилка. И если теперь... «Где же машину ставить? Где картошку держать? Картошка, если по правде, ерунда, а вот машину... как знать... А может, и не возместят, когда сносить будут?.. Где проект? Нету проекта! Значит, гараж ничей. Как это ничей? Гараж мой! Я же сам его...»

Антанас складывает газету, швыряет на столик и, поднявшись, ходит по комнате. Заложил руки за спину— нехорошо, сунул в карманы брюк— нехорошо, скрестил на груди— тоже неудобно.

— Папочка, почитай,— просит Рената, листая книжку с картинками.

— Потом.— Антанас даже не смотрит на внучку; сгорбился, голову в плечи втянул. Вдруг там действительно начнутся новостройки, ведь старые дома сносятся. Жуткие деньги вкладывают, чтоб только было удобно и культурно. Ну да, конечно, не посмотрят, что там твой гараж стоит. Раз уж запланировали...

— Папочка.

— Бабушку попроси, она почитает.

— Есть у меня время!— Казюне пересаживается на диван, запахиается в пушистый халат, сладко зевает.

— Папочка...

Звонит телефон. Антанас косится на жену— наверняка ей звонят. Будет теперь болтать целый час. Так времени нет, а когда с бабами— тра-та-та! Не язык, а бетономешалка.

Еще звонок.

— Тебе,— говорит Антанас, но Казюне не кидается к аппарату — зачем спешить-то.

Антанас берет трубку, держит в руке, ждет, чтобы жена подошла, она и сама знает, что ей звонят.

— Алло!

— Будь здоров, Антанас.

Мужской голос, такой сиплый, что Антанас поначалу не может разобрать слов.

— Алло! — повторяет он.

— Не узнаешь, Антанас? — рокошет, будто эхо далекого грома.

— Дядя Симанас?.. Телефон чего-то... Теперь уже слышу.

— Не звонишь мне, вот я...

— Случилось что?

— Разве только когда случится можно звонить?

— Ну что вы, дядя!

— Еще не начальник, а уже не подступишься. Что нового?

— Говорят, гаражи сносят на Каменной улице.

— С чего это вдруг?

— Дома строить будут.

— Вот и хорошо, сынок! Если дома строят, хорошо — людям будет где жить.

— Хорошо вам говорить, дядя! Если б там ваш гараж стоял, иначе бы запели.

— Мой дом тоже снесли. Вся Садовая улица была этими домишками загажена. Как умели, так и строили тогда. А теперь посмотри, какие дворцы!

— Ах, дядя Симанас,— с досадой протягивает Антанас.— Это разные вещи, как вы не понимаете!

— Сердишься? Откуда знаешь, что снесут?

— Говорят. Казюне пришла, ей заведующая сказала.

— Сказала да передала! Не будь бабой, Антанас. Когда с месяц назад я кое-что сказал, такой ветер поднялся, что думал, окна в цехе вышибет.

— Что же вы сказали, дядя Симанас?

— Разве я не хвастался? Сказал, что дальше так работать нельзя, косыми руками. Сколько мы можем друг друга надувать-то? В послевоенные годы, говорю, потрудней было, но вывели, хозяйство подняли, а теперь, значит, дурака валяем с благословения ученых мужей?! Почему рекламации приходят? Одна за другой!.. Наши машины ведь и за границу идут. Что там подумают? Литва — край косоруких?

— Дядя Симанас... Вы всегда сплеча рубите!

— Не перебивай, сынок. Меня там на собрании тоже пробовали прервать, а я выложил все как есть. Рассердились, не рассердились — чихал я. Правда, она вроде кнута. За премиями гоняемся да за знаменами, а сколько брака выпускаем за ворота! А по эту сторону ворот не видим, значит?

— Давно не слышал, чтоб вы так говорили, дядя Симанас.— Антанас весело перекладывает трубку к другому уху, прислоняется спиной к косяку двери, готовясь к долгому разговору с неумным стариком.— Вы настоящий старый солдат, дядя Симанас.

— Ты не смотри, что я на фронте не был. Я тут воевал, и порох у меня еще сухой. Начальство признало — замечания Симанаса Петрушониса придется, мол, изучить. То, что я, можно сказать, безграмотный, разглядел, теперь они, ученые головы, изучать будут! Дураками прикинулись. Не видели, мол, не знали...

Симанас неожиданно замолкает, будто устав говорить, переводит дух.

- Ну вот и рассказал тебе старую новость. Ты-то не звонишь.
- Да все так — то тут, то там...
- Видать, такое время, что и старая пословица шиворот-навыворот: гора с горой сходится, только не человек с человеком. Послушай, Антанас, какой-то парень заходил, спрашивал твой адрес. Мой ему в отделе кадров дали. Коротко стриженный, с бачками...
- Не может быть..
- Ты знаешь его?
- Антанас растерян.
- У проходной видел.
- Я у него спросил, зачем ему. По личному делу, говорит. Не догадываешься?
- Да откуда...
- Может, с Викторасом вместе служил? Не догадался выпытать.
- Может, оно и так.— Антанас, как утопающий, хватается за соломинку.
- Что-то мне не по себе, сынок. Проведал бы тебя как-нибудь вечером, да после работы едва ноги волочу.
- Нездоровится?
- Симанас, кажется, не расслышал, потому что торопливо говорит:
- Спокойной ночи!
- Антанас медленно кладет трубку на белый аппарат и стоит у двери, думая о дяде Симанасе и его словах.
- На экране телевизора широкое поле, залитое весенним паводком, прямо по лужам катятся тракторы, оглушительно лязгают гусеницы.
- Казюне!
- Халат на груди распахнулся, колышутся туго натянутые кружева рубашки, кажется, вот-вот лопнут, если Казюне вздохнет поглубже, голова свесилась на плечо, губы приоткрылись...
- Спишь, Казюне?
- Это я-то? — Она поднимает голову и устремляет осоловевший взгляд на экран.
- Выключу, хватит.
- Нет, нет, я смотрю.
- Когда бы ни вернулась Казюне с работы, рано или поздно, первый ее шаг — к телевизору: пускай говорит да показывает, ведь надо знать, что творится на белом свете.
- Смотри, не жалко, но ведь спишь.
- Ничего я не сплю! Глаза прикрыла — устали. Девчонке спать пора, а то пока еще эта притащится...
- Папочка, почитай.
- Завтра, Рената, завтра почитаю,— торопливо обещает Антанас.— Завтра... А теперь — в страну сонь, в дремучее царство...
- Не впервой ему укладывать внучку. И спрашивать не надо — где, что да как. Девочка так привыкла к этому, что не раз уже говорила маме: «Я буду у папочки спать». Дейманте сердится на нее. А за что сердиться, за что ругать малышку-то?..
- Укладывает в своей кровати, закрывает одеялом, сам садится на край, шершавой ладонью трогает лобик девочки — не горячий ли. Здоровая девочка, но много ли надо в садике: один захворал — и тут же другие заразились.
- Набегались за день, устали твои ножки, и глазки притомились,— говорит, наклонясь над ней, шепотом и вдруг ловит себя на том, что улетел мыслью далеко, на Север... Там теперь буран, и сын его Викторас топчется на выпке, потирая закоченевшие руки, и поглядывает на безмолвные бараки. «Ты поосторожней, сынок...» — «Мне нечего бояться, отец...» Обрывается мысль, как тончайшая нить,

и он видит коротко стриженного парня у проходной, который ищет кого-то взглядом. «У дяди Симанаса адрес спрашивал, — вспоминает. — Почему у него? Викторас работал на том же заводе, что и дядя Симанас... Хочет привет от Виктораса передать? Но если б Викторас послал его, он бы и адрес дал...» На дворе громко стучат шаги. Антанас вслушивается, подняв голову, медленно повторяет: — Все ребята уже спят, спят и видят сны... сны... — но не слышит своего голоса, растворившегося в темноте, полной эха шагов. Может, Дейманте возвращается? Могла бы хоть позвонить, разве трудно от матери? Нет у нее этой привычки. И Антанас не звонит матери Дейманте: «Нет ли у вас, случайно, сношеньки?» Нет, язык не повернется спросить. Неизвестно, что должно стрястись, чтоб он поднял трубку и набрал этот номер. Все-таки не Дейманте шла... Опять шаги... Грузные, мужские...

Тонкие пальчики Ренаты, сжимавшие руку Антанаса, медленно ослабевают. Она быстро засыпает, нет с ней горя. Спокойной ночи, воробушек... Бесшумно поднимается, выходит на цыпочках из комнаты, осторожно притворяет дверь.

— Так ты же опять!..

Казюне всхрапывает во сне, ее полные плечи вздрагивают. Смотрит на мужа, закатив глаза, не сразу приходит в себя.

— Заснула Рената?

— Спит.

— Пойду и я. Ноги озябли. На этом линолеуме как на льду.

Женщина не спеша идет по комнате, останавливается, взявшись за ручку двери.

— Все еще нет этой... Дейманте.

Говорит просто, сухо, как о чужой. «Уже списала, — думает Антанас, — вычеркнула из родни».

— Придет, — бросает он.

— Ха, придет! — Жена широко зеваает. — Конечно, явится. Никуда не денется, девчонка-то дома, прицеп...

— Говоришь, будто знаешь...

— Когда Викторас устроит тут свалку, ты тоже будешь любоваться.

— Я? Почему я?

— Давно твержу — напиши все как есть, сообщи. Нет да нет... И мне не даешь. Мол, съезжу, с глазу на глаз поговорю. Съездил. Ну и что? Чего сказал?

— У тебя все вот так — на весы бросила, да еще пальцем нажала...

— Вырастить вырастила, теперь пускай сам как знает... Захочет — жить будет, не захочет — разведется.

— Будто не о сыне говоришь.

Женщина молчит, обводит взглядом стены гостиной, но взгляд ее бродит где-то далеко, ищет что-то в прошлом, вздрагивает, обнаружив. Но говорит она все тем же тусклым голосом:

— Викторас всегда был твоим сыном, а мой ребенок еще не родившись умер.

Стоит минутку, будто ждет, что ответит Антанас. Нет, ей все равно, что он скажет; даже не посмотрит на него, зажала ладонью зевок и исчезла за дверью спальни.

Антанас Петрушонис берет газету, медленно раскрывает ее, не прочитав ни строчки, кладет на место. Дрожащими пальцами обнимает колени, уставившись под ноги на потертый ковер. Почему она попрекнула его, Казюне-то? Зачем это нужно? Поднимать из могилы прошлое... А похоронить его — можно? В глубокую яму, кажется, уложили и здоровенный камень наверх взвалили... Страшнее всего, что жена сказала об этом так, будто и не обвиняет она никого. Просто —

так было, и все. Так было... Ну конечно, было — ведь Антанас, едва переступив порог после работы, спрашивал: «Как мой сын?» Он всем твердил, что Викторас — здоровый и крепкий мальчик, что хорошо ест, что сделал первый шаг, что сказал «папа»... Даже по имени его почти не называл, все мой сын да сын. Казюне не сердилась за это. Она ведь радовалась, была счастлива, что у нее такой муж. Подруги не стесняясь завидовали их согласию, такому редкому в наши дни, если оглядеться вокруг... Но однажды, когда Казюне была на седьмом месяце и ждала своего ребенка, вбив себе в голову, что это будет дочка, ее дочка, позвонили у двери. На пороге стояла женщина. За ее руку уцепился мальчик лет пяти примерно... да, ему тогда шел пятый год. Казюне пригласила их зайти. Но женщина стояла на пороге и не говорила ни слова. «Антанас!» — встревоженно позвала Казюне. Антанас застрял в дверях, хотел спрятаться, но не смог. Глаза женщины огнем обожгли Казюне, ее торчащий живот, полоснули по существу палец Викторасу, наконец впились в Антанаса. Женщина молчала, кусая ярко накрашенные губы. «Вы, наверно, заблудились?» — сказала Казюне, оглянувшись на Антанаса, чтобы поддержал. Антанас просто окаменел — все было так неожиданно и страшно для него. Женщина наклонилась к своему ребенку и вполголоса сказала: «Вглядись хорошенько, Алексюкас». «Вы заблудились!» — закричала Казюне, привалившись спиной к стене. Женщина подняла голову и медленно, запинаясь, выговорила: «Да, мы заблудились, Антанас». Посмотрела на Антанаса, повернулась и почти бегом утащила своего мальчика от двери.

Казюне все поняла, отпираться не было смысла.

На третий день машина «скорой помощи» увезла ее в больницу.

Две недели спустя Антанас привез домой ее одну...

...Хлопнула дверь, и Антанас вздрагивает, проводит ладонями по лицу, утыкается в газету вверх ногами, не замечая этого. Слышит, как Дейманте снимает туфли в передней; в проеме двери мелькает замшевое пальто, — она входит в свою комнату, зажигает свет. Скрипит дверца шкафа, грохочет отодвигаемый стул, скрипит матрац кровати. Воцаряется тишина. Антанас сидит, облокотясь на колени, тупо складывая газету пополам, еще пополам, еще, потом сжимает в руке бумажный ком будто камень — вот-вот запустит в кого-то.

— Почему не спите? — резко спрашивает Дейманте и сама пугается.

— Не поздно еще, — виновато оправдывается Антанас Петрушонис.

Дейманте открывает дверь спальни, с порога ищет взглядом Ренату. Казюне поднимает голову; не успела еще заснуть, заботы не дают спать. Бывает, некуда деваться от мыслей-то, а поостынешь и понимаешь: зря нервы трепала.

— Наконец-то, — выдыхает, переворачиваясь на другой бок.

Дейманте обжигает этот вздох. Она скрещивает руки на груди, вздерживает подбородок.

— Может, скажете, когда мне приходиться?

— Сама график составляй.

— Следите за каждым шагом, чтобы донести!

— Не заливай.

— Я не прочь! Пожалуйста! — Она не может сдержаться; злорадная ухмылка свекрови выводит Дейманте из равновесия. — Теперь ваш черед ехать, сыночек заждался! Скажите: по ночам, мол, шляется... Все скажите! — Захлебнувшись словами, трясет головой.

Казюне — женщина многотерпеливая, но спуску давать не любит.

Садится в одной сорочке, отбрасывает с лица волосы и тычет пальцем в Ренату:

— Видишь — девчонка! Забери! У меня работа завтра, отдохнуть надо, а не твои лекции слушать!

— Казюне! — кричит Антанас, вставая со стула.

Дейманте берет Ренату за руки. Девочка лепечет что-то во сне, обвив руками мамину шею.

— Дейманте... — Петрушонис разводит руками — кажется, подойдет и обнимет сноху как дочку. А может, сама она бросится к нему в объятия, прижмется...

— И вы!.. Все расскажите!.. — кричит Дейманте, убегая к себе.

Стоит Антанас Петрушонис посреди комнаты, наклонясь вперед, свесив жилистые, будто из жгутов свитые руки. За работой легче бывает, думает. Вот бы жить одной работой-го...

6

Ключ сорвался, и костяшки пальцев ударились об острую грань заготовки. Боль обжигает огнем, ноги подкашиваются, спина приваливается к железной опоре.

— Товарищ Петрушонис!

Медленно приливает кровь, пальцы так и пылают.

— Товарищ Петрушонис, да что с вами?

Симанас Петрушонис только теперь замечает девчонку в синем халате, ее округлившиеся от испуга глаза.

— Со мной-то? А что со мной может быть?

— Я подумала... У вас такой вид... Начальник вас вызывает!

Симанас поднимает правую руку к глазам. Вроде пустяк. Костяшки малость посинели; спасибо хоть кожу не содрал. Осторожность никогда не мешает. Да нет, просто руки с самого утра были какие-то грузные, как онемевшие. Странное дело, он все чаще чувствует во всем теле тяжесть. И ночи стали душнее, и сон тревожный; утром встает с трудом и долго стоит, держась рукой за стену, пока не уйдет голова кружение.

— Товарищ Петрушонис! — Девчонка в синем халате ждет.

— Да иду, иду.

Сквозь пыльные окна цеха сочится мутный свет осеннего дня, под потолком мигают лампочки. От грохота машин дрожит воздух. Плавно движется мостовой кран, на тросах раскачивается огромная шестерня.

— Осторожней! — Рослый слесарь хватается Симанаса за плечо. — Может, тебе и надоело жить, да я тут при чем? Потом расхлебывай!

Перед конторкой начальника цеха Симанас Петрушонис вытирает ладони о комбинезон, бросает взгляд на пострадавшие пальцы — пустяк, правда пустяк — и тихонько открывает дверь. Ляонас Райжис, отвернувшись вместе со стулом к стене, держит в горсти телефонную трубку:

— Я же сегодня на пятиминутке у директора говорил: нельзя так! Откуда я возьму рабочих, чтоб в колхоз посылать, когда план горит?.. Нет, нет, ничего не выйдет. Нельзя отрезать там, где и без того нехватка. Все. Будьте здоровы...

С треском швырнув трубку, поворачивается к своему заму, который за соседним столом налег грудью на чертежи:

— Отдел снабжения сорвал график, вовремя детали не поставил, а потом не стесняется оправдываться — мы в колхозе картошку копали! Сейчас, в конце месяца, двадцать рабочих им подавай! В рабочее

время. С ума спятили! В субботу, в воскресенье, если есть желающие...

Симанас переминается с ноги на ногу, хочет вмешаться в этот разговор — как же так, надо помочь людям, каждый день дождь как из ведра, — но, смолчав, ждет, что скажет ему начальник.

— Цех тары в Дребулине, говорят, чуть ли не совсем стоит. Там же одни местные работают. Кто по грибы, кто по ягоды, кто в своем огороде увяз... Такая пора сейчас, за каждым человеком бегай. А тут еще готовую продукцию сбыть нельзя — ящики кончились. А вот попробуй растолкуй все это!

Симанас делает шаг вперед. Ляонас встает, выходит из-за стола.

— Вызывал я вас, Петрушонис, — говорит, вроде оправдываясь, что помешал. — Как жизнь?

— Да шевелюсь, начальник.

— Присаживайтесь, — машет рукой на коричневый табурет у стены. — Пожалуйста.

— Спасибо, работа ждет, — отмахивается Симанас, хоть и страшно тянет присесть, ноги так и подгибаются.

— Отдохнуть надо, Петрушонис. Удивительно, откуда у вас и силы берутся!

Теплые слова Ляонаса Райжиса отогревают душу старика — что ж тут странного, все работа да работа, по-людски потолковать некогда. А начальник ведь — свой, и хороший, человек.

— Что и говорить, каждый год все глубже подрубают дерево, на котором сижу, — признается Симанас. — Не то что раньше: оглянуться не успеешь, а день пробежал.

— Дожить до таких седин и трудиться — редкость. Правда редкость. Ведь ваших однолеток на заводе раз-два — и обчелся.

— Вся жизнь в этих стенах, да и здоровье теперь... — Симанас замолкает, опускает глаза.

Ляонас Райжис возвращается за стол, перебирает на нем бумаги.

— А может, отдохнуть пора, Петрушонис?

Недоброе предчувствие сдавливает сердце Симанаса.

— Как прикажешь понимать, начальник?

Ляонас Райжис бросает на стол карандаш, улыбается дружески, но улыбка эта какая-то робкая, вымученная.

— На пенсию не собираетесь, Петрушонис? На заслуженный отдых?

Симанаса вроде кто-то в грудь толкнул, и он опускается на табурет, бессильно сложив на коленях натруженные, лоснящиеся от смазки руки. На лбу еще четче проступают борозды морщин, вздрагивает подбородок, заросший седой щетиной.

— Значит, все? — произносит он шепотом, глядя в замусоренный пол.

— Мы же хотим, чтоб вы здоровье поберегли, жили бы до ста лет. С удочкой у реки да по соснякам... А надоест сидеть без дела — можно в совет пенсионеров...

— Знаю, не нужен. Как загнанную клячу на звероферму, лисицам на съеденье.

— Товарищ Петрушонис, я же понимаю... понимаю, что это...

— Да что ты понимаешь! — Симанас легко встает с табурета, разводит руками, оглядывается словно в поисках поддержки, но кабинет пуст, незаметно улизнула заместитель, только в дверях соседней комнаты стоит девчонка в синем халате и, выпучив глаза, смотрит на него. — Ты-то хоть понимаешь, что мне посулил? Я — да без работы?! Пятьдесят лет день в день... и теперь... Ничего ты не понимаешь!..

— Товарищ Петрушонис, — встает и Ляонас Райжис, прячет руки в карманы брюк и снова вынимает, — администрация и общественные

организации посоветовались, взвесили... Я хочу только сообщить вам... устройм торжественные проводы, с оркестром...

— Ха! — Будто пробка выскочила из горла Симанаса, и он, пошатнувшись, издает вымученный смешок. — Оркестр вы мне наймете, чтоб на кладбище проводить! А покамест еще меня не хороните. Я работать хочу! Вынь рыбу из воды — мигом задохнется, так и я без работы.

Ляонас Райжис и не подозревал, что на него взвалили такую тяжелую обязанность. «Потолкуй со стариканом, Райжис. Что-то он засиделся. Докажи ему по-деловому», — сказал директор, и Ляонас согласился, но все не мог заставить себя обмолвиться об этом, боялся, что Симанас истолкует по-своему: мол, мстит за Дейманте, за жену внука. Две недели прошло, а сегодня звонок: «Ну как?» «Никак». — «Чего ждешь?» Конечно, директор хоть виду и не подает, но затаил обиду за это выступление Симанаса на партсобрании. Главное — в присутствии секретаря райкома. Старику-то и невдомек, что за гость сидит... Выложил напрямик все, что на сердце лежало, да еще, как обычно в таких случаях, малость переборщил. Но когда у человека болит, разве он в состоянии все взвесить с точностью до миллиграмма? «Для всех нас на первом месте престиж завода. Если встречаются неполадки, это трудности роста. Не следует их раздувать! Мы же боремся... наши планы... наша продукция...» — горячо объяснял директор. Как подумаешь, он прав, это не шутка — руководить таким заводом. Но и Симанас в чем-то прав, и не следовало бы все сводить к общим фразам... Конечно, директор это директор, и чертовски трудно...

— Давайте говорить напрямик, товарищ Петрушонис. — Ляонас Райжис сам удивлен, что говорит таким официальным тоном с человеком, который... — Я же вижу каждого рабочего в цехе, вижу, кто как работает. — Достав из кармана хронометр, нажимает и следит за ползущей стрелкой. «Докажи по-деловому», — снова звучат слова директора, и он зло кривит губы: паскудней быть не может, когда приходится против своей воли... — Особенно нас заботят темпы. Скорость! Одну и ту же операцию, скажем, один рабочий выполняет за пять минут, а другой за три. Кто из них нужнее заводу?

— Значит, плохо работаю? Весь цех хорошо, только я плохо — так получается?

— Не все хорошо. Ругаем таких, наказываем. Ни для кого это не секрет. Но вы ветеран, неудобно же вас ставить на одну доску с теми, кто...

— А за ворота вытурить удобно?!

Ляонас Райжис опирается костяшками пальцев о стол, наклоняется и, внутренне напрягшись, ждет. Ведь старикан непременно вспомнит о Дейманте, все свалит в кучу, запутает и почувствует себя правым. Что Симанас Петрушонис никогда за словом в карман не лезет, это правда: рубит прямо сплеча. Но за что все это достается Ляонасу, он-то тут при чем?! Пускай с директором разговаривает. Но ведь не пошлешь к нему старикана. И не откроешь карты. Ляонасу не с руки вступать в мелочный конфликт с руководством завода. Есть сотни дел поважнее: производственная текучка до предела натягивает нервы, а из-за старика... Да ведь этот старик, опомнись, всегда был для тебя не просто рабочим в цехе («Вставай, паренек, опоздаем... На капусту налегай. Квашеная капуста — самый что ни на есть витамин, сплошное здоровье!.. Не напрягайся так, до конца смены не выдюжишь...»). Но почему он разговаривает, как с каким-то фабрикантом? Будто рабочих на улицу выбрасывают, как когда-то. Нет, советские законы обеспечивают пенсией каждого, проработавшего... «Да я сам, — думает Ляонас, — дай только дождусь возраста, уйду в тот же день, и чтоб их всех черти драли!..» («Только бы детей на ноги поста-

вить да чтоб они честными людьми стали — ничего больше не хочу, — говорил когда-то Симанас. — И чтоб я сам на старости лет никому не мешал...»).

— Завод — не дом для престарелых, — наконец говорит Ляонас как может спокойнее, ведь только этими тяжелыми словами он может приглушить нахлынувшее тепло воспоминаний. — Интересы завода — наши общие интересы, всего государства!

Страшная слабость подсекает ноги, и Симанас Петрушонис снова опускается на табурет, привалившись спиной к стене, даже затылком прижимается к холодной штукатурке. Судорожно втягивает воздух, молчит, прищурив глаза.

— Напишите заявление. С Октябрьских праздников... Так будет лучше.

Ляонас Райжис снимает трубку, набирает номер. Слышны отрывистые гудки.

— Надо смотреть правде в глаза, товарищ Петрушонис. Для каждого наступает старость, и приходится уступить место молодым... Так жизнь устроена. Не вы первый...

— А ты помнишь, — сдавленным усталым голосом, все так же с прищуром глядя куда-то, отвечает Симанас, — ты помнишь, спрашиваю, пятое сентября, кажется... пятидесятого года?

Райжис раздраженно отворачивается к окну. Чувствует, куда клонит Симанас, и знает, что теперь его не остановить.

— Поработали бы вы на моем месте: не вспомнишь, что завтракал.

— В тот день ты пришел в цех. Шестнадцать тебе было. Я спросил: «Что умеешь, паренек?» Ты ответил: «Ничего. Хочу быть слесарем». И я тебя с того дня начал учить слесарить. «Мой Лявукас», — говорил я тогда. Лявукас... А ты называл меня дядей Симанасом...

Ляонас тискает пальцами обеих рук лацканы пиджака, тянет изо всех сил — кажется, вот-вот полетят швы.

— Я всегда помню это. Но зачем вы сейчас? Разжалобить хотите?

— Нет, нет, Лявукас... начальник. — Держась рукой за стену, Симанас встает и тяжелым шагом движется к двери. Вдруг останавливается, помолчав, оборачивается с какой-то новой силой и поднимает голову. — Не потому ли все так, что правду тебе в глаза выложил? Что из-за жены моего внучатого племянника, этой Дейманте, к стенке тебя прижал?.. Не потому? А?

Ляонас Райжис не растерян, он не вскакивает со стула, а холодно смотрит на Симанаса.

— Этого вопроса я ждал, признаюсь. Подозревал, что вы можете все повернуть именно так. Ну что ж... — И, помолчав, добавляет: — После работы зайдите к кадровику.

Нога задевает за какую-то железяку, и Петрушонис едва не спотыкается на дорожке. Крепко сжимает кулаки: боль тут же обжигает правую руку. Да ладно, пустяк, работать можно. И он будет работать! Не сложит инструмента, не поднимет рук — сдаюсь, мол! Нет, нет, он еще может, он покажет, пускай не думает Лявукас... начальник. «И пускай не вертит хвостом — не понравилось ему, когда нагнул про Дейманте, даже позеленел весь, съежился, будто я кулаком его двинул под ложечку. «Я не смогу... не сумею вам объяснить, но это все очень серьезно...» — «Ты что, хочешь жену от мужа увести? Да еще в такое время, когда он в отлучке, когда каждая молодуха легко может...» — «Вам просто говорить... И я так рассуждал когда-то: это можно, а этого нельзя. А теперь ничего мне не ясно...» — «Не ясно, что нельзя чужую семью разрушать?» — «Представьте себе, не ясно...» Ляонас не мог тогда ни за письменный стол спрятаться, ни телефон-

ными разговорами загородиться — они стояли посреди заводского двора, мимо ехали грузовики, громыхали автокары, проходили люди, переключались у склада рабочие, выгружая какие-то детали. «Я не хочу ничего разрушать, но что поделать... Ничего я не могу...» Ляонас разводил руками, по его лицу градом катил пот, и Симанас от души пожалел его. Как сына. Ведь говорил он с ним как с сыном и бранил как сына. Лявукас... Жить было ему негде, и Симанас приютил его (после похорон старшего сына; «Будешь вместо него», — сказал); Ляонас целый год на раскладушке в кухне спал. Жил с ними, ел из общего котла, дружил с детьми. Потом получил койку в общежитии, но не забывал проведать. На глазах Симанаса рос. Симанас и к ученью его приставил, тоже как сына: «Не теряй зря времени, вечерами за книжкой сиди, и чтоб не пикнул у меня!» Пальцем ему грозил, а сам тоже накупил учебников, толстых, не детских же — стыдно было бы; читал, стиснув голову руками, но понять ничего не мог; опоздал — решил для себя, но виду не подал, все грозился какие-то экзамены сдавать. Но экзамены сдавал Ляонас, и радостно было слышать: способный, находчивый, изобретательный. А когда стал мастером, подарил Симанасу электробритву. «Не надо, Ляонас, ну зачем ты», — отнекивался Петрушонис. «Да возьмите, дядя Симанас, и за все вам спасибо». Ляонас по-мальчишески краснел, жал руку, вроде нагнулся, чтоб обнять, но засмутился и отошел. Шли годы, и в один прекрасный день Ляонас занял конторку начальника цеха. Поначалу вроде неловко ему в ней было, не по себе, но потом осмелел, пошло дело... И вот твой выкормыш, твой ученик говорит: постарел ты, старикан, и катись, а то суешь нос куда не следует... Так, так, Лявукас, так... Сую нос, куда не следует, и нарушаю твой покой...

— Оглох, Симанас?

Только теперь Симанас замечает, что цех опустел, затих, он один стучит, как дятел в бору. На сваленных фланцах сидит Казис Вилкас, спокойный и крепкий человек на шестом десятке, положив рядом с собой шапку и мятую газету с обедом.

— Заработаешься — и остановиться нелегко, — говорит Симанас Петрушонис, бросая инструмент в ящик.

— Вот что значит привычка.

Казис Вилкас обедает здесь, в цехе, развернув газету с тем, что припасла жена, — отравился в прошлом году соусиками и теперь ногой в заводскую столовку не ступит, разве что чаю выпить.

— Присаживайся, — зовет он, шурша бумагой. Ветерок от вентилятора развеивает жидкие седые космы. — Хватит обоим, ты не смотри.

Симанас выпячивает грудь, бодро задирает подбородок, шмыгает носом.

— У меня-то желудок железный, самого черта перемелет.

Вилкас, смачно пережевывая хлеб с отварной грудинкой, провожает Симанаса взглядом до самой двери длинного цеха.

После смены Симанас Петрушонис не пошел в отдел кадров. Спешить некуда. Сами найдут. Он гонит тяжелые мысли и крепко сжимает кулаки в карманах плаща.

Дома долго отмывает горячей водой руки, лицо, потом стоит перед зеркалом не в силах оторвать взгляда от старика с чужим, опавшим лицом. Встряхивает головой, зажмуривается, подбородок чего-то вздрагивает. Слышит, как жена в который уже раз зовет к столу, но ноги будто приросли к полу, и не оторвешь. Протирает слипшиеся веки, кончиками пальцев трогает морщины, осторожно гладит щеки. Мелькает мысль — побриться бы. Каждый день надо бриться... Лявукас бритву подарил...

— Зову, зову, а он в ванной закрылся,— с упреком говорит невысокая румяная старушка.— Остыло все.

— Я ж тебе говорил — не хочется.

— Не смотри ты на свой хочется — не хочется. Пришло время ужинать — и ешь. Откуда здоровье возьмется, если есть не будешь?

— Да уж, мать, ни к чему это здоровье теперь...

— Тьфу! — плюет старушка и убегает на кухню.— Как маленький все равно.

Без охоты жует пахнущие маслом вареники. Жена говорит о соседских детях, которые почему-то не в школе, а дома толкуются; о пустой кладовке — ни единой картофелины на зиму не припасли; о продавщице, которая за одиннадцатикопеечный сырок содрала тринадцать... Ее слова плывут откуда-то издалека, барабанят, как тяжелые капли дождя по жести подоконника: слушай, слушай и думай о том, что не дает тебе покоя.

— Чего молчишь?—Старушка наконец-то понимает, что говорила в пустоту.

— Я-то? — Симанас Петрушонис кладет ложку и говорит: — На пенсию хотят спровадить!

Она тоже откладывает ложку, придвигается вместе со стулом поближе, ставит на стол острые локти.

— Так уж, видать, положено, Симанас?

— Что положено? — отшатывается Петрушонис.

— Раз сказали, то положено...

— Голова у тебя!.. И не подумая! — Симанас крепко поджимает губы и смотрит на сумеречный вечер за окном.

— Может, я чего не так сказала? Оба дома будем... Лучше не ждать, пока хвороба уложит.

Симанас встает из-за стола, тащит тяжелые ноги в соседнюю комнату. Грузно садится на узенькую кушетку, утыкается подбородком в грудь. Голова тяжелая, аж гудит, и все тело какое-то не такое, помятое, будто он чудом выбрался из-под колес. Пятьдесят лет тянул телегу на заводе и ни разу не подумал, что колеса по нему, по нему самому катятся.

— Как знать...— Торопливыми шажками входит в комнату жена и присаживается на краешек стула.— Как знать... Вот когда я на пенсию уходила, стиральную машину мне подарили, помнишь? Как знать, что тебе...

— Гроб! — цедит сквозь зубы Симанас, и это слово так неожиданно и так страшно для него, что он прикрывает ладонью глаза.

Жена молчит, хлопает глазами и не может отдышаться.

— Спрашиваешь сама не знаешь что,— с упреком говорит Петрушонис и чувствует на плече легкую руку жены. Но она только прикоснулась и тут же отвела пальцы — вдруг не угодила, вдруг накричит на нее старик.

— А я всегда так — что на языке, то и говорю...

— Разве не видишь, что я еще могу работать? — Симанас распрямляет плечи, пыжится.

— А сам не раз уж на здоровье жаловался.

— Это я-то? Жаловался?

— Задыхаешься, говорил.

— «Авроры» не было, накурился этой соломой с фильтром... Только в тот раз, помнится.

— И в груди, говорил, тесно.

— Опять ты за свое!

— Да я ничего.

— Нет, нет, пускай не думает Лявукас... Это он, начальник, вы-

звал и говорит... И знаешь почему? Не понравилось, что не умею глаза закрывать и уши затыкать.

— Да вроде непохоже, Симанас, ты не говори. Он всегда прямой был...

— Был! Мало какой был! А теперь... И не подумает, что я работой жив. И я еще поработаю, вот увидишь, мать, я еще... еще...

Симанас распяляется, голос у него срывается, но он хочет доказать и жене и себе... главное, себе, что он не какая-нибудь развалина. Вскрикивает с кушетки, но в этот миг невидимый молот бьет его по темечку, перед глазами всплывают зеленые круги, и он садится опять, чувствуя, как все тело заливают теплая волна.

— Отдохни, Симанас,— слышит он заботливый голос.— Пойди приляг, а я на кухне приберу.

Петрушонис оглядывается, ищет, за что бы ухватиться рукой, взгляд задевает две фотографии на стене, и он всматривается в них, будто видит впервые.

— Принеси подушку, я тут поваляюсь.

Жена бросает подушку на валик кушетки, и Симанас вытягивает ноги. Глаза снова находят эти две фотографии — обоих сыновей: старшего — Альгирдаса и младшего — Кястукаса. Нет обоих, давно уже нет. Таких молодых вырастил! Альгирдас уехал в деревню на заем подписывать — тогда он в исполкоме работал. Не один, пятером уехали. Когда вечером не вернулся, всю ночь сердце колотилось — нет его, нет! Утром всех пятерых сняли мертвыми с грузовика. Человек с автоматом сказал: «Бандиты напали». Младший, Кястукас, еще мальшом был — перед самой войной родился. На похоронах брата подошел, прижался и говорит: «Папа, больше никогда войны не будет... И бандитов не будет...» После призыва поступил в летное училище. И Симанас и мать были против — так далеко от дома! Но разве запретишь... Кястукас часто бывал у родителей, и надо было видеть, как загорались его глаза, когда он рассказывал о полетах. Гладко у него получалось-то, не одну благодарность прислало командование: «Спасибо за отважного сына...» А потом — весть: «При исполнении служебных обязанностей погиб смертью героя...» Его товарищи привезли белую урну с горсточкой пепла... Веселые глаза глядят с фотографии из-под козырька форменной фуражки... И пачка писем в ящике шкафа. «Дорогие родители...» — каждое начинается так. А в другом ящике под бельем тоже спрятаны письма. От дочки Алдоны, младшенькой... Ее тоже нет. Но фотография ее на стене не висит. «Рядом с моими соколами места ей нет!» — сурово и с болью сказал тогда жене Симанас. «Будто не твоя дочка!» — заплакала жена. «Не моя!» — снова сказал Симанас. И по сей день своего слова не взял назад. Но письма, обклеенные красочными марками, приходят. Жена перечитывает их тайком, иногда смолвится, но Симанас отвернется и промолчит. Если могла бросить свою родину, отца и мать... Мол, свет повидано, в Дортмунде жить буду... «Если так, ты мне не дочь!» — отрезал Симанас, но Алдона губки надула: «Как хотите, папа, но мы с Фридрихом уже расписались...» После двух недель знакомства, начавшегося в ресторане... «У него новый «фольксваген», двухэтажный дом у родителей...» — «А ты не спросила — не его отец избивал меня в оккупацию?..» Симанас в тот же вечер показал дочке на дверь. Однажды, несколько лет назад, в минуту слабости, когда жена ушла в магазин, он выдвинул ящик, нашел дочкины письма и цветные фотографии — Алдона улыбается у автомобиля, улыбается у дома между двумя кустами роз, улыбается с плывущего катера... На каждой карточке она улыбалась, и эта приторная улыбка была вроде плевка в лицо. «Хоть и собакой быть, но на родной земле», — процедил Симанас и сам не

почувствовал, как его пальцы в клочья разорвали фотографии. Испугался, долго смотрел на пол, усеянный бумажками. Что жене скажет? Письма, так и не прочитав, сунул под белье и ушел в город. Вечером, когда вернулся, еле волоча ноги, жена грустно посмотрела на него, вздохнула и не промолвила ни слова. Но Симанас понял — разорвать дочкины фотографии было нетрудно, но как ее вырвать из сердца? А может, и не стоит? — подумал потом. Если человек живет счастливо, если ему хорошо — пускай. Ты ведь отец. Она, дочка, последняя живая поросль... Подумай, подумай... Симанас думает, но и по сей день не знает, что делать. Но если жена когда-нибудь опять захочет повесить на этой стене дочкин портрет, он повторит свои слова: «Рядом с моими соколами места ей нет...»

— Спишь? — негромко спрашивает жена.

Симанас дышит глубоко, положив правую руку на лоб, смотрит на сгущающиеся сумерки, в которых растворились лица сыновей — остались лишь серые прямоугольники рамок.

— Были б у меня сыновья... — начинает Петрушонис, словно говорит сам с собой, но замолкает и потом уже добавляет: — Заступиться некому, когда ты один...

— Не обижайся, Симанас, старость.

— Для тебя старость, ты и помалкивай, мать. А я еще могу... И завтра в отдел кадров не пойду. Чего я там не видел!..

Стоит старушка рядом, сложив высохшие руки под грудь, склонив голову, смотрит на мужа, на которого никогда и никому не жаловалась, и думает: ну и летят же годы...

7

Медленно движется бетонная плита. Антанас берет ее за край и ведет в сторону. Лязгает стрела автокрана, скрипит блок лебедки.

— Еще! Еще! — кричит он, показывая левой рукой крановщику: поближе к желобу, мол. — Стоп!

Рука поднимается, потом медленно опускается. Взмах ладони — и бетонная плита застывает. Антанас Петрушонис опускается на колени, подравнивает плиту, прищурился, смотрит, как она ляжет.

— Живей! — кричит крановщик, высунув кучерявую голову из окошка кабины.

— Я свое дело знаю, — отвечает Антанас, еще раз проверяет все на глаз и кричит: — Гоп!

Аккуратно и мягко ложится крышка на края желоба, закрывая еще два метра изолированных труб. Взмах рукой — и тросы ослабевают. Антанас отцепляет крюки; позванивая, они уплывают к берегу траншеи. Сдвигает на затылок желтую каску, присев на корточки, еще раз смотрит на края желобов — аккуратно уложено, как по мерке. Глазомер у него всегда хороший, и на точность руки жаловаться не приходится.

— Эй ты! — зовет крановщик пропавшего куда-то Качергюса, в досаде начинает материться: закругляться пора, рабочий день кончается, нечего валандаться, завтра его на другой объект бросают, ищи-свищи, не скоро они его дозовутся!.. Спрыгивает наземь, озирается, забегает за штабель панелей. Нету! Кидается к новому цеху, где расселись в кружок мужчины. Тоже нет. — Ну все! Я поехал!..

Размашистым шагом возвращается к автокрану. А тут стоит Качергюс и спокойно сосет сигарету. Щеки разругались, так и пышут. С чего это он раскраснелся?

— Где тебя черти гоняли? — взрывается крановщик, в сердцах отшвыривая ногой кирпич, будто опасается, что лежит под рукой.

— Ты мне не начальство,— спокойно отвечает Владас Качергюс и, сплонув, добавляет: — Мне и на начальство вот так.— И сплевывает еще раз.

— Работа кончена, я поехал. Он пьян!— громогласно заявляет крановщик и, взобравшись в кабину, опускает лебедку.

— Катись,— поддакивает Качергюс.

— Ты куда?— Антанас Петрушонис карабкается по лестнице из траншеи.— Куда ты? Плиты четыре осталось, а он...

Как нарочно и бригадир бежит, Игнас Дрангинис. С первого взгляда понимает что к чему.

— Стой! Ни с места! — отдает команду, но тут же, поскользнувшись на раскисшей глине, смешно взмахивает руками и другим уже голосом добавляет: — Будь человеком, кончай.

— Вот этому ужасу спасибо скажи.— Крановщик машет рукой на ухмыляющегося Качергюса.

— Да ведь еще целых полчаса, товарищ...

— Чтоб я тут зря стоял, чтоб бегал за каждым... который — хочу работаю, хочу под кустом валяюсь. Нет! Поехал! Рапорт напишу в управление...

— Да будь ты человеком! — умоляет Игнас Дрангинис, даже руку к груди приложил.

— Игнас! — не выдерживает Антанас Петрушонис.— Это же не человек, а гад! Вроде Качергюса. Два сапога пара! Этот, пожалуй, похлеще будет, как погляжу!

Автокран взрывает и медленно, покачивая стрелой, уползает по краю изрытого заводского двора.

Владас Качергюс швыряет окурок, смотрит на часы и спокойно говорит:

— И правда домой пора.

Бригадир, кажется, только теперь замечает его, подходит вплотную, просто носом утыкается ему в грудь.

— Вдрызг,— говорит Игнас Дрангинис даже без злости, с тихим отчаянием.— Ты каждый день под газом.

Качергюс, не вынимая рук из карманов шганов, поворачивается уходить. Поворачивается резко, твердым локтем ударив Дрангиниса в грудь и подставив длинную ногу. Бригадир мягко упирается руками в кучу свежeverытой земли.

— Опять поскользнулся, бригадир, да? — смеется Качергюс, вроде хочет помочь ему встать, но бригадир вскакивает, сбивает с ладоней землю.

— Этого мы тебе не спустим! — Голос его срывается.— Ты меня толкать не будешь на рабочем месте...

— Ты правда хочешь, чтоб я тебя толкнул? — Качергюс медведем нависает над бригадиром.— Хочешь?

— Ты видел, Петрушонис? — пятится Дрангинис.— Все видел? Свидетелем будешь...

Антанас Петрушонис хочет сказать: «Успокойся, Игнас, буду свидетелем» — утешил бы как ребенка. Он же ребенок и есть, хоть и в армии отслужил. Может, потому, что недоросток какой-то. И нелегко ему с бригадой, просто горе. Все кому не лень потешаются, может и незлобиво, но все равно в душу плюют. Краснеет Игнас, пробует отбрезиваться, но с этими старыми волками не очень-то сцепишься, зубы не те. В самом начале пробовал, правда, навести порядок. «Никаких поблажек не будет», — сказал в первый же день, этой весной. И еще в тот же самый день Качергюс проверил паренька на прочность. «Гони пятерку!» — сказал. «Зачем?» — удивился Игнас. «Надо тебя прописать в бригаде!» — «Я не пью. И в рабочее время никому не позволю!» —

«А мне начхать, пьешь ты или не пьешь. Ребята выпьют. Ну, гони пятерку!» — приказал Качергюс, и Игнас полез в карман...

— Найдем и на тебя управу,— грозит Игнас, малость уже остыв, и все трет ладони.— Будешь свидетелем, Петрушонис.

Завтра он сделает вид, что ничего не помнит. Будет молчать, стиснув зубы, да обходить Качергюса за десяток метров. Ведь не первый же раз так... Скачи не скачи, а ты все равно цыпленок перед матерым петушиной.

— Пошли забетонируем.— Антанас Петрушонис будто клещами сжимает локоть Качергюса.

Владас дергает плечом, пытаясь высвободиться из крепкой хватки Антанаса.

— Не встрейвай, старик, не твое дело.

— Швы забетонируем.— Антанас отпускает руку, но не сводит с него жесткого взгляда.

Качергюс делает шаг в сторону. Уйдет или нет? А что с ним поделаешь, связанного в траншею не потащишь. Остановился-таки. Широкие плечи ссутулились.

Антанас Петрушонис берет запачканное раствором ведро, ставит рядом с Качергюсом. Звякает дужка.

— Набери и подай,— говорит, уходя к траншее. Перед тем как спускаться, оглядывается. Не на Качергюса, конечно,— на бригадира. Все еще чистоту наводит — отряхивает землю с плаща. Не покажешься людям в таком виде. Надо лоск навести. С ума с ним сойдешь, совсем как девчонка. Ему бы в конторе сидеть да бумажки перекладывать.

За траншеей дымится котел. На черта похожий Гедрайтис огромным ковшом черпает булькающий битум, наливает в ведро. Ветерок доносит тяжелый, но привычный, даже приятный запах. «Вот попаду в пекло, так всех чертей в котлы засажу,— любит шутить Гедрайтис.— Хлеб у них отобью, за старшого там буду». Пожилой уже человек, повидал в жизни всякого, любую работу знает и самой грязной не гнушается. Только вот в прошлом году беда у него стряслась — жена бросила и дочурку с собой взяла. Гедрайтис лишь своими черными ручищами развел: «Не понравился ей запах битума, хотела, чтоб я одеколоном вонял». Теперь Гедрайтис, говорят, живет с бабенкой, которую муж бросил. И подберутся же! Ну ладно, им видней.

Антанас загалкивает кельмой в щели между блоками стекловату и думает, что не только Качергюс, другие в бригаде тоже вроде заваленных колодцев. Откопай, вычисти всю грязь да муть — и доберешься до живого родника. Почему человек смиряется с грязью, копошится в ней, увязнув по шею, и ему даже начинает нравиться, что он такой? «Я маленький человек и никого не боюсь», — говорит Качергюс. С гордостью говорит и с сознанием скрытой своей силы и превосходства. Маленькому человеку все дозволено, и не удивительно, что он уже с утра ищет, где бы промочить горло. Он все сделает, что ему положено. Не сегодня, так завтра. А если напортачит, сам же и исправит — за отдельную плату, конечно. Или потом другие отремонтируют, а ремонт этих других переремонтируют третьи...

Чавкают тяжелые сапоги Качергюса, звякает ведро. Сплюнул Качергюс, глубоко дышит — устал.

Антанас Петрушонис, навалившись грудью на блок, теревит стекловату, не поднимая головы. Рядом снова слышен плевок.

— Ты, Владас, по-другому не можешь?

— Я все могу! — решительный ответ.

— По-другому работать, спрашиваю, не можешь?

— Уж и тебе не угодил?

— Почему мне? Не только мне, Владас, не только мне... Если б все мы по-другому работали, вон куда бы продвинулись, может, даже кончили уже.

— А пускай все и работают по-другому,— смеется Качергюс и смачно сплевывает.

— А ты, значит, по-своему... Спусти рукава?

— За орденами да медалями не гонюсь. Я маленький человек, старик.

— Каждый день слышу. И не надоест тебе?

— Что? — не понимает Качергюс.

Петрушонис только теперь поднимает глаза на Владаса, широко расставившего ноги на краю траншеи, ловит его мутный взгляд. И грустно улыбается:

— Пить тебе не надоест?

Качергюс снисходительно хихикает, потом ржет во всю глотку.

— Остряк, старик! Жуткий остряк, в жизни такого не видал.— Потом, уже спокойнее, объясняет: — Видишь, старик, иначе нельзя — организм требует.

— Оправдываешься?

— С каждым механизмом так — смазывай да смазывай! Не смажешь — полетит все к черту. А я ведь человек, старик. Если не выпью с утра, весь день как дурной.

Владасу нравится, что он такой. Хоть и маленький человек, но не рядовой. С самого утра все на него поглядывают, бригадир глаза прячет — не стоит связываться, слава богу, что работает.

— Знаешь, Владас, что бы я тебе сказал, будь моя воля? Коротко и ясно: катись отсюда!

На мясистых губах Качергюса появляется ухмылочка:

— Не такое теперь время и не ты надо мной хозяин!

Владас поворачивается к Петрушонису спиной.

— Погоди! Какую чертовщину ты мне принес? Не мог как следует раствор приготовить? Одни комки!

— Такой был,— лениво отвечает Качергюс.

— Воды принеси!

Антанас поддевает кельмой сгустки цемента — такой раствор в дело не пойдет. Опять засовывает в щели стекловату. Поодаль в траншее тараторят женщины. Их две, но как заведутся — целый базар. Старшая, Наталья, толстуха, кажется, вообще не замолкает. Младшая, Ванда, которую Качергюс (сам хвастал!) в обед не раз водил в лесочек, тоже трещит как заведенная и знай ногами перебирает. «Ну просто кобылица!» — сказал как-то Качергюс. Тьфу, опять этот Качергюс, он все кругом загадить готов. А ведь женщины свое дело делают — изолируют трубы, укладывают стекловату, потом проволочную сетку, связывают аккуратно... И хорошо, что слышен их смех — мужчины поднимают головы и живой налегают на работу. Этого Качергюса только за смертью посылать. Все еще нет воды.

— Владас! Живей!

Сердито тычет кельмой в раствор. Когда летом зарядили дожди, ребята, о чем бы ни говорили, все вспоминали деревню да запоздалую косовицу. «Сколько хлеба сгниет», — вздыхал Антанас. «Не волнуйся, в магазине хлеба хватит», — усмехался Качергюс. У Антанаса дух захватило: «Услышал бы твой отец такие разговоры!..» Качергюс ухмыльнулся: «А мой отец тоже хлеб из магазина жрет».

— Владас! — уже в сердцах кричит Петрушонис.

Из дыма появляется чумазая рожа.

— Качергюса зовешь? — Блестят белые зубы Гедрайтиса. — Нету его. Ушел уже.

Антанас Петрушонис сдирает каску, словно внезапно чувствует, как мучительно она сжимает голову. Выскочив из траншеи, оглядывается. Где же Дрангинис?.. Да он как ни в чем не бывало в бумажки носом уткнулся.

— Ну, знаешь, Игнас, если ты не можешь...— захлебывается Антанас и угрожающе сжимает кулаки.

Глаза у Игнасы невинные и жалкие. Исписанные бумажки дрожат в руке.

— Не можешь порядок...— уже тише протягивает Антанас.— Эх!..— И на дрожащих ногах уходит за водой.

В проходной, будто за руку схватили, останавливается и оглядывается, но видит только широкую мужскую спину. Дверь с табличкой «Отдел кадров» приоткрыта, на лестнице толкаются дети— видно, экскурсия на завод. Проходят люди, здороваются, перебрасываются словами. И Антанас бросил кто-то: «Привет!» Здесь многие знают его, немало еще рабочих из старого цеха. Ладил со всеми, может, потому его помнят и здороваются на улице или в автобусе. Снова ищет взглядом того странного парня, которого видел здесь, о котором... Да, наверно, это о нем говорил Симанас... Но если это сослуживец Виктораса, то почему не придет и не расскажет? «Зря голову забиваю»,— думает Антанас Петрушонис и, пробежав десяток метров, вскакивает в автобус. Но автобус не спешит трогаться с места. Люди толкаются, виснут на двери, просят продвинуться вперед. Да куда уж тут продвнешься, набито до отказа. Какая-то женщина просит:

— Поехали, водитель!

Тот преспокойно дымит сигаретой— он свой график знает: с места не стронешь, хоть ты разорвись криком.

— Расселся, будто граф!— ругается другой голос.— А ну-ка встань! Не видишь, перед тобой беременная женщина!

— А другим тоном нельзя?

— Я еще не так могу... Интеллигент нашелся!

— Он действительно мог не заметить,— застывает кто-то.

— Вот-вот, такие только себя замечают!

Автобус резко трогается с места, пассажиры, пошатнувшись, валятся друг на друга, и волна гнева рушится уже на водителя:

— Ездить не умеет!

— Не камни везешь!

— Первый раз за рулем, что ли?

И тут же все успокаиваются, начинают поглядывать в окна— не пора ли двигаться к двери, а то и свою остановку проедешь...

Мимо проносятся унылые, сбросившие листву липы, ползут по-осеннему черные дома и темные еще витрины магазинов, загорается реклама кинотеатра: «В двух шагах— бездна».

Антанас Петрушонис едет не домой— он сходит на Каменной улице. Старая улочка; одноэтажные деревянные дома с мансардами, заросшие садики, огороды, колодец с железной рукоятью насоса, уютный дымок из трубы, кошка, сидящая на столбике забора. Деревенка, уцелевшая чуть ли не в центре города; Антанас любит этот зеленый островок и всегда придерживает шаг, топя вдоль заборов, вдыхая родные запахи и лаская взглядом яблони да затейливую резьбу ставен. Надеялся когда-то, что его садик за городом тоже станет милым сердцу, уютным уголком. Не стал... Почему? Действительно, почему?

Отпирает гараж, заводит мотор и выезжает задним ходом. Снесут, вспоминает разговоры, все здесь снесут и построят новые дома. Не останется деревенки на Каменной улице. Так и будет, спору нет. Но

теперь Антанасу кажется, что гараж, построенный его руками, так незначителен по сравнению с этими зелеными деревянными домиками и старыми яблонями.

Машина, которую он ремонтирует по десять раз в год, катит легко, и Антанас обгоняет один новенький «Москвич», потом другой. Тормозит перед детсадом, громко хлопает дверцей. Вот обрадуется Рената, когда увидит, что папочка за ней не пешком пришел! Любит кататься, часами может сидеть за рулем в неподвижной машине. «Кем ты будешь, Рената, когда вырастешь большая?» — «Шофером». Ну просто мальчишка!

Антанас стоит перед дверью первой группы. Галдеж и грохот за дверью такой, что кажется, вот-вот весь дом развалится. Он заглядывает в комнату. И мальчики и девочки носятся по залу, гоняются, валяются друг на друга в кучу, кричат, смеются, визжат. Разрумянившись, швыряются игрушками. Глазенки так и блестят. Где же Рената? Она всегда сама подбегает к нему.

— Это что там творится?! — слышно за спиной. Воспитательница. Стройенькая, густо накрашенная девица.

— Добрый день.

— Здравствуйте, — говорит она и с порога командует: — А ну кончили! Ни на минутку нельзя вас оставить! Тихо!

Дети замолкают. Где же Рената?

— Я хотел внучку забрать, Ренату. — Взгляд Антанаса бегаёт по просторной душевной комнате.

— Рената! — зовет воспитательница и, не услышав ответа, вдруг заливается краской. — Дети, где Рената?

Дети молчат, уставившись на нее.

— Была она сегодня в садике? — спрашивает воспитательница у Антанаса.

— Да была вроде... Была, точно!

— Так где же она теперь? — Воспитательница пожимает узенькими плечами, румянец все ярче разгорается на ее щеках, губы вздрагивают. — Разве за ними усмотришь, когда их столько... Дети, где Рената? — спрашивает она еще раз.

— Ренату увели, — говорит мальчик с приплюснутой головой.

— Увели! Увели! — кричат уже все.

— Ну, вот, — облегченно вздыхает воспитательница, — а вы тут ищите... И напугали же меня!

— Кто же мог увести?

— Откуда мне знать, кто приводит, кто уводит! — сердито говорит воспитательница.

«Нет, нет, тут что-то не так, — думает Антанас Петрушонис, выйдя на улицу. — Жена на работе, Дейманте тоже никогда не возвращается в такой час. А вдруг?.. Как знать, может, дома уже...»

Тормоза автомобиля визжат перед домом, и Антанас торопится по лестнице. Нажимает на кнопку, слышит, как дребезжит звонок. Сейчас ему откроют дверь. Снова нажимает... А может, на балконе, может, в ванной стирает, за шумом воды не слышит? Торопливо шарит в карманах, ищет ключи. С ума сойти можно, куда он их сунул, всегда ведь... Ах вот!

Не разуваваясь обходит комнаты, оставляя открытыми двери. Ни души. Ну конечно, и жена на работе и Дейманте. Обе ведь позже возвращаются и не могли... Ну ясно, не могли...

Ноги отяжелели; Антанас опускается на стул и, зажав ладони меж коленей, ничего не видя, смотрит на серый линолеум. Потом поднимает глаза на телефон. Сидит долго, очень долго, насупив брови, наконец тяжело встает, поднимает трубку, послушав гудок, кладет

снова. Прислонившись плечами к стене, вытирает пальцами со лба холодную испарину. Опять поднимает трубку, набирает номер. Гудки до того пронзительные, что просто ушам больно, и нет им конца. Оборвались. Слышен глуховатый женский голос.

Антанас отнимает трубку от уха, хочет положить на вилки, но снова прикладывает.

— Я слушаю!

— Это я... насчет Ренаты... — лепечет Антанас и тут же сердится на себя. — Рената не у вас?

«Ответила бы поскорей. Чего молчит? Может, не узнала голоса, я-то ведь не назвался... Почему она молчит?»

— У меня.

— Я так перепугался! — Антанас даже улыбается с облегчением.

— Напрасно.

— Я всегда Ренату забирал... Почему сегодня?

— Вам, по-видимому, не стоит напоминать, что я мать Дейманте?

— Конечно... Ну да...

В ушах стоит звон от тишины в пустых комнатах. Антанас захлопывает дверь спальни, гостиной, ванной и стоит, опустив руки. «Ну и мадам! И почему я чувствую себя перед ней виноватым в чем-то? Госпожа директорша! Мадам... Тьфу!..» — сплевывает в сердцах.

Во дворе Юодснукис с обветренным румяным лицом ломает белый хлеб, сыплет крошки голубям, стайей слетевшимся к его ногам.

— Ну и нравится же мне, когда вы так зобаете. Цып-цып... цыпоники, — говорит ласково, как цыплятам, улыбается всеми морщинами, мельчит корку ногтем, разбрасывая в стороны по крошке. — Покушайте и летите. И смотрите у меня, ястребу не попадитесь... Цып-цып, цыпоники...

Увидев Антанаса, подходит, огибая голубиную стаю:

— Спичками не богат?

Задубелые пальцы старика шуршат коробкой, спичка падает на землю, старик, наклонившись, все не может ее ухватить.

— Да возьмите весь коробок, у меня есть, — говорит Антанас, направляясь к машине.

— Нет, нет, я сейчас. — Старик наконец прикуривает и возвращает спички. — Вот спасибо! — И вдруг его лицо проясняется, глаза оживают. — Не слышал утречком? И сегодня пел!.. Сдается мне, вон там, в том доме... Так выводил, что заслушаешься!

— Недолго попоет. Зарежут.

Юодснукис, шаркая по тротуару, уходит. Спрашивает через плечо:

— Куда это собрался?

— На огород.

Старик оборачивается еще раз:

— Говоришь, зарежут?

— Зарежут...

Провожает застывшим взглядом машину.

Антанас Петрушонис даже дороги не различает, машинально правит машиной. Но за городом, может, от осенних красок перелеска, в глазах становится светлей, голова проясняется, и он как-то вдруг понимает — теперь уже все! Раз забрали Ренату, то и Дейманте уходит. Что скажешь Викторасу? Да, что скажешь Викторасу?

Прямая песчаная дорога, по обеим сторонам — домики коллективных садов, дощатые, покрашенные в зеленый и желтый цвет; роскошные дачи из белого и красного кирпича, с верандами, мансардами, балконами и резными колоннами, гаражами; шашлычные и финские бани. Только у Антанаса Петрушониса собачья конура. Так назвала его

домик когда-то Дейманте — не зло, в шутку. Казюне тут же подхватила: просто срам, другие могут, а мы нет, можно подумать, не на что... Но если по правде, не так уж плохо выглядит домик — построил его бытовой комбинат, чего желать лучшего?

Все опустело, затихло. Тоскливо шумит старая сосна, ветерок срывает последние листья с яблоневых веток. Унылый вечер, ненастное небо, наверно, скоро заладит дождь.

Антанас берет из кладовки лопату, сбрасывает куртку. Под деревьями разросся бурьян, торчит порыжевшая мятлица, высокая польнь. Яблоньки молодые, урожайные, только в этом году не родили. Такой уж год — у всех сады пустые. А когда ветки облеплены яблоками, любо на них смотреть. И запах доносящихся плодов до того вкусен, что втягиваешь его полным ртом, дышишь этой вкуснотой, усевшись на лавочку, и все не можешь насытиться. Ноют усталые руки, веет влажной почвой, увядающими листьями, прохладой соснового бора... Очень редко удается тебе вот так забыться и почувствовать доброту земли. А ты ведь надеялся, что этот огород заменит тебе родную деревню, из которой ты так легко ушел, и лишь потом, гораздо позже понял, что в душе чего-то не хватает, что образовавшуюся пустоту нечем заполнить и она все растет и растет. Как старому моряку озеро не заменит моря, так и тебе... Вроде есть и полоска земли и деревья, но все тут ненастоящее. Казюне может подсчитать: вырастил три корзины лука, пять мешков картошки, клубнику и смородину, сами ели и соку нажали на зиму. И все. И ничего больше...

Втыкает лопату, ворочает дерн, не поднимая головы, а когда спина становится жарко, выпрямляется, облокотившись на рукоять. Была бы Рената, бегала бы тут неподалеку, всякие чудные вопросы задавала. А может, ее только на сегодня забрали? Завтра отведут в садик, и Антанас, нигде не задерживаясь, прибежит первым, и внучка пойдет с ним. Ну конечно, он ведь может отпроситься на часок, чтобы опередить эту мадам. Так и сделает! — решает Антанас, и ему сразу становится веселей, лопата ловчее поддевает дерн. Мигом он окопает целую шеренгу яблонь. Косится на сливы, и взгляд задевает дачу, затесавшуюся в сосняк. На окнах дощатые щиты, перекрещенные железными брусками, алеет черепичная крыша — вторую во всем саду не увидишь, дефицит. А рядом с дачей, он знает, бассейн, фонтан, каменная стена, увитая плющом... Не раз там бывал — и на дворе сидел на дубовых кругляшах, и в домике за бутылкой вина, среди стен, украшенных кабаньими шкурами и лосиными рогами, — хозяин любил приглашать соседей по участку, тем более сослуживцев — и рядовых и начальство. Но это было уже давно, за весь этот год Антанас ни разу никого не видел на этой даче. Кто-то сказал: начальник цеха Ляонас Райжис продает свой участок. Может, оно и правда, как знать. Но почему за все лето носа не показал?

— И Дейманте целое лето не была у тебя в домике, — произносит он вполголоса и так яростно налегает на лопату, что черенок ломается с хрустом, будто щепка. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, выдирает из земли лезвие лопаты, вернувшись к домику, швыряет на траву и в изнеможении опускается на камень.

Поздний вечер уже, от леса тянет сыростью, сипло каркают на лету вороны и тучей садятся на верхушку сосны. На разгоряченную руку падает капля дождя. «Домой пора», — думает Антанас Петрушонис, но не двигается с места, сидит, опустив голову.

Слышна машина. Рядом. Остановилась.

— Здравствуйте. — Из автомобиля выходит седой уже человек.

— Здравствуйте, профессор, — Антанас встает, пожимает руку.

— Успели уже поработать?

— С яблонями возился. Не кончил.

Антанасу приятно, что профессор частенько заговаривает с ним, спрашивает о разных разностях, а как-то рассказал ему о своих детях.

— Сегодня у меня тяжелый день — лекции, ученый совет. Голова — словно пчелы изжалили. Ах да, хорошо, что вспомнил. Есть такая песня: «Уехал парень на войну, меня оставил, сироту...» В ваших краях ее пели?

— Да вроде не слышал. Не очень-то я любил петь, но все песни, что тогда пели, и сейчас помню.

— Еще одна песня.— И профессор негромко запекает:

Не бросай ты родную деревню,
Не бросай ширь полей, темный лес...

Слабый, дрожащий тенорок далеким эхом прилетает из юных дней, и Антанас Петрушонис от волнения не может вымолвить слова.

Без тебя будет вечером скучно,
Без тебя будет некому петь.

— Знаете эту?

Антанас только улыбается, он все еще не в силах заговорить.

— Когда вы ее услышали?

— После войны. Тогда, когда сами стали поглядывать за околицу.

— Видите ли, весьма любопытно бывает выяснить, где родилась песня и почему именно там. В этом наши мнения с коллегами иногда не совпадают. И еще — путь песни через Литву. Сколько она путешествовала в условиях тех лет из одного уголка в другой? Значит, впервые вы услышали эту песню уже после войны?

— Точно, профессор.

— И я тогда ее услышал. Бывало, вернусь на каникулы, пойдем с отцом лужок косить, а потом присядем на край канавы в тенек и слушаем — то тут, то там заводят. И песни все больше тоскливые, горестные.

— Тяжелое время было.

— Да еще в деревне. Точно. Давно не виделись, потолковать бы еще, но вечер, хочется и мне мышцы поразмять.— Невысокий, седой, с крутыми залысинами человек снова протягивает руку, забирается в автомобиль и, не закрывая дверцы, говорит: — Крестьяне мы с вами. Оба крестьяне. Отрываемся от дел, срываемся, как собака с цепи,— и в поле!— Профессор смеется, но как-то невесело.— И умрем, видно, такими же...

Голубой автомобиль трогает с места и уползает вдоль леса, скрывается за пригорком.

Горбатого могила исправит, качает головой Антанас Петрушонис. Таскай этот горб весь свой век и не спрячешь его, если б даже захотел. «Домой пора»,— опять думает он, а губы нашептывают слова песни:

Не бросай ты родную деревню,
Не бросай...

Воронья улица, что напротив стадиона, тиха и укромна. Лишь летом, когда начинаются матчи, сюда стекаются толпы, рядами стоят автомобили, выстраиваются тележки с мороженым, у легких столиков вырастают горы ящиков с пивом и лимонадом. Обступив эти столики, мужчины пьют прямо из бутылок, утирают пот и яростно спорят — кто кого. Еще бывает уйма народу в праздники или

когда в городе проводят фестивали. Колонны со знаменами и плакатами или в карнавальных костюмах долго стоят на Вороньей улице, устав от этого стояния, люди садятся на тротуары и крылечки домов, а потом, услышав команду, пускаются бегом, как на пожар. Обычно же это тихая и забытая всеми улица: как вымостили ее когда-то булыжником, так он и лежит по сей день. Только брешей в мостовой все больше. И дома здесь сплошь старые. Каменные, закоптелые, с облупившимися и исхлестанными дождями стенами. У подъездов выцветшие таблички: «ЖЭК №3», «Дорожно-эксплуатационное управление», «Топливная контора», «Парикмахерская»... Лишь над угловым двухэтажным домом из красного кирпича по вечерам вспыхивает мигающий неон: «Галантерея». Это небольшой магазин, и поговаривают, что скоро его закроют, точнее — переведут в новое помещение в центре города, поскольку магазин этот слишком уж часто не справляется с месячным заданием и висит камнем на шее всей торговой сети города. Да разве наскребешь эти тысячи, если покупатели дверей не ломают и прилавков не опрокидывают? Войдут, оглядятся. Женщины спросят про немецкие лифчики, мужчины — про шведские лезвия. Нету. Ну, раз нету, то и в дверь... Конечно, летом, когда на стадионе толпы, и в магазин заглядывают чаще и кошельки достают живее. Но поздней осенью или зимой... Не бойкое место, что тут сделаешь.

А вот сегодня откуда и берется этот народ? Вечер уж, седьмой час, а дверь все хлоп да хлоп. И как раз когда стоять и ждать, купят чего или уйдут, некогда. Все на полках и под стеклом в витринах, но ведь не оставишь покупателя одного. Казюне бочком пробрается к приоткрытой двери в склад и зовет:

— Милда! Ты долго там? Люди!..

Пожилая женщина просит расческу. Казюне швыряет на стекло. Женщина просит другую, посветлее. Казюне намертво сжимает губы, а то ненужные слова сами рвутся наружу.

— Спасибо, — благодарит женщина и поворачивается.

Бродят тут всякие, сами не знают, чего хотят...

Для паренька достает ремень. Для другого стаскивает с полки дорожную сумку.

— Иди, я постою, — неожиданно шепчет ей заведующая Кряжде.

Казюне бросается опростелью, задев плечом за дверь, едва не вышибает косяк и мимо горы ящиков по узенькому коридорчику мчится прямо в комнату заведующей.

— А вот и я!.. — запыхавшись, кричит она и обводит взглядом двух женщин, столик и вместительную сумку на полу. — Что там у вас? Показывай, Статкувене!

Милда поднимается со стула, уступая Казюне место, а Статкувене, полная и довольно миловидная бабенка, приоткрывает сумку и вынимает сапоги-чулки.

— Разве не красота? — говорит гостя.

— Чего же ты, нахалка, так долго меня не звала? — выговаривает Казюне Милде.

— Тебе не подойдут.

— А ты мерила?

— Ей велики, — отвечает Статкувене.

— А Кряжде?

— Говорит, что в принципе против таких сапог. Довольно странные у нее принципы. Ведь это самые элегантные сапожки!

Казюне натягивает сапог на руку, придирчиво осматривает со всех сторон.

— Польские? — спрашивает.

— Французские.

— Ого! — Вещь сразу поднимается в цене.

— Сейчас примерю.

Милда фыркает.

— Ну, знаешь, Казюне...

— Чего ты будто кошка?

— У тебя икры такие...

— Обтянут, ты не говори.

— Осторожно, Казюне, не разорви, ради бога, — не на шутку испугавшись, просит Статкувене.

— Не переживай.

Казюне расстегивает черный сатиновый халатик, задирает юбку, поправляет капроновый чулок, перестегнув покрепче, и только тогда засовывает ногу в сапог и медленно натягивает на икру мягкое голенище.

— Да тебе ли, Казюне... — корчится от смеха Милда. — Они же выше колена, тут красивая нога нужна.

— Помолчи.

А Казюне уже натянула черный чулок над пухлой коленкой, перехватила шнурком и, вся пунцовая, стоит, еще выше задрав юбку.

— Что, не надела? Надела! Скажете, не идет?

— Их только молоденькие носят, Казюне, — хохочет Милда.

Казюне ставит ногу на каблук и на носок, шевелит ступней, озирается в поисках зеркала, но его нет, а словно было бы поглядеться.

— Ты не говори, Милда, я еще не того... Сколько лет, у меня на лбу не написано.

— Ей-богу, идет! — поддакивает Статкувене, поняв, что дело на мази. — Куколка, не ножка!.. На улице все будут оглядываться, точно! Такие сапожки днем с огнем не найдешь, а тут еще как влитые...

Казюне сияет, она едва не пускается в пляс. Но в одном сапоге...

— Надену-ка и на левую.

И снова любитесь, придерживая руками юбку да закинув за спину полы халата.

Милда уже не хихикает, ее разбирает досада. Сама мечтала о таких сапожках и выглядела бы в них, конечно, не так, как эта... Окорока ходуном ходят! Недавно явилась в обтянутой кожаной юбочке. Милда не выдержала, засмеялась в глаза. «Не нравится — не смотри! Кое-кому по вкусу моя комплекция», — гордо отрезала тогда Казюне.

Боже мой, смотреть противно...

— Класс! — говорит Казюне. — И ногам легко, тепло. Вот позавидует сноха!

— Ты же говорила, не живет она с вами, — замечает Милда.

— Мало ли что сейчас не живет. Может, будет. Вещи-то не забрала. И Викторас вернется.

— Да что ты говоришь, Казюне! — закатывает глаза Статкувене. — А я-то и не знала. Ни словечком мне не обмолвилась.

— Видать, из головы вылетело. Э, чихала я на нее... А цену-то и не спросила. Сколько?

Статкувене смущенно опускает глаза к столу, накрытому потрескавшимся стеклом, даже читает крупно выведенные буквы: «Обязательства». Наконец называет цену. Казюне рада бы поторговаться, но бросает взгляд на Милду и сдерживается.

— Беру, — соглашается и спрашивает: — Больше ничего нету?

— Все уж.

— Беру! — еще раз кивает Казюне и мчится в магазин. Слава богу, ни души! — Будь добра, — ласково треплет она плечо заведующей, — возьми из кассы восемьдесят рублей. Завтра принесу.

— Берешь? — таращит глаза Крягждене.

— Здорово выглядят, правда? Крик моды...

Крягждене кисло морщит нос.

— Знаю, знаю, — торопится Казюне. — Ты в принципе против таких сапожек, но мне идут. Будь добра, миленькая...

Крягждене ломается, брюзжит, что не имеет права это делать — вдруг переучет? — но все-таки отсчитывает червонцы и добавляет:

— Только смотри у меня, чтобы завтра с самого утра.

Статкувене уходит, а женщины все еще разглядывают и щупают попку. Стрелка часов медленно подбирается к семерке, скоро можно будет закрыть дверь. Заходит один, другой покупатель, берет какую-то мелочь и уходит.

— Я домой, заведующая, — не просит, а сообщает Милда и, уже одетая, машет рукой, на трех пальцах которой блестит по золотому кольцу. — Адью!

И тут же отскакивает от двери. Шумно врывается мужчина, на пороге поднимает руку:

— Привет, девочки!

— Владзюкас! — насмешливо удивляется Милда. — Кто это за тобой гнался?

— Бежал, боялся опоздать. А ты-то куда?

— Ухажер ждет. Адью!

Милда показывает пальцы в золотых кольцах Владасу Качергюсу и исчезает.

— Ничего себе пичужка, — провожает ее взглядом Владас и, повернувшись к женщинам, потирает руки. — Как жизнь, девочки?

Казюне пожимает покатыми плечами:

— Цветем. С каждым днем все ярче и ярче.

— Вижу. — Владасдохнул винным перегаром. — Только товарищ заведующая чего-то... Хлопоты?

— Эх, — машет рукой Крягждене.

Этот Владас Качергюс такой прилипала. Разбитной парень, язык подвешен хорошо. Как-то вывозили тару, грузить было некому, а он покупал что-то в магазине и вызвался помочь. Дескать, это не работа для девочек. И правда, мигом очистил весь угол. А женщины тоже люди — не привыкли оставаться в долгу, вынули бутылочку да на стол поставили. Славно посидели тогда. Казюне еще в гастроном сбегала за пивом. С того дня и повадился к ним Владас. Если праздник или там юбилей, нельзя не отметить, коллектив у них маленький, три бабы — разве не веселей, когда еще и мужчина в компании?

— Эх, у кого бед нету, — снова машет рукой Крягждене.

Владас окидывает взглядом Казюне в распахнутом халатике и подмигивает:

— На рыбалку собралась, Казюне?

— С чего это взял?

— Да натянула сапоги до пупа... В самый раз в болото лезть...

— Ну и дурак! — отворачивается Казюне.

— Купила только что, — говорит Крягждене, и Казюне улавливает в ее голосе злорадство: молодец, Владас, что поддел. Завистливая баба, ничего не скажешь.

— Точно, Казюне? — Владас Качергюс меняет тон. — Я же пошутил, разве меня не знаешь? Славные сапожки, глаз не оторвать. Ну-ка покажись!

- Да будет заливать, — скромничает Казюне.
- Покажись! Блестят, как никелевые... Послушай, Казюне, мне кажется, сапожки-то скрипят.
- Скрипят, скрипят, — привстает на цыпочки Казюне.
- Нехорошо, что скрипят. Надо бы смочить.
- Ну уж! — смеется Казюне. — Ты и так смоченный.
- Казюне, я серьезно говорю: подошва отлетит, если не обмоешь.
- Ну и пристал же ты, Владас!.. Говоришь, хороши сапожки?
- Да что ты — хороши! Просто чудо! Ты знаешь, Казюне, — Владаса охватывает вдохновение, — когда-то аристократы снимали даме туфельку, наливали коньяку и выпивали. Наполни свой сапог хотя бы вином!
- Артист ты, Владас. Настоящий артист, — тает Казюне.
- Крягжде не запирает дверь изнутри. Ровно семь, рабочий день окончен.
- Заведующая, — неуверенно произносит Казюне, — а что, если правда обмыть покупку? Вот сейчас, втроем.
- Но лицо у Крягжде сурово.
- Что стряслось, заведующая? — спрашивает Казюне.
- Эх, — говорит Крягжде, — не до веселья мне. Домой надо...
- Твои бы мне беды! — Казюне оскорблена. Подумаешь, заладила.
- А у тебя-то что еще? Вроде бы целый день носилась как ветер...
- По-твоему, я весь день должна была нервы трепать? Хватило мне утра... А потом, сказала себе: не переживай! Если б ты не напомнила!..
- Проткни болячку, легче будет, — чутко подсказывает Владас, хоть и ругается про себя: вот чертовы бабы, беды у них, видите ли...
- Ну, Казюне, — просит заведующая.
- Казюне закатывает глаза к потолку, на ее лице страдание.
- Сама не знаю, говорить или нет. Ладно уж... Скажу. Как он мне, так и я ему!.. — Садится на прилавок, складывает на груди руки и даже усмехается. — Так вот... утром звонят. Примерно в десять, я на работу собиралась. Открываю дверь. Стоит парень. Какой-то общипанный... Я смотрю на него, он на меня. А потом он в комнату идет. «Вам кого?» — спрашиваю. А он меня чуть не отталкивает, а если по правде, сама отбегаю и вся дрожу. Посреди бела дня, думаю, ограбят. Но опять же... Сама не знаю, откуда столько храбрости взялось. Спрашиваю еще раз: «Вам кого?» Парень этот на меня зыркнул — кажется, так и съест глазами — и говорит: «К отцу пришел...» И тут я все поняла!.. Это сын той девки, которой мой супруг когда-то ребенка заделал. Ну, думаю, надо гнать тебя в шею, нечего к нам лазить... «Нету, говорю, здесь твоего отца». А тот огляделся еще раз и в дверь... Ушел!..
- И ничего больше не сказал? — Острый нос Крягжде вытягивается еще больше.
- Ничего.
- Вот это да!.. — качает головой Владас. — Как подумаешь, черт бы взял...
- Вот оно как... Столько лет молчал — и объявился.
- Казюне теперь кажется, что не стоило этого всего рассказывать. Ей ничуть не полегчало, да еще какая-то гадость поднялась к горлу — ни проглотить, ни выплюнуть. Будут теперь косточки перемывать...
- Не хотела я... — оправдывается Казюне. — Только вот вам...

Владас Качергюс сдвигает берет на затылок.

— Когда такое творится, когда женщина страдает, надо лечить рану. Товарищ заведующая, хочешь не хочешь, а надо бы!

— У меня тоже тяжелые дни, — смягчается Крягждене. — Завтра в торговый отдел вызывают. Зачем, ума не приложу. Предупреждение и выговор уже имею...

— Заведующая! Разве это не повод?..

— Надо!

— Ладно, где мое не пропадало.

Казюне даже чмокает в щеку свою заведующую.

9

Уже от угла дома Антанас Петрушонис замечает человека, сидящего на скамье перед детской площадкой. Он! Остановиться бы, податься назад да пройти дворами — тот бы не заметил, в другую сторону смотрит, — но ведь все равно чему быть, того не миновать...

Сняв с руки шинель, повесил в углу избы, сел грузно, даже лавка затрепала.

— Вот и отвоевался, мама.

В небе громоздилась черная туча, вдали грохотал гром, за окном ветер шелестел молодой листвою тополя. Жалобно замычала привязанная на лугу у болотца корова.

— Утром и вечером бога молила, только бы живым вернулся, — качала головой мать, усевшись напротив, чтобы лучше видеть его.

— Если б не твои молитвы, мама... — горько усмехнулся он; скривил обветренные губы и добавил: — Твой бог там остался... Пулями прошитый лежит, шрапнелью ему кишки вырвало...

Мать вздрогнула, подняла увядшие руки, сложила как для молитвы, но слова застряли в горле, и она промолчала, еще сильнее закачала головой, а по щекам, по глубоким морщинам покатались слезы. Антанас пожалел ее: «Зачем я так?» — коснулся материной руки:

— Ты меня не слушай, мама... Бывает, сам не пойму, что со мной творится.

— Пройдет, сыночек, это пройдет! — оживилась она, подтянула уголки платка и спросила: — А тебя совсем вылечили-то?

— Пока рана не затянулась, не выписывали. Сейчас уже ничего, хотя слабость иногда накатывает.

— Оживешь у меня, сыночек, оживешь. Деревенский хлебушко для здоровья пользительный. И молочка попьешь...

— Как ты жила одна?

— А вот так, — развела она руками. — Перебивалась... Лошадь немцы забрали, когда бежали, а другую так и не завела. Соседи малость помогают. Поставки с меня сняли, слава богу. Только молоко сдаю да яйца... Так и жила, коровка меня кормила-то. А теперь, сынок, ты вернулся, и все будет по-другому. Заждалась я тебя...

Мать присела на лавку, прикрыв передником лицо, прислонилась головой к плечу сына, гладила пальцами выцветшую, отдающую потом гимнастерку и повторяла:

— Заждалась... заждалась...

Вечером долго молилась, благодарила бога, что уберег ее сыночка. Антанас сжимал кулаки, хотел прервать это заурывное бормотанье, но только отвернулся к стене и натянул на голову одеяло. Сон не брал, хотя все тело ныло от усталости: едва закрывал глаза и погружался в дрему, всплывала война. И стоны раненых, и залитый

кровью снег, и разорванный миной ребенок... Развалины, дымоходы сгоревших изб, распухшие трупы лошадей. Антанас знал, что не об этом надо думать, и давно уже утешал себя мыслью: ведь ты тоже, как пишут газеты, «сплетал венок победы». Страшно было от мысли, что столько ребят, с которыми ты шел по весенней распутице, пил воду из одного котелка, зачерпнутую под обстрелом в речушке, локоть которых чувствовал в окопах, а в минуты затишья делился добрым словом как затяжкой сигарки, не вернулось, и сейчас зарастают бурьяном поля, которые они надеялись засеять. И еще не давала покоя мысль, которая никогда не приходила на фронте: ведь люди, в которых ты стрелял и которые в тебя стреляли, тоже собирались засеять поля...

— Слава тебе, дева Мария, за избавление от недругов наших, — с глубоким вздохом срывались в тишине слова молитвы.

— Мама, ты бы лучше моей Марии помолилась, — вскочил Антанас. — Это она меня спасла! Санитарка Мария.

— Не богохульствуй, сынок...

— Я правду тебе говорю, мама. Она меня раненого вынесла. Мария!..

Антанас стиснул руками голову. Ему самому теперь не верилось, что эта хрупкая девчонка в солдатской шинели могла протащить его такой путь. «Потерпи, Антанас, миленький. Мы сейчас... сейчас...» — шептала она, и когда завжикали пули, заслонила его своим телом. «Потерпи... родненький... еще пару шагов...» Острая боль жгла живот, Антанас слышал слова девушки и хотел прошептать: «Я люблю тебя, Мария!» Но так и не сумел сказать. «Вот и окопы, Антанас, потерпи...» Мария вдруг рухнула и выпустила Антанаса из рук. Антанас из последних сил поднялся и посмотрел. «Мария!» — закричал он. Когда в госпитале пришел в сознание, товарищ сказал: «Твой голос напугал нас больше развалившейся бомбы»...

— Мою Марию благодари, мама, — повторил Антанас. — Это из-за меня она погибла! Из-за меня, мама! — Впился зубами в подушку.

Фронтные раны затянулись не скоро. Долго еще он не мог спать спокойно, но жизнь брала свое. Соседи при встрече просили:

— Открыл бы ты кузницу, Антанас! Железа в поле осталось вон сколько, а телеги разваливаются, лошади и те не подкованы. Нагрят гололед, и сам знаешь...

Хозяйство было не ахти что — семь гектаров супеси, несладко было жить на них, и уже дед Антанаса, сноровистый Балтрус Петрушонис, завел кузницу — больше для себя, хоть при нужде помогал и соседям. Этим промышлял и отец Антанаса Мотеюс. Сызмальства обучившись ремеслу, перестроил кузницу, купил побольше инструмента, кое-что и сам смастерил. Кузнечил больше зимой, управившись с полевыми работами. В годы оккупации отец еще был крепок и рука у него была верная. Лошадей ковал сам: привяжет поводья к коновязи, поднимет копыто лошади, зажмет меж коленей так крепко, что животина знай подрагивает всем телом и стоит смирнехонько. Бывало, сосед шепнет на ухо: «Мотеюс, завтра лошадь на комиссовку вести». Посмотрят друг на друга понимающе, и отец так подкует гнедка, что тот в дороге охромеет, глядишь, и не заберут его немецкие пушки таскать. Фронт не успел еще откатить на запад, когда настало время сеять рожь. Отец набрал лукошко зерна. окинул взглядом поле, прислушался к далекому грохоту пушек, к выстрелам где-то рядом, за ольшаником, и начал с края. Широкими, мерными взмахами сыпал семена, и Антанас, запрягая лошадь в борону, видел, как в лучах тусклого вечернего солнца падала в пашню рожь — тяжелая,

будто свинец. Вдруг отец остановился, рука с горстью ржи, которую держал на отлете, опустилась, и он, обернувшись к дому, опустился на колени. Подбежал Антанас, поднял отца—на рубашке расплывалось пятно крови. «Посей рожь,—негромко сказал отец. И в избе, куда его перетащил Антанас, повторил: — Посей рожь, сынок...»

С того дня на закоптелой двери кузницы висел тяжелый замок. Сейчас, под осень, Антанас отпер его и раздул горнило. Одному колеса обтяни, другому лемех насади, третьему выкуй петли для двери хлева. Работы — только успевай поворачиваться. Мать радостно подсчитывала, что на зиму купит поросенка, а по весне, того и гляди, можно будет лошадь завести. Заживут, дескать, как люди, а не как бобыли. Антанас ходил в своей солдатской шинели вокруг хутора, никуда носу не показывал, ни с кем не связывался, и мать благодарилла бога за то, что образумил сыночка... Но время было беспокойное, по ночам раздавались выстрелы, по большаку часто катили похоронные телеги. Однажды вечером явились четверо, усадив Антанаса за стол, учинили допрос, велели запереть кузницу и не выслуживаться перед большевистскими новоселами. Уходя закололи пятимесячного поросенка и унесли в мешке.

— И чтоб никому ни слова. Другого предупрежденья не будет! — сказали Антанасу.

Антанас молчал, стиснув зубы. Но назавтра все-таки пошел в кузницу. А прядя пообедал, увидел, что мать распоролла его солдатскую шинель.

— Перекрашу, чтобы не так бросалась в глаза,— сказала она.

Прошел год, второй. Не только слезы да кровь орошали землю. И в деревне и особенно в городе, если оглядеться, жизнь возрождалась. «Если бы вы видели, невестка, и ты, племянник, как город встает из развалин,—написал им дядя Симанас.— Все строим, строим, работе ни конца ни края не видно. Каждый вкалывает за двоих, и учимся, выше головы хотим прыгнуть...» Антанас подумал: это верно, хорошо бы подучиться. Каждый малец теперь за книжками сидит, скоро тебя любой сопляк облапошит. Да и самого вроде тянет... Вот бы ремеслу выучиться, а то и в город податься. Только мать оставлять не с руки, старая она, больная. И прочитал в районной газете: вечерняя школа, семилетка... Мать не пускала — на что тебе, дорога дальняя, по ночам ходить, время-то страшное, о господи боже мой... Но Антанас отыскал свои старые учебники, потом решил, что они теперь не годятся, сел на велосипед и укатил по большаку. Приняли его как бывшего солдата в шестой класс, хотя кончил он только четыре. «Наверстаю»,— пообещал Антанас, но орешек оказался крепким, да и зубы уже не те. Сидел за тесной партой, подпирая ладонями щеки, слушал учителей, ловил каждое слово и повторял в уме, потом в голове начинало тихонько звенеть, заволакивать теплым туманом, глаза слипались. И так пять вечеров в неделю! Хотел было бросить, но приятно было слушать похвалу учителей за чтение — беглое и с выражением — и за русский язык... А другие предметы — одно горе. Безусые юнцы любили над ним посмеяться, и Антанас, не выдержав, заткнул кому-то кулаком рот. Другие тоже приумолкли.

Когда он возвращался домой поздними вечерами, над головой, случалось, свистели пули. Матери не говорил про это, но спать теперь уходил в кузницу — там за горнилом устроил себя постель.

Во втором полугодии, уже по весне, слова учителей все-таки продолбили твердую макушку Антанаса, как капли камень. Когда Антанас понял это, то даже земля быстрее завращалась.

Той весной, когда зазеленела трава и загомонили птицы, Анта-

нас как-то вернулся с поля, распряг лошадь, спутав ее, пустил на лужок, а сам сел обедать. Открылась дверь, в избу влетела Эяна, дочка соседа Гялбуды. Одна коса на спине, другая на груди, грудь под желтой блузочкой вызывающе торчит. Юбочка черная, босые ноги белые, видно, только что помытые, руки за спиной.

— Мама меня послала, тетушка, — сказала она, раскрасневшись от спешки или от тепла избы.

— Присаживайся, — пригласила мать. — За стол садись.

— Нет, нет, тетушка, мама просила...

— Садись, доченька. Может, покушаешь с нами?

— Нет, нет, тетушка, — еще гуще краснела Эяна. — Может, ваш Антанас — мама просила — на квашню обруч сделает? Совсем разошлась квашня. Только чтоб сделал, а уж на квашню мы сами насадим!..

— Сделает мой Антанас, доченька. Почему бы ему не сделать, — сказала мать.

Антанас усмехнулся: кудахтают, будто его тут и нет. Эяна даже не смотрела на него.

— Так я старый обруч вам оставлю, по нему...

Эяна вытащила из-за спины заржавевший обруч, положила на лавку, привстала на цыпочки, повернулась на одной ноге — юбочка только взвилась.

— Когда мне забежать, тетушка? Может, завтра утром?

— Да работы тут раз-два, когда сможешь...

Антанас смотрел в окно на девушку, убегающую через садик, и думал: как могло случиться, что он не замечал ее? Знать вроде знал, а как-то не видел. А может, видел, да не так... Он ведь и не глазел на девушек. После гибели Марии ему казалось, что он станет предателем, если только отречется от первой любви. Что ж, годы шли и делали свое...

Утром Антанас дзинькал молоточком в кузнице и, открыв дверь, все поглядывал на дорогу. Но проселок был пуст. После завтрака снова ушел в кузницу, хоть были и другие дела, поважней — ячмень надо было бороновать. Опять поглядывал в дверь и злился — было из-за чего время убивать, глупости какие, можно подумать, работы нету, да и учиться надо. Злился, ругал себя и все дзинькал молотком. Хотел было запереть дверь, но тут глядь — Эяна бежит, разлетаются ее толстые косы. Антанас отскочил от двери, грохнул молотом по пустой наковальне, еще раз грохнул, посмеялся над собой и отшвырнул молот. В щель между закоптелыми досками увидел, как Эяна вошла в избу, вышла и медленно пошла к кузнице. Антанас почему-то ухватился за жердь мехов и подергал ее. Заискрилось в горниле, загудели голубые язычки пламени.

— А тетушка где?

Тетушка! Антанас сердито обернулся. В дверях в большом квадрате солнечного света, как бы обрамленная черными косяками, стояла Эяна. Тербила косу и смотрела себе под ноги. Потом подняла голову, разглядела на гвозде железный обруч, подскочив, сняла.

— Этот?

— Этот, — ответил Антанас, не сходя с места, только глядел издали на девочку — солнечную и легкую.

— Мама с тетушкой рассчитается.

И нет ее.

Антанас потер черными пальцами открытую грудь, глубоко вдохнул запах угля.

— Эяна!

Выскочил в дверь; солнце ударило прямо в лицо, зажмурился.

— Эяна!

Эяна, кажется, улетала мимо яблонь в цвету.

Антанас сел на порог, обхватил руками колени, накрытые кожаным передником, смотрел на поля и впервые подумал: живи да радуйся...

Плиты тротуара убегают из-под ног Антанаса Петрушониса, и он ступает осторожно, как по растрескавшемуся речному льду. Видит — коротко стриженный человек заметил его, поворачивается на скамье всем телом, забрасывает ногу на ногу.

Что ты скажешь, Антанас? Что ты скажешь сейчас ему, явившемуся из тех далеких лет?

Долго не раздумывая, Антанас подал заявление. Даже мать не противилась: делай как знаешь, не мне жить придется. Выбрали его в правление, хотели бригадиром назначить, но он: нет, я кузнец. Конечно, колхоз нуждался в кузнице, что тут и говорить. И Антанас с утра до вечера чинил плуги, бороны да телеги — все, что люди стацили в общую кучу, было старое, поломанное. Вечерами месил заметенные зимние дороги в школу, а по субботам и воскресеньям сидел за столом в избе Гялбуды. Вспоминал солдатские дни и чувствовал, что рассказывать о гибели людей уже как-то легче, вроде книжку вслух читать. Когда первый раз понял это, с испугом подумал: «Что это со мной творится? — А потом объяснил себе: — Война, в которой участвовал, уже страница из учебника истории». А может, оттого легко рассказывалось, что слушала Эяна и он хотел покрасоваться... Когда он уходил, Эяна провожала его, и они стояли в темноте на дороге, прижавшись друг к другу — Антанас грел ее своим тулопом.

— Сегодня в газете читал, и не только сегодня, — сказал как-то Антанас, — то в одном городе новый завод, то в другом, и все строят, строят...

— Город, он всегда город, — откликнулся Гялбуда, протянув скрученные ревматизмом ноги к огню. — А тут целый божий день грязь месишь. И что видишь? Конский хвост. В городе жизнь другая.

— И в деревне станет по-другому, дядя, — не соглашался Антанас. — Осенью трактор поля играючи резал.

— Так-то оно так, — не спеша излагал Гялбуда, — да вот коровы на ферме дохнут, лошадей раздали назад — кормить-то нечем. Город, говорю, он всегда город, там все иначе, надежней, городской человек, гляди, даже хлеб без остей ест.

— Нет, дядя, хлеб — это не главное, — не сдавался Антанас. — Главное — там жизнь бойчей идет. Вот наш райцентр — захудалый городишко, а смотри, чего творится. Льянную фабрику — раз! — и построили. Железную дорогу протянули, с белым светом связали. А в городах побольше?

— Так вот я и говорю: что уж что, а города большевики построят. Никогда такого не было, как послушаешь.

— И везде рабочие нужны, дядя. Рабочие руки. Специалисты!

— Кончишь школу, хорошо тебе!

Антанас заерзал, будто его по голове погладили, бросил взгляд на Эяну, которая вязала варежку.

— Это уже кое-что, дядя, спору нет!

— Может, и в город тогда?

— Подумываю, если по правде. Да и тут я нужен. У мамы-то здоровья нету.

Гялбуда придвинулся вместе со стульчиком поближе к столу, хлопал Антанаса по поле полушубка.

— И Элянуке говорю и тебе скажу, Антанас: подались бы вы в город, а мы из деревни подбросили бы кое-чего для начала.

— Ну что вы, папа!..— фыркнула Эяна, закрывая вязаньем лицо.

— А что я? Что? Время теперь не такое, чтоб свата нанимать да его вранье слушать. Сам за жизнь цепляйся!

Антанас прикидывал и так и сяк. Снова занялась весна, в кузнице дзинькал молоток по железу, а в избе на полочке в углу лежало свернутое трубочкой удостоверение об окончании семилетки. Антанас нет-нет да и расстилал его на столе, прижав почерневшими ладонями края, перечитывал аккуратно выведенные тушью фамилию, имя и отчество, оценки (не очень-то высокие, правда), и охватывала непонятная тоска, стены избы нависали и давили. И он в который раз доставал полугодовой давности письмо дяди Симанаса: «Когда узнал, что ты, Антанас, науку грызешь, веселей стало. Теперь всюду образованные нужны. Приходит из деревень молодежь, мы ее работе обучаем. У меня двое учеников. Один-то ничего, с головой, а с другим чистое горе, видать, слишком долго пришлось ему за коровьими хвостами бегать — не знаю, будет ли толк. Ты молодец, Антанас, что поднял глаза от земли...» Антанас снова и снова перечитывал эти слова и, кажется, слышал зов дяди Симанаса—приезжай! Выходил из избы, бродил по раскисшим полям, у березняка на пригорке ждал Эяну, когда она приходила, усаживал на прошлогоднюю осоку, нагретую солнцем, крепко обнимал ее и, целуя, беспокойно думал: «Что же дальше? Я ничего не понимаю, не знаю даже, люблю ли Эяну, знаю только: все не так, не так, как было прошлой весной...»

— Я в город уезжаю, Эяна,— сказал он неожиданно, даже сам испугался этих слов, потому что прозвенели они холодно, как удар молотка по наковальне.

Эяна не удивилась, спросила спокойно:

— Меня заберешь?

— Ну да, Эяна, конечно,— торопливо согласился Антанас и стал расписывать, какая чудесная жизнь в городе. Кого же он заманивал этими бубенцами — себя или Эяну?

— А я боюсь,— призналась Эяна.

— Чего боишься?

— Да города.

— Вот глупая...

И снова дзинь-дзинь — бубенцы, цок-цок — молоточки, бум-бум — тяжелый молот... Эяна слушала, наматывая на палец стебелек осоки, и сказала опять:

— Боюсь.

— Да чего? — Антанас обиделся даже: как она не понимает, видно, газеты в руки не берет, радио не слушает!

— Ты меня все равно оставишь.

Антанас обнял ее, целовал, миловал, пока луна не взошла над вершинами берез.

Слово свое не нарушил — собрался в город. Стиснул зубы, заупрямился — не остановили ни уговоры председателя, ни слезы матери. Купил красный чеходанчик, побросал исподнее, положил кое-какие продукты и, пятясь, вышел в дверь, на ходу прощаясь с матерью.

Ворота хутора лежали на сырой земле. Ветер всю ночь скрипел ими, стараясь сорвать, и Антанас сердился — спать не дают. Сейчас наступил сапогом на упавшую замшелую перекладину; переломилась с жалобным треском. Антанас споткнулся, будто наступил босой ногой на горячий уголек.

В тополях насвистывали скворцы, ветерок приносил от болотца запах цветущей черемухи, сосед Балтрушайтис пахал огород, и его понуканье походило на стон.

— Заявлюсь как-нибудь в субботу,— сказал Антанас, прошел десяток шагов и обернулся.

Мать одной рукой опиралась на рябой ствол векового тополя, а другой прикрывала рот, словно унимая крик.

Догнавшая полуторка подбросила его до райцентра, а там он сел в поезд и укатил в большой и чудесный город. Отыскал в нем родного дядю, тот не похвалил его и не обругал, а просто отвел на завод, где уже много лет работал сам.

Но в субботу за полночь Антанас постучался в окошко избы, и босая мать в одной рубашке открыла ему дверь.

— А я еще глаз не сомкнула, сынок,— сказала она и принялась таскать на стол все, что было в избе.

В воскресенье Антанас одолжил лошадь, вспахал огород, наколот дров, а после обеда ушел снова. Остановился у калитки Гялбуды, из дома выскочила Эяна, без стеснения повисла у него на шее, хоть было еще светло и на дороге стояли бабы. Слово, другое — и Антанас ушел, боялся опоздать на поезд.

Следующие пять недель Антанас не был дома — в последний раз ночью промаялся на товарняке и утром, не выпавшись, прибежал прямо на работу,— а тут пришла весть: умерла мать. Пока добирался, соседи чуть-чуть на кладбище мать не увезли. Тарахтела телега, Балтрушайтис рассказывал: мать картошку сажала, распарилась, присела отдохнуть, продуло ее ветерком — и все. Как в огне горела, когда пришла поутру к Балтрушайтисам. «Вдруг не встану, думаю, кого ж дозовусь...» — сказала им. А вечером следующего дня померла. Антанас хотел закричать: «Почему в больницу не повезли? Доктора надо было позвать...» — но только сгорбился и промолчал.

По дороге с кладбища к нему подошла Эяна. Молча брели они по пыльной улочке. Антанас собирался ей что-то объявить, но внезапная смерть матери зажала рот; ныло под ложечкой, кружилась голова.

— Антанюкас...

— Да, знаю, знаю,— устало остановил он ее.

Эяна посмотрела в испуге.

— Что ты знаешь, Антанюкас?

— Повремени, заберу тебя,— пообещал Антанас.— Дай хоть ноги согреть.

— Я-то верю, что не бросишь.

— Так чего еще?

— Антанюкас, я только хотела сказать...— Эяна густо покраснела, и Антанас, покосившись на нее, подумал: ну точь-в-точь бурак.

— Говори, если есть чего.

— Антанюкас, мне сдается, что уже...— И замолчала.

— Да что «уже»?..— Антанаса даже передернуло: мямлит — ничего не поймешь.

— Я уже не одна, Антанюкас,— сказала громко, так громко, что Антанас сперва огляделся, не слышал ли кто.

Но улочка была пуста. И тогда он подумал: вот так передрыга! Потом, спохватившись, коснулся руки Эяны, мягко выговорил:

— Ну чего ты... Вот подыщу угол в городе, приедешь, и жить будем. Было тут чего...

— Антанюкас,— зашептала Эяна и прижалась щекой к его плечу.

— Ну конечно, вместе будем,— повторил Антанас...

Антанас Петрушонис останавливается и сквозь сумерки смотрит на парня, сидящего на скамье. Лицо круглое, пухлое («В Эяну», — думает), глаза глядят исподлобья. Покачивает ногой, руки засунуты в карманы потертой куртки. Под носом неровная щеточка черных усиков.

— Алексюс...

Губы перекошились, взлетела бровь.

— Узнал-таки, папаша.

По лицу бы ударил — не было бы больнее.

Антанас отводит глаза, виновато пожимает плечами и через силу произносит:

— Так уж получилось.

— В нашей жизни всякое бывает, — непонятно говорит Алексюс, все еще качая ногой.

«Надо бы в дом позвать, — думает Антанас, и тут же отбрасывает эту мысль. — Нет, нет, только не туда. Лучше не там, не в квартире».

— Давай в пивной бар зайдем, Алексюс. Это рядом. Посидим, потолкуем.

— Викторас не вернулся? — спрашивает Алексюс.

— Нет еще. Вроде бы скоро... Пошли, вон там, у перекрестка...

— Это можно, — равнодушно соглашается Алексюс.

10

Жизнь походила на муравейник после грозы. Каждый кто мог бегал, таскал груз больше себя самого, чистил развалины, лепил дома, обновлял белые дворцы, прокладывал дороги через болота, перебрасывал мосты через реки. Вооруженные усталые мужчины прочесывали кусты и леса, говорили речи над свежей могилой погибшего товарища и, салютуя выстрелами, не только небу, но и всему миру возвещали: «Мы — хозяева земли!» Громыхали машины с гравием, кирпичом, железом, у дорот выстраивались пахнущие живицей столбы, а ветер играл в проводах марши новых дней.

«Кошмар! Литва — в угаре бешеной пляски», — шептал вчерашний чиновник, протирая в финотделе сметоновские еще штаны, злобно щелкал на счетах, подсчитывал пособия многодетным матерям. «В Литве голод и нищета. Литва гибнет!» — гнусавили за океаном.

«Лишь в семье братских народов возродится Советская Литва...» — в это верили те, кто строил новую Литву. «Молодежь! Тебя ждут стройки и заводы!» — огромными красными буквами призывали плакаты.

Проснувшись от зимней спячки деревня, столетиями сосавшая лапу. Всполошилась, забегала. Взрослым детям стало тесно в одной избе с родителями. Они уже поглядывали по сторонам — узы, державшие их при родителях, ослабевали. Детям казалось, что с ног и рук спали путы — иди куда глаза глядят, ищи свое счастье, везде ты нужен, твои руки не будут без дела, а ты — без куска хлеба. И потянулись дети: одних, как птенцов из гнезда, вытряхнули ночные выстрелы и бумажки с угрозами, подписанные кличками Ястреб, Орел, Тур; другие бежали из колхоза, испугавшись, что трудности первых лет будут длиться вечно; третьи ехали в поисках легкой жизни: «В городе дело другое. Отсидел свои часы — и вольная птица». А многие давно уже расправляли крылья, но все не решались оттолкнуться от земли; они-то гнались не за легкой жизнью.

Из нищих лесных деревушек под Молетай и Вареной, с зажиточных хуторов у Каунасского шоссе, из развалюх Дзукии и простор-

ных домов Сувалкии уходил народ. В те годы тысячи рук, привычных к плугу и вожжам, макали в фиолетовые чернила перья и впервые в жизни заполняли анкеты, на вопрос о социальном происхождении все писали одно: «Из крестьян».

Антанаса Петрушониса как бы вышвырнуло волной на незнакомый берег, к которому он отчаянно долго плыл.

У дяди Симанаса Антанас прожил недолго. Повернуться было негде. Дядя с женой, сыновья уже взрослые, дочка тоже вымахала, а всего-то две комнатухи. Сам Симанас пошел к начальству завода, взяв с собой Антанаса, и попросил для него койку в общежитии. Антанас видел, с каким уважением все говорили с дядей Симанасом, как жали ему руку, обещали помочь — не Антанасу, а Симанасу. И правда помогли. В конце июня Антанас получил в общежитии скрипучую железную койку и тумбочку на двоих с соседом. В длинную, как кишка, мрачную комнату наспех залатанного дома сунули его пятым, сдвинув койки, и старожилы роптали — и так, мол, дышать нечем. Но Антанасу лишь бы вытянуть уставшие за день ноги.

На заводе учеником проработал недолго — почти сразу поставили слесарить. Кузница помогла, конечно. Руки сызмальства привыкли держать инструмент. Даже работа была похожа. Только не старый сельхозинвентарь надо было чинить, а новый — составлять из кусочков, или, как он теперь говорил, из деталей. Конечно, надо было нажимать вовсю, а то сосед слева подsunул свою работу, ты звякнул гаечным ключом, а справа уже ждут — подавай скорее. В середине и в конце месяца они вытягивались клином перед кассовым окошком, как журавли по осеннему небу, и курлыкали беззаботно. На центральной улице города распахивались перед ними двери пельменных, чайных и кинотеатров, им улыбались накрашенные и напудренные девушки. Газета тиснула на первой странице снимок пятерых рабочих из их цеха. Они стояли перед воротами завода, под двумя жердочками, между которыми выстроились металлические, с выкрутасами буквы: «Сельхозмаш». Под фотографией улыбающихся парней в газете жирная строка: «Инициаторы стахановского движения на заводе сельскохозяйственных машин». Одним из пятерки оказался жилец из комнаты Антанаса, рослый, медлительный жемайтиец.

— Послушай, Бронюс, что ты такого сделал? — спросил вечером Антанас.

— А чего я должен был сделать? — нараспев переспросил Бронюс.

— Фотографию-то в газете поместили!

— Чего надо, делаю. Тут уж меня не возьмешь. Я всегда так, второй год как ни разу не напортачил.

Субботними вечерами общежитие пустело: большинство разъезжалось по деревням к родителям. В воскресенье возвращались с фанерными чемоданчиками, набитыми салом, бутылками самогона, закупоренными затычками из пакли. Парни уходили в скверик или в сосновый бор, ложились на траву, как на околице, и пускали стакан по кругу. Разговор вертелся вокруг деревни: сено уже свезли, рожь убирать пора, корову придется прирезать, а то распухла чего-то, сгорело колхозное гумно с кормами, отец тюкнул себя топором по ноге, только бы гангрена не началась... У каждого было что рассказать. А когда стакан обходил круг по третьему разу, звонкоголосый парень откидывал голову и, глядя далеко-далеко, может на вершины берез родного хутора, затягивал песню, привезенную из деревни. Наверное, матери или девушки, проводившие любимых, сложили ее — жалобную, полную любви и тоски:

Ты покинешь родную деревню,
А гармонь заиграет нам вновь...
Ты в дали неоглядной исчезнешь,
И с тобою исчезнет любовь.

Парни дружно подтягивали. Песня, вырвавшись из чахлого сосняка, металась среди каменных стен, в широких улицах и узких переулках задыхалась и глохла от гула машин и бензиновой гари.

Звонкоголосый парень в тот воскресный вечер долго глядел куда-то, его голубые глаза тускнели, другой жмурился, приподнявшись на локте, третий тербил пальцами серебристый мох...

Ты ушел навсегда в день туманный,
Под немолкнущий шелест берез.
Увидал: по тебе плачет мама,
Ты не знал, куда ветром несет...

Голос Антанаса Петрушониса дрогнул, не допев песню, парень залил последние слова глотком самогона. Больно было вспоминать недавно похороненную мать, тревожно было думать об оставленной в деревне Эляне.

В одну из суббот, возвращаясь с работы, он сказал себе сквозь зубы: «Антанас Петрушонис, гад полосатый, вперед! Езжай в деревню, не откладывай!» И поехал. Воскресным утром в белом клеенчатом плаще, хоть и шпарило солнце, он строевым шагом топал по деревне. Со стуком поставил на стол Гялбуды бутылку городской водки, расселся широко. Ели, пили, толковали. Рядом с Антанасом пристроилась Эяна, подобравшая волосы в одну толстую косу, и сияла от счастья. Антанас рассказывал о работе («Тяжело было, пока не привык?» — спросил Гялбуда. «Раз плюнуть», — ответил Антанас), о приятелях («Как бы худому не научили», — забеспокоился Гялбуда, но Антанас только подмигнул: «Не ваша забота!»), сказал, сколько загребают — правда, сам не почувствовал, как малость округлил сумму («Вот это житье!» — загремел Гялбуда). Эяна ничего не спрашивала, сама не рассказывала, только все предлагала Антанасу закусывать. О деле первым намекнул Гялбуда:

— Хорошо, что приехал, Антанюкас, а то сам видишь, чего творится.

— Давно собирался, дядя, да город...

— Свадьбу играть надо, а то Эянуке уже пухнет.

Эяна вскочила вся пунцовая, закрыла ладонями лицо:

— Вы уж, папа, как скажете...

— Разве чего не так сказал? Что правда, то правда. Антанюкас сам знает.

— Я-то понимаю, дядя, да в общежитие Эянуке не повезешь — пять мужиков в одной комнате.

— Нет, конечно, нет...

— Я комнату ищу, — опять сам не почувствовал, как приврал, Антанас, а шагнув одной ногой, шагнул и другой: — Каждый день — смена кончилась, и хожу по домам.

— Видать, трудно с комнатами-то?

— Найду, как пить дать найду, и тогда уж, Эянуке!.. — И Антанас впервые за столом привлек к себе Эяну, ткнулся носом в ее лоб, усеянный рыжими чешуйками веснушек.

— Не тяни, Антанюкас, а то время бежит, разговоры пойдут.

Антанас набычился:

— Эянуке — моя! Я слова не меняю. Пускай все знают! А разговоры-то... Эх, деревня, деревня...

Антанас с Эляной, взявшись за руки, долго бродили по лугам, уселись под березой. Рядышком клонились к земле крупные побелевшие колосья ржи, краснел клевер, и белели ромашки, в поле рычал трактор. Антанас растянулся, положил голову Эляне на колени и слушал ее рассказ, как она, что ни воскресенье, глаз с дороги не сводит и думает уже, что он вообще не приедет.

— Не веришь мне, да? — Антанас приподнялся на локте.

— Верю, Антанюкас. Теперь-то уж точно верю.

— Я не такой, Элянукэ! Слово солдата!

Пододвинувшись поближе, целовал, ласкал, краешком глаза поглядывая на солнце, клонящееся к закату.

— Пора, — наконец сказал он.

— Да побудь еще, Антанюкас, — обняла его Эяна крепко, даже задрожала вся.

— Не могу. Надо.

— Побудь...

— Хочешь, чтоб на поезд опоздал и завтра на работу не вышел? Там не деревня — все по часам!

Опустились руки Эяны.

Она далеко провожала Антанаса по большаку и долго еще стояла на пригорке, глядя, как он уходил.

Уже в понедельник под вечер Антанас зашел в один дом, в другой, стучался в двери и спрашивал, не сдают ли комнату. Нет да нет... Иные открывали дверь лишь насколько позволяла цепочка, выслушивали его и, не говоря ни слова, захлопывали. Какой-то старик долго выпрашивал, кто он, где работает, проверил документы, отвел в темный вонючий чулан и сказал:

— Прекрасное место, парень.

Но Антанас решил не спешить. Целую неделю ходил и выпрашивал. В одном месте успел даже по рукам ударить — сносная оказалась комната, но взял да похвастался:

— Я бы так не спешил, да вот жена ребенка ждет.

Услышав это, женщина, хлопотавшая на кухне, цапнула мужа за рукав полосатой пижамы и стала что-то втолковывать. Антанас ничего не понял из этих «пан-пани, пан-пани...». Наконец «пан хозяин» обернулся, развел руками и сказал:

— Ничего не выйдет, пан.

И тогда ему в голову пришла спасительная мысль. Как он раньше не додумался! На заводе ведь немало рабочих, которые давно уже живут в городе... Может, они знают, может, сами могут сдать? Поспрошал, и правда — невысокий человек с серыми железными зубами предложил осмотреть его домишко. Дом был деревянный, собственный. Осенью, мол, освободится мансарда. И кухонька там имеется. А начет цены — свои люди, договоримся, разве рабочий стает с рабочею три шуры драть?

— Но я должен точно знать! — чуть ли не пригрозил Антанас.

— За кого ты меня принимаешь? — тоже почему-то угрожающе отрезал человек.

В общежитии Антанас не пошел в комнату, а выклянчил у вахтерши листок бумаги и налег грудью на подоконник. «Элянукэ, нашел свободную комнату и пишу тебе письмо. Так вот, докладываю: нашел не комнату, а дворец. Осенью освободится, тогда мы и съедемся. А пока терпи, дома тебе лучше. Сегодня мастер похлопал меня по плечу и сказал: «Валяй и дальше так». Понимаешь, это он обо мне сказал! А ты-то как? Наверно, рожь уже скосили? Ну, жди, Элянукэ, свидимся. Антанас». Последние буквы имени закончил загогулиной да еще сверху черкнул для красоты.

— Хи! — фыркнули за спиной.

Антанас обернулся: через плечо заглядывала в письмо толстушка, которую не раз встречал на лестнице.

— Брысь! — выпрямился Антанас; девушка отскочила, будто испугавшись, что он шлепнет ее, подбежала к подружке.

— Симпатии? — рассмеялась издали.

— Не твое дело, — покосился Антанас на хихикающих девушек и со злостью подумал: «Ну и нахальные же девки! Взбеситься можно...» И ушел на почту.

Новая жизнь стремительно подхватила Антанаса. Из ворот завода выезжали грузовики с культиваторами, молотилками, и приятно было знать, что гайки привинчены твоими руками. Бывало, Антанас спиной чувствовал, что кто-то смотрит на его руки. Обернется — а тут дядя Симанас стоит и улыбается ему. Подмигнет, ласково пихнет кулаком в бок: «Жми, Антанас! Вижу, что меня не осрамишь». Конечно, не просто было в летнюю жару целый день простоять в душном цехе — невольно убегал мыслью в деревню, где в любой миг можешь растянуться в зеленой тени. Видел, что и у других глаза смотрят тускло, губы искусаны, лица унылые.

— Вот бы теперь родниковой водицы напиться, — сказал как-то жемайтиец Бронюс.

Парни не рассмеялись, а только страдальчески отвели глаза и еще яростней набросились на металл — стучали, сверлили, точили, пилили...

— Ухожу, — сказал как-то один из них.

— Куда?

— Куда?! А сам не знаю. Рабочие руки везде нужны.

И ушел. Из комнаты Антанаса один жилец тоже раскланялся. Одни уходили, другие приходили. После работы забивали козла, резались в карты, пили. Ходили в кино, водили с собой девушек. Долго гуляли по темнеющим улицам, угощали девушек конфетами. Оглушительно хохотали над чем-то. Потом не могли заснуть, все думали, мечтали о будущем. Многие собирались учиться. Были и такие, что провожали девушек за город и, вернувшись, рассказывали как да чего. Несли похабщину, что ни слово — матерились. Бывало, просили:

— Ребята, с меня пол-литра, уйдите часика на два в город. Приведу сюда такую...

Мужики, они всегда мужики. Все вроде было просто, не стоило того, чтоб переживать.

Газеты и радио рассказывали о выборах в местные Советы. На первом этаже общежития на двери появилась надпись: «Агитпункт». Зашел сюда и Антанас. За длинным столом, застланном красным ситцем, на котором были разложены газеты и брошюры, сидели двое мужчин, а в углу перешептывалась стайка девушек. Антанас огляделся, взял в руки газету, пошуршал ею и решил было уходить. Но тут от стайки девушек отделилась одна — та самая толстушка, что заглядывала в его письмо.

— Может, на аккордеоне играешь? — спросила.

Антанас хотел так отбрить, чтоб за версту его обходила, но сдержался: место торжественное, да и вообще — разве он дикарь?

— Нет, — потряс головой.

— Может, поешь?

— Нет.

— Может, пляшешь?

— Нет.

Девушка исчерпала все вопросы, в ее глазах плясали лукавинки, и эта ее прямота показалась какой-то родной.

— Так что же ты умеешь?

Антанас наклонился к ее уху:

— Девушек любить умею. Не веришь?

— Хи! — прыснула девушка. — Непохоже.

И убежала. Антанас растерянно посмотрел ей вслед и подумал: «Ну и ну!..»

Субботним вечером Антанас встретил ее на лестнице. Перебросились словом, как старые знакомые, она сказала, что девушки из ее комнаты уехали, а он пошутил:

— Могла бы и в гости позвать.

Она взяла его под локоть и сказала:

— Пошли.

Комната была на втором этаже, окнами на улицу. Четыре койки аккуратно застланы, на столике в стакане букетик луговых цветов. Пахло одеколоном «Сирень». Она села на койку, он на стул у окна и спросил:

— А как твое имя?

Она неожиданно опустила голову.

— Да некрасивое.

— Вот те и на!

Казе, — наконец сказала толстушка и, как бы оправдываясь, добавила: — Совсем деревенское — Казюне.

— Хорошее имя! А меня вот Антанасом зовут. Ну и что?

— А я знала, как тебя.

— Знала? Откуда?

— А не скажу...

Говорили о том да о сем, больше о всякой чепухе. Казюне была родом из-под Меркине и все переживала, что сбивается на дзукийский говор, похвасталась, что кончила семилетку, что жутко любит танцевать и петь в кружке самодеятельности; работает на стройке, боже ты мой, как не нравится!..

— Ну уж! На стройке хорошо, воздух чистый, видишь, как дом растет, — не согласился Антанас.

— Не знаю, что бы отдала, лишь бы сменить работу, надоело!

Откинулась на койку, пожалев, что нечем угостить человека, и тут же вспомнила, что в тумбочке у девушек видела кое-что, подбежала, открыла и подняла робкие глаза на Антанаса:

— Не знаю, показывать или нет?

— Доставай, — подбодрил Антанас, чувствуя, что с ним начинает твориться какая-то чертовщина, и клял себя за эту растерянность: «Разве я не мужчина, гад!..»

— Может, не стоит? — Казюне закрыла дверцу, но все еще смотрела с короточек на Антанаса.

Антанас встал, подошел — было тут чего! — взял девушку за плечи и прижал к своим коленям.

— А ну показывай!..

Казюне снова открыла дверцу, вынула бутылку водки:

— Вот. Не моя.

Пили, морщились, закусывали твердым печеньем. И снова говорили о том да сем, не замечая даже, что стужился вечер. Только вдруг смелее стали и слова и руки.

Из комнаты Казе Антанас вышел утром. Подался к реке, лег на спину под старой липой и лежал, глядел в высокое ясное небо. Потом перевернулся ничком, бухнул кулачищами по прохладной земле и прошептал:

— Антанас Петрушонис — гад!..

Потянулись слякотные осенние дни. Антанас сочинял второе письмо: «И опять тебе пишу. Я чертовски занят. (Выпятил губу, по-

думал и вычеркнул «чертовски», все-таки некультурно.) Повышаю квалификацию и скоро получу высокий разряд. В остальном все нормально. Ты, наверно, ждешь меня. Так жди. Приеду на праздники. (Тут снова подумал, придвинул к себе газету и отыскал длинную строчку.) Значит, на тридцать вторую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. А картошку уже копали? Вот и все. Еще раз — жди, покажусь...»

Антанаса закрутили дела и работа. Он метался как белка в колесе, некогда было переживать — все откладывал на завтра, ведь сегодня восемь часов в цехе, потом приятели, ну еще с Казюне в кино надо сходить или по улицам погулять. Девушка оказалась бойкая, говорливая, и он думал: а почему не пожить в свое удовольствие, пока можно... Грех? Предрассудки это, чихали мы... Сам чувствовал, что все реже вспоминает Эяну, да и вспоминает в основном так: «Дурак был, не стоило с ней путаться...» И тут же оправдывался: «Да что я видел в деревне-то? Взбеситься можно было от тоски...»

Антанас поглядывал на дружков, и ему казалось, что только его одного донимают такие заботы. Приятели смотрели свысока — не те уже пареньки, что пришли на завод полгода назад. Однажды уселись обедать — устроился кто где, жуют припасы... Антанас отломил горбушку черного хлеба, снял кепку, положил рядом.

— Ребята, обратите внимание, сейчас перекрестится,— засмеялся зубастый слесарь.

Грянул хохот, все уставились на Антанаса.

— Если я перед едой шапку снял... — попробовал было объяснить Антанас.

Но никто не слушал: очень уж стало всем весело.

— А что с него взять, прямым ходом из деревни!

Мужики говорили вроде без злости, но слова все равно задевали Антанаса.

— Я даже в окопе пилотку снимал... — добавил он, и все притихли, но через день-другой Антанас уже ел, надвинув кепку на глаза. Кусок застревал в горле, и он, не слыша разговоров, думал: почему это в деревне издавна так уважали хлеб? Уходил отец прокладывать первый прокос на ржаном поле, для начала бросал шапку на межу, с надеждой окидывал взглядом белые хлеба и только тогда замахи-вался косою. Никогда не садился за стол в шапке: ведь хлеб — святое творенье его рук и соленый пот спины его. Хлебу и труду отец молился. А когда Антанас впервые после войны вышел на ржаное поле, где дружно колосилась осенью посеянная им рожь («Посей рожь, сынок», — просил, умирая, отец, и Антанас посеял), он долго не мог оторвать взгляда от этой бело-зеленой стены. Гладил пальцами колосья — осторожно, точь-в-точь так, как потом, два года спустя, волосы Эяны. Вспомнив Эяну, виновато дернул козырек кепки...

Повязал галстук и явился на праздничный вечер в заводском клубе. Слушал песни и громкоголосых чтецов. Танцевал с Казюне. В общепитие возвратились толпой и, собравшись в одной комнате, открыли бутылку. Утром шагали по широкой, празднично убранной улице, и Антанас, крепко сжав в руке палку, нес транспарант. Шел, выпятив грудь, подтянувшись, как в строю когда-то, и перед трибуной во весь голос крикнул:

— Ура!

От музыки, песен, веселого гомона у Антанаса закружилась голова, и он не находил слов, только шептал:

— Вот это жизнь... Вот так... Ладно. И работать и праздновать вместе.

В общежитии подумал: «Давка будет в поезде, кости переломают. И билета, пожалуй, не достанешь. Ладно, в другой раз съезжу...»

Да и Казюне осталась одна, подружки-то разъехались.

Через неделю стал сочинять третье письмо Эляне. Тер локтями колченогий столик, тяжело складывал слова и обещания. Проснулся жемайтиец Бронюс, посмотрел, все понял, закинул обутые ноги на изножье койки.

— Грехи замаливаешь? Каешься? — колюче усмехнулся.

— Не лезь.

— У меня, если хочешь знать, жена с двумя детьми осталась в деревне.

Антанас тупо смотрел на корявые буквы письма.

— Дадут квартиру, привезешь.

— То-то и оно, что не привезу. Весточку получил: она там с другим живет.

Антанас уставился остекленевшими глазами на Бронюса и вздохнул:

— Взбесилась!

— Слава богу, я тоже не постился. Если уж в деревне такое творится... Там же все на виду, все знакомы, и со стыда не сгорели. А тут, в городе... Как в лесу. Только в работе портачить нельзя! Главное — давай план, перевыполний! — Мысли его спотыкались, будто хромая кляча, но Бронюс упорно гнул свое. — Теперь человека за работу вон как высоко поднимают! Депутата выбрали. Сто восемьдесят процентов за смену вышибает — и ура! Вот оно как нынче, Антанас, я уже эту математику раскусил. А бабенку еще не такую подыщу! Городскую, молоденькую...

Антанас вывел косую строчку на листке, отложил и решил: «Завтра допишу». Наутро прочитал, не понравилось. Разорвал и бросил.

— Уж завтра это точно! — сказал себе, походил по комнате, усмехнулся и без злости добавил: — Антанас, гад полосатый!..

На Новый год шумно отгулял в общежитии свадьбу с Казюне и перебрался в обещанную Эляне мансарду.

Мелькнула далекая мысль: наверное, Гялбуда уже устроил крестины ребенку Эляны. Так и подумал: ребенку Эляны.

11

Пивной бар — на первом этаже высокого нового дома. Вечером, когда зажигаются огни, мигают изящно изогнутые четыре буквы: «Пена». Под надписью вспыхивает и гаснет бокал пенистого пива. Мужчин здесь полным-полно уже с десяти утра. Частенько выстраивается очередь жаждающих. Есть и постоянные клиенты, выклянчивающие у прохожих копейки. Но в самом баре всегда порядок, который строго соблюдает барменша, крупная женщина с румяным пухлым лицом и вечно прищуренными, подведенными синим глазами. Если б не одно злосчастное событие, «Пена» по сей день пользовалась бы славой образцового учреждения. Но разве угадаешь, когда грянет гром? Прибывшие откуда-то издалека двое парней пили пиво. Барменша позднее заявила, что они взяли всего по пять кружек; уборщица видела, как один из них, поменьше ростом, достал из кармана поллитра и разлил в кружки, но потом, по зрелом раздумье, добавила: «Нет, мне показалось, ничего я не видала...» Так вот эти двое поднимали свои кружки, налегая грудью на столик из толстых лакированных досок, скрипели тяжелыми низкими табуретами. Пospорили о чем-то, повысили голос, барменша, не отходя от крана, огрызнулась: «Кон-

чайте!» Они вроде притихли, барменша отвернулась за чистыми кружками, и в эту секунду один из них, ростом поменьше, вскочил, схватил табурет и грохнул того, что повыше, по голове. Тот больше не встал. После этого события, опорочившего образцовое заведение, в тресте созвали срочное совещание и приняли неотложные меры для усиления борьбы с алкоголизмом: табуреты увезли, а на их место поставили легонькие стульчики из алюминия и пластмассы. Мужчины посмеивались: не дай бог найдется невежа и вместо холодного оружия использует пустую кружку, пиво придется пить из бумажных стаканов! Чего не выдумает народ, пока в очереди стоит.

Антанас Петрушонис по дороге с работы тоже останавливается иногда у двери, но ждать ему долго не приходится — под вечер очередь всегда редеет.

— Бывал в этом баре? — прерывает Антанас молчание, которое провожало их все два квартала.

— Сегодня, — отвечает Алексюс.

— Хорошая забегаловка, правда?

— Если в кармане свое приносишь, то и напиток можно.

Антанас незаметно оглядывается, словно ему шепнули на ухо: вот и этот может поднять табурет. Потом думает: видно, все они привыкли приходить в пивную не с пустыми руками. Швейцар, знакомый старик, еще до войны пропивший свое хозяйство, кивает ему седой головой. У стены свободен залитый пивом столик. Антанас машет Алексюсу, чтоб сел, а сам подходит к стойке и заказывает четыре кружки. Берет тарелку с нарезанным балыком. Садятся лицом к лицу, но взгляды отводят в сторону или опускают в кружки. Антанас не ждет ласковых слов, он готов проглотить любую пилюлю, но в висках колюче постукивают молоточки: «Твой сын... Твой сын, Антанас, гад. Твой, твой...»

— Почему раньше не заходил? — спрашивает он и спохватывается, что слишком уж глупо это звучит.

— Ты меня приглашал, спасибо. — Вздрагивают черные усики Алексюса.

— Так вот... Выпьем.

— Это можно.

После женитьбы, вспоминает Антанас, он вроде крысы в нору забрался и долго носу на двор не высовывал. Издевался над собой: грехи замаливаешь, Антанас? Да какие у тебя грехи и кто даст отпущение? И без труда отталкивал эти мысли, бросал, как изношенную рубашку в угол. Строй свою жизнь, говорил, работай. А если что-то сделал не так... Кому не случалось споткнуться... Если и есть вина, то не только твоя. Права теперь равные — и у мужиков и у баб. Казне была уютной и доброй для него...

— Где работаешь?

— Нигде.

— Как можно жить без работы? — удивляется Антанас.

— А живу. — Алексюс берет второй бокал, отпивает до половины, вытирает губы, и Антанас только теперь различает на мокрой руке Алексюса татуировку — пронзенное кинжалом сердце. — Как видишь, папаша, живу! Кореша тут мне одну идею подкинули. — Повеселел, заглядывает в глаза Антанасу Петрушонису и странно похачивает. — Вижу, думаешь: воровать, грабить решил Алексюс?

— Ну уж... Нет, — говорит Антанас, хотя Алексюс поймал мелькнувшую у него мысль. — Пока не работаешь, но ведь будешь. — И пробует даже пошутить: — Почему я должен думать о тебе дурное?

— А почему ты должен думать обо мне хорошее?

Алексюс звякает пустыми кружками, Антанас подходит к стойке, просит налить еще по две. Утонувшие в сигаретном дыму мужчины, сидящие за столиками и стоящие у стены, о чем-то спорят, за что-то благодарят друг друга, даже обнимаются. Подходит человек с распухшим носом, в куцем пиджачишке без пуговиц, просит двадцать копеек. Антанас вынимает из кармана мелочь и не считая высыпает в задубелую ладонь. Человек от радости едва не спотыкается, лезет целоваться, обещает в жизни не забыть. Антанас отворачивается, смотрит на осевшую в кружке пену, вспоминает, как вчера Казюне сказала ему: «Ищет... тебя сын этой...» Антанас смотрел в окно, не шевельнулся даже, будто не ему сказали. «Слышишь?» — «А что мне, прятаться?» И подумал, что это наверняка тот парень, которого видел у проходной. «Мне-то что,— говорила Казюне,— но тебе бы лучше не признаваться. Ничего не знаешь, и кончен разговор». Антанас обернулся, взгляделся в лицо Казюне, понял ее беспокойство, даже почувствовал себя виноватым перед ней — ведь женился, ни словом не обмолвившись о том, что Эяна в положении... «Не признавайся. А если что, на дверь покажи! — решительно наставляла Казюне. — Разве кто видел, как ты с этой девкой лежал? Мало ли с кем могла. В деревне тоже специалисты есть...» Эти грубоватые слова привели в чувство Антанаса, и он сдавленно спросил: «Хочешь, чтобы я отрекся и от сына?» «Смотри, чтоб потом не пожалеть», — отбрила Казюне. Вот и весь разговор.

Через столько-то лет, думает он, ты хочешь вернуться в прошлое и исправить ошибки. Но как их исправить? Смыть этим вот пивом?

Алексюс вяло ковыряет балык, оторвав кусочек, кладет в рот, лениво запивает, но бровь у него почему-то дергается.

— Как мать, держится? — осторожно спрашивает Антанас.

— Не могу сказать.

— Давно не виделись?

— Скоро пять годков стукнет.

Антанас удивленно смотрит, хочет отругать: «Да что ты, родную мать забыл?» — но убегает взглядом в окно, где в сгущающихся сумерках спешат по тротуару люди.

— Она живет там же?

— А куда денется.

— Замуж не вышла?

— Дура была.

— В колхозе работает?

— Дояркой. Год назад писала, что медалью наградили. Нашла чем хвастать.

— Медали за так не раздают, ты не смейся,— говорит Антанас.

На лицо Алексюса набежала какая-то тень. Помолчав, он приваливается спиной к стене, положив в лужицу пива ладонь — бурные капли капают в его рукав.

— Так вот, папаша,— продолжает он,— кореши мне идейку подкинули. Не знаю, как ты посмотришь.

Антанасу и тревожно и тепло: с ним хотят посоветоваться, ему доверяют. Не просто так пришел.

— Ты говори, Алексюс. Все выкладывай.— Он хочет даже коснуться руки сына, но только берет кружку и переставляет в другое место.

— Меня мать вырастила, сам знаешь,— все так же глядя откуда-то издали, говорит Алексюс.

— Время смутное было, все сложилось так...

— Да ты не кайся, папаша, я ж тебя не обвиняю.

— Понимаю, Алексюс.

— Матери нелегко было.

— Что и говорить, я не раз думал... Все собирался,—тяжело вздыхает Антанас Петрушонис.

— Опять каешься.

— Да нет, нет...

— Так вот, все на ее плечи легло.

— На ее...

Черные усики Алексюса встопорщились, глаза прищурились — от сигаретного дыма или просто так...

— А кореша мне говорят: ты подсчитай, Алексюс, сколько тебе папаша должен за эти восемнадцать лет.

Их взгляды сталкиваются, минуту они смотрят друг на друга в упор. Антанас опускает голову.

— А я своим корешам и говорю: не знаю, это уж папаше лучше знать. Они мне и говорят: иди и поспрошай.

«Что я могу ему ответить? Может, рассказать,— думает Антанас,— как собирался... Правда, хотел поехать и чем-то помочь... После прихода Эяны обмолвился Казюне, а она как взъярится — нет да нет!» «Думаешь к этой девке вернуться, да?» Она Эяну видела единственный раз — тогда, на пороге, но ненавидела люто.

Новый год тогда встречали у соседа, с которым Антанас работал в одном цехе. Народу набралось немало. Кричали наперебой, вместе с детьми наряжали елку, потом уселись за стол. Один стаканчик подняли за уходящий, другой — за наступающий. Малость согрелись, рванули песню. Антанас не поднимал глаз от стола, деревенская песня растравила душу. Опрокинул еще стаканчик, выбежал на балкон, вцепился в железные, обжигающие ладони перила, глядел на мигающие огни города, на темень полей за ними. И чем дальше глядел в мерцающую тьму, тем чаще приходила мысль, которая вдруг показала единственно верной. Антанас подсел к столу, опрокинул со всеми еще по одной и, едва грянула новая песня, незаметно ускользнул в коридор. Шел в развевающемся незастегнутом пальто по пустынным белым улицам, ступал по снежной целине, размахивал голыми руками и видел где-то впереди далекую избу Гялбуды и Эяну за столом; такой он видел ее в последний раз в тот памятный год...

На вокзале бродили одинокие пассажиры, в углу дремали две бабы с пузатыми мешками в обнимку, где-то хныкал ребенок. Билетная касса была закрыта. Антанас долго стучался в окошко, барабанил кулаками, но ему не ответили. Поднял слипающиеся глаза на доску с названиями станций и кое-как разобрал, что его поезд отправится лишь под утро. Опустился на скамью, зажмурился так крепко, что брызнули слезы. Тут же подсел человек с отпитой бутылкой, предлагал отхлебнуть глоток, бормотал что-то о корове, которую не то продал, не то собирается продать, но Антанас повернулся к нему спиной, уткнулся лицом в спинку скамьи. Сон не брал. Да ему и не хотелось спать. Сжался в комок, тоскливо подумал: «Вскочить, что ли, и хоть пешком, но в сторону родной деревни...» Не вскочил, сидел в каком-то изнеможении. Сам не знает, как долго промаялся — час или два, как вдруг кто-то взял за плечо. Антанас заерзал, не открывая глаз, попытался сбросить чужую руку. Его потормошили сильнее. Поднял голову: перед ним стояла Казюне. «Пошли домой, Антанас», — едва расслышал он, как во сне обвел взглядом просторный и холодный зал ожидания и послушно встал. Так они и не сказали ни слова, пока возвращались по просыпающемуся городу.

«Я же хотел потом,— думает Антанас,— без ведома Казюне скопить денег, послать или отвезти, но деньги текли сквозь пальцы,

все требовалось — и мебель и одежда. Потом стал копить на машину, одолжил у дяди Симанаса, купил. И все думал, бывало: вот расплачусь с долгами и тогда... Совал дяде по сотне и по две несколько лет и сам запутался, и дядя счет потерял. Сказал: «Да не суй ты мне больше, лучше уж как-нибудь по грибы отвезешь». Все затихло, забылось и осталось так. Рассказать ему? Опять скажет — каешься. Может, и правда...»

— Чего молчишь? — Вспыхивает крепко зажата в зубах Алексюса сигарета. — Кругленькая сумма получается, верно?

— Верно, — скрипучим голосом соглашается Антанас.

— Вот кореши мне и говорят: хоть годик-другой пожил бы на славу.

— Верно, — все тем же странным голосом повторяет Антанас.

— Можешь послать меня, конечно. Раз такой грамотный, дескать, то через суд требуй.

— Знаю. И ты не получишь ни гроша, — Антанас поднимает взгляд, хочет приструнить Алексюса; надоед ему этот прокурорский тон.

Алексюс гасит недокуренную сигарету о край полной пепельницы, яростно сплющивает, как клопа, и даже встряхивает пальцы от омерзения.

— Взял бы еще пива, — говорит.

Дверь со стороны улицы уже в осаде, ее охраняет седой старик. Никто не торопится покидать бар, спешить-то некуда, а если уже начал, дальше идет легко. В облаке дыма Антанас чуть ли не ошупью пробирается между столиками и захмелевшими мужчинами. Кто-то затянул было: «Мы ползком, мы ползком да на горочку...» — но требовательный женский голос из-за стойки приказывает: «Кончайте!» — и певец тут же замолкает.

Антанас налегает локтями на стойку и чувствует, что голова уже кружится от пива, дыма и духоты. «Алексюс хочет знать, — думает, — сколько я ему должен. Почему ему? Почему не Эляне, его матери? Правда, почему не Эляне?» Как-то Казюне сказала: «На хорошую девку напоролся, другая зубами алименты бы выдрала». Но в ее голосе все равно звучала ненависть к Эляне. Как может одна женщина так ненавидеть другую?

Снова стучат по столу кружки, вьется сигаретный дымок.

Сидят, молчат.

«Город нас быстро приодел в новую одежду, — думает Антанас, — принарядил в шерсть, нейлон, напялил шляпы и надел парики. Душистое мыло да шампунь смыли с нас деревенскую грязь, но как выковырять ее оттуда, куда и веником не дотянешься?»

— Так что мне сказать корешам, папаша?

«Не торопись, — приказывает себе Антанас. — Нет, нет, у тебя и так голова разламывается. — И тут же укоряет себя: — Опять пытаешься откладывать? Все перекаладывать на завтра, еще на завтра». «Антанас Петрушонис, гад полосатый, вперед!» — звучат в ушах давнишние слова, которыми он любил себе приказывать по-солдатски.

А почему Алексюс там, во дворе, спросил, не вернулся ли Викторас? Откуда он знает?

От этой мысли Антанас Петрушонис как бы просыпается, сбрасывает охватившую тело вялость.

— Почему ты спросил о Викторасе?

Вопрос задан неожиданно, и Антанас замечает, как Алексюс горбится, будто его ударили ребром ладони по шее, щурит глаза, почему-то прячет руки под стол.

— Ты его знаешь, Алексюс? — Взгляд Антанаса требует ответа.

В глазах Алексюса вскипает пьяная ярость, его кустистые брови пляшут.

— Знаешь?

— Вот что я тебе скажу,— цедит сквозь зубы Алексюс.— Не думай, что я от большой любви к тебе пришел. Может, хотел только увидеть... как выглядит отец, который вырастил такого сына... Виктораса!.. Такого бдительного брата.

Взгляд Антанаса Петрушониса шарит в густом дыму, ищет чего-то, потом возвращается к Алексюсу.

— Не понимаю,— говорит он.— О чем ты?

Алексюс хохочет громко, так громко и зло, что от соседних столиков оборачиваются.

— И я не понимаю, как это может быть!— захлебываясь злым прерывистым смехом, говорит Алексюс, встает, оттолкнув ногой легонький стульчик, и выходит в дверь.

Антанас горбится над столиком, уставленным пустыми кружками.

12

Симанас Петрушонис заболел. Спускался рано утром по лестнице, накатила слабость; вызванная врачиха сказала: сердце. Ляонасу Райжису об этом сообщила после обеда табельщица, которой позволила озабоченная жена Симанаса. Ляонас буркнул что-то, поднял телефонную трубку, чтобы позвонить, но забыл кому и, подержав ее в руках, положил на аппарат. Он ведь был уверен, что не вышедший на работу старик ищет справедливости, сидит в какой-нибудь приемной...

Вчерашний разговор нелегко дался и Ляонасу. Он долго готовился к нему, обвинял себя в дурацкой сентиментальности («Противная деревенская привычка»), но после очередного звонка директора надо было действовать. Не Ляонас виноват в том, что годы бегут, думал он совсем искренне, все мы стареем, работаем на износ. Не он это изобрел, и не ему это ломать. А от старика, у которого уже руки трясутся, ждать нечего. Молодые нужны, бойкие. И никаких «ах» да «ох». Но тут Ляонас спохватился, что замахнулся на Симанаса дубиной, которую вложил ему в руки директор. «Производительность труда со стариками не повысишь,— сказал тот.— Проводим его на пенсию». Ляонас тут же понял что к чему, только на минуту растерялся, но почти сразу же и ему это показалось удобным: не придется выслушивать нравочений старика, которых не избежать, если его отношения с Дейманте будут продолжаться. А ведь будут продолжаться! Какого черта Симанас во все встρεвает! Из чувства долга? Ляонас благодарен Петрушонису; провозжая на пенсию, он расскажет всему коллективу, как старик учил его работать. И не только работать — жить учил. Поблагодарит публично, пускай все слышат и знают. Вот и все. Доброго здоровья вам и многие лета...

Легко ты расправишься с человеком, жизнь которого — живая история завода! Ах, опять вылезло наружу слюняйство, как грязные манжеты рубашки... Но все-таки еще подумал: следовало бы как-нибудь забежать к Симанасу. Старик немало ему помог, это правда. Но нахлынули новые заботы, голова разламывалась после рабочего дня...

Весть о том, что Дейманте с девочкой перебралась к матери, застала Ляонаса врасплох.

— Не могла я больше там,— коротко сказала Дейманте.

Они гуляли по забитым людьми улицам. Ляонас держал ее под руку, нес какую-то чепуху, и ему было хорошо. Предложил зайти

в ресторан, но Дейманте отказалась: «В другой раз» — и ласково прижала локтем руку Ляонаса. Возвращались по той же улице, застланной кружевными тенями лип. Дейманте сказала, что ее ждет Рената, и Ляонас остановил пустое такси. Шины шуршали по мокрому асфальту, они, прижавшись, сидели сзади водителя... Высадив ее около дома, помахал из окна такси, поехал к себе. Дальше медлить нельзя было. На пороге подумал: может, жена спросит наконец: «Почему так поздно возвращаешься?» Тогда можно будет что-то ответить, рассердиться даже. Но Эугения давно уже ни о чем не спрашивает, хотя Ляонас видит: догадывается, а может, и знает.

— Ужин в кухне на столе,— говорит она, подняв голову, смотрит на него в упор и опять склоняется над чертежом. Она часто приносит работу домой. Раньше этого не было, а теперь он всегда застает Эугению за работой; сидит до глубокой ночи.

Поужинав, он ставит посуду в раковину и снова опускается на стул в кухне. Надо найти слова, которые объяснили бы коротко и ясно и все до конца. Вместе прожиты годы. Не один и не два, уже шестнадцатый на исходе. Верно, они поженились в середине ноября, и через три недели... Теперь уж это все ничего не значит. У него нет к ней ни любви, ни ненависти. Ничего. Зачем же такая жизнь? Что такое семья? Что такое счастье? Ведь у человека есть право на счастье, на настоящее счастье. Хоть на один день этого счастья, чтобы потом всю жизнь помнить: вот в этот день ты был счастлив по-настоящему.

Ляонас кладет голову на руку, лежащую на столе, перед глазами плывут круги, из разноцветного густого тумана выплывает лицо Эугении. Тогда он вечерами учился в техникуме, а она работала в канцелярии. Ближе познакомились, когда он получил двойку по физике, пошел просить преподавателя о пересдаче. Пока тот сидел в столовой, они болтали. А через полгода он женился на Эугении; она была на три года старше его. «Надоело шататься по общежитиям, вот и женился»,— посмеялись приятели. Ляонас чуть не рассорился с ними.

Эугения помогла ему кончить техникум, потом заставила поступить на вечернее отделение политехнического института. Жизнь текла спокойно; только успевай поворачиваться — работа да учеба. Изредка они выходили на улицу; навстречу им счастливые молодые матери толкали коляски. Как-то, показав взглядом на ползавшего по траве младенца, вроде бы в шутку обмолвился: «Ты бы не хотела такого?» «Боюсь, Ляонас, что не будет такого»,— ответила она просто, словно держала ответ наготове. Ляонас не спросил: «Почему не будет?» — только на лбу у него проступила холодная испарина...

Ляонас трется лбом о локоть. «Опять слюнятьство»,— думает он. Заколдованный круг... Разорвать его, освободиться!.. Резко встает, опрокидывает стул. Грохот, наверно, слышит весь дом. Ляонас приваливается спиной к холодильнику, наконец подается всем телом вперед. Дверь приоткрыта, как обычно. Настольная лампа освещает склоненную голову Эугении, круглые плечи, костистую руку, которая что-то выводит карандашом на ватманском листе. На пальце поблескивает обручальное кольцо. Ляонас крепко стискивает зубы. Жена не оборачивается. Она чертит новую линию, что-то пишет. Медленно движется ее рука.

— Эугения...

Слышит, как она глубоко вздыхает, откидывается на спинку кресла, поправляет волосы. Ее рука застывает. Мертвая, восковая рука...

— Я буду спать у себя,— говорит Ляонас.

Эугения нашаривает карандаш, чертит линию. Карандаш ломает-

ся. Берет другой из глиняной вазочки, тут же откладывает, тянется за резинкой.

— На диване себе постелю...

Непроизнесенные слова судорогой сжимают горло, и он торопливо уходит в свою комнату.

Ляонас долго не может заснуть. Видит в щель под дверь свет в соседней комнате. Вот зашелестела бумага. Со стуком упал на пол карандаш. Он смотрит на светящийся циферблат часов — половина второго. А ведь завтра на работу, в девять совещание, и опять — план, качество, план! Но в голове будут кружить совсем другие мысли. Проклятая нерешительность! Жалеть надо только слабых, увечных. Может, и Эугения найдет того, кто полюбит ее по-настоящему, и тоже будет счастлива. Он желает ей этого, и она не должна осуждать его, что он обрывает гнилую ниточку, связывавшую их. Стоит ли поднимать развалины? Надо новый дом соорудить, новый!.. Но у тебя спросят: «Гражданин Райжис, почему вы разводитесь?» Ты ответишь, что не любишь Эугению? У тебя снова спросят: «Почему?» У тебя сто раз спросят: «Почему?» «Мы стали чужими друг для друга». Но кто же в этом виноват? Когда ты усталый возвращался с лекций, Эугения встречала тебя у порога. Сидела, смотрела, как ты ешь, рассказывала новости. Ты — побыстрее в постель, рано утром ведь на работу. Потом лекции кончились, ты стал начальником, а времени для жены все равно не оставалось. Строительство садового домика, приятели, вылазки на машине... Часто ли вы вместе куда-нибудь ходили?

Ляонас переворачивается на спину, прикрывает рукой глаза. Он не мог иначе, он все время старался, его цех не раз был впереди. Нельзя было не встречаться с людьми по делу. И Эугению он не держал под замком. В прошлом году купил билет на японскую эстраду. А через ряд за ними с Эугенией сидела Дейманте, и целых два часа ее взгляд ножом резал спину. Да, это был последний раз. Но Эугения ведь жила обеспеченно, дом — полная чаша. Он не виноват, что все распалось... Надо заснуть, вот до ста сосчитает...

Но Ляонас не успевает сосчитать до пяти, и перед ним всплывает улыбающееся лицо Дейманте, ее нежные и жаркие руки обнимают его, а губы шепчут непонятные ласковые слова. «Мне будет хорошо с тобой, Дейманте», — говорит Ляонас.

Шелестят медленные и тихие шаги, щелкает выключатель, со скрипом закрывается дверь спальни. «Больше откладывать нельзя», — думает Ляонас и переворачивается на бок.

«Мне всегда хотелось иметь детей», — неожиданно слышит он свой ответ на еще один вопрос, ждущий его, и Ляонас со злостью утыкается лицом в подушку. Если по правде, отсутствие детей его не беспокоило. Конечно, будь они, все бы пошло иначе, он бы любил сына, может, даже дочку. Одного ребенка, не больше... Надо спать, спать...

Снова мелькнула Дейманте... Он слышит ее спокойное дыхание...

Утром встает рано, голова звенит. Выходя из ванной, встречает в дверях Эугению. Лицо ее опухло, глаза покраснели. Она торопливо запахивает халатик, ищет пуговицу, не находит.

— Я хотел тебе вчера сказать, — начинает Ляонас и, кажется, впервые видит седую прядку в волосах Эугении, две глубокие борозды у рта; в горле пересыхает, но он не может больше откладывать. — Давай присядем, Эугения, и поговорим спокойно.

Она бочком движется к стулу, садится. Ляонас остается на ногах.

— Мы прожили немало лет и, кажется, ладили. И ты ко мне была внимательна и я к тебе...

— Ляонас, давай прямо.— Пальцы Эугении то расстегивают, то застегивают пуговку.

— Ты же сама видишь, Эугения, больше мы так жить не можем. Мы стали не нужны друг другу.

— Не нужны,— тихонько повторяет Эугения, не то спрашивая, не то соглашаясь.

— Да, не нужны. Старые знакомые... И если еще осталось какое-то чувство, то это только... Мы же разумные люди... Ко всему должны относиться трезво...

Эугения с трудом выслушивает Ляонаса.

— Я согласна,— говорит она ровным голосом.

Ляонас растерян, он смотрит на жену таким взглядом, что, кажется, вот-вот подойдет, чмокнет в щеку и скажет: «Спасибо тебе...» Но идет к креслу и садится.

— Я думал... я так и думал, что ты поймешь. Ведь когда нет детей, все проще...

На губах Эугении мелькает усмешка:

— Ты стал красноречив.

Ляонас, кажется, не расслышал слов жены.

— Есть еще одна сторона вопроса, мы тоже должны ее утрясти. Ну, квартира, имущество...

Лицо Эугении искажает страдальческая гримаса.

— Ты не беспокойся, Ляонас,— говорит она и встает.— Будет так, как ты хочешь.

— Но ты же знаешь закон — все пополам...

— Знаю. И знаю, что тебе этот закон неудобен. Поэтому повторяю — будет так, как ты хочешь... А теперь нам пора на работу.

Ляонас провожает ее взглядом до двери и долго сидит в кресле, чувствуя, как вдруг потяжелело, обмякло все тело.

Одеваясь, думает: «Да, да, я так и знал, что Эугения — разумная женщина. Она всегда была разумной женщиной»...

Два дня спустя Ляонас покупает вечернюю газету, останавливается на улице и в отделе объявлений читает: «Меняю трехкомнатную квартиру в новом доме со всеми удобствами на две: двухкомнатную и однокомнатную. Предлагать после работы по телефону 2-13-59».

Поймав такси, мчится домой.

Вот и телефон зазвонил.

В просторном фойе, у стен которого выстроились мягкие, обитые искусственной кожей кресла, тишина, только где-то за высокой дверью негромко играет музыка. В углу сидит счастливая парочка. Оба праздничные, даже пунцовые от счастья. Парень держит девушку за руку, что-то тихо говорит ей, смотрит на часы.

В широкие окна льется свет ненастного дня.

Ляонас садится по одну сторону двустворчатой двери, Эугения — по другую. Руки бессильно лежат на подлокотниках, глаза устремлены в белую стену, на которой висит огромная картина, изображающая свадебное застолье, когда все кричат «горько» и головы молодоженов робко наклоняются друг к другу. Тогда ведь не было... Ничего не было... Ни этого дворца, ни картин... Все было просто и буднично... Мысли Ляонаса летят куда-то, рвутся. Краешком глаза он косится на Эугению и еще раз думает: почему она сегодня так принарядилась? Новая прическа, даже седины не разглядишь. Накрашена ярко, в светлой шляпке, в новом пальто... А может, она тут, за этой дверью, иначе заговорит и покажет когти? Ляонас отмахивается от этой мыс-

ли: глупости, он хорошо знает Эугению и уважает ее. Не любит, но уважает... И будет уважать всегда как женщину, с которой... которая отдала ему шестнадцать лет... «Не надо,— спохватывается он,— не надо думать! Спокойней, спокойней...»

Открывается дверь, и пожилой, интеллигентного вида человек широко шагает по фойе. Ляонас вскакивает, посмотрев на Эугению, кивает на дверь: пошли, мол. Она легко поднимается, поправляет пальто, шляпку.

Просторный глубокий кабинет, они долго идут по гладкому зеленоватому ковру, садятся напротив друг друга за длинный тяжеловесный стол. Человек листает бумаги, находит нужную, сплетает пальцы на столе и устало смотрит вначале на Ляонаса, потом на Эугению. И начинает говорить о жизни и семейных отношениях, о горестях и радостях будней, о размолвках и временных конфликтах. Его монотонные слова сливаются с гулом машин за окнами, и Ляонас почти не различает их. Бросает взгляд на Эугению — она скорее всего совсем не слышит.

— Гражданин Ляонас Райжис, может, вы передумали и заберете назад свое заявление?

По спине Ляонаса пробегают мурашки. Он поднимает глаза на Эугению. Ее лицо спокойно.

— Нет,— говорит он.

— Вы, гражданка Эугения Райжене, согласны, чтобы ваш брак с гражданином Ляонасом Райжисом был расторгнут?

— Да,— отвечает Эугения, кажется не раскрывая губ.

— Вы хотите что-то пояснить по этому поводу, гражданка?

— Нет.

— Об имуществе...

— Мы обо всем договорились,— торопливо прерывает Ляонас угрюмый голос служителя этого дворца.

— Вы согласны с этим, гражданка Эугения Райжене?

— Да.

Эти длинные вопросы и короткие ответы падают на Ляонаса как камни. Вечностью кажется минута, пока скребет перо в неторопливой руке служителя и он произносит:

— Распишитесь.

И вот они медленно спускаются по лестнице, выходят на улицу. Порыв холодного ветра приводит Ляонаса в чувство, он полным ртом втягивает свежий воздух, чувствуя, как возвращаются силы, проясняется голова.

— Садись, Эугения, подброшу до института,— говорит он, удивляясь, как легко даются ему эти слова.

Эугения садится рядом, как и раньше, автомобиль легко трогает с места и вливается в поток машин.

— Я понимаю, Эугения, в каком я у тебя долгу,— наконец говорит Ляонас, устремив взгляд на блестящий асфальт.— Но когда-нибудь...

— Нет, нет...

— Все-таки ты мне и машину оставила и дачу... Хотя на что тебе машина?

— Я что-нибудь прошу?

— Да, Эугения, ты всегда была...

На перекрестке машина останавливается, оба молчат. Ляонаса раздражает, что так долго приходится ждать — час пик. Снова мчатся, обгоняя другие машины, наконец останавливаются перед пятиэтажным домом. Ляонас поворачивается к Эугении и без слов говорит — вот и все, привез. Эугения неожиданно хватается его руку на

спинке сиденья, сжимает; смотрит на него глубоким, каким-то затуманенным взглядом:

— Ляонас, мне так страшно!

Сухой комок подкатывает к горлу, но он тут же сглатывает его.

— Все забудется, Эугения. Ты еще молода...

— Так страшно...

Она неловко выбирается из автомобиля и медленно направляется к двери института.

Ляонас чувствует, как у него ноет сердце...

На другой день он выбегает с завода, влетает в будку автомата и неожиданно для себя самого теряется. Шарит в карманах в поисках монеты, но пальцы не слушаются, точно одеревенели...

— Дейманте.

— Лео?!— радостный голос, от которого по всему телу растекается тепло.— Где ты пропадал?

— Работа, заботы. Ты ничего не знаешь, Дейманте! — выдыхает он.

— Все-таки мог и для меня минуту найти.

— Большие события под моей крышей, Дейманте. Вот послушай вкратце: развелся с женой, живу на новой квартире.

Тишина.

— Ты меня слышишь? Дейманте!

— Ты правду сказал?

— Дейманте, как бы я мог тебе... Вчера перебрался на новую квартиру. Дейманте, почему ты молчишь? Дейманте, алло!

— Я не знаю, что сказать. Я правда не знаю.

— Ты не рада? Дейманте... Алло! Алло!

— Тут меня ищут... Прости, мне пора.

— Дейманте! Алло!

Ляонас оставляет дверь будки открытой.

По ухабистой улице несутся грузовики, разбрызгивая липкую осеннюю грязь.

13

— Антанас звонил, собирается заглянуть. Я в кулинарию сбегая, авось найду чего.

Симанас ставит на тумбочку пузырек с лекарством, этикетку которого изучал, снимает очки, аккуратно складывает дужки.

— А я уж думал, забыл меня совсем.— Приподнявшись на локте, отхлебывает из кружки.— Опять в чай сахару положила,— ворчит он.— Сколько раз тебе говорить, мать,— не хочу сладкого, а ты мне сахару наваливаешь. Я ж с вареньем пью...

Но жена не отвечает. Слышно, как она открывает стенной шкаф, как шаркает, одеваясь, в передней, как что-то падает со стуком — наверно, зонтик уронила.

— Смотри не вставай, Симанас. Я сейчас,— предупреждает жена из передней и, пошуршав еще чем-то, хлопает дверью.

Симанас поворачивается к тумбочке, на которой все под рукой — пузырьки и коробки с лекарствами, термометр, банка варенья, кружка с ложечкой, стопка свежих газет... Вроде бы лежи себе на здоровье, но нет хуже такого лежания! Да еще смирно лежи — вставать-то не разрешают. Мол, сердце должно окрепнуть. А как оно окрепнет, если он вот так, вроде бревна под забором? Покой, мол, и лекарства. Лекарства-то он принимает. Одни по два, другие по три раза в день. Одни перед едой, другие после. Каждый день приезжает медсестра,

делает укол, к ляжке прикоснуться нельзя, распухла. Никак на вену напоролась, говорит жена. Сколько еще ему лежать? Пока не восстановится нормальный ритм сердца, говорят. Оно и так стучит, будто движок! Нет, на той неделе кардиограмма, а пока лежи...

Лежи... За всю жизнь он больше недели не прохворал. Погоди, старик, минуточку!.. А при немцах, когда тебе ребра пересчитали, сколько провалялся?

Симанас медленно садится, сбрасывает с ног одеяло и смотрит на посиневшие ступни. Кожа у него такая, видать, отморозил когда-то. Ноги еще крепкие, пустяк, что ноют иногда; еще долго будут его носить. Только сердце чего-то расшаталось. Никогда ведь не чувствовал его, и вдруг в то утро на лестнице не хватило воздуха, а сердце будто клещами стиснули и стали выдирать из груди... Даже крикнуть не сумел. Сосед нашел его сидящим на ступеньках и привел домой, а жена тут же: «Скажешь, не говорила, не говорила? Ладно, вот отдохнешь, и все войдет в норму...» Но лежать пластом тоже нельзя, мало что доктора скажут. Надо двигаться. Медленно, потихоньку двигаться, приучать сердце, а то потом нагрузишь его сразу... Ведь через неделю-другую идти на завод, а там целый день на ногах... Если вот так проваляешься...

Симанас спускает ноги, нашаривает шлепанцы и, опираясь руками на край кровати, встает. Проходит всю спальню, поворачивается, снова идет. Уходит в соседнюю комнату. Все так, полегоньку... Даже в глазах светлее становится, когда на своих ногах стоишь.

Походив немножко, Симанас Петрушонис садится к окну и смотрит на двор. Пасмурный день; полдень уже, а, можно сказать, и не рассвело... Весной или летом Симанас любит посидеть на балконе. Кругом дома и дома... Огромные, белые. С синими, коричневыми балконами. Игровые площадки, полные галдящих детишек, угол школы из красного кирпича... Каждый раз вроде одно и то же, но всегда найдешь и новое. Вот и сейчас... меж двух домов Симанас видит стрелу башенного крана, украшенную красным флажком. До болезни не было ее... Выходит, новый дом начинают. Ну конечно, там же пустырь оставался. Кто-то говорил, что там будет еще один детский садик. Так оно и есть. А давно ли здесь простирались поля? Карьеры, мусорные свалки, старые избы. Семь лет назад огромный район начали возводить на голом месте. Так когда-то и сам Симанас начал — на голом месте. И его завод так вырос. На глазах вырос, он сам, своими руками помогал ему расти. И кто мог тогда, пятьдесят лет назад, подумать, что все так обернется... Отец слушал, слушал его жалобы, что хлеб с мякиной, что рабочий день без конца, и сказал: «Не нравится у меня, подавайся в город. Думаешь, там тебя пироги ждут? Не бойся, найду, кому оставить и хозяйство и кузницу». Старший брат Мотеюс, уже женатый, слова не сказал, но по его глазам было видно: только и ждет, чтоб Симанас ушел. Такое время было, каждый думал о себе и старался отхватить кусок побольше. Да уж, брат не брат... И Симанас зашел в кузницу, огляделся, взял гаечный ключ собственного изготовления, подержал в руке и сунул в карман. Ушел как стоял — и, конечно, не думал, что его ждут какие-то пироги, просто мечтал о другой жизни.

На окраине города к зеленому пригорку прислонился длинный просторный сарай с широкими дымоходами. В сарае полыхали пламенем пять горнов, на огромных чурбаках стояли наковальни, у стен тянулись верстаки, а двадцать три мужика носились как угорелые. Симанас стал двадцать четвертым, и поскольку ему шел девятнадцатый год, его приставили раздувать мехи да подбрасывать уголь в горнила. И жалованье ему положили вдвое меньше, чем мастерам.

как их тут величали. Ах да, над высокими воротами этого сарая была прибита доска со словами: «Фабрика Адомаса Мамбертаса».

Сам Мамбертас, пузатый человечек, целый день путался в ногах у рабочих, делавших плуги, мотыги, тяпки, и бабьим голоском повизгивал: «Сколько металла зря переводите! Берегите металл!» Симанас смотрел-смотрел на него со стороны и расхохотался. Работавший рядом старик спросил: «А ты чего?» «Мой отец про этого коротышку точно бы сказал: ну и мужик, кот меж ног пробежит и хвостом за ширинку заденет». Старик цыкнул на него: «Такие шуточки тебе боком выйдут!»

Так оно и случилось, только позднее, когда на месте сарая выросло каменное здание с литейным цехом, а рабочих стало около сотни. И над воротами была уже новая вывеска: «Фабрика братьев Мамбертасов». Правда, другого брата никто в глаза не видел, но все говорили, что он «высоко сидит». И вот как-то весной, явившись утром на работу, они увидели на верхушке клена, росшего посреди двора, красный флаг. Легкий ветерок развеивал его, и он казался живым. «Сегодня же Первое мая!» — шепнул кто-то. Симанас уже не был зеленым деревенским пареньком, знал что к чему. Они столпились у ворот, уставившись на этот флаг. И тут примчался побагровевший Мамбертас. «Убрать флаг! Убрать!» — завизжал он, топя ногами. «Да что вам стоит, хозяин, — вроде бы полголоса проговорил Симанас, — хлоп, хлоп — и на дереве, что воробей». Хохотнули стоявшие поблизости мужики. А назавтра Симанаса вместе с двумя другими рабочими упекли в арестантскую. За три недели «отпуска», сидя на хлебе и воде, он как следует перетряхнул свои мозги, в которых, как признавался потом, трухи еще было немало.

Недавно Симанас слышал, жена рассказывала соседке: «А сколько я за те годы натерпелась-то! Уходит куда-то, под утро является. «Где был, а?» «То тут, то там», — отвечает. Вижу, что выкручивается, глаза прячет. «Другую завел?» Сижу и плачу — молодость мою погубил, изверг... Только потом, когда жизнь по-другому перевернулась, он и говорит: «Дурочка ты, дурочка, по партийному делу ходил, листовки носил». А я-то еще пуще испугалась: только не встревай, говорю, не суйся никуда...»

Но Симанас снова почти не бывал дома. Над воротами завода появилась новая вывеска: «Народное хозяйство». Это значило, что фабрика теперь рабочим принадлежит.

Выбрали Симанаса в завком, но не успел он сносить пары башмаков, бегая по митингам да собраниям, как в одно июньское утро над головами завывали самолеты. Снова появился Мамбертас: блестящие сапоги, галифе, в руке тросточка. «Кончили ваши денечки! Сейчас посмотрим!..» — визжал он. Пришли трое с белыми повязками на рукавах да при оружии и увели Симанаса из дому. Держали долго: говорят, такое было указание Мамбертаса — проучить... Фабрике специалисты нужны были. Вот и проучили... Исхлестали проволочными нагайками и вытолкали на улицу. Долго лежал, пробовал ползти. Кто-то увидел его, помог добраться до дома. Жена примочками из ромашки и слезами долго лечила его раны. «Не прекрала я Симанаса, не пила, — рассказывала жена соседке. — Думала, придут еще забирать, глаза палачам выцарапаю, пускай и меня забирают. Не отдам Симанаса, говорю...»

Убегая, фашисты оставили груды дымящихся развалин.

С чего же начать, что делать? Человек размахивал пустым рукавом шинели и втолковывал сидящим на кучах битого кирпича рабочим, что деревня позарез нуждается в сельхозмашинах.

На западе еще гремели орудия, а по новой ветке уже катили эше-

лоны с цементом, железом, кирпичом. На пыльных вагонах Симанас читал второпях выведенные слова: Хабаровск, Киев, Москва, Тула...

...Симанас смотрит на новые дома, его взгляд убегает далеко, за реку, где в небо упираются трубы завода, а на пригорок поднимаются железобетонные мачты электропередач. «Неужто все? — пронзает его мысль. — Неужто осталось лишь в окошко глядеть?» Споткнулся на лестнице, выпал из строя и остался на обочине. Другие будут строить дома и выпускать машины. Все будут делать другие... А ты уже свое сделал?..

Симанас Петрушонис встает со стула и снова медленно бредет по комнате. Постояв перед портретами сыновей, насунив брови, возвращается в спальню, ложится. Неужто все?

— Окно открой! Мать! — зовет он и только тогда вспоминает, что жена ушла в магазин.

Антанас Петрушонис достает из-под полы бутылку сидра, заговорщически подмигивает Симанасу.

— Принесите-ка бокалы, тетушка.

Старушка всплескивает руками, испуганно смотрит на лежащего в постели Симанаса.

— Что ты выдумал, Антанас! Разве не видишь, какой он... лекарства принимает.

— Тетушка, да разве я водку? Шипучка... Ну?.. Дядя, праздник ведь.

Симанас поднимает серые кустистые брови, по его лицу пробегают улыбка.

— Принеси-ка фужеры, мать, — привстает он.

— Ты, отец, совсем как ребенок. — Жена поправляет за спиной подушки, одевало. — Прислонись-ка.

— Принеси, мать, принеси. И эти все пузырьки убери с глаз, видеть их не хочу!

— Да успокойся ты, — вздыхает жена, прибирая на тумбочке, и рядом с вазочкой печенья ставит тонконогие сверкающие бокалы.

— Так мы же всегда, дядя, на праздниках малость выпивали. И песни пели.

— Было дело, Антанас, а теперь — видишь... — страдальчески покачивает головой Симанас Петрушонис.

— Такого я от вас, дядя, в жизни не слышал.

— А чего?

— А того, что вроде аминь, — смеется Антанас.

Симанас поднимает колени, крепче опирается на подушки.

— Нет, нет, сынок Антанас, тебе только показалось. Я еще... Ну, сам увидишь.

Антанас встряхивает бутылку, пробка с треском летит к потолку.

— Только Симанасу много не наливай, капельку, — беспокоится жена.

— Одна пена, тетушка.

— Нельзя ему.

Все трое поднимают бокалы с пенистым напитком.

— Ну так, — нараспев говорит Симанас, — за нашу жизнь.

— И за вас, дядя, — добавляет Антанас. — Чтобы до ста лет ни на какие такие пенсии!

— Сотня не про меня, сынок, — ласково и задумчиво отвечает Симанас. — Хоть бы еще пару годков протянуть на работе. Семьдесят тогда стукнет...

Бокалы допиты, жена просит угощаться. Может, мяса нарезать? Пообедал уже, отказывается Антанас. И они после обеда.

— Печенье кушайте, это же не еда... Симанас пальцем не прикоснется, ему сладкого и не подавай. Только не наливай больше, Антанас. Хватит. Он же лекарства принимает. Зашла бы врачиха, досталось бы вам... Ну разве что капельку. Твое здоровье.

Снова толкуют, хрустят печеньем. Обмолвились о работе, о новом цехе. Говорят, все там будет механизировано да автоматизировано, новое оборудование уже прибывает, Антанас сам видел, с рабочими говорил.

— Может, вернешься к нам? — спрашивает Симанас.

Антанас берет с блюдечка стакан чая, отхлебывает.

— Я вам, дядя, не раз говорил и еще могу повторить. Почти десять лет я на нашем заводе отмахал. Но в цехе мне всегда воздуху не хватало. Трудно выдержать в этом шуме. И рукам надоедает каждый день тот же самый инструмент держать... На стройке дело другое. Тут и поля видишь, и дождь тебе на голову льет, и солнце спину греет.

— В отца ты, Антанас. Тот тоже любил и жаворонка послушать в поле и молотом в кузнице помахать.

— Видать, оно так.

— Ага, — говорит Симанас, чмокает сухими губами. — От этой шипучки во рту пересохло, а больше ни капли нельзя. Трассу не кончили еще?

— Давно могли кончить, — раздражается Антанас. — Бригадир на месте топчется, будто в штаны наклал, извиняюсь. Ручки потирает, бегаёт, а работа стоит.

— И никто этого не видит?

— Как не видит? Все видят.

— И молчат. И ты молчишь, сынок!

Симанас оглядывается — жена ушла за чем-то на кухню — и протягивает бокал:

— Плесни-ка.

Антанас наливает на доньшко, потом себе, но к бокалу не прикасается; лицо помрачнело, на лбу проступили извилистые морщины. Облокотившись на колени, прячет лицо в ладони, потом снова поднимает голову, но глаза какие-то неживые.

— У меня к вам дело, дядя.

Симанас бросает на него внимательный взгляд и, почувствовав что-то недоброе, дрогнувшей рукой ставит бокал на тумбочку.

— Говори.

— Шутил с вами, болтал... Думаете — молодец племянник? Так вот, дядя...

— Все мы люди, сынок. Выкладывай.

Антанас придвигается со стулом к Симанасу, потом встает, тихонько закрывает дверь комнаты.

— Может, лучше, чтоб тетушка не слышала. Это мужской разговор. — Садится, сплетает руки на коленях. — Заходил тот... из деревни, сын Эляны. Вы мою беду знаете.

— Никогда я тебя за это не гладил, — сурово говорит Симанас.

— Так вот. Посидели, потолковали.

— Значит, тот, что твой адрес спрашивал?

— Он самый.

— Рослый парень. И красивый.

— Красивый? Это он в мать, Алексюс. Хотя вы Эляну не знали.

— Все-таки и твой он сын, не только ее.

— Я же не отрекаюсь, дядя. Сын. И ему так сказал. Вот Алексюс мне и намекнул... Мол, восемнадцать лет, папаша, алиментов не платил, задолжал.

Симанас обводит взглядом потолок, отваливается на высокие подушки, лежит, задрав подбородок.

— Выходит, ты ему задолжал?

— Так надо понимать. Но я-то думаю — должен я не Александру, а его матери.

— Что матери — это мне уже яснее. Я же давно тебе говорил — будь человеком, съезди, твой сын растет... Не говорил?

— Говорили, дядя.

— А ты?

— Так уж получилось. Из-за Казюне не хотел, ведь здесь у меня тоже сын рос.

— Здесь — сын, а там? Собачий пасынок?

Точь-в-точь те же слова, что когда-то, вспоминает Антанас Петрушонис и пугается: Симанас слишком уж все берет к сердцу, даже с трудом дышит, молчит. Оба молчат.

— Конечно, теперь уж ничего не изменишь, — немного успокоившись, говорит дядя Симанас.

— Я вот что надумал: надо бы съездить к Эляне. Есть у меня три сотни, но этого мало. Хочу больше повезти, хотя бы тысячу. Одолжите мне, дядя.

— Говоришь, деньги повезешь... Да вряд ли, вряд ли, Антанас...

— А что я еще... Должен я был ей часть своей зарплаты посылать? Должен был.

— Должен был...

— Так вот... ссудите, дядя. Верну, и скоро. Если что, весной машину продам и копейка в копейку...

Симанас вертит головой на подушке.

— Насчет этого я не боюсь, Антанас. Только думаю вот... Не знаю...

Антанас продолжает почти шепотом:

— Всего долга я, конечно, ей не верну, но хоть как-то помочь хоть теперь-то надо!..

— Не знаю... не знаю... — с сомнением бормочет Симанас.

— Если можете, дядя.

— Почему не могу? Могу.

— А тетушке, может, лучше не стоит... Казюне своей я ни слова. Хотя бы до поры до времени.

— Твое дело, Антанас, что ты Казюне скажешь; мое дело, что я своей жене. Ты не сердись, я привык прямо...

— Знаю, дядя... — Антанасу больно слышать эти упреки, хоть он от Симанаса и не ждал ласковых слов.

— Раз уж согласился одолжить, то одолжу.

— Чего это вы закрылись? — удивляется с порога жена. — Ты, Антанас, наверно, уже совсем споил моего старика.

— Да что вы, тетушка. Толковали.

— Ах да! — всплескивает она руками. — Тебя же, Антанас, к телефону.

— Кто?

— Казюне звонит, кто же еще.

Антанас пожимает плечами. Этого еще не было, чтобы жена в поисках его обзванивала людей.

Вернувшись от телефона, он опирается руками о косяки дверей, наклоняется всем телом в комнату и говорит:

— Телеграмма от Виктора пришла. Едет.

Волосы волнами падают на покатые плечи. Наклонив голову, Дейманте расчесывает их, пока не устает, потом меняет руку и снова мар-

но мащет щеткой, сидя на мягком стульчике. Глаза устремлены в зеркало, но она себя не видит. Провалилась все утро. Сон разбежался еще в потемках, но встать было невозможно. Проснулась Рената, тут же что-то запела, потом пристала со всякой чепухой, и Дейманте пожаловалась ей, что болит голова. «Беги к бабушке», — попросила. И правда голова тяжелая. Может, вчера лишнюю рюмку выпила? Нет, не в этом дело...

Отец разговаривает в гостиной по телефону. Он всегда громко говорит, почти кричит в трубку, и от его голоса дрожит квартира. Потому его кабинет на заводе и обит искусственной кожей; чтобы приглушить голос? — улыбается от неожиданной догадки Дейманте.

— Да что ты, что ты, нет!.. На охоту еду! Надо передохнуть, дружище, после командировки. Главного инженера посылал — шиш. Дескать, в этом квартале и не надейтесь. Пришлось самому тронуться в путь... Что угодно можно достать, если к секретному сейфу ключик подберешь...

«Опять начнет про свои подвиги рассказывать, — устало думает Дейманте. — Вчера раза три уже излагал... Счастливый человек. Распространяется теперь, как секретаршу начальника угощал, а секретарша-то, оказывается, питает слабость к Литве — в Паланге отдыхала...»

«Такого еще не было, чтобы я добивался да не добился», — часто говорит отец. Уж до чего самоуверен и так любит хвастаться! Но хватит о нем... Дейманте смотрит в зеркало. Вот пролетит десяток лет, появятся седые волосы. «Не боишься, что заражу тебя сединой?» — спросил как-то Ляонас. У самого-то два-три седых волоска на висках.

Рената с бабушкой, видно, не вернулись еще из магазина. Отец наконец перестал кричать. Тишина. А голова разламывается. Лекарство принять, что ли? Ночью хотела выпить снотворное, не могла заставить себя встать и дойти до аптечки. Потом заснула, и всю ночь мучали кошмары. Не могла мама сказать это сегодня утром!

...Вернулась Дейманте поздно, после кафе они долго бродили по опустевшим улицам («Не приглашаю тебя, Дейманте, хочу квартиру благоустроить, после праздников обещали новую мебель», — сказал Ляонас), стояли, целовались, голова кружилась от вина и сигарет, но было хорошо, минутами казалось — плывешь и тебя поддерживает сильная и надежная рука... Бесшумно открыла дверь, не зажигая света, на цыпочках прошла по коридору, включила в своей комнате ночник. Рената спала, сбросив одеяльце, она накрыла дочку, стала раздеваться. И снова показалось, что это не ее, а чьи-то чужие руки снимают пальто, расстегивают юбку, блузку, стягивают чулки и все швыряют — на пол, на стул... Завтра все приберет, завтра... Глянула в зеркало, увидела себя в тусклом свете — стройная, ноги длинные, грудь полная, чуть надменная линия подбородка... Неожиданно открылась дверь. Дейманте присела на край кровати, хотела накрыться, но ничего не нашла. В дверях стояла мать в одной сорочке.

— Могла бы и постучаться, мама, — сердито заметила Дейманте.

— Петрушонис звонил, — сонно сказала мать. — Сын его возвращается.

Покачнувшись комната, все полетело, завращалось, потом затихло, и Дейманте отчетливо увидела свои руки, скрещенные на коленях; ее вдруг зазнобило.

— Для кого сын, а для меня муж, — сказала.

Мать еще постояла за спиной, громко зевнула:

— Спокойной ночи. — И ушла.

Дейманте забралась под одеяло, не надевая рубашки, и долго лежала, уперев взгляд в потолок.

Голос матери, равнодушный и сонный, казалось, еще долго витал в комнате. Она не сказала: «Твой муж». Или: «Твой Викторас». «Сын Петрушониса...» Родители Дейманте ни разу не назвали Виктораса зятем, ни разу даже его имени не произнесли. Все говорили: «Этот твой... Этот...» Хотя, если по правде, Дейманте вообще очень редко слышала, чтоб родители разговаривали.

Баловали ее с самого детства; она не знала, что такое «нельзя» и «нет», в восьмом классе нахватала двоек, но дома показывала другой дневник, в который своей рукой вписывала пятерки и четверки, получая за каждую отметку по два или по три рубля. Наконец весной все открылось, и отец, истерически завизжав, избил ее патрониташем. На завтра Дейманте не вернулась домой. Села в поезд и поехала сама не зная куда. Нашли ее в Крыму. Отец больше пальцем к ней не притронулся, но сказал:

— Осрамишь меня — так и знай!

Училась и дальше плохо. Мать нанимала учителей и наряжала дочку, находила для нее такие туфельки, костюмчики, сумочки, всевозможные макси и мини, каких ее подруги и в глаза не видели. И вдруг Дейманте все бросила, надела потертые джинсы да тапочки и со стайкой таких же недорослей стала изображать хиппи: прошлась босиком по главной улице города, тянула винцо и курила в кафе, сидела в парке на лавочке, под вой магнитофона дремала на солнышке. Но вскоре все это ей надоело. Дейманте первая, изменив компании, ушла и не вернулась.

Потом была школа медсестер. Вспомнить страшно, как сопротивлялись родители тому, чтобы их дочка стала «какой-то медсестрой и чужие задницы колола». «Дотяни как-нибудь среднюю, устрой в какой угодно вуз», — манили родители светлым будущим, но Дейманте — нет да нет. Наконец решили: может, оно и не так плохо, поступит в медицинский. Мать развивала при гостях эту мысль: Дейманте станет врачом, и, если не ударится в науку, отец уж постарается, чтоб она уехала стажироваться за границу...

В школе медсестер Дейманте училась неплохо и во время больницы практики сама с удовольствием почувствовала, что эта работа ей по душе. Вот тогда и познакомилась с Викторасом. При самых обычных обстоятельствах, в столовой. Они с подружкой уже сидели за столиком, а Викторас с приятелем, держа в руках подносы, остановились рядом. Стулья были свободны, они сели. Обедали, поглядывая друг на друга, наконец его приятель заговорил с ними. Да какие там разговоры — одна чепуха! Было воскресенье, они сказали, что идут в кино, парни тоже не видели картины и присоединились. После сеанса погуляли по улице и расстались, решив и завтра пообедать в этой столовой, за этим же угловым столиком — кто придет первым, займет место. Так все и началось. Виктораса все интересовало, все занимало, на мир он смотрел открыто и удивленно, словно впервые увидев его. Приятели Дейманте подшучивали над Викторасом, но ее эти остроты не пугали. Ей он казался надежным. Они дружили всю осень, ползимы, и в один прекрасный день Дейманте сказала матери:

— Ты не удивляйся, мама, я выхожу замуж.

Мать вскинула руки, будто падала в обморок, широкие рукава халата соскользнули до плеч.

— Иисусе Христе милосердный!

Кто знает, из какой молитвы она это взяла, Дейманте ни разу в жизни не слышала еще такой присказки.

— Да, мама, уже решено,— спокойно ответила Дейманте.

Мать позвала отца, сообщила «веселую новость». Отец утонул в глубоком кресле, у него почему-то отвисла челюсть.

— Доченька,— взяла себя в руки мать.— Давай поговорим серьезно!..

— А как еще можно серьезнее?

— Кто он?

— Викторас Петрушонис.

— Я спрашиваю, доченька, кто он такой?

— Рабочий, мама.

Мать только рот раскрыла и посмотрела на отца. Отец еще глубже провалился в мягком кресле. Какое-то время было тихо, а потом раздался крик:

— Нет! — Лицо и лоб у матери пошли красными пятнами.— И еще раз — нет!.. Конец света! Отец, ты слышишь?

Отец заерзал в кресле, вроде хотел встать, но только уперся руками в подлокотники.

— Я думаю, еще не поздно... Можем все спокойно обсудить,— сказал он как на летучке.

— Отец у него кто? — вдруг спросила мать.

— Рабочий.

— Тоже?! Породнимся! — простонала она.

— Я тут не вижу ничего такого,— сказал отец.— Рабочий? Пускай будет так. Только зачем пороть горячку — вот этого я никак не пойму. Мы же тебе друзей не искали. Твой досуг — твое личное дело. Но когда речь заходит о твоём будущем, не забудь, что и мы за него в ответе. Мы, твои родители, дочка! Подожди, я знаю, что ты скажешь! Не такое теперь время, дескать! Спору нет, это звучит. Но нам не все равно, дочка, кто придет в нашу семью, с кем нам предстоит породниться, так сказать, держать связь. Рабочий... Я склоняю голову перед рабочими. У меня на заводе две тысячи рабочих! Однако, дочка,— голос отца звучал вкрадчиво,— ни я, ни твоя мать с ним незнакомы. Приведи в гости, познакомимся, поговорим. А там и видно будет.

Отец долго и нудно наставлял ее. Дейманте терпеливо сидела, слушала...

Настала весна, близились выпускные экзамены Дейманте, и в один прекрасный день она снова сказала им:

— Я решила окончательно — выхожу замуж.

Начался второй акт того же спектакля. Но Дейманте на этот раз некогда было слушать мудрые советы.

— Поздно,— сказала она.— Все уже поздно.

— Почему поздно? — в один голос спросили родители.

— Мы с Викторасом ждем ребенка.

На майские праздники Петрушонисы устроили свадьбу — скромную, без гостей, без шума и треска. Родители Дейманте так и не показались. В тот вечер они с друзьями сидели в банкетном зале ресторана и осуждали нынешнюю молодежь.

После свадьбы Дейманте не бывала у родителей, даже не звонила им, будто испытывая терпение — кто кого быстрее хватится. И только когда Виктораса призвали в армию, мать позвонила ей на работу...

Звенит голосок Ренаты, шлепают ее ножки по паркету. Она вбегает в комнату с конфетой в протянутой руке:

— Тебе, мамочка!

Дейманте чмокает девочку в разруганную щечку, сажает на колени, расчесывает ее светлые пушистые волосы.

— Я сама, мамочка.

Входит мать. Она еще не сняла осеннего толстого костюма, только жакет расстегнула. От нее веет прохладой и дорогими духами. Дейманте спускает дочку с коленей, накидывает на рубашку цветастый халатик, застегивается.

— Ты еще не видела мою шляпку? — Мать встает перед зеркалом, поправляет коричневую шляпку, взбивает кудряшки на висках и поворачивается к Дейманте: — Ну как? Вчера забыла тебе показать.

— Отлично, — равнодушно отвечает Дейманте.

— Последний крик сезона.

Мать не по годам стройная, бодрая, всегда со вкусом одета; можно принять их за сестер. Дейманте часто думает: «Буду ли я так выглядеть в ее годы?»

— Если нужна новая шляпка, скажи. — Мать пальцами приглаживает норковый воротник, манжеты.

Она ничего не жалеет и для дочки, вот и сейчас одела Дейманте с головы до ног, как в детстве. Может, не следовало принимать эти подарки, отказаться? Но ведь мать дарит!

— После праздников пойдем к шляпнице.

— Спасибо, мама...

Мать наконец устремляет взгляд на бледное лицо Дейманте, на ее тусклые глаза. Подходит, берет пальцами за подбородок, как в старое доброе время, и улыбается:

— Ну, не надо так, доченька... Думаешь, не вижу, как тебе тяжело?

Дейманте упирается лбом в прохладное плечо, обнимает мать и вздрагивает. Кажется, вот-вот зайдется в плаче, заревет, выливая тревогу долгих дней и ночей, но только стискивает зубы.

— Правильно, дочурка, выше нос, — улыбается мать, растрогавшись, прижимает платочек к глазам. — Проще, хладнокровней ко всему относиться.

— Что это «все», мама?

— Я о нем... Два года прошло, что между вами осталось, а? Ну скажи мне как матери: ты все еще его любишь?

Дейманте трет пальцами виски.

— Не знаю, мама. Иногда мне кажется... Нет, нет, я ничего не знаю, ты лучше меня не спрашивай.

Мать выходит из комнаты, потом снова появляется в дверях. Она уже в темном платье с длинными рукавами, в белом переднике. В руках блюдце с чашкой кофе.

— Ты еще не завтракала? Вот...

Дейманте с благодарностью смотрит на мать, заботливую, готовую помочь, берет чашку, отхлебывает маленькими глоточками кофе.

— Почему бы тебе, дочурка, не позвать Ляонаса в гости? Показала бы нам, познакомила.

— Не надо, мама, об этом... Хоть сегодня...

— И откладывать не следует. Человек он стоящий, не шалопай какой-нибудь. И работник толковый. Директор завода хорошо о нем отзывался.

— Откуда вы знаете?

— Отец наводил справки, между прочим, конечно... Нужно же знать человека.

— Опять начинается! — Дейманте нервно встряхивает копной волос. — Опять, опять...

— Чего ты фыркаешь? Рената крошка еще, привыкнет. Как раз пока маленькая, ей легче... Разве она помнит его, отца? Два года не видела...

Не раз уж и Дейманте думала об этом, все вроде решила, но слова матери — как соль на рану. Она падает на кровать, прячет лицо в подушку и, задышавшись, просит:

— Мама, ради бога, оставь меня одну.

— Думай о будущем, доченька, думай,— добавляет мать, и ее шаги удаляются.

«Думай!» Вздрагивают плечи Дейманте. Иногда все уже вроде ясно, особенно когда Ляонас рядом... А если б он все время был рядом, может, и последние сомнения исчезли бы? Мать ко всему подходит просто, она женщина проникательная. Пожалуй, когда Викторас ушел в армию, она не зря сказала Дейманте: «Так и думаешь сохнуть одна все эти годы?» Открыто сказала, по женски. Дейманте обиделась, выставила колючки, как еж, но мать улыбнулась снисходительно: «Я имею в виду, чего тебе сидеть дома... Разве подруг у тебя нет? И в кино почаще, ну, в театр. В кафе...» — вроде невинно настаивала она. Но Дейманте сейчас понимает: мать уже тогда чуяла, куда все может повернуться за эти два года. А что думала сама Дейманте, когда шла на первое свидание с Ляонасом? Когда звонила по телефону и встречалась в десятый раз? Она ведь правда любила Виктораса и вначале думала: «Ну встречаюсь... Ну и что? Приятно побыть с Ляонасом... И только! Ничего больше!»

«Дейманте, с тобой я самый счастливый человек на свете»,— вчера (и не только вчера!) говорил Ляонас.

«Как мне тяжело без тебя, Дейманте» — тоже его слова.

«Мне кажется, я только теперь начинаю жить» — это тоже он.

Дейманте чувствует, что она ему нужна... И последнее ее письмо Викторасу — несколько фраз о его родителях, о Ренате, а потом отчаянный стон: «Викторас, все ужасно запуталось, я сама не знаю, о чем еще написать!..»

Кто-то дергает Дейманте за халат.

— Мамочка...— Рядом стоит оробевшая Рената. — Мамочка, у тебя головка болит и болит, да?

Дейманте подхватывает девочку на руки, укладывает на кровать, осыпает поцелуями.

15

Антанас Петрушонис касается белой кнопки, и громкий трезвон за дверью сотрясает его, как разряд электричества. Мелькает мальчишеская мысль — удрать бы по лестнице, но уже слышно, как приближаются шаги. Они затихают рядом, и Антанас понимает: за ним наблюдают в глазок. Кажется, что его раздели догола и рассматривают со всех сторон. Сколько это может длиться? Он снова нажимает пальцем на кнопку; раздается долгий, требовательный звонок. Звякнула цепочка, щелкнул замок, и в широко открывшейся двери появляется женщина. Она включает свет, а с ее лица не сходит улыбка.

— Заходите,— приглашает женщина.

Антанас на мгновение теряется.

— Я Петрушонис,— наконец произносит он и вытирает башмаки о мохнатый коврик.

— Я мать Дейманте,— говорит женщина все с той же улыбкой.— Будем знакомы. Румшене.— Фамилия звучит как удар колокола.

— Вот когда приходится познакомиться.— Антанас пожимает ее маленькую ладонь.

— Такова жизнь, товарищ Петрушонис. Замысловатая,— вроде шутит женщина.— Снимите-ка пальто.

— Я на минутку. Хотел сноху свою повидать.

— Раздевайтесь. Вот вешалка.

Антанас кивает головой — отчего ж не раздеться, он ведь не в рубище. Размашисто вешает пальто на крюк, потом замечает плечики, надевает на них. Достает расческу, приглаживает волосы, проводит рукой по воротнику, оправляет полы пиджака.

— Дейманте, наверно, дома?

— Пожалуйте дальше. Найдется и она.

Ласковость Румшене кажется Антанасу какой-то липкой, но он говорит себе: «Ладно, там видно будет». Вслед за хозяйкой он входит в просторную и светлую комнату. Не успевает оглядеться, как в дверь влетает Рената:

— Папочка пришел! Папочка!..

И Антанас только теперь до конца понимает, как стосковался по внучке. Подхватывает девочку на руки, она жметя к нему, смеется, нажимает розовым пальчиком на мясистый нос Антанаса — всегда так шалила.

— Соскучилась? — Привычный вопрос Антанаса и такой же привычный ответ — Рената обвивает ручонками дедушкину шею и льнет к нему, не оторвешь.

— Ренателе, ты уже большая, не надо так, — выговаривает Румшене девочке. — Присаживайтесь, товарищ Петрушонис.

Антанас опускает девочку на скользкий паркет и просит ее:

— Позови мамочку, хорошо?

— Кофе не выпьете? — спрашивает женщина, открывая высокий, с блестящими стеклами сервант, позванивает хрустальными вазами, отодвигает одну, другую, наконец достает невысокую, маленькую, с печеньем и ставит на низенький столик.

— Вы не беспокойтесь, я обедал.

Негромко рассмеявшись, Румшене расставляет на лакированном столике дорогие чашки с блюдечками, достает коробку из темной кожи и, отвернувшись, выбирает позолоченные ложечки. И все улыбается этой странной своей улыбкой.

— Присаживайтесь, — пододвигает ему мягкое кресло.

— Я постою. — В своем голосе Антанас чувствует неприязнь.

— Извините, я кофе поставлю. — Женщина поворачивается и легким шагом исчезает за дверью.

Антанас Петрушонис полдня прикидывал: идти или нет? Впервые, да еще без приглашения... Но разве он мог надеяться, что его позовут?.. Румшене, мать Дейманте, он уже видел как-то, Викторас на улице показывал. Протопала мимо, даже не покосившись на них. «Со за ја?»¹ — почему-то по-польски сказал Петрушонис. Викторас рассмеялся. Потом были эти три коротких разговора по телефону. Первый, когда Дейманте захворала, вернувшись из роддома с Ренатой. Антанас сказал тогда: «Ваша дочка тяжело больна, попроведали бы». Румшене помолчала и сдавленным голосом отрезала: «Звоните по ноль-три». И повесила трубку. Второй разговор случился недавно, когда Ренаты не оказалось в садике. А третий — вчера. Вот и все его знакомство с родителями Дейманте за эти четыре года. Правда, видел как-то фотографию ее отца в «Вечерке» под статьей «Наши дни трудом славятся». Решиться было нелегко, и Антанас бродил из угла в угол, даже Казюне обмолвился, какая у него головоломка. Та как обычно: «Было из-за чего нервы трепать. Пускай сами разбираются». Эти слова, хоть и очень не новые, все-таки обидели Антанаса. Бывает, за чужого человека переживаешь, а тут — жизнь сына, Дейманте и внучки кувирком. На Дейманте ему грех жаловаться, только в последний месяц

¹ Что за персона?

какая-то... Переменилась, что ли. А без Ренаты вечера стали длинны-ми, квартира неудобной. «Чтоб я о своих детях не позаботился!» — вскочил Антанас, тут же осекся, вспомнив Алексюса, но взял себя в руки и стал одеваться, наряжаясь, как на свадьбу. «Пускай не думают — если рабочий, то хуже их, — сердито думал он, завязывая широкий полосатый галстук сына на белой нейлоновой рубашке. — И зачем мне перед ними на цыпочках ходить или ждать, опустив глаза. Порядок и справедливость должны быть», — все подбадривал он себя. И вот Антанас Петрушонис здесь, стоит в нарядной гостинной, обводит взглядом увешанные картинами стены, рассматривает зеленый цветастый ковер. «Зря вчера по телефону сказал, что Викторас возвращается, — думает Петрушонис. — Лучше бы сейчас, здесь...»

Входит Дейманте, здоровается кивком головы. Вслед за ней — мать с Ренатой. На девочку надели новое нарядное платьице, в волосах огромный бант.

— Почему не присаживаетесь? — Голос приторно сладок, со скрытым ядом, но Антанас не слышит его. Разводит руками и тут же прячет их за спину.

— Викторас приезжает, Дейманте, вот я и пришел...

— Вы уже вчера, товарищ Петрушонис, это говорили, — прерывает его Румшене без злости, как бы в шутку.

— Я помню, что я говорил вчера. — Антанас поворачивается к матери Дейманте, его голос дрожит. — Вчера я сказал вот что: передайте Дейманте, что возвращается ее муж. А сейчас говорю: он возвращается завтра.

Покраснев, женщина наклоняется, передвигает блюдечки с чашками, потом отворачивается к буфету.

— Папочка... — Рената повисает на руке Антанаса.

— Ренателе, иди ко мне, — зовет Румшене.

— Папочка, почему ты не приходишь за мной в садик?

— Ренателе!

— Тебя бабушка забирает, — растерянно отвечает Антанас.

— А я хочу, чтоб ты приходил!

— Приду... И твой папа придет, он завтра приезжает.

— Дейманте, возьми девочку и уведи в свою комнату. Пускай там поиграет. Нехорошо, Ренателе, при взрослых...

Рената вдруг чувствует себя как среди чужих, осматривается потемневшими глазками, подходит к матери, прижимается к ней:

— Мамочка, правда завтра папа приезжает?

— Да, — говорит Дейманте сдавленным голосом. — Завтра.

Антанас Петрушонис тискает руки, снова прячет их за спину, не зная, куда деть. Он старается не смотреть на мать Дейманте, даже поворачивается к ней спиной.

— Так будет, сношенька, или по-другому, это вы уж сами решите... Ты да Викторас. Но тебе следовало бы вернуться к нам. Викторас, когда уходил, тебя у нас оставил, пускай там и найдет. Так оно лучше будет.

Румшене встает рядом с дочкой, скрестив на груди руки, и спрашивает:

— Товарищ Петрушонис, не суетесь ли вы не в свои дела? Это уж, знаете ли, ни к чему.

Брови Антанаса опускаются. Он хмуро щурится.

— Почему это не мое дело? Это наше дело.

— Прежде всего самой Дейманте. И мое как ее матери!

— Поэтому я к вам и пришел. Я отец Виктораса!

— Если ваш сынок, товарищ Петрушонис, вы уж извините, буду

называть вещи настоящими имена, соблазнил мою девочку и опутал цепями, то не думайте, что ей весь век их таскать!

— Мама, зачем ты?..— Дейманте дышит глубоко, будто ей не хватает воздуха.

Петрушонис проглатывает обиду, крепко сжав губы, молчит, боясь открыть рот, чтоб не сорваться.

Женщина вспоминает, что на кухне «горит» кофейник, и убегает.

— Я прошу тебя, Дейманте,— сипло говорит Антанас и сурово добавляет: — Если не все еще у вас кончено.

Дейманте смотрит на него тусклыми глазами, резко откидывает голову, берет Ренату за ручонку и уходит. И тут же возвращается Румшене, но без кофейника.

— Да, да, товарищ Петрушонис, хоть теперь позвольте моей дочери подумать самой. Тогда глупенькая была, нас не послушалась, вот и локти кусает!

— Будто в дерьмо наступил! — цедит Антанас, громко топая, выходит в переднюю, надевает пальто, обеими руками нахлобучивает шапку.

Хлопает дверью. Выйдя на улицу, смачно сплевывает.

16

Ключья тумана мягко стелются над вечерним городом. Неспешно катят автомобили с зажженными подфарниками, торопятся с работы люди, с нетерпением ждут автобусов. Человек в шляпе, прислонясь к столбу с мигающим фонарем, пытается читать «Вечерку», но, аккуратно сложив ее, сует в карман. Стоит женщина с тяжелой сумкой в одной руке, другой прижимая к себе мальчика лет четырех, который держит большой пластмассовый трактор и без усталости спрашивает, когда же придет автобус. Но автобуса нет как нет — видно, где-то на перекрестке пробка, а может, авария. В такой туман много ли надо? Нервничают люди на остановке, начинаются предположения. Вчера, говорят, средь бела дня вот тут, на привокзальной площади, «Волга» человека задавила. Так-то... а третьего дня, говорили...

Туман дрожит, крохотными росинками ложась на плечи и на мостовую, серебристыми ореолами венчая фонари и светящиеся окна, и все звуки города, даже гудки тепловозов, кажутся приглушенными.

Привокзальный район не затихает ни днем, ни ночью. Люди тащат детишек и вещи. С трудом расстаются и радостно встречаются. После шумных проводов возвращаются тихо, в одиночку. Транзитники в ожидании своих поездов гуляют под раскидистыми липами просторного сквера, забредают в узкие переулки, рассматривая арки старинных дворишков, чтобы когда-нибудь сказать: «И я там побывал. Понравилось».

Построенный на военных развалинах вокзал превратился в огромные просторные ворота между деревней и городом. Потом это были ворота и для их детей, захотевших увидеть и узнать больше.

Каждый раз, когда Антанас Петрушонис хоть издали видит длинное здание вокзала, его сердце сжимается от воспоминаний полузабытых лет, толкнувших его в этот город. А для Виктораса он стал родным. Но почему сын не спешит домой? Поезда приходят и уходят. «Сегодня больше не будет», — сказали в окошке справочной.

Толпа вносит Антанаса в автобус.

Стрелка вокзальных часов, ежеминутно делающая скачок, показывает без семнадцати шесть. Но уже смеркается — осенний вечер да еще туман, от промозглой сырости которого ноют кости. Зато в свет-

лом зале вокзала тепло и уютно. Пожалуйста — сливочное мороженое, пожалуйста — новую газету со счастливыми номерами лотерейных билетов. У стен на скамьях сидят усталые люди — видно, целый день на ногах по городу, а сейчас ждут своего поезда, поглядывают на часы, но часы не торопятся. Шелестят громкоговорители, раздается голос дикторши: «Граждане пассажиры...» Но что там дальше и на каком языке — вряд ли кто разобрал. Не дает проспать, и на том спасибо.

К перрону подают длинный состав из пустых товарных вагонов. Стоит с полчаса, потом его цепляет локомотив и, лениво пыхтя, увозит мимо зеленого глаза семафора. Смешавшись с туманом, оседает тяжелый дым, жидкая грязь дегтем блестит на бетонных плитах дорожки.

Вокзальные часы показывают двадцать минут седьмого, снова с шелестом включаются громкоговорители, дикторша произносит свое: «Граждане пассажиры...» — и к перрону подкатывают вагоны с ярко освещенными окнами. Из дверей высыпают приехавшие. С радостными криками бросаются к ним встречающие. Смех, громкие разговоры. В руках женщины букет белых калл. Парень в обнимку с девушкой. Но здесь не задерживаются долго — это не место свиданий и разговоров. И только когда толпа редет, из дверей одного вагона выскакивают трое солдат. Один в шинели и с чемоданом в руке, другие в гимнастерках, простоволосые. Всю дорогу они веселились, вот и теперь пытаются шутить, но вдруг замолкают, не находят слов и только смотрят, растерянно улыбаются, как бы стараясь навсегда запомнить лица друг друга. Самый высокий из них, в шинели, бросает взгляд на свои часы, ставит чемодан на перрон и говорит:

— Минутку.

Вбегает в здание вокзала, осматривается, кидается к киоску с сувенирами — закрыт, смотрит на газетный, потом подлетает к мороженщице:

— Давайте по-быстрому!

С мороженым возвращается на перрон; приятели встречают его веселыми криками.

— Угощайтесь, — задыхаясь, наверно, от волнения, говорит парень в шинели. — Продукция моего города!

Свисток, удар колокола — и проводница сверху просит солдат вернуться в вагон.

— Будь здоров, Викторас! — кричат из тамбура солдаты в гимнастерках. — Привет дочурке!

— Сергей, не забудь! Эльмар! Пишите!..

Захлопываясь, дверь обрубает голос. Викторас долго машет рукой удаляющемуся вагону, потом обводит взглядом обезлюдевший перрон, закуривает и медленно входит в зал. Стоит здесь, курит, глубоко затягиваясь дымом.

У остановки такси очередь. Викторас становится в хвост, опускает чемодан, пытается разглядеть, что изменилось на площади, но мокрая марля тумана все скрывает от глаз. «Хорошо, что впереди такая длинная очередь», — думает Викторас. Он долго, нестерпимо долго ждал того часа, когда окажется в своем городе, но вот час настал — и Викторас испугался и пытается этот час отодвинуть. Но сколько можно отодвигать?..

Медленно ползет очередь. Викторас толкает свой чемодан, стоит, засунув большие пальцы рук за солдатский ремень. Зря спешит... Не лучше ли вернуться на вокзал, зайти в ресторан и посидеть... Куда спешить? Приедет домой... а там... Лучше уж в ресторане, одному...

— Следующий!

Виктораса подталкивают, и он видит открытую дверцу автомобиля.

Какое-то время едут молча. За перекрестком, когда дорога становится свободной, водитель поворачивается к Викторасу, окидывает взглядом:

— На побывку?

— Нет. Насовсем.

— Так чего такой смурной? Прыгать надо от радости.

— Ноги не поднимаются.— Хотел отшутиться, но получилось, что выдал себя с головой.

— Что, парень, отца-мать похоронил?

— Нет.

— Знаю! — Человек средних лет снова окидывает его взглядом.— Вижу как облупленного.

— Глупости.

— Девка бросила — вот! Я сказал и припечатал! Со мной тоже было такое, когда отслужил. Да куда там такое — похуже! Вернулся, а она замужем за другим. Думал тогда, одному из нас не жить: или ее порешу, или себя. Потом поостыл. Да еще как остывают, парень! А сейчас рад, что все так получилось. Видел как-то ее на улице. Бог ты мой, толстуха, ну чистая квашня. Аж жарко стало, парень, как подумал, что могла быть моей женой. А ну ее к чертям!.. Видишь, оно как, парень.— Водитель молчит, но потом вспоминает про вторую часть этой поучительной истории: — Есть и у меня жинка, не беспокойся. Как вернулся, увидел что к чему — сразу женился!.. Парикмахершей работает. А лицо, а фигура! Не заливаю, не думай... Когда-то мой папаша поговаривал: нет худа без добра. Неглупый старикан был.

Не сами слова водителя, а этот лихой тон рассеивает Виктораса, и он, приободрившись, даже смеется, но тут же замолкает, уставившись невидящим взглядом в окно.

— Здесь,— просит он и сует рубль.

Автомобиль останавливается, загорается свет, водитель берет бумажку, и его взгляд задевает блеснувшее на руке Виктораса кольцо. Посмотрев исподлобья на Виктораса, он говорит нараспев:

— Эх, парень, да тут чего-то не так.

— Не так,— соглашается Викторас.

Из этого дома он ушел два года назад — его провожала шумная толпа знакомых. Теперь он в этот дом возвращается. Один. Но разве он хотел, чтобы его встречали с оркестром? Ведь сам надумал — вернуться тихо, буднично, как после долгого рабочего дня. Вот и возвращается, только чемодан почему-то тяжел.

Викторас поднимает голову, ищет взглядом окна квартиры. На кухне горит свет. В комнате Дейманте темно. Из этого окна она часто махала ему рукой, когда он возвращался вечером. И вдруг ему кажется, что он возвращается спустя десять, а то и целых двадцать лет — так давно все это было. Даже о службе напоминает лишь шинель на плечах. Ничего не было в прошлом, есть только этот день и этот вечер...

Дверь открывает отец. От неожиданности отпатывается, хмурит брови, и тут же его лицо расплывается в широкой и доброй улыбке.

— Сынок! Викторас!

Обнимаются, целуются крепко, по-мужски.

— Как ты тут оказался? — удивляется Антанас Петрушонис.

Из кухни выходит раскрасневшаяся и пахнущая жареным луком мать.

— Здравствуй, мама.

— А что я тебе говорила, отец? Видишь, и объявился.

Антанас Петрушонис пожимает плечами.

— Ума не приложу... Я же на вокзале был, все поезда встречал, только что вернулся. Ты мне скажи, где ты был, Викторас?

— Да разве это важно, отец? Я ведь дома.

— Два раза ездил. Дневной встречал и вечерний. Как я тебя не заметил?

Викторас радостно обнимает отца и смеется:

— А как ты мог меня заметить, отец, если я в это время еще ехал?

— Ничего не понимаю, Викторас.

— Я через Москву возвращался. В Москве праздники с приятелями провели...

— А-а.—И на минуту хорошее настроение Антанаса Петрушониса тускнеет: не домой спешил на праздники, а ишь куда... Но молодым хочется свет повидать.—Вот оно как... Выходит, прямо из Москвы. Может, и хорошо, что побывал. И я, когда к тебе ездил, хотел заглянуть на обратном пути.

Казюне фыркает:

— А тебе-то чего там, старику?

— Нашла старика!—сердито оборачивается Петрушонис.—Думаешь, неинтересно посмотреть? А дорогу везде найду—язык не то что до Москвы, до Киева доведет, не заблужусь среди своих. Вот возьмем когда-нибудь и махнем с сыном в Москву.

— Неужели маму оставим, отец? Ее тоже возьмем.

Весело хохоча, все трое заходят в гостиную. Родители приглашают Виктораса сесть, но он бродит по комнате—за день в поезде насиделся. Справляется о здоровье отца. Вот и хорошо, подальше от докторов. И комнаты побелили? Ага, этим летом, а то стены совсем грязные стали. Телевизор все тот же, не портится? Удачный купили, смотри, сколько лет без ремонта... Молчат, курят. После долгой разлуки вдруг не о чем говорить... Викторас все бродит по гостиной, изредка напряженно прислушивается к чему-то.

— Что у вас нового?.. Дома.

Антанас Петрушонис, потупись, ковыряет ногтем сигарету.

— Да ничего,—с трудом выдавливая.—Живем.

— Пойду-ка на кухню посмотрю,—встает Казюне.

— Вот тебя ждали,—поднимает голову Петрушонис и улыбается.—Вернулся, теперь это главная новость.

Викторас тушит окурок, берет другую сигарету. Петрушонис видит, как его пальцы ломают спички.

— Хорошо живете, отец,—горько произносит Викторас и зло усмехается:—Может, одни живете, раз такая тишина?

Петрушонис опускает голову и, вцепившись руками в край дивана, отвечает:

— Так и есть, сын.

— Что есть?

— Как сказал. Одни.

Викторас смотрит на отца с недоверием—тоже мне шутить вздумал!—резко повернувшись, выходит в коридор, открывает боковую дверь, ищет пальцами выключатель, никак не может нащупать. Наконец свет озаряет комнату. Осматривает ее как чужую. Но это ведь его комната, все здесь знакомо, все на месте—так, как оставил два года назад. Что отец мелет? Оглядывается еще раз и возвращается в гостиную.

— Где Дейманте?

— Ушла к матери.

— Давно?

— С месяц.

Викторас опускается на стул, расстегивает гимнастерку.

— Я думал, сынок, она тебе написала. Все написала как есть.

— Ха! — с болью выдыхает Викторас.

Входит Казюне с тарелками, ставит на стол.

— Проголодался, Викторас, с дороги. Покушаем сейчас. Отец, не сиди гостем.

Антанас Петрушонис приносит бутылку, расставляет рюмки и садится опять — его работа закончена. Вспомнив, надевает пиджак. За праздничным столом в рубашке сидеть не положено.

— Не кури так много, — говорит отец. — Там привык?

— Ты бы не так дымил.

— Возьми себя в руки, сынок. По-солдатски.

— Легко тебе говорить.

— Не скажи.

— Давайте к столу, — говорит Казюне и тянет сына за руку. — Гостей сегодня не звали. Думали, устанешь с дороги. Может, в другой раз, потом.

Викторас смотрит на тарелки — знает, все здесь вкусно, давно не ел мамино приготовления, но противно даже думать о еде.

— Ничего не хочется: и весел и сыт.

— Не будь ребенком и не трепи себе нервы! — наставляет Казюне, жуя полным ртом. — Если б я так на все реагировала... давно бы в сумасшедший дом попала. А ты чего вылупился, отец, я ж правду говорю?

Антанас Петрушонис молчит, подавляя злость, — сегодня лучше не заводить, и так хлопот полон рот.

— Может, ее уже не было, отец, когда ты ко мне ездил? — Викторас не спускает взгляда с отца.

— Нет, потом. Уже потом.

— Ты мне ничего тогда не сказал. Молчал. Даже когда я намекнул, ты смолчал.

— Да, сынок, я еще надеялся, что все обойдется, не хотелось тебя мучить, хоть и собирался сказать. Да, по-моему, ты и так многое знал.

Викторас глотает кусок, прислоняется широкими плечами к спинке стула и снова берет сигарету.

— Кушай, — просит мать, — потом покуришь.

Молчит, сосет сигарету не зажигая.

— Знал, правда? — требует ответа Петрушонис.

— Заладил свое — знал, не знал, — говорит Казюне. — Оставь ребенка в покое.

— Знал, отец, ты прав, — наконец отвечает Викторас. — Приятель из цеха написал, Мечис. Он на проводах был, может, помнишь?

— Я так и думал: найдется кому сообщить.

— Повезло ему, что в письме. Если б сам это сказал, в морду бы двинул.

— Наврал, что ли? — не понимает Казюне.

— Не знаю. Может, это и правда, но... Противно, когда человек лезет грязными руками в чужую рану.

Мало ест и Антанас Петрушонис. Сидит, положив руки на колени, складки на лбу сдвигаются все круче.

— Был вчера у матери Дейманте.

— Зачем? — удивляется Викторас.

— Хотел, чтоб вернулась.

— Думал, пригонишь? Сыну жену пригонишь! — В уголках губ

Виктораса взрываются белые пузырьки слюны.— Стариковское разумение...

Петрушонис густо краснеет, на лбу проступают бисеринки холодного пота. Косится на сына, прячет взгляд и косится снова. Губы дрожат.

— Вот как ты теперь, Викторас... А что я говорил, когда тебе приспичило жениться? Не торопись! В армии отслужи! А может, не говорил? Когда сопляки в кровать лезут...

Викторас встает со стула, сует руки в карманы штанов, широко расставляет ноги.

— Тогда и я скажу. Учишь меня, значит? А почему себя в свое время не научил? Хочешь, чтоб я тоже Дейманте с ребенком бросил?

Вскакивает Антанас Петрушонис как подброшенный пружиной и застывает — согнувшись, с лицом, багровым до черноты.

Но Викторас безжалостен:

— Да, пускай растет еще один Алексюкас!

Ноги Петрушониса медленно подгибаются, взгляд прикован к пустой стене. Грузно садится, почти падает на диван.

— Ты знаешь его, Алексюса? — спрашивает он хрипло и тут же вспоминает, как спросил у Алексюса: «Ты знаешь Виктораса?» — и как странно прозвучал в пивном баре ответ Алексюса: «Как выглядит отец, который вырастил такого сына... Вик-то-раса...» — Знаешь? — повторяет вопрос.

— Познакомился.

— Там же? И ты охранял?!

— Как и других.

Викторас идет от стены к стене, делает эти четыре шага в одну, а потом в другую сторону.

— Давайте культурно поговорим, столько не виделись-то, — успокаивает их Казюне, уплетая за обе щеки. — Не можете вы без этой нервотрепки. Телевизор включи, отец. А я думаю, чего тут не хватает!

Казюне звякает вилок по опустевшей тарелке.

Так и ползет этот долгожданный вечер. Радость возвращения, первая горечь встречи...

Словно устав, Викторас наконец садится, но не к столу. Курит, облокотясь на колени, пепел сыплется на пол, но Казюне ничего не говорит. Сидит, сложив на груди руки и задумавшись о чем-то, даже про телевизор забыла, который Петрушонис так и не включил.

И тут раздается звонок. Они поднимают головы, переглядываются. И молчат. На лицах один вопрос: кто это? Снова звонок, продолжительнее.

— Соседи, наверно, — говорит Казюне и выходит в коридор.

Антанас Петрушонис сидит напрявшись, кажется, даже затаяв дыхание, и смотрит на открытую в прихожую дверь. Викторас держит у рта сигарету.

— Мы так и думали! — раздается голос Казюне, и она зовет: — Викторас! Отец!

В ярко освещенной прихожей стоят румяные от вечерней прохлады Дейманте и малышка Рената.

Ты верил: у тебя есть семья, дом, тебя ждет маленькая дочка. Ты верил: твоими руками уложен прочный, железобетонный фундамент, на котором вы построите дворец счастья. Ветрам будет заказан доступ в него, вам будет уютно и славно. Стоя беззвездной ночью на

вышке, ты впивался взглядом в безбрежную черноту, и где-то вдали вдруг вспыхивал огонек родного дома. Курилась поземка, стужа ледяными иголками впивалась в лицо и руки, но тебя окутывало тепло дома, и не страшным уже казался мороз, а глаза твои смотрели зорко.

Что ты нашел, вернувшись, Викторас?

Четвертую ночь мечешься в постели. Едва задремлешь и тут же просыпаешься, приподнявшись, обводишь взглядом комнату — да, ты уже дома, и железная сетка не стонет под тобой, и друзья не храпят. Тишина да покой. Но тишина эта кувалдой бьет по голове, и ты летишь в бездну. Летишь бесконечно долго и заслоняешь ладонями лицо, чтоб ничего не видеть, не слышать, не знать. «Папочка!» — дрожит воздух. Натягиваешь одеяло на голову, но все равно слышишь: «Папочка!»

Она еще в дверях радостно закричала:

— Папочка!

Это было первое слово, которое ты услышал от своей дочурки. Когда оставил ее, Рената уже ходила, смеялась, щебетала, но еще нельзя было понять ее разговора. А вот теперь... Но тут Рената в испуге остановилась, увидев тебя, и бросилась к бабушке.

В комнату вошла Дейманте. Ты встал, шагнул ей навстречу, но застыл, будто ударившись о незримую стену. На короткий миг твои глаза столкнулись с ее взглядом. Дейманте подошла к тебе и поцеловала в щеку рядом с губами.

— Здравствуй, Викторас.

Ты схватил Дейманте за локти, привлек к себе, увидел, как опустились ее ресницы, гася заблестевшие влажно глаза, почувствовал сопротивление ее тела, и твои пальцы бессильно разжались, руки опустились, и ты сел на диван. Напротив, у другой стены, села Дейманте. Она еще похорошела за эти годы, ее всегда ухоженное лицо, озаренное сейчас волнением, казалось немного чужим, но правдивым. И ты подумал: все эти разговоры — чистое вранье. Да, точно вранье...

— Папочка, — нарушила тишину Рената, — когда мы пойдем пить коктейль?

— Тебя теперь папа поведет. Это же твой папа, Рената.

— Ты не узнаешь меня? — спросил ты.

— Узнаю. Мне мамочка картинку показывала.

Дейманте ласково улыбнулась тебе, и ты опять подумал: вранье это все, вранье...

— Подойди ко мне, — протянул ты руки к дочке.

Девочка робела; она спряталась в коленях у бабушки.

— Ты так любила, когда я тебя носил на руках.

— А я помню!

— Что ты помнишь, Ренателе?

— Что ты меня носил.

— Правда? — Ты радостно обвел взглядом Дейманте, отца, мать. — Правда? Помнишь, Ренателе?

— Помню.

— Она все помнит, — негромко сказала Дейманте и обратилась к девочке: — Иди к своему папе, иди.

Рената подошла.

Потом вы уселись за стол, ужинали, пили за твое возвращение, ты рассказывал о Севере, о своей службе. Рената, расхрабрившись, встала тебе на колени и обвила ручонками шею. Только отец сидел какой-то кислый, вроде недовольный чем-то, но ты не смотрел на него.

Медленно тянулся вечер.

Дейманте щелкнула замком сумочки, достала часики, посмотрела и встала.

— Нам пора, Рената.

Покачнулась комната. Рената соскользнула с коленей.

— Ты уходишь, Дейманте.

— К матери.

Она увела девочку в прихожую, чтоб одеть. И сама одевалась. А ты сидел в комнате и не мог понять: как же можно так?

— Уходишь? — повторил ты негромко, услышал свой голос и вскопчил, кажется, только теперь поняв, что именно сказал.

Дейманте уже была в пальто.

— Уходишь? — громко повторил сквозь зубы.

— Так надо, Викторас, — ответила она, не поднимая глаз.

— Значит... ты... — застревали во рту слова, которые пытался выговорить.

— Мне хотелось тебя повидать, Викторас. Спокойной ночи...

Она закрыла дверь. Отец страдальчески усмехнулся:

— Вот оно как, сынок...

Твоя злость наконец прорвалась:

— Не суйся, отец! И прошу меня не учить! Довольно! Не суйся!

По сей день вы с отцом не глядите друг на друга. О Дейманте ни слова. Кто же виноват? Когда отец проведаль тебя на Севере, ты уже готов был вцепиться ему в горло. Письму мог верить, мог не верить, но знал — близится беда, наползает тенью, и почему отец не говорит об этом, зачем пытается все загладить? Думает, перемелется? Успокаивает? Странно он тогда сказал: «Ты поосторожней, сынок...» Надо было раньше учить, может, пригодилось бы, особенно при встрече с Алексюсом. Но тогда ты отцу про него не обмолвился, хоть и вертелось на языке. У обоих было по тайне, и каждый хранил свою. Стиснув зубы, перекладывая на потом, надеясь, что потом будет не так больно...

Под окнами жалобно мяукает кошка. Ей отвечает сиплый голос. Кошка выводит длинную тоскливую мелодию, кот отзывается. И от этого любовного дуэта Викторасу становится так противно, что он, трясаясь всем телом, хватая с тумбочки яблоко и, открыв окно, швыряет на тротуар. Глухой удар спугивает кошек, и они, зло мяукнув, ныряют за угол.

— Вот сволочи!.. — вполголоса говорит Викторас. Стоит, навалившись грудью на подоконник; ночная свежесть остужает его, в голове вроде проясняется. Садится, потом валится поперек двуспальной кровати.

Снова замыкали кошки. Викторас со страхом ждет: если еще запоют, он схватит вазу с яблоками и швырнет в окно. Но за окном тихо, слышно только, как отчаянно колотится сердце. Все громче и громче, будто берет разбег.

Почему ты обвиняешь других, когда сам во всем виноват? Ты, Викторас! Да, да... Ты же сам пригласил тогда Ляонаса Райжиса, начальника цеха. Дейманте говорила тебе: «Может, не стоит». Она немножко побаивалась: «Он твой начальник, а у нас все скромно». А может, тогда уже предчувствовала что-то, еще не зная в лицо Ляонаса, только наслушавшись твоих рассказов, какой он «свой парень». Как же без начальника? Если придет-таки — большая честь. Ты ведь сам, не кто-нибудь другой тогда шепнул Дейманте: «Пригласи Ляонаса. Вот видишь, говорил я — свой парень...» Ты сам толкнул ее в чужие объятия. Но ты же в него верил! Три года в одном цехе. Все ведь было: день на день не похож, требовалось — штурмовали, суббот не жалели, но работал на совесть, деля и беды и радости. Начальник це-

ха ничего не скрывал и доброго слова ни для кого не жалел. Ты ведь и сам думал: вот засяду за книги и кончу институт, как Райжис, заочно. Он был для тебя образцом мужского упорства и твердости. Мог ли ты подумать, что этот человек, перешагнув порог твоего дома, принес за пазухой камень и ждал только, когда ты отвернешься?

Твоя ли вина, что ты доверился ему?

Прощаясь с ребятами из цеха, ты сказал: «Через два года вернусь». Все поклялись ждать тебя. У Ляонаса Райжиса спросил: «Примешь, начальник?» «Еще спрашиваешь! Валяй прямым ходом ко мне»,— заверил тебя Райжис. Так что валяй, Викторас, в свой цех! Подойди, улыбнись виновато (ты же виноват!) и подай руку начальнику: «Вернулся...».

— У-у-у!..— тихонько стонет Викторас и сжимает руками виски.

Снится Казюне, что в магазине она самая главная. А магазин-то большой, светлый. Полки битком набиты чудесными сумочками, кожаными перчатками, лифчиками и грациями всех размеров. Сверкают зеркала, всеми цветами радуги переливаются складные зонтики. А она, Казюне, сидит посреди зала на устланном коврами возвышении, заложив ногу на ногу,— блестят ее новые сапожки, а на пальцах рук играют перстни— и объясняет застывшим за прилавками продавщицам, как важно культурно и элегантно (отчего это язык у нее заплетается?) обслуживать каждого клиента, встречая его еще у двери... Тут она бросает взгляд на дверь и видит знакомого мужчину. Да это же прилипла Владас! В руках у него навозные вилы. Он подходит к ней и говорит: «Переучет». Казюне осматривается— продавщицы попрятались под прилавки, полки будто выметены. Лишь в углу свалены пузатые, наподобие коровьего вымени сумки, горными хребтами высятся бюстгальтеры, щерятся зубные щетки, а может, сапожные?.. Владас поддевает вилами прилавок и опрокидывает его. «А это что?»— спрашивает. Опрокидывает другой прилавок и опять спрашивает: «А это что?» Валит третий, четвертый: «А это что?» Под каждым прилавком сидит на корточках продавщица, обхватив руками эти чудесные сумочки, зонтики да лифчики. «А это что?»— еще раз спрашивает Владас. Казюне переводит дух, улыбается ему очаровательной улыбкой и спускается со своего трона, слыша, как от ее шагов шуршат спрятанные под ковром сторублевки. «Владукас, давай лучше там поговорим,— кивает она на открытую боковую дверку.— Я тебя так ждала!..» Она протягивает руки, чтоб обнять Владаса, но чувствует, как вилы упираются остриями в грудь, и вопит не своим голосом...

— Да что с тобой? Проснись!

Казюне поднимает голову, смотрит в темноте на Антанаса, положившего ей руку на плечо.

— Снилось! Чистый кошмар. Сердце колотится, не могу. Послушай.

Казюне берет руку Антанаса и, откинув одеяло, прижимает к своей жаркой груди.

— Слышишь?

— Да вроде нормально.

Казюне отталкивает шероховатую ладонь, поворачивается спиной.

— Уми я— ты бы спокойно спал,— с упреком говорит она.

— Я же не сплю.

— Может, я тебе спать не даю?

— Да что ты говоришь, Казюне...

— Уже и поговорить нельзя. Может, о чужой бабе думаешь?

— Взбеситься можно.

— Сон такой... Боюсь теперь и глаза закрыть.

Казюне растягивается на спине, смотрит на белеющую под по-

толком люстру, понемногу успокаивается и уже признается себе, что главная часть сна была все-таки приятная — хоть бы еще раз такое приснилось! А вот потом... Да еще кто — этот Владас с вилами... Тьфу! — сплюнула бы, если б не кровать. Тоже мне ревизор, такую красоту испортил. А сапожки на ней были точь-в-точь такие, в каких Дейманте приходила. Казюне, кажется, только подумала: «Не я буду, если тоже не заведу такие» — и вот нате, приснилось... И была она вся стройненькая и легкая, как Дейманте, это уж точно... «Но почему я все время сравниваю себя с Дейманте? Была сноха и вся вышла, лучше не вспоминать. А Викторас дурак, что мучается, нервы себе треплет. Надо будет сказать завтра: мужчина должен ходить с гордо поднятой головой, не его дело за бабой бегать. Все мужики в штанах ходят, а девки, гляди, липнут не к каждому. И еще — если я с твоим отцом столько лет прожила, то только потому, что это настоящий мужчина!» Вот скажет сыну все как есть, пускай не думает: раз же она бросила, то и конец света. А может, только начало?

Казюне косится на Антанаса. Тот дышит тихо и спокойно; не спит, наверно. Это почему не спит?.. Какой-то смурной стал, лица на нем нет. Ну и ладно, ей-то зачем переживать? Спать надо, утро еще не скоро. Снова поворачивается на бок, сует под щеку ладонь, и ее тут же обволакивает теплая мгла. Мелькает смутная мысль — вот бы приснилось... то самое, но только начало...

Антанасу Петрушонису кажется, что он глаз не сомкнул в эту ночь. Утро, по всему видно, уже скоро, придется вставать, так и не отдохнув. Мучение, когда начинаешь перебирать мысли среди ночи. Решить, сам знаешь, ничего не решишь, а покоя нет. По сто раз все перетряхиваешь в голове.

Уже который день Викторас дома, но перебросятся словом-другим за ужином — и весь разговор. Как-то, когда сидели вдвоем перед телевизором, Петрушонис не выдержал: «Ты не ошибся, сынок... ну, сказал, что там встретил Алексюса?» Викторас, не поднимая глаз, ответил: «Да, это был Алексюс». «Как же ты его узнал?» — «Это был Алексюс, говорю тебе». — «Но как он там... за что?» «Это был Алексюс!» — в третий раз повторил Викторас, и Петрушонис не смел больше расспрашивать. Конечно, одно ясно — не за добрые дела Алексюса наказали, свернул он с дороги. Но ведь Антанас Петрушонис здесь ни при чем. Когда-то Антанас крепко вдолбил себе в голову слова: «У мужчин и женщин равные права. Государство заботится об одиноких матерях. Многодетных медалями награждает...» Бронюс, тогдашний приятель, целый год обещал жениться и уже в городе бросил девку с ребенком. И не переживал — работал, насвистывая, выжимал проценты и других девок портил. Как-то рассказывал приятелям про свои похождения, услышал цеховой мастер, инженер, и сказал: «Постеснялся бы, как у тебя язык поворачивается». Бронюс не растерялся, ответил не спеша: «Не цепляйся к рабочему, я тебе не белоручка, чтоб ты меня поучал». Инженер ушел. Парни смеялись, как дети. Антанас тоже подхохотывал, не хотел выделяться; к тому времени он уже усвоил: будешь тихоней — нарекут деревенщиной, придешь на работу в чистом, да еще скажешь кому «спасибо» — интеллигентом обзовут. Бронюс втолковывал: ты, рабочий, должен стать новым человеком, а это значит — крепким и шероховатым, как твой кулак, человеком на голову выше тех, у кого не мозолистые ладони. И еще — не оглядывайся назад. Что было, то прошло, а прошлое надо похоронить навеки, потому что настоящая жизнь — сегодняшний день. Антанаса Петрушониса не коробили такие рассуждения; когда после работы они в складчину выпивали и ватагой двигались домой, он

тоже не чувствовал ногами земли, а в мышцах ощущал такую силу, что весь мир готов был вверх тормашками перевернуть. Он любился новой своей жизнью и свободой, с которой, по правде говоря, не знал, что делать. Вспоминая Эляну, еще крепче цеплялся за разговоры приятеля. И все равно оглядывался через плечо.

Наверняка не только он, Антанас Петрушонис, оглядывался назад. Вместе с распуганными аистами люди покидали родные избы, ольшаники, пашни. А глаза всё искали что-то, оставленное там...

Вчера зашел Повилас Юодснукис. Мол, домоуправ послал проверить, все ли внесли квартплату. Антанас звал присесть, но Юодснукис отнекивался — некогда, дом большой, еще и половины не обошел. Да и служба завтра вечером... Антанас удивился: «Служба?» «Да я вам, видать, еще не рассказывал. Есть у меня еще одна службенка, устроили...» Присел Юодснукис с листком бумаги в руке, как писарь, глаза растерянные, вроде виноватые: «По правде, это дочка Петруте меня устроила. Гардеробщиком. У себя в кафе. Говорит, чем чужой эти копейки загребают, так лучше пускай свой. Недавно я там, еще месяца нету. Работа вообще-то нетрудная. Петруте научила обходиться с людьми. Одеваю да улыбаюсь каждому. Мне в руки гривенники суют, а то и рубль!.. Пьяные, они денег не жалеют. Чтоб вы знали, сколько за вечер набирается, сосед!.. — Замолчал Юодснукис, свесил тяжелую голову. — Я вам вот что скажу, сосед... Только вам. Век свой прожил, если и имел чего, то только через работу. Даром ничего не давали. А теперь как подумаю... Ночами не сплю после своей службы-то. Звенят эти гривенники, перед глазами прыгают. В кого я превратился? Петруте говорит: раз дают, то бери. За что мне дают? — Посмотрел на него старик с тоской, вздохнул и добавил: — Знаешь, сосед, поторопился я. Год-другой я бы еще в деревне протянул. Собака у конуры, стайка кур, петух как запоет... Старому пню так положено — где вырос, там тебе и гнить...»

Антанас Петрушонис садовником не был, но подумал: молодое деревце пересади — мигом приживется, а попробуй-ка старую яблоню...

...Вскоре на дворе зашуршит метла Повиласа Юодснукиса, возвещая утро нового рабочего дня.

Казне спит спокойно, не снятся ей больше страшные сны.

Спит за стеной и Викторас. Хотя как знать, как знать...

За окном стучат медленные шаги. Неужто уже Юодснукис?

Викторас придирчиво рассматривает себя в зеркале и остается доволен.

— Спасибо.

Симпатичная парикмахерша улыбается ему:

— Заходите к нам почаще.

— Это обязательно.

У гардероба надевает пальто, коричневый широкий берет и снова бросает взгляд в зеркало — за два года службы отвык от гражданского платья и только теперь понимает, как соскучился по этой будничной одежде, которая, не выделяя тебя среди других, говорит о твоём вкусе и привычках. Стилягой он никогда не был, но не любил и отставать от моды, знал, что ему идет и что не к лицу, и, может, поэтому еще в старших классах пользовался успехом на танцах и среди страниц книги или в кармане пальто частенько находил любовные записки, а то, бывало, девушки прямо скажут что-нибудь соблазнительное, но он все обращал в шутку. Учился, правда, серенько, хотя мог и лучше. Учителя это говорили. Классная, уже пожилая женщина, им,

выпускникам, рассказывала о дорогах, которые мы выбираем, советовала не закрывать учебники и не опускать руки — продолжать учебу в вузе. Как-то она дала сочинение «А что же дальше?». Написал и Викторас, очень-то не задумываясь. А когда учительница принесла эти листки в класс, она разговор начала так: «Прочитала. И знаете, милые мои, чей выбор меня больше всех порадовал? Виктораса». Все уставились на него, и парта вдруг показалась Викторасу тесной. «После средней Викторас решил работать на заводе». Кто-то фыркнул: «Во дает!» Приятель хлопнул по плечу: «Ну и загнул!» Учительница подождала, пока все затихли, и продолжила: «Я верю, что решение Виктораса не легковесно. Нам нужны культурные, образованные рабочие!..» Конечно, Викторас пошел на завод не потому, что наобещал классной. Но, пожалуй, одна из причин была в том, что ему не хотелось плыть со всей массой искателей счастья. Только бы устроиться в вуз, а уж в какой — не суть важно. Когда тебе восемнадцать, совершенно законно желание проявить самостоятельность, решить что-нибудь собственным умом, поступить не так, как все, хоть бы пришлось при этом и шею свернуть. Викторас, правда, шеи не свернул. По-разному бывало, первые месяцы работы отложили мозоли не только на ладонях, но, встретив кого из одноклассников, отвечал гордо: «Доволен». На завод являлся в чистом костюме, с лицом, розовым от юных надежд. Да, его так и раширала радость, когда он познакомился с Дейманте...

Викторас подмигивает своему отражению в зеркале и легким шагом выходит в дверь. На улице привычная вечерняя сутолока да спешка. Кто-то сорвался с работы и бежит в кафе или в магазин, кто-то спешит хоть в последние минуты показаться начальнику: дескать, бегал по служебным делам. Поток машин стал гуще, на перекрестках появились милиционеры со «шлагбаумами». Женщина пыталась не там пересечь улицу — милиционер пронзительно свистит, грозит палкой. Останавливает самосвал, разбрызгивающий на асфальт бетонный раствор, проверяет путевку. С воем проносится пожарная машина. Все провожают ее взглядом, и каждый, кто последним ушел из квартиры, лихорадочно вспоминает, закрыт ли газ, выключен ли утюг. Эта мысль мелькает и в голове Виктораса. Брюки гладил, а вилку из розетки вытащил?.. Конечно! Не помнит точно, но знает — он же не лопух. Хотя в последние дни ловит себя не только на идиотских мыслях, но даже на том, что сам не знает, куда идет да что делает. А теперь куда он направляется? Да разве это важно — куда? Не сидеть же ему целыми днями в пустой квартире! Можно и пошататься просто так, побыть среди спешащих людей, рассеяться. «Хо! — улыбается он. — Чистый воздух полезен для здоровья, вот я и вышел набраться этого здоровья». Но этой чепухой не удастся себя успокоить, и Викторас старается ни о чем не думать, так оно будет лучше. Печатает шаг по тротуару, шире размахивает руками — жив еще в нем солдат. Викторас часто вспоминает тяжесть винтовки, тугой ремень на поясе, жесткие полы шинели, хлещущие по ногам. Как ни верти, два года. Два года, которые принесли тебе... Не думать, не думать!.. Ать-два... Ать-два... Левоу, левоу, ребята, левоу! По долинам и по взгорьям!.. В ушах звенят слова дружной солдатской песни, и Викторас повторяет их без конца, повторяет, пока вдруг не слышит щебет Ренаты. Она шла тогда в детской стае. По двое, вцепившись друг в друга, шагала садик. Сосед Ренаты, жирный и ленивый мальчик, чуть отстал, и Рената закричала: «Ты рак, рак!» Викторас подошел и коснулся красной кисточки на шапчонке: «Ренателе!» Девочка посмотрела на него, ее голубые глазенки испугались и тут же просияли. «Ренателе, это я, твой папа», — вполголоса шепнул Викторас, вдруг забеспокоившись: может, не узнала? Девочка бросила ленивого мальчика и протянула ручонку Викто-

расу. Они шли рядом. Воспитательница видела это, недовольно поглядывала на них и сердито покрикивала: «Аккуратно идите, дети! Из строя не выходите!» Жирный мальчик, оставшись в одиночестве, может, решив, что какой-то дядя хочет похитить его подружку, истошно заревел. Викторас торопливо достал из свертка плюшевую собачонку. «Это тебе, Ренателе». Девочка взяла, но не сказала ни слова, она как-то робела перед ним, и Викторас, когда к нему подошла воспитательница, сам сказал: «Извините, не буду больше мешать». Мальчик все еще ревел, воспитательница прикрикнула на него, потащила Ренату в строй, соединила две маленькие ручонки. «Дети, не глядите по сторонам, дети, не останавливайтесь!» Рената, прижав левой рукой собачонку к груди, шла бочком, то и дело оглядываясь на Виктораса, и теперь уже мальчик, пыхтя, тащил ее. Когда дети удалились и Викторас остался стоять на тротуаре, он подумал: неужто он собирается игрушками приручить дочку? Эта мысль и сейчас смущает его. Он понимает — это все зря. У Ренаты ведь, наверно, такие игрушки, что перед ними его плюшевая собачонка выглядит жалкой тряпкой.

В осеннем городском парке ветер несет последние листья кленов. На лавочках сидят старухи, беседуют, покачивая головами, и, вспомнив о забытых на минуту внучатах, беспокойно ищут взглядом — где там, по аллеям, гоняют они свои трехколесные велосипеды?

Срезав угол парка и перескочив лужицы, Викторас выходит на улицу Победы, останавливается перед памятником солдатам, погибшим при освобождении города летом 1944 года. В скверике цветут еще поздние цветы, у обелиска гвоздиками пламенеет венок. Стоят навтыжку парни, один фотографирует, потом передает аппарат другому и сам втискивается в группу. Все подстрижены коротко. Призывники. Как тогда, два года назад, думает Викторас. До чего ж стремительно пробегают годы службы...

Стеклянная дверь старого дома из красного кирпича ведет в читальню. Викторас покупает «Вечерку» и садится за покосившийся столик. Старается вникнуть в спортивные новости — видно, немало времени пройдет, пока он снова начнет ориентироваться в том, что творится в литовском спорте. Сияющая звезда баскетболистов «Статибы» и увядшие лавры футболистов «Жальгириса». А когда-то Викторас затаив дыхание следил за матчами жальгирисцев, и от его голоса звенел стадион: «Нажми, нажми!» Даже милиционер посоветовал как-то «приглушить эмоции»... В разделе объявлений видит: «Требуются слесари, фрезеровщики, электрики...» В перечне предприятий и завод сельхозмашин. «Нужны электро- и газосварщики»...

«Валяй прямым ходом ко мне», — сказал тогда начальник цеха Ляонас Райжис. Наверно, он каждый день приходит провожать Дейманте с работы. И сегодня, в этот вечер... Хорошо бы столкнуться с ним лицом к лицу... Вот сейчас. Еще полчаса — и Дейманте кончит работу. Викторас складывает газету, сует в карман пальто, вскакивает. Тротуар узенький, народу — не протолкнешься. Шагает по мостовой, торопится, поглядывая на часы. Двадцать пять минут. А может, она уже ушла? Отпросилась... Перебегает улицу, влетает во двор, загроможденный ящиками с пустыми бутылками; еще сто метров проспекта — и... Бегом по лестнице на второй этаж. Отдышавшись, открывает дверь. В широком и длинном коридоре у стен выстроены ступля, кое-где сидят посетители. Тишина, запах лекарств, громкие шаги. Появляется женщина в белом халате.

— Простите, пожалуйста, — останавливает ее Викторас, — сестра Дейманте на работе?.. Петрушонене.

Голос звучит сипло, Викторас все еще не может отдышаться.

— Стряслось что-нибудь? — беспокоится женщина.

— Да нет... Совсем нет... Нельзя ли увидеть ее, Дейманте?

Женщина внимательно и как бы с подозрением смотрит на высокого статного мужчину, на лбу которого под широким беретом блестит испарина.

— Пятнадцатый кабинет. Подождите у двери, она выйдет.

— Спасибо, сестрица... доктор...

Пятнадцатый кабинет в самом конце коридора. Терапевтический, фамилия врача написана круглыми буквами, под стеклом. Викторас садится у двери; все еще отчаянно колотится сердце. Хорошо, что никого нет рядом. Он последний пациент, улыбается через силу. А может, появится еще один? Семнадцать минут осталось... Бросает взгляд на часы, слушает, прижав к уху. Идут.

Из кабинета медленно выходит старичок. Ссутулясь, перебирает пачку рецептов, бережно кладет в карман и удаляется, постукивая тросточкой. Викторас снова смотрит на часы. Из кабинета в кабинет перепорхнула медсестра. Хлопают двери. Уборщица ставит ведро с водой, шмякает на пол мокрую тряпку, прислоняет к стене щетку.

— Вы к врачу?

Викторас, вздрогнув, поднимает голову. На пороге стоит Дейманте.

— Я думала... А это ты...

Она стоит так близко, что Викторас чувствует запах белоснежного халата. Хочет встать, сказать что-то, но не может. Молчит и смотрит на ее тонкие пальцы, сложенные странно, как для молитвы.

— Ты вспотел,— говорит Дейманте и трогает его лоб.— Ты весь мокрый!

— Я спешил.

— Сними пальто,— заботливо говорит она, наклонившись, расстегивает пуговицы.— Остынь тут, а то на улице продует.

— Это пустяки, Дейманте... Я так спешил...

Она снимает с него пальто, бросает на стул, садится рядом, потом встает.

— Уберу кабинет, и тогда... Минутку.

«Зачем я сюда пришел? — думает Викторас и вспоминает, что хотел поймать Ляонаса Райжиса. Его берет досада.— Что я скажу Дейманте? Буду просить, чтоб вернулась ко мне? Чтоб вернулась в мою постель... Вот возьму пальто и в дверь... Возьму...— Не глядя протягивает руку, нашаривает пальто, рывком встает, одевается.— Быстрее. Мне нечего ей сказать...»

Скрипнула дверь кабинета. Викторас застывает. Выходит высокая крупная женщина. Наверное, врач. Она улыбается Викторасу как старому знакомому:

— Дейманте сейчас. Она одевается.

Викторас кивает, ноги вдруг подгибаются, и он, сделав шаг в сторону, цепляется заложенными за спину руками за подоконник, дрожит всем напряженным телом, как зверь, изготовившийся к прыжку, смотрит на удаляющуюся женщину. Врачи заглядывают в какой-то кабинет и потом исчезают за дверью. Руки Виктораса отталкивают его от окна, а ноги, все чаще и чаще перебирая по скрипучему полу, за несколько секунд выносят на улицу. И здесь он не останавливается, бежит, задевая плечом прохожих, словно за ним погоня. На душе становится легче, исподволь появляются сила и уверенность в себе. Поправляет шарф, натягивает тонкие перчатки, выравнивает шаг. Левою, левою, ребята!.. Глупости... Дейманте тебя не догонит. Ты даже не посмотрел на нее, ты ее не видел, хоть и была рядом. Голос слышал, и все. И если теперь посмотрел бы на нее со стороны... Вернуться бы и

со стороны... Ты так любил ее стройную фигуру, ее походку. Ты можешь ее увидеть. Только со стороны...

Викторас перед носом машины перебегает улицу, возвращается, ныряет в подъезд жилого дома и через дверное стекло смотрит на вход поликлиники. Дверь не закрывается. Выходят женщины, мужчины и тут же тают в людском потоке. Дейманте нет как нет. Надвигаются сумерки, скоро не будет видно... Еще две женщины появились и разошлись в разные стороны. Еще одна... Это ее врачиха. Может, Дейманте ждет его наверху? Ходит по коридору, спрашивает у уборщицы, не заметила ли такого, в берете. Нет, никто не видел, когда он убежал. Вот и хорошо. Конечно, хорошо. «Но зачем ей ждать, если меня нет?..» Она! Серое осеннее пальто, простоволосая, ремешок сумочки переброшен через плечо. Дейманте смотрит влево, потом вправо... Сходит со ступенек, останавливается, снова пробегает взглядом по лицам прохожих и неторопливо, руками придерживая сумочку, уплывает в глубь проспекта. Викторас выходит из своего укрытия, по своей стороне улицы идет за Дейманте, стараясь не выпускать из виду. И через десяток шагов уже корит себя — не стоило так поребачьи убегать. Надо же однажды выяснить все начистоту. Но где же Дейманте? Только что видна была ее гордо откинута голова. Конечно, надо было поговорить... Не видно. Может, в автобус вскочила? Едет. Да, на этом автобусе. Езжай-ка и ты домой, Викторас. Но где же дом, который манит тебя, без которого ты не можешь жить?

Длинный широкий тротуар. Мерцает неяркий свет неона, из магазина вкусно дохнуло хлебом. Хоть бы знакомый подвернулся! Потом бы оправдался перед собой: встретил случайно, зашли, посидели, выпили. Но Викторас никому не станет звонить, не будет искать помощи и совета. Он будет в одиночестве гулять по городу, по всем этим старым улочкам. Ведь улицы соскучились по нему, он соскучился по ним, и ему будет легче, целый вечер он будет бродить, пока не устанет и не собьется с ног. А может, зайти в кино и убить два часа? Все-таки на два часа вечер станет короче. Правда, идея! Перед кино толпится народ. Видно, хорошая картина. Рекламные фотографии. Французская комедия.

Перед кассой длинная очередь. Викторас пристраивается к ней, вспоминает, что в кармане у него газета, разворачивает. Поднимает глаза, и его взгляд неожиданно утыкается в широкую спину, обтянутую нейлоновой курткой, в коротко стриженный затылок. Человек переговаривается с приятелем, поворачивается профилем, бросает взгляд назад, и Викторас машинально заслоняется газетой. Крупные буквы расплылись серым пятном. Он бросает взгляд из-за «Вечерки» — точно: Алексюс! Выйти из очереди, убежать? Может, эту комедию еще где-нибудь показывают. Бежать? От кого и почему? Викторас поглядывает на спину Алексюса, на его бычью шею. Изредка утыкается в газету, но ни одной фразы не может дочитать. Его глаза снова и снова смотрят на широкую спину.

Очень медленно движется очередь.

Вернуться домой и весь вечер пробыть в одиночестве...

На остановке Береговой улицы Дейманте вырывается из переполненного автобуса, делает шага три и застывает, пожалев, что так легко поддалась вдруг возникшему желанию.

От реки, в которой тонут огни города, тянет сыростью. Дейманте идет по узкому выщербленному тротуару, видя перед собой Виктораса-

са, вспотевшего от спешки, растерянного. Куда он потом делся? Зачем приходил? Она была готова... почувствовала щемящую жалость к нему... а теперь... А может, его одолела всегдашняя гордость? Викторас ведь никогда не умел выяснять отношения. Ему проще было промолчать, стиснув зубы, чем сказать прямо: «Ты не права». А проходило время, и он как бы невзначай говорил: «Вот видишь, сама убедилась». Может, и теперь он ждет, чтоб Дейманте убедилась. Но ведь он может опоздать... Опоздать!

«Нет, я не хочу одна бродить по городу», — думает Дейманте и оглядывается в поисках автомата. Переходит на другую сторону улицы, достает монету и поднимает трубку. Долго ждет, и ее уже трясет озноб — от осеннего ветра или от внутреннего напряжения? Снова набирает номер. Нет, не вернулся еще Ляонас. Сегодня не звонил. Что ей делать? Бродить по мрачным улицам и ждать? Ей всего двадцать три, а она должна ждать и ждать. «Ты будешь меня ждать», — сказал два года назад Викторас. Не спросил, а сказал — он ведь был уверен в этом. И Дейманте была уверена, поэтому ответила очень искренне: «Я буду ждать тебя». Ждала. Даже встречаясь с Ляонасом, даже в минуты близости, когда все забывалось, она ждала Виктораса; она верила, что он сможет освободить ее от той страшной растерянности, перед которой она была бессильна. Ждала... И сегодня его ждала, веря, что он все-таки придет. Пришел и тут же пропал. Теперь она ждет Ляонаса. Все ждет и ждет. И в будущем так? Вся жизнь — ожидание?

Она снова переходит улицу, медленно бредет по тротуару, бегущему по высокому берегу реки, смотрит на волны и бурунчики между камнями, высунувшими черные спины из воды, и любой прохожий может решить, что она вышла погулять. Обогнав ее, мужчины оборачиваются, заглядывают в лицо, но глаза у Дейманте холодные, неживые какие-то. Уехать бы за город, лететь по широкой автостраде в темноту, неизвестность и чувствовать рядом надежную руку! Только не быть одной! И надо же было Викторасу выдумать такую глупую игру! Может, он хотел унижить ее?.. А ты разве не унижала Виктораса? Ах, Дейманте, подумай о себе... о себе... о себе... Не ищи виноватых, подумай. Никого не суди и не оправдывай, а подумай. Но ты не хочешь думать...

Через добрых полчаса снова набирает номер. Протяжные, ранившие слух гудки вбиваются в мозг, от них звенит вся улица, весь город, неужели Ляонас не слышит их! Где бы он ни был, он должен откликнуться тут же, сию минуту, у нее ведь нет больше сил ждать... Хорошо, что никого нет рядом с будкой; она не сумела бы ответить, не смогла бы сказать ни слова. А может, и не придется говорить, потому что Ляонаса нет, он не вернулся; он всегда жалуется на множество работ, как бы оправдываясь...

— Алло!

Дейманте немеет, прислоняется спиной к стеклянной стене будки и не может разомкнуть спекшиеся губы.

— Лео... ты...

— Дейма? — удивленный голос. — Так вдруг!

— Ты меня не ждал?

— Я всегда жду, но сейчас... Ты понимаешь, должен был позвонить один знакомый, я думал, это он, а оказывается — ты.

— Разочарован?

Дейманте умеет быть безжалостной.

— Да что ты, Дейманте, я рад. Скажи, что нового? У меня масса всяких дел. Как ты? Откуда звонишь?

— С улицы.

— С улицы?! А что ты делаешь на улице в такой час?

В голосе Ляонаса сочувствие, словно он подумал, что ее выгнали на улицу, что все ее отвергли. А может, так оно и есть? У Дейманте дрожат губы, боль обжигает сердце, ей ужасно хочется заплакать, но она сдерживается.

— Лео... Ты слышишь меня, Лео?

— Я превосходно тебя слышу, Дейманте. Скажи, милая...

— Лео, я хочу тебя видеть. Сейчас же. Я хочу, чтоб ты приехал и мы могли бы куда-нибудь исчезнуть. Не знаю куда, но ужасно нужно... Мне нужно, я так устала, я ужасно устала, Лео...

Дейманте говорит все это не переводя дыхания, будто хочет, чтоб Ляонас заразился ее поспешностью; чтоб не медля ни минуты примчался к ней, обнял ее, продрогшую на осеннем ветру, потер ладонями ее руки, расцеловал пальцы все по очереди и спросил бы: «Куда же хочет полететь моя птаха?»

Почему он молчит?

— Лео...

— Дейманте, я готов бежать к тебе и днем и ночью.

— Я жду, Лео.

— Я бы сию минуту бросился, но... Ты прости меня, милая, и не думай чего-нибудь такого...

Телефонная трубка становится свинцовой, скользит из пальцев, как глыба льда.

— Лео!

— Я бы тебя позвал к себе, но все здесь захламлено. Не можешь себе представить, что такое ремонт! Самому войти страшно, а тебя принять... Дейманте, еще несколько таких дней — и все будет в порядке. Алло, ты слышишь меня, Дейманте?

— Слышу...

— Я уже говорил — жду знакомого. Талон на импортный гарнитур достал. Хоть и противно, а приходится иногда унижаться, связываться со всякими...

Голос у Ляонаса далекий и невнятный, как журчанье реки по камням, и Дейманте еле слышит его, не улавливает смысла.

— Ненавижу я все эти закулисные махинации, но без знакомства ничего не достанешь. Пойми меня правильно, милая.

— Понимаю, — едва выговаривает Дейманте.

— Позвони попозже, может, через час.

Повернув к центру города, она шагает без цели, сама не понимая, куда идет. Все равно ведь. Совершенно все равно. И если бы не Викторас... Если б он не сбежал... Очнись, Дейманте! Что бы тогда могло быть? Ну что?..

В кондитерской народу мало. Негромко играет музыка, небольшая комната тонет в мягком полумраке. Дейманте берет у стойки чашку кофе, печенье с шоколадом и идет к столику у стены. Расстегнув пальто, садится, заложив ногу на ногу, сидит без движения, согреваясь ароматом кофе.

Совсем юная парочка целуется в углу. Выпускники, наверное. Счастливые, первая любовь.

Волнами наплывает музыка...

Дейманте пробует печенье, отхлебывает кофе, снова смотрит перед собой куда-то вдаль... Онемевшими пальцами вынимает из сумочки сигареты, закуривает.

Подходит высокий мужчина лет под тридцать, кивнув, спрашивает:

— Разрешите подсесть?

— Занято, жду,— торопливо отвечает Дейманте.
 Мужчина возвращается к стойке.
 Дейманте чувствует, что вот-вот заплачет.

20

Симанас Петрушонис, выслушав вечерние новости и посмотрев начало фильма, думает, что слишком долго засиделся перед телевизором. В цехе-то ведь никто стул не придвинет да не предложит: «Извольте. Может, устали?..» Раз уж взял в руки инструмент, то и жми наравне со всеми. Иначе быть не может. Симанас понимает это, и в четверг, вернувшись на работу, он сачковать не станет. Надо побольше быть на ногах. Он-то все время так думал, но и врачиха сказала наконец: «Старайтесь не переутомляться, но двигайтесь, двигайтесь». Симанас сегодня битых два часа ходил по улицам, поднялся по лестнице на горку, посидел там малость, прислушиваясь к биению сердца. Потом, после обеда, сходил в магазин. Жена не пускала, мол, сама ходит, но он настоял на своем и притащил полный «гастроном» продуктов. Вроде и сошло, чувствует себя он сносно, только пот быстро прошибает. Слабость какая-то. Ничего не попишешь. Все-таки почти месяц проторчал в комнате. И провалялся немало, ну и без воздуха был.

Шагает от стены к стене, изредка поглядывает на мерцающий телевизор. «Надо бы новый купить, этот ведь лет пятнадцать служит. Как уйду на пенсию, куплю»,— думает, но эта непрошенная мысль баламутит душу: вспоминается разговор с Ляонасом Райжисом, который наверняка не забыл про свое предложение, хоть и был ласков, когда недавно звонил ему, справлялся о здоровье да пожелал «побыстрее встать на ноги и вернуться в строй». Обещал еще звякнуть или забежать, но не звонил и не заходил. Видать, работа заела... И вот в четверг, как ни крути, придется встретиться. «Привет, Ляонас»,— скажет Симанас. Не «начальник», а «Ляонас», как когда-то. Симанас знает себе цену, заслужил за столько лет. А что, если в этот день ему явиться как на праздник, как на парад? Пускай все видят, что он заработал своими руками!

Симанас открывает шкаф в спальне. Конечно, костюм надо надеть поновее, не забыть про галстук. Завтра придется сходить в парикмахерскую, а то волосы на уши падают. А теперь он только примерит... Засовывает руку за стопку белья, вынимает инкрустированную янтарем шкатулку, открывает и ставит к зеркалу. Приносит пиджак, вешает на спинку стула. Осторожно достает из шкатулки орден, кладет его на ладонь, любуется, в этом золоте отражается непрерывная вереница трудовых дней, таких похожих и разных, озаренных солнечным светом, заглянувшим в пыльные окна цеха, дней, полных надежд и веры, добрых слов и человеческого взаимопонимания. Наклонившись, пристегивает дрожащими пальцами орден к лацкану. Прикрепляет и три медали. Бросает взгляд издали, потом надевает пиджак и встает перед зеркалом. «Пускай все видят в четверг,— думает.— Вот бы так начальник цеха... Лявукас... Забыл ведь, наверно... Разве он помнит, что люди... что я...» Сильнее трепыхнулось сердце, и Симанас опускается на стул, сидит, весь подобрavшись, как перед фотоаппаратом, и думает о жене: почему ее не слышно, что она там, на кухне, делает? Ах да, говорила, что глажки много. Надо показаться, пускай и она полюбуется, тоже забыла, конечно. Встает, оправляет полы пиджака (сойдет и без галстука!) и, молодцевато откинув голову, шагает по коридору. У кухонной двери останавливается; откроет тихонечко, чтоб не расслышала, и рявкнет: «Уважай рабочий класс!» Испугается старая, опешит. А он чмокнет ее в щеку.

Дверь едва слышно скрипит. На столике около плиты висится куча неглаженного белья. На табуретке утюг со свисающим проводом. Виден отставленный в сторону локоть, круглое плечо. Чем она занята, раз ничего не слышит? Симанас застывает на пороге, делает шаг, другой и замечает в руке жены ручку. Жена медленно выводит на листе буквы и вполголоса бормочет:

— «...что ни день ни час, о те-бе ду-ма-ю, моя до-чень-ка, и по-го-во-рять не с кем...»

Невидимая рука хватается Симанаса за горло, и он глубоко, со всхлипом втягивает воздух. Жена бросает взгляд через плечо. Ахает коротко, испуганно. Рывком притягивает бумагу к себе, заслоняет руками, прячет, как маленькая, и смотрит на окно, закрытое белой занавеской. Симанас стоит у нее за спиной. Уйти, так ничего и не сказав? А что тут скажешь? Он-то давно знает, что она пишет Алдоне в Дортмунд, разве может он запретить ей, матери...

— Я думал, ты белье...— бормочет он, вроде оправдываясь, что в такой неудачный момент открыл дверь.

— Не могу, отец... Дочка ведь.

Жена глотает слова, как слезы, не поворачивая головы.

— Разве я чего говорю? — уже тверже отвечает Симанас.— Дочка тебе, известно.

— И тебе дочка... И тебе.

— Вырастил ее.

— Дочка, отец.

— Нет у меня... Была дочка, и нету.

— Отец!

Старушка утыкается лицом в руки, скрывающие недописанное письмо. Ее плечи вздрагивают, а горла Симанаса снова касаются эти невидимые пальцы.

— Я ж ничего тебе не говорю. Пиши.

Пятясь, выходит в коридор, здесь едва не падает, как подрубленное дерево, медленно бредет в спальню, садится на кровать. Потом машинально, не глядя, непослушными пальцами отстегивает медали, орден, складывает в желтую шкатулку на плюш и захлопывает ее. Покачав головой, снова приоткрывает крышку и на внутренней стороне ее читает слова, выведенные черной тушью: «Дорогому папе по случаю шестидесятилетия. Всегда быть таким, как до сих пор, желает сын летчик Кястукас. 5.III.1966».

Неизвестно, сколько длилась бы в доме тишина, если б не громкий звонок у двери. Симанас поднимает голову, не сразу понимая, что заставило очнуться от мыслей, и замечает, что держит обеими руками на коленях шкатулку. Снова раздается звонок. Симанас прячет свои сокровища за белье, закрывает дверцу шкафа и слышит голос жены:

— Вот те и на! Не ждали!

Голос у нее удивленный, но веселый. Кто это ее так обрадовал? Но и Симанас, увидев в открытую дверь гостя, сразу забывает все заботы.

— Викторас пришел! — нараспев произносит жена, повернувшись к Симанасу.

Можно подумать, он сам не узнал! Подходит, приосанивается и говорит:

— Дай-ка ус, солдат.

Обнимает его крепко, делает шаг назад и смотрит, будто ищет следы времени на лице и в глазах.

— Вы, дядя, каким были, таким и остались,— говорит Викторас.— Вроде помолодели даже.

— Вот-вот, я все моложе да моложе. Все стареют, а я молодею. Слышишь, мать? — бодро говорит Симанас. — Но почему у тебя, парень, волосы поределели?

— Расческа плохая, дядя, выщипала.

— Да, время чешет остро... А почему мы стоим?

Садятся друг против друга. Симанас, привстав, выключает телевизор, чтоб не мешал разговору, и с упреком говорит:

— Думал, ты нас забыл, Викторас. Позвонить-то позвонил, а чтоб проведать, говорю, дороги не находит.

— Да ведь только вернулся.

— А сейчас... перебросимся словом, и скажешь — домой пора, поздний час.

— Из кино шел. — Викторас спохватывается, что проговорился.

— А как же, к дяде только по дороге, только бегом, чтоб галочку в своем плане мероприятия поставить. Ах ты, Викторас, Викторас!

— Да что ты, отец, — вступилась жена. — Нет чтоб спасибо Викторасу сказать, а он ругается...

Брови Симанаса сдвигаются на глаза; он смотрит исподлобья на жену, на растерянного Виктораса.

— Неужели я тебя обидел, Викторас?

Викторас протестует — он не девчонка, мол, и будто не знает своего дяди.

— Как внуку говорю. Если б мои сыновья были живы, такие точно внуки, как ты, Викторас, могли бы у меня быть. — Бросает взгляд на фотографии — в гостиной он всегда садится так, чтоб портреты сыновей были перед глазами, — и на минутку погружается в прошлое.

— Вдыхай не вздыхай, а иначе не будет, — негромко роняет жена, думая о своем.

Старшего сына дяди Симанаса Викторас знает только по рассказам — когда Альгирдас погиб, его на свете не было, — а вот Кястуска помнит хорошо. Коренастый был, сильный, вечно острил. Об Алдоне-то и говорить нечего, она всего на три года Виктораса старше... Он часто бывал в этом доме, сюда манили его тепло, уют, простота отношений, чего подчас не доставало ему в родительском доме.

Симанас удобно располагается в кресле, вытягивает ноги; его брови снова взлетают, из-под них зазорно блещут внимательные глаза.

— Рассказывай, Викторас. Два года — это тебе не два дня.

— Так кажется, дядя. А когда надо рассказать, не знаешь, с чего и начинать. Жизнь солдата, да еще вроде меня, не туристическая поездка.

— Известное дело. Писал мне. Спасибо. А вот скажи, откуда у нас вся эта мерзость заводится?

— О какой вы мерзости?

— Да о той, которую ты с винтовкой охранял.

— Там тоже люди, дядя.

— Люди, согласен. Но запачкавшиеся.

— У каждого в деле подшито по несколько сотен листов. У каждого своя непростая история. О многих слышал страшные вещи: украл, изувечил, убил, изнасиловал. Первая судимость, вторая, третья...

— В наши дни человек в космосе, человек — в тюрьме. Разве это допустимо, Викторас?

Когда Викторас впервые вошел в барак, было время обеда. За длинными столами сидели мужчины. Стриженные головы — угловатые, круглые, с острыми макушками и торчащими ушами — склонились над мисками, татуированные руки мерно поднимали ложки. По спине Виктораса пробежал холодок, и он подумал: как это страшно!

— Пока служил там, я все думал. Иногда, может, и до глупостей додумывался. Но мне кажется, что зверь в человеке просыпается только в том случае, если человек перестает верить в человека. В человеческий труд. Когда перестает верить в жизнь и во все, чем живут люди.

Симанас щиплет бровь.

— А кто виноват, если такой человек перестает верить? Мы сами?

— Наверно.

Симанас оглядывается — жены нет, не заметил даже, как она ускользнула, видно, на кухню дописывать письмо Алдоне. Алдоне?.. Он наклоняется к Викторасу и вполголоса спрашивает:

— Если по-твоему, то вот как получается: в том, что Алдона бросила дом, отреклась от всего, виноваты мы сами? Я виноват, моя жена? — В узких щелках блестят две черные точки, два кусочка антрацита. — Мы виноваты, да?

Викторас чувствует на лице теплое дыхание дяди. Очень трудно выговорить это коротенькое слово, но он ведь помнит, как баловали Алдону («Наша единственная...»). Ведь и отец и мать носились с ней словно с принцессой, какую бы чепуху та ни городила, все снисходительно объясняли — вырастет девочка, одумается, поймет...

— Да, Викторас?

— Да.

Симанас медленно выпрямляется, все еще не спуская глаз с Виктораса, приоткрывает сухие губы, но вздох остается глубоко в груди. Молчит, сложив на коленях жилистые руки.

— Вы уж меня простите, дядя.

— Да нет, пустяк, Викторас.

— Я сказал, что думаю. Вы сами меня к этому приучили.

— Ты сказал, что думаешь. Вот и хорошо, Викторас.

Старик смотрит на свои задубелые пальцы с искрошенными ногтями, шевелящиеся медленно и через силу, будто перебирающие неповоротливые мысли. Из кухни приходит жена, ставит на столик чай, потчует, журит Симанаса. Руки хозяина и гостя кладут сахар, бросают в стаканы по кружочку лимона, медленно мешают ложечками. А мысли где-то далеко, и слова жены о печенье и рюмке вина проходят мимо ушей.

— Вы тут посидите, я белье доглажу.

После долгого молчания, как бы проснувшись от глотка горячего чая, Симанас спрашивает:

— Как отец-то поживает?

— Наверно, хорошо.

— Почему... наверно?

— Не знаю.

— Поссорились?

— Да вроде нет.

— Вижу.

Снова тишина.

— Он в первый же вечер стал меня наставлять. Насчет Дейманте.

— Думаешь, отец слепой?

— Да нет... Но когда говорит прописные истины, злость берет. Раз такой умный, мбг и себя воспитывать. Так я ему и сказал. Не было бы тогда покалеченных людей.

Симанас качает головой, будто говоря: ах сынок, сынок...

— Плохо ты знаешь отца и меня худо знаешь, а судить горазд. Попробуй и о нас подумать хоть немного. Говоришь, сотни листов исписаны про преступников. А нас судишь с маху... Может, тогда увидишь, что не все наружу. Многие только сердцем измерить мож-

но.— И тут же, не дожидаясь ответа Виктораса, спрашивает: — Когда на работу выходишь?

— По-вашему, я должен торопиться?

— Ты обещал. Все мы помним.

— Не вернусь на завод. Спасибо Ляонасу Райжису, он меня вытурил. Можете ему так и передать, если представится случай.

— Сам и скажи.

— Видеть не хочу.

— Посмотрел бы, как все за два года изменилось. И товарищи тут ни при чем.

— Да что с того...

— Как знаешь, но я на твоём месте обязательно бы заглянул. Где делал первые шаги, в ту сторону плевать не положено. Подожди, вспомнил-таки...

Симанас встает с дивана как-то неуверенно — кажется, что у него кружится голова.

— Я сейчас...

Выходит в коридор, открывает стеной шкаф.

Викторас крепко, до боли трет ладонями лицо, жаркие виски. Когда же он освободится от тягостных мыслей, когда сможет поутру сказать — сегодня спал как убитый? Думал, придет к дяде Симанасу, посидит, как когда-то, в былые времена. Но этих былых времен нету и здесь; мысли и беды тенью следуют за ним. Конечно, надо скорей подыскать работу: дни станут короче. Вернуться на завод? Хорошо дяде Симанасу говорить. Добрый, иногда чудаковатый старикан. Наверно, как все старики.

— Вот, Викторас,— говорит от двери Симанас, и Викторас, подняв голову, видит в его руке странную железяку.— Возьми эту чепуховину. Старинный гаечный ключ. Когда-то в деревенской кузнице я сам его выковал, а отправляясь в город, прихватил на всякий случай. Думал, сыновьям... Пускай у тебя будет. Вспомнишь как-нибудь — был такой Симанас...

Викторас держит в руках грубой работы инструмент, рассматривает, осторожно трогает почерневшую от времени рукоять, крепкий захват, и ему чудится, что этот ключ еще горяч от ладоней Симанаса.

Симанас Петрушонис поднимает глаза на портреты сыновей и спрашивает:

— Может, чайку горячего налить, Викторас?

21

— Вчера я тебя в кино видел.

— И я тебя.

— Да ну?

— Ты прятался от меня за газетой.

— Я читал газету, ты мог подойти.

— Решил дома застать. И вот... с глазу на глаз...

— Проходи. Присядем. Закуришь?

— Это можно.

Щелкнув зажигалкой и сквозь голубое пламя посмотрев на Алексюса, ты натыкаешься на его пристальный взгляд. Как в тот раз, когда он, проходя мимо, остановился, уставился на тебя, и суп из алюминиевой миски, которую он держал в руке, полился на пол. Ты отчитал его, отошел, но его взгляд преследовал тебя. Звякали ложки, заключенные жадно хлебали обжигающий суп, а ты стоял в стороне и думал об этом парне с бычьей шеей. Знал, что он из Литвы, вначале пробо-

вал даже потолковать с ним, но он в разговоры не вступал. На другой день он тоже сверлил тебя взглядом. Ты решил не обращать внимания — большое дело, что пялится, а ну его. Однако ночью, стоя на вышке, невольно задумался. Может, это бывший знакомый? Учились вместе в первых классах, работали на заводе, встречались на танцах? Ты отгонял эти мысли, глупо забивать голову такой чепухой. В лесу заключенные по пояс в снегу валили высокие сосны, отпиливали верхушки, обрубали сучья. Ревели мотопилы, стучали топоры, дымился костер. От стали автомата зябли руки, ты топтался, выдувая клубы белого пара, смотрел на неспешные движения заключенных. И заметил, что этот парень с бычьей шеей все время старается быть неподалеку от тебя, даже как-то приближается за делом, хотя вроде и не смотрит в твою сторону. Наконец он зашагал прямо к тебе. «Назад!» — крикнул ты. Остановился, увязнув в снегу. «А ну назад!» — «Передай отцу привет от меня, Викторас!» В его простуженном голосе была насмешка. «Назад!» — «Я тебе серьезно говорю: передай отцу привет от его сына Алексюса». Закачались сосны. «Не знаю я твоего отца». — «Нашему с тобой отцу, Антанасу Петрушонису». Снова закачались сосны, завращались их вершины в высоком звонком зимнем небе. Ты закричал, задыхаясь: «Назад, живо!..» Проваливаясь в снег, Алексюс побрел назад, схватил топор и с размаху ткнул по стволу корабельной сосны.

— В колонии, считай, полгода под одной крышей прожили, а только парой слов перебросились.

— Ты же не хотел со мной говорить, Алексюс.

— Я там был нуль... А ты — вся власть. О чем нам разговаривать?

— Но ты же сам сказал, что мы братья!

— И братья становятся врагами.

— Нам не из-за чего...

— Есть, Вик-то-рас!

Взгляд полоснул ножом, и ты, стараясь не показать, как задрожали пальцы, притягиваешь пачку сигарет, вертишь ее на столе. Тогда ты долго думал и не мог решиться. Знал, что надо доложить обо всем командиру. Но как объяснить? «Заключенный Алексюс Гялбуда является сыном моего отца...» Вспомнилось, как давно, еще в детстве, мать вспылила за что-то на отца и, заливаясь слезами, закричала о женщине, живущей в деревне, которой отец «заделал ребенка», что пускай к ней катится. Больше ни разу об этом не заговаривали. Но подростком ты все-таки спросил у матери: «Это правда?» «Было дело. Но отец в ту сторону и не смотрит». — «Значит, у меня есть брат? А может, сестра?» «Может, вообще никого. Заболел, умер — и нету», — по-своему успокоила тебя мать. И на этом все кончилось... Служба стала тяжелей. Не только взгляд Алексюса донимал, ты сам уже стал поглядывать на него, на его широкую спину в телогрейке, на крепкую шею, ты стал думать: как это странно — брат. Знать ведь о нем не знал, имени не слышал. Наверно, подумал ты, сам отец не знает, как его зовут. Отец не знает имени сына! — обожгла мысль. В письме отцу — несколько слов о службе, несколько слов о зимней погоде. А в висках стучали молоточки — напиши отцу про Алексюса, не молчи, хоть ты не лицемерь, пускай знает старик... Не написал. Ни в том письме, ни в другом ни слова. И оправдывался перед собой: этим же ничего не изменишь; если б Алексюсу был нужен отец, он бы его сам отыскал. А может, отец его навещал тайком от всех? «Ты с отцом встречался?» — как-то спросил в столовой Алексюса. «Ни разу». — «Почему?» Алексюс не ответил. «Но ты же просил передать ему привет». — «Не выдумывай». — «Просил!» — «А ты передал?» — «Еще не

написал. Напишу в другой раз». — «Не надо». — «За что тебя посадили?» — «Спроси». — «Ты же сам знаешь, Алексюс». — «Уходи».

— Когда ты услышал мое имя и фамилию и понял, что я твой брат, ты меня возненавидел, верно?

Алексюс, жадно докурив сигарету, берет другую. Утонув в облаке дыма, спрашивает в свой черед:

— А по-твоему, я должен был тебя обнять с любовью?

— Нет, почему... Я спрашиваю, за что ты меня сразу возненавидел?

— Дал бы чем горло промочить.

— Нету ничего, даже вина.

— Так мы и поверили.

— Посмотри в буфете.

— Я не из таких.

— Мне кажется, ты думаешь, что у тебя есть право на этот дом.

— Не издевайся, Вик-то-рас!

Сигарета крошится в пальцах Алексюса, падает на ковер. Викторас придвигает к нему пачку, потом, наклонясь, поднимает тлеющий окурочок и бросает в пепельницу. «В жизни бы не поверил, что смогу так спокойно сидеть с ним за одним столом и разговаривать», — думает Викторас.

— За что ты получил эти четыре года?

— Уже спрашивал.

— Но ты же не ответил.

— Каждый раз, когда ты ко мне лез, я готов был тебя убить.

— Ты меня ненавидел потому, что наш с тобой отец растил только меня? Верно?

— Потому что там был ты, именно ты, а не какой-нибудь Йонас или Пятрас.

— И потому ты решил бежать?

Алексюс отталкивается вместе со стулом от стола, закидывает ногу на ногу. Белый пепел сыплется на ковер.

— Не мог я вынести, что ты меня охраняешь, Вик-то-рас!

Никак он не может произнести твое имя без запинки.

...В ту ночь ты стоял на вышке. Продувал ледяной ветер. Тело защищал теплый тулуп, но в лицо вонзались колющие иголки стужи. Было тихо, все спали, ты смотрел на полосу зоны, переминался с ноги на ногу и думал о доме и теплой постели. Когда стоишь вот так, всегда думается сразу обо всем и ни о чем, потому что время ползет ужасно медленно, вокруг тебя заваленные снегом бескрайние поля; стена черного мрака окружает тебя и всю колонию. Вполголоса поешь песни — все, какие только знал или тут уже выучил, — в мыслях решаешь задачи по алгебре, повторяешь правила по физике, химические формулы. Все уже путается в голове, ты устаешь, не хочешь думать ни о чем. Ждешь смены караула. Ждешь, не можешь дожидаться и снова начинаешь тихонько напевать. Трешь нос и щеки толстыми рукавицами. Долго трешь. Поначалу больно, а потом щеки горят. Только что посмотрел на часы, но опустил руку и уже забыл. Буран крепчает, тоскливо завывают провода, курится поземка, швыряя крупички снега в дощатый забор. Снег залепляет глаза.

И вот уж все бурлит, трещит, ты втягиваешь голову в воротник, трешь лицо, топчешься — заняли пальцы ног. В который раз думаешь о теплой постели и сне. Внезапно внизу мелькает и пропадает какая-то тень. Снежный вихрь? Ни разу еще не было здесь такого бурана. Снова мелькает тень, уже ближе к забору. Ты напрягаешься. Снег залепляет глаза. Спотыкаясь, по территории бежит человек. Прямо на тебя. Вот он уже в десяти метрах от запретной зоны. Ты поднимаешь

автомат. В человека? — сверкает далекая страшная мысль и тут же гаснет. «Стой!» Сквозь посвист ветра звенит твой голос; ты сам не узнал его, впервые он звенит так грозно. «Брат мой!.. Викторас!..» Человек на минуту застыл и снова крикнул, будто не веря, что ты его услышал: «Это я!.. Алексюс!..» Автомат становится свинцовым. Алексюс уже у самой зоны, он делает еще шаг.. «Стой!»..

— А ты подумал, в кого стреляешь?

— Я стрелял мимо.

— Пуля вжикнула у самой головы. Ты не попал.

— Я стрелял мимо.

— Не попал! Случайность!

Ты не мог тогда больше медлить. Казалось, в голове все помутилось, потемнело в глазах, в какую-то долю секунды ты понял, что исчезло любое родство с человеком, шагнувшим в запретную зону.

— Я стрелял мимо, так как боялся, что придется стрелять в упор.

— В брата?!

— В заключенного.

Когда в ночной тишине прозвучал выстрел и Алексюс, будто откинутый пружиной, отпрянул, ты всеми клетками тела почувствовал ужас своего выстрела. Алексюс стоял, подняв руки и застыл в вихре бурана. Колонию поднял сигнал тревоги. К тебе бежали солдаты. Ты опустил автомат. Ныли руки, все тело трясла дрожь, зубы отбивали дробь.

— Ты стрелял в меня, когда еще не имел права стрелять.

— Я тебе говорю — чтоб не пришлось стрелять в тебя.

— Ты перестарался, Вик-то-рас!

— Есть закон, Алексюс, и справедливость.

— Хватит! Почему они меня не судили? Не могли пришить побега!

— А как ты им объяснил?

— По-твоему, надо было признаться, что хотел бежать?

— И все-таки что ты сказал?

— Да так, чепуху какую-то. Мол, хотел с тобой потолковать насчет одной девки. Ведь мы земляки.

— Ты так сказал?!

По дороге к начальнику колонии ты стал сомневаться — неужели Алексюс действительно собирался бежать? Почему он подкрадывался к тебе? Без вещей, с пустыми руками? Куда убежишь, если вокруг поля да леса? И такой мороз. Ты составил рапорт. Писал медленно, дрожащей рукой. Начальник прочитал, поднял усталые глаза: «Значит, вы были знакомы?» «Да. Он сильно изменился, я совсем недавно его вспомнил». — «Где вы встречались?» — «Кажется... на танцах». — «И все?» — «Все». Начальник встал за столом, поправил ремень. «По вашему мнению, заключенный Гялбуда не собирался бежать?» — «Мне так кажется». — «Рядовой Петрушонис, прошу отвечать точно!» — «Нет, не собирался». — «Почему же вы стреляли?» — «Я увидел его, заключенного Гялбуду, недалеко от зоны... Ветер нес снег в лицо... прямо в глаза...» — «Это не ответ!» — «Я боялся, как бы он не вздумал... Мне показалось, он шагнул в зону... Ветер со снегом...» — «Он был у самой зоны?» — «Да... Но мне показалось...» — «Рядовой Петрушонис, отдайте оружие!» Онемевшими руками ты положил автомат на стол. Отбыв наказание, ты узнал, что заключенный Алексюс Гялбуда переведен в другую колонию. Еще через полгода, когда приятели стали ездить на побывку, ты узнал — свой дом увидишь лишь после службы.

— Вот мы и вернулись почти вместе.

— Я и теперь чувствую себя в тюрьме, когда смотрю на тебя, Вик-то-рас!

Алексюс вскакивает, засовывает руки в карманы брюк и, набычившись, смотрит исподлобья, распалая гнев.

Ты тоже встаешь со стула и думаешь: кто же первый протянет руку для прощанья? Руки Алексюса в карманах, он как бы врос ногами в пол, только широкими плечами поводит.

— Я тебя спросил, но ты не ответил. За что ты попал в тюрьму?

Рот Алексюса щербится, перекосив все лицо, правая рука держится из брючного кармана, а на протянутой ладони лежит охотничий нож.

— Хочешь узнать, да? За применение вот этого.

По твоей спине пробегают мурашки, но ты не показываешь виду, улыбаешься бесстрастно, даже смеешься. Алексюс оглядывается.

— А я-то думал, ты деятель крупного калибра, твоя слабость — автомобили, сейфы...

— Вик-то-рас!

Ты как бы не слышишь его напряженного голоса и не спускаешь безжалостного взгляда с нервно подрагивающих бровей, с побледневшего лица Алексюса.

— Жалко, отец как нарочно уехал. Полюбовался бы старик тобой.

— Вик-то-рас!

— Ладно, в другой раз...

— Другого раза может и не быть.

Алексюс так крепко сжимает в руке закрытый нож, что раздаётся хруст, сует его в карман и, не спеша повернувшись, выходит в коридор. Ты не можешь сдвинуться с места, когда наконец слышишь стук закрывшейся двери.

22

Автомобиль катит по серой ленте асфальта. Руки покоятся на руле. В открытое оконце врывается ветерок, свежесвыбритое лицо впитывает эту прохладу, дышится легко, хоть сердце малость и частит, с утра ты слышишь его. Жене ничего не сказал, подождал, пока уйдет на работу, торопливо оделся, в прихожей наткнулся на усталый взгляд Виктораса. «Пообедай сам. Вернись вечером», — сказал. Сын равнодушно пожал плечами и ушел к себе. Антанас постоял у порога, в последний раз подумал: «А может, все-таки не стоит?..» И тут же отбросил колебание: давно уже решено, так зачем откладывать? «Вперед, Антанас, гад!» — сказал себе, как когда-то, кучу лет назад.

Мелькают старые тополя, за ними прячется угрюмый забор из железобетонных блоков, скрывающий от прохожих просторный двор мясокомбината. В чистом поле, где еще летом зеленели хлеба, сейчас высятся груды стройматериалов, торчат бетонные столбы — здесь поднимется новый завод. Справа дымится свалка, зияют глубокие карьеры. В унылых осенних полях дружно зеленеют озимые, в ложбинах стоит вода. Дождливая осень, земля уже успела раскиснуть. Проселки изъезжены тракторами — без сапог и не сунься. Это тебе не город. Да, город, он... Антанас Петрушонис горько улыбается. Не от грязи он бежал в город. Если б только непролазные дороги были виноваты!..

Небо прояснилось, сквозь жиденькую тучу проглядывает солнце, черная пашня жадно впитывает его лучи — блестят лужицы, алеет напоминающий соты штабель дренажных труб. Посреди большого поля верхом на глубокой канаве застыл громоздкий агрегат. Перелесок, окруживший дом с заколоченными окнами. Поодаль в саду выруб-

лены и свалены в кучу яблони, на старом улье сидит человек и курит, глядя на дорогу. Солнечный луч вспыхивает на лезвии топора и гаснет. Меж двумя пригорками поблескивает озеро, извилистую дорогу обступил густой лес. Предупредительный знак — бегущий олень. Антанас сбавляет скорость, вынимает сигареты, но, так и не успев закурить, замечает впереди скопление людей, машины. Виден автомобиль «скорой помощи», и Антанаса заливает жар. Не любит он глазеть на чужое несчастье, сейчас проедет мимо, но подошва как бы сама прилипает к педали тормоза, и Антанас сворачивает на обочину. На негнувшихся ногах вылезает из машины, а «скорая помощь» уже улетает в сторону города. Лейтенант милиции с рулеткой в руке измеряет следы, то и дело приказывая всем разойтись. В канаве лежат «Жигули» — помятые, вроде растоптанной ногами гармони. На обочине — лужица крови, которую огибают все любопытные. Человек лет за сорок бродит как пьяный, хватаясь то за голову, то за грудь, и объясняет каждому, что он тут ни при чем, что навстречу летел грузовик, свернул на его полосу («Видно, пьяный колхозный шоферюга»), а ему некуда было деваться — только в кювет.

— Такая машина! Новенькая, вторую тысячу километров начал.. Господи, господи, сволота, — разводит руками человек. — Собирался родителей в деревне проведать, они-то и деньгами помогли.. Господи, сволота, вот невезенье..

Кто-то спрашивает, кого ранило — может, жену, детей? Человек отмахивается:

— Слава богу, нет. Моя-то на свекра обиделась, что денег на «люкс» не дал, не поехала. Взял по дороге, просили подвезти. Женщина с мальчонкой. Мне-то ничего, а им... Без сознания оба. А машина моя... Господи, господи, сволота...

Мужчина в кожаном полупальто, выслушав эту речь, качает головой и говорит:

— Знаешь, гражданин, зря «скорая помощь» тебя в больницу не увезла.

— Меня? — непонимающе смотрит на него человек. — Почему меня? Почему в больницу?

— Да чокнутый ты.

— Я только бок ушиб. Мне-то ничего, не могу же я тут свою машину оставить.

Мужчина в кожаном полупальто криво усмехается. Люди понемногу начинают расходиться.

Антанас Петрушонис едва не наступает на лужицу крови. Отшатывается, смотрит на асфальт, на черные капли. Заводит двигатель и трогает с места, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. Другой бы посмеялся — бывший фронтовик, а капли крови боится. Там, конечно, и по крови врагов и по крови товарищей ходили. Воздух, которым приходилось дышать, и тот был пропитан кровью. Но это была война, а сейчас... А сейчас — раскис? Это другое дело. И совсем не из-за крови его подташнивает. Страшнее всего, когда человек превращается в скота. Жизнь нынче безмятежная, всего хоть отбавляй, все под рукой, и по чьей-то вине кровь... Чужая кровь, не жены, не детей («Слава богу, не их...»), одно горе — машину помяли... А может, и он, этот человек, воевал? Нет, молод все-таки.

Петрушонис сердито поводит плечами, словно куртка стала тесна, притормаживает и сворачивает на грейдер. Дорога тряская, он переключает скорость и едет медленней. Гнать-то незачем, уже недалеко. Знакомые места, с детства исхоженные деревни, сто раз слышанные истории — там цыгане лошадей украли, там зять тестя задушил, сунув голову под подушку, там бандиты всю семью топорами зарубили, там...

там... Слухи ходили по деревням, в базарные дни и храмовые праздники люди делились новостями, их разносили бродячие нищие. По сей день Антанас помнит, о чем говорили в деревнях тогда. А когда он бросил Эяну с ребенком, разве мало болтали люди? И не в одной деревне, конечно,— ведь его отца люди знали далеко окрест. «Мотеюса сын, кузнеца»,— наверно, так поясняли, и каждый прибавлял что-нибудь от себя, приукрашивал.

«Да, да, Антанас»,— кивает Петрушонис и видит с пригорка первые хутора своей родной деревни. В груди сразу становится тесно. Как тогда, тридцать лет назад, когда вернулся пешком, перевесив через руку запыленную шинель. Правда, тогда он вернулся после восьмимесячного отсутствия, но эти месяцы, пожалуй, были длиннее десятка лет. А теперь катит... да, пожалуй, десять лет прошло, когда он последний раз проезжал по этим местам. Тоже так, один. В конце деревни вышел тогда из машины и огляделся. Дорогу выпрямили, передвинули — без тени от деревьев, голая и унылая дорога. Поиск глазами отцовский хутор. Знал ведь, что вон там, на пригорке, стоял дом, росли вековые тополя. Теперь на этом месте ржаное поле, подернутое легкой дымкой. Антанас побрел по борозде к этому пригорку. За руки цеплялись тонкие шелковистые колосья в созревшей пыльце. Кругом витал сладкий, пьянящий запах, напоминавший о ранней юности. Кружилась голова, ноги ступали медленно. Наконец он увидел клочок уже пожелтевшей ржи, у него под ногами забелели куски штукатурки, заалели кирпичи. Остановился там, где когда-то босиком носился по глиняному полу, жалобно улыбнулся, лицо задергалось, глаза помутнели, и он впервые так остро почувствовал, что лишился отцовского гнезда. Только название деревни в паспорте осталось.

Постоял в одиночестве посреди цветущего ржаного поля, взял с земли закопченный кирпич из очага, подержал в руке, хотел зашвырнуть подальше, но подумал — у тебя же ни одной вещи, никакой мелочи нет из родного дома. Снова глянул на кирпич, он показался тяжелым и холодным. Опустил его наземь, к ногам. На дороге запыхтел трактор. Антанас вздрогнул, будто его поймали на месте преступления, и торопливо зашагал назад. Трактор с прицепленным к нему широким культиватором остановился неподалеку от машины, из его трубы выстреливали клубы сизого дыма. «Боюсь, что задену! — крикнул человек, высунав голову из кабины трактора, и тут же сам спрыгнул на дорогу.— Часом, не Антанас?» Антанас Петрушонис узнал ближайшего соседа — Балтрушайтиса. Старик уже, промасленная фуражка скрывает седые космы, морщины на лице глубокие, почерневшие от солнца и пыли. Антанас подал руку, поздоровался. «Приехал?.. Любуешься?» «Да мимо ехал, заглянул»,— как-то неловко объяснил Антанас. «Не закуришь? Да ты, наверно, другие сигареты употребляешь, с одеколоном. Мне-то чтоб покрепче». — «И я такие». — «Чего ж так: уехал — и с концом?» Балтрушайтис говорил насмешливо, но Антанас отбрить не сумел, только почувствовал, до чего ж чужим он стал этим полям и людям. «Где работаешь, там и бываешь». — «И мои дети по городам, знаю. Редко залетают, разве что свинью для них заколю или беда приспичит. Так уж заведено. А тебе-то ведь и приехать некуда».

Курили, усевшись на травке у канавы, толковали о том да сем, солнце припекало спину, в цветах кашки жужжали шмели. Говорили про город, про работу. Антанас, посмотрев на культиватор, радостно сказал: «Тут и моих рук дело. Нашего завода работа!» «Ну и ну! — удивился Балтрушайтис.— Хорошо делаете, безотказно работает». Снова толковали, помянули прошлое. Потом поднялись, огляделись. «Так и бегут годы, — нараспев произнес Балтрушайтис. — Там твой дом

стоял, а вон там мой. Теперь рожь. Я в поселке каменный дом отгрохал, заглянул бы когда». «Надо будет», — пообещал Антанас. Балтрушайтис легко запрыгнул на трактор, приподнял фуражку и сказал: «Ушел пешком, а приехал на легковушке». «А вы, дядя, помню, за лошадиным хвостом топали, а теперь на тракторе». Оба рассмеялись. Антанас отрулил на самую обочину, и Балтрушайтис утащил свой агрегат, утонув в облаке пыли. Надо было ехать, но он почему-то медлил, глядя на зеленое поле, будто не верил, что придется еще когда-нибудь увидеть такое хмельное цветение ржи. Друг подумал — ехал сюда, надеясь разузнать об Эляне, но почему тогда не заговорил о ней с Балтрушайтисом? Да и Балтрушайтис не обмолвился, вроде и не слышал и не знает ничего. Деревня осудила его и забыла?

«Да, Антанас, да», — снова кивает Петрушонис отяжелевшей головой, ставит машину на площадке напротив сельмага, отдыхает какое-то время, откинувшись на сиденье и положив на колени руки. Лучше всего было бы думать, найти кого и спросить, в магазине всегда народ, может, знакомый встретится. Но продолжает сидеть — ждет, тупо глядя на дорогу, по обеим сторонам которой выстроились дома из белого кирпича. Поодаль — старый хутор, окруженный садом. Гялбуда наверняка живет там, где жил. У него-то изба была новая, срубленная после войны, незачем ему заново строиться. Разве что мелиорация с места спихнула... Надо бы разузнать. Но и съездить нетрудно, полкилометра.

Мимо пролетает серая «Волга», тормозит перед большим современным зданием, видимо Домом культуры. Может, председатель колхоза? Эх, разве мало теперь в деревне машин! Наверняка и старик Балтрушайтис раскатывает; прочно врос в новые времена человек, хотя кто мог подумать...

Антанас Петрушонис входит в магазин, окидывает взглядом женщин, столпившихся у прилавка. Издали смотрит на полки, краешком глаза косясь на покупательниц. Незнакомы. Наверно, издалека. Вот бы Эяна пришла!.. Даже жарко становится от этой мысли. А может, она тут стоит, только не узнать ее. Столько лет!... Нет, чепуха, не может она измениться, она такая же, думает он, и его снова заливает жар.

Мимо широкого пыльного окна плетется старый человек. Это Игнас Тамошюнас, прозванный Игнялисом, который прославился в военные годы тем, что выгнал из дому жену — мол, одни убытки от нее, корми, одевай, а пользы-то никакой! Так и жил одинешенек, ходил из избы в избу потолковать «про политику», а главное — у кого дрова колот, кому навоз из хлева вычистить помогал. Никто не считал его придурком, но другого глупее его в деревне не было, вот он и веселил всех. Заговорить с ним? А может, попросить, чтоб позвал Эяну? Он-то мигом бы сбегал. И Антанасу не пришлось бы краснеть перед Гялбудой. Но Тамошюнас даже не оглядывается на Антанаса, подходит прямо к бабенкам и трогает одну за плечо. Та оборачивается, вытягивает шею, как гусыня.

— А ты-то чего? И выдумает же! Я в сельмаг, а он за мной

Игнас Тамошюнас машет рукой:

— Тсс, Марцелюке.

— Ребенка оставил одного и прибежал. Чего тебе?

Нагнулся к уху, зашептал что-то.

— Ну чего?

Снова шепчет. Женщина сердится:

— Я тебе такого вина возьму, что до смерти не забудешь!

— Тсс, Марцелюке, тсс... Завтра ж воскресенье, говорю, может...

— Домой ступай.

— Одну бутылочку, а то в груди тяжесть такая! — умоляет Игнас Тамошюнас.

— Ступай! Чтоб ребенок чего не натворил.

Тамошюнас опускает голову, как-то бочком продвигается к двери, на Антанаса и не посмотрит, вообще никого не видит. Вот тебе и Игналис! На старости лет смотри какую красавицу отхватил. И ребенок у него... А может, с приплодом взял? Ну и тихоня! Кого же теперь в деревне толкают, над кем потешаются — хоть и без злости, но весело, чтоб на всю неделю разговоров хватило?

Потоптавшись в магазине, Антанас выходит на улицу. Моросит, небо заложили серые тучи. С криками несутся дети — видно, уроки кончились. Да, уже час. В такую даль приехал, надо катить дальше, но эти сотни метров по родной деревне трудней всего, и Антанас стоит у машины, засунув руки в карманы куртки. Вот взяла бы и появилась Эяна. Но знает — глупо так ждать. И безнадежно.

В соседнем дворе слышны мужские голоса, музыка. Гурьбой высыпает народ, все навеселе, пошатываясь, бродят вокруг двух автомобилей. Появляется паренек с чемоданом, простоволосая женщина придерживает его за плечи.

Ты ушел навсегда в день туманный... —

затягивает высокий мужской — а может, женский? — голос, и тут же вся компания подхватывает:

Под немолкнущий шелест берез...

Поют все быстро, обрубая слова, как бы соревнуясь, кто быстрее кончит.

Увидал: по тебе плачет мама,
Ты не знал, куда ветром несет...

Антанас стискивает зубы: изувеченная мелодия песни его юности разрывает сердце. Ласковые и трогательные слова — пустой звук для них, ничего не значат, ни о чем не говорят, превратившись в пьяный рев. Можно танцевать под них фокстрот. Надо же повеселиться!

К нему подбегает парень в запятнанном костюме, в сползшем набок широком цветастом галстуке, смахивает рукавом слюну с губ.

— Подбрось, будь человеком, — просит, едва ворочая языком.

«Садись за руль, Антанас, садись и езжай, а то будет худо», — приказывает себе Петрушонис и, стиснув зубы, забирается в машину.

— Приятель в военкомат опоздал. Подбрось, проводить надо. — Парень хватается за дверцу, потом засовывает руки в карманы штанов и, вытащив, шелестит новенькими червонцами. — На, бери все, ничего не жалко!

«Поскорей уезжай, Антанас, а то не выдержишь и наделаешь делов. Поскорей, поскорей...» Трясущимися пальцами включает зажигание, потом передачу.

— На, бери!.. Мало? Еще дам!

Автомобиль зверем кидается с места, разбрызгивая из-под колес мокрый гравий.

Антанас судорожно сжимает руль, забыв, куда и зачем едет, но вдруг приходит в себя и понимает, что вон там, за пригорком, должна вынырнуть изба Гялбуды. Раскидистая липа у дороги, сад, дом жилой половиной на дорогу. Со двора крыльцо. Так было... А может... Столько лет, мало ли что... Автомобиль взлетает на пригорок, и за мельканием дворников по стеклу Антанас видит — есть! На том же самом месте та же самая изба. Машина катит сама, он даже промахнул

мимо ворот, будто внезапно решив не останавливаться. Но тормозит-таки, захлопывает дверцу, застегивает куртку и командует мысленно: «Вперед!» Только теперь замечает, что изба обшита тесом, выкрашена в желтый цвет, вставлены новые окна — широкие, о трех створках. Липы, правда, нету — видать, срубили, когда расширяли дорогу. А так — все как было... В сенях чистота. А когда-то стояло здесь прокисшее корыто, в котором мельчили картошку для свиней... Эяну он не раз заставал здесь с толкушкой в руке. А то с ведрами, полными месива. И дверь покрашена. Видно, этим летом, все еще свежее... Стучится в дверь. Тишина. Еще раз, посильней. Неужто изба пустая? Нажимает на ручку, открывает.

— Просим, просим, смелей, — поднимается с кровати сонный старик Гялбуда, протирая тылом ладони глаза, опускает ноги в белых вязаных чулках на пол и, наклонясь к нему, смотрит, часто моргая.

— Не узнаете, дядя?

Встает, опираясь руками о край металлической койки.

— А чтоб тебя... Никак Антанас!

По лицу старика пробегает улыбка, ежиком топорщатся рыжие усы.

— Он самый, дядя, он самый. Будьте здоровы.

Гялбуда берет Антанаса за плечи, неожиданно крепко обнимает, ткнувшись усами в щеку. Антанас чувствует, как обмякает все его тело, отпускают напрягшиеся мышцы, а на глаза наворачиваются слезы. Будто и не было этих долгих лет. Будто вчера лишь... Все как вчера...

— Не ждали, Антанас. Скажу тебе прямо — не ждали.

— Знаю, дядя.

Гялбуда отшатывается на шаг-другой как от толчка, разводит руками:

— Раз уж приехал, то за стол садись, гостем будешь.

Антанас обводит взглядом чистую и аккуратную комнату, косится на открытую в кухню дверь. Может, Эяна там? А может, увидела его в окно, спряталась и не покажется. Садится в угол, и до него доходит — на то же самое место, где когда-то сиживал, облокотясь на стол. Рядышком справа пристраивалась Эяна... Она ведь все слышит в кухне и сейчас появится... Наверно.

Гялбуда выдвигает из-под стола табурет, садится на него, все не спуская глаз с Антанаса, супит седые брови.

— Глянь-ка, и у тебя, Антанас, не молодость... А мне-то все казалось — какой ушел, такой и по сей день.

— Хорошо бы, — горько смеется Антанас Петрушонис и тут же спохватывается: — А может, и плохо. Годы, дядя, не только отнимают, но и прибавляют. Ума прибавляют.

Гялбуда медленно водит кривым пальцем по пустой столешнице.

— Вот это ты правду сказал. Только я еще добавлю: так ли уж хорошо, что ум-то есть, а изменить ничего не можешь? — И смеется неизвестно чему. — То-то, Антанас, и так бывает. Бывает или нет? — спрашивает он прямо, придвинув к нему небритый подбородок.

— Бывает, дядя. Бывает.

— То-то, — снова довольно улыбается Гялбуда, встает, открывает дверцу нового буфетика, звякает рюмками.

— Не стоит, дядя, не ищите. Я на машине.

— Знаю, что не пешком.

— Но я на своей... за рулем.

— Тоже знаю. Говорили в деревне, что разжился. Видел кто-то. — Гялбуда ставит за стол бутылку, рюмки. — Заставлять не буду,

не бойся. Сам по случаю выпью. И за тебя и за себя. Ну, будь здоров.

Глаза Антанаса Петрушониса прикованы к двери на кухню. Ждет и не может дождаться. Ему слышатся шаги за дощатой переборкой, даже шелест платья. Напрягает слух и наконец догадывается — это ветка дерева трется о крышу. Но от этой догадки ничуть не легче, и он не сдерживается:

— Пусто у вас... Неужто одни живете, дядя?

Гялбуда выпивает, стряхивает последнюю каплю на пол, смачно чмокает губами.

— С Элянуке. Жена-то померла, девятого декабря три года стукнет. А младший сын у меня инженером. Так что мы с Элянуке вдвоем. А у тебя семья большая?

Этот будничный вопрос застает врасплох, и Антанас не знает, что ответить. Смотрит в глаза старику — что же они скрывают? Не поймешь, глаза какие-то выцветшие.

— Сына вырастил, — отвечает и, помолчав, добавляет: — Женатый уже, внучка у меня.

Старик наливает себе и выпивает поспешно, даже не сказав «будь здоров».

— А мой внучок-то, наверно, на год твоего сына старше будет.

Антанас ставит локоть на стол и подпирает потяжелевшую голову.

— Точно, — соглашается он. — Недавно заходил, потолковали.

— Алексюс?

— Алексюс.

Гялбуда горбится, вздыхает с надрывом.

— Чтоб ты знал, не сладкая жизнь у нее была, у Элянуке-то.

— Одной с ребенком...

— Не потому... Не только с ребенком. — Старик молчит, морща седые брови, наливает третью рюмку и тут же опрокидывает. — Хоть твое дело и сторона, скажу кое-чего...

— Почему сторона?

— Если б не сторона... — Гялбуда сердито машет рукой. — Надо тебе хоть маленько-то знать, Антанас. Эяна сама в жизни не раскажет. Так вот. Ждала она тебя четыре года. Знала, что у тебя другая — было кому сообщить, из нашей деревни не ты один в город подался, — а все равно ждала. А когда уж невоготу стало ждать, взяла ребенка и уехала. Сказывала потом, что к тебе заходила. Вернулась, недельку или две протянула, вся черная, а потом вдруг говорит переменившимся голосом: «Хватит! Дура была. Теперь буду жить по-другому». Вот и начала по-другому... Ты не удивляйся, Антанас.

Замолкает, уткнувшись взглядом в столешницу, на которой пальцами правой руки не переставая выводит какие-то вензеля. Антанас ждет, смотрит на скользящую по столу старую руку. Знает, на кухне Эяны нет. И во всей избе нет. Но почему Гялбуда не рассказывает? Может, передумал? Теперь клещами слова из него не вытянешь. Антанас наливает рюмку, стоящую перед стариком. Гялбуда, даже не шелохнувшись, как-то на ощупь находит холодное стекло, поднимает и, пригубив, ставит обратно.

— Так вот... — переводя дух, поднимает он глаза. — Она опять собралась уезжать. «Не могу тут быть, не могу», — все повторяла, стиснув зубы. «А куда ты теперь?» — накинулась на нее мать, и Элянуке ответила: «Куда глаза глядят, так оно будет лучше». И чтоб ты знал — глаза увели ее далеко, в карельские леса. Там работала, там жила, потом подалась на стройку. Жила с каким-то инвалидом войны, конту-

женным. Тот по пьяному делу ее лупил. Беременная была, а этот гад бутылкой ее по животу!.. Бросила его, сбежала, а тот хотел убить ее, когда проговорилась, что бросит. В Эстонии жила, дороги стрйила... Думаешь, писала нам об этом, думаешь, мы знали? Письма приходили редко и коротенькие: «Все хорошо, не волнуйтесь...» Только про ребенка спрашивала. А ее Алексюкас рос, в школу пошел, учителя жаловались, а что мы могли-то... Писали Эянуке, звали — вернись домой. Может, послушалась нас, а может, сама больше не могла... Вернулась. Уже седьмой год как здесь. Только с Алексюкасом-то... Видел его, знаешь... Так вот, Антанас, какие дела.

Антанас Петрушонис, перевесившись через стол, бросает взгляд на дорогу — на месте ли «Москвич». Ловит себя на этом, даже немеет весь, на лбу проступает холодная испарина, наваливается неприятная слабость, и он с такой силой втискивается в угол, что плечам больно.

— Не думай, что в деревне об этом знают. Только тебе, Антанас, рассказал, запомни, — добавляет старик.

— Все послевоенная сумятица. — Антанас сглатывает горечь, отталкивается ногами от пола, будто решив развалить плечами стену. — Время такое было, и я...

— Время винишь?

— Нет... Да все-таки...

— Зачем приехал? — резко спрашивает старик.

Антанас незаметно трогает рукой внутренний карман, где топорщится конверт с деньгами, смотрит на вдруг посеревшее лицо старика.

— Я хотел, дядя... — начинает он и густо краснеет.

— Вот что я тебе скажу, — не ждет старик, — уезжай-ка подбодру-поздорову, пока не поздно. Пока Эянуке не пришла... Думаешь, очень ей нужно тебя увидеть? Поезжай, Антанас. — Старик встает, протягивает руки, кажется, возьмет незваного гостя за плечи и вытолкает в дверь. — Поезжай. Голове-то будет спокойней... — Бросает взгляд в боковое окно и вдруг низко приседает. — Идет... Эянуке.

Антанас не трогается из своего угла, сидит, будто прикованный цепью. Затуманившимися глазами замечает, как мелькает мимо окна женщина; ни за что бы не сказал, что это Эяна. Стучат шаги, зашаркав за дверью, стихают.

— С фермы идет, она там дояркой, — объясняет Гялбуда. — Теперь-то раз плюнуть, руками тягать не надо.

Входит Эяна весело, закрывает дверь и, не выпуская дверной ручки, застывает на пороге. Горят покрасневшие на ветру щеки, на волосах и клетчатом платке поблескивают капли дождя. На черных ресницах тоже капли.

— Дождались, дочка, как видишь. — Старик разевает беззубый рот и хихикает — не то весело, не то с болью, не поймешь.

Антанас Петрушонис выбирается из-за стола, делает шаг к двери, застывает, покачнувшись, и видит, как Эяна крепко-крепко поджимает губы — на ее лице протягивается тоненькая бескровная черточка.

— Заехал... Может, не выгонишь.

Эяна огибает его как столб, идет к двери на кухню. Резко поворачивается, поднимает голову, проводит взглядом, как бритвой.

— Зачем приехал?

Тот же вопрос. Как сговорились — в один голос с отцом спрашивают.

— Думай что хочешь, но должен же я был показаться. — У Антанаса пересохло во рту, голос звучит хрипло. — А что столько не был, то не думай, что не вспоминал...

— Обо мне вспоминал?! — спрашивает Эляна и безжалостно хохочет.

Она ведь не умела так хохотать. И взгляд был мягче, и голос не был металлическим. Только лицо, волосы как и раньше, да еще нежный подбородок... Да, да, столько лет... такая ей выпала жизнь... В какую-то долю секунды Антанас осуждает Эляну за ее блуждания вдали от дома и тут же спохватывается, встряхивает головой.

— О сыне думал. Об Алексюкасе.

— Это мой сын!

— Наш.

— Мой! — вскрикивает Эляна, резким движением срывает с головы влажный платок, встряхивает волосами.

— Ты вырастила, конечно... Твой сын. Но и я не могу быть чужим.

— Поздно спохватился.

— Правда, надо было... давно надо было, — говорит Антанас и лезет правой рукой во внутренний карман, нашаривая конверт. — Я знаю, Эляна, я у тебя в долгу и никогда не смогу расплатиться, но пойми, я хоть как-то хочу поквитаться... и вот я тебе... вот... — Он протягивает конверт и видит, как дрожит его рука. — Ты возьми, Эляна.

— Что там?

— Деньги. Тысяча. Не обижайся.

Эляна прищуривается, погрузив пальцы в пышные свои волосы, потом стискивает голову, мучительно стонет.

— Нет, Антанас, — впервые произносит его имя, и в ее голосе неожиданно звучит та же нежная нота, что тогда, много лет назад. — Нет, Антанас.

— Эляна, возьми.

— Нет, Антанас.

— Чем я могу тебе помочь?

— Ничего от тебя не хочу. Уезжай и своему сыну помогай.

Рука с деньгами повисает. «Если б я мог хоть чем-то помочь Виктору», — пронзает его мысль.

— А что я тебе говорил? — наконец оживает молчавший все время Гялбуда и берет Антанаса за плечо. — Езжай-ка своей дорогой.

Антанас стоит еще минуту, обводит взглядом просторную и опрятную комнату, теперь только замечая на стене в рамке фотографию Алексюкаса, юного еще паренька, оглядывается на Эляну, ждущую, когда он уйдет, и бредет к двери.

— Будьте здоровы, — оборачивается на пороге, бросая последний взгляд на Эляну, но она смотрит в сторону.

— В добрый час, — отзывается Гялбуда.

Только на дороге Антанас спохватывается, что все еще держит в руке конверт с деньгами — осторожно, как пылающую головешку. Сует в карман, садится за руль и думает: «Опоздал. Все уже поздно...»

Владас Качергюс сбрасывает рабочую одежду, нагнувшись к осколку зеркала, шершавой ладонью проводит по лицу, костлявому и угрюмому, пинает подвернувшийся под ноги резиновый сапог и со злостью сплевывает:

— Хватит!

Перешагнув высокий порог, так хлопает дверью, что вздрагивает весь дощатый домик.

— Хватит!

На мужчин, столпившихся у котла с дымящимся битумом, даже не оглядывается. Говорят чего-то, галдят; слышен глуховатый бас Петрушониса да жалобный голосок бригадира. Перекур, значит, а потом еще часа два вкалывать. «Срываем пуск нового цеха!» — ораторствовал бригадир Дрангинис, видать, начальство как следует накрутило ему хвост. «Смотри, в штаны не напусти!» — съязвил Качергюс; надоед ему бригадир пуще касторки. Но тот даже не покосился на Владаса, гнул свое: «Останемся после работы, товарищи, да поднажмем. Техника будет, я уже договорился». Мужики пожалы плечами, переглянулись: «Что ж, можно... Отчего бы нет, если надо...» Вот стадо баранов, прутиком куда хочешь их загонишь! Своих прав не знают! Владас Качергюс взбеленился. «Протестую! — крикнул, малость струхнул почему-то и тише добавил: — Я свои рабочие часы знаю. Нету такого закона!» «С тобой как с человеком говорят, а ты права качаешь», — возмутился Гедрайтис: он-то всегда начальству пятки лижет. «Надо вникать в общие интересы, товарищ Качергюс. — Игнас Дрангинис старался говорить задушевым тоном. — Если всю эту неделю прибавим по два часа в день, то работу кончим в срок». «Раз такой вникающий, то сам и вкалывай!» — «Это общее наше дело». — «После работы у меня свои планы, и никто не заставит!..» Качергюс заносчиво вздернул подбородок. И тогда Антанас Петрушонис сказал: «Знаем мы твои планы — калымишь, за длинным рублем гоняешься. Калымщик ты паршивый, а не рабочий!» Качергюс присел, будто Петрушонис запустил в него камнем: «Это кто я?» «Калымщик паршивый», — повторил, покраснев, Петрушонис, и что самое странное — парни поддержали его. Стояли стеной и глядели на Качергюса в упор. Владас не нашелся что им ответить и, презрительно хохотнув, нырнул в вагончик. И тут же понял, что этим хохотком только расписался в собственной слабости. Разозлился и сказал себе: «Ухожу от них! Хватит!» Чтоб этот Петрушонис на него кидался! Кто-кто, но чтобы этот не в свое дело лез? Хотя, по правде, Петрушонис и раньше любил позудеть, но Владас только посмеивался — деревенская закваска бродит, мол. И вот тебе — закукарекал! И другие за ним. «Дурачье вы, дурачье, на вашей бригаде свет клином не сошелся. На каждом столбе объявление: требуются рабочие, рабочие, рабочие...»

На улице Качергюс остывает и переходит на неторопливый шаг. Нечего нестись сломя голову. «Калымщик паршивый...» — звучит в ушах, и Владас криво усмехается: много понимает этот Петрушонис! Нахватался из газет. Партиец, видите ли. Интеллигент! Рабочего воспитывает... «Что он там сказал? Это я-то не рабочий? Ну знаешь, Антанас Петрушонис, поосторожней со словами! Думай, что говоришь. Смех один — не рабочий!.. А кто я, по-твоему?» Владас стискивает зубы до боли в челюстях, но врожденная самоуверенность спасает и на этот раз: он уже снова неторопливо перебирает события. Приятно чувствовать, что ты человек, а не нуль без палочки, как думает кое-кто, и если б не зависть дружков да желание погромыхать наподобие пустой бочки, можно было бы жить да поживать в сытости и довольстве. Ну правда: злятся, что Владас людям помогает? Вот и этим вечером обещал сходить на Садовую улицу. Там в новом доме, в девятнадцатой квартире вчера подрядился выложить кухню глазурованной плиткой. Привез все материалы, приготовился. Из прихожей бросил взгляд в комнаты: «Уютная квартирка вроде». Молодая симпатичная женщина пожаловалась: «Стандартная, все как в казар-

ме». Владас глазом знатока осматривал обстановку, не хвалил и не ругал, потоптался в грязных башмаках на ковре и заметил, как женщина неприязненно посмотрела на него (ничего, вычистит дамочка, подумал). Женщина показала на соседнюю дверь: «Это рабочая комната мужа». Владас вошел в нее и удивился множеству книг; за заваленным бумагами столом сидел человек. «Чтением кормитесь? — не растерявшись спросил Владас и озорно подмигнул: — Я тоже люблю читать, но, как рабочий человек, не всегда время имею. — И завел разговор, который слышал вполуха в автобусе: — Вот вы мне скажите, что в Америке творится?» «Что же?» Человек встал. «Опять убили. Почему?» Человек развел руками: «Листал сегодня газеты, но вроде не заметил». «Ха! — гордо вскинул голову Владас. — Такое в мире нынче творится! Политикой не интересоваться в наше время никак нельзя!» Человек растерялся, пожал плечами и повернулся к балкону: «Дверь вот перекосилась, не закрывается. Из-под подоконника штукатурка сыплется, ветер задувает... Что это? Политика? А может, не политика?» Владас равнодушно вернулся назад в кухню. Нашелся, видите ли, критик-нытик, будет ему в глаза тыкать всякой чепухой! Тьфу! Откашлявшись, жалуется: «Чего-то в горле саднит. Простудился, что ли». И только тогда женщина догадывается: «Может, подлечиться надо, мастер?» «Не помешало бы». Владас не отказывается, но и не накидывается зверем. Выпивает стаканчик, потом другой — «на вторую ногу» — и говорит: «Теперь уж можно работать с полной отдачей». Выложив кафелем стену, посмотрел на часы — одиннадцать. Хватит на сегодня. «Нельзя ли получить аванс, хозяйюшка?..» — вежливо намекает. «Если надо, мастер... Только уж завтра не подведи-те». — «Буду». Обещать обещал, но беда ли, если не явится? Потерпят, никуда не денутся. А когда доделает кухню, не только деньги ему отслонявят, но и пир горой устроят, да еще дадут адреса, где тоже «страшно хотят кухню благоустроить».

Да, Владас свое дело знает и работать не ленится. Его рабочий день не восемь часов. Особенно нарасхват он был этой осенью, пока не подключили отопление. Обещали свирепую зиму, и хозяйки в новых квартирах (эти почему-то самые активные) решили увеличить секции отопления. Вот и переделывал Владас отопление. Никуда не денешься — раз просят, надо людям помочь. Хорошо еще, что на стройке у него добрые приятели, помогают, за полцены сбывают ему секции да потом списывают. А как же иначе? Были бы в магазине, купил бы, а раз нету, зачем людям страдать?

Работы разной по домам непочатый край, и не один Владас по доброте сердечной жертвует своим досугом. Для кого польза, если лежишь, задрал ноги? А ведь находятся, которые попрекают. Самим пальцем шевельнуть лень, а другим завидуют. Сами не имеют и... Нет, Владас в кубышку деньги не кладет. Смешно это, черт возьми!.. Он вкалывает, посылается как наскипидаренный, а если выпивает... Боже мой, кто нынче не выпивает? Только те, у кого не на что. Нет, Владас мелочь у прохожих не выпрашивает, если не хватает, занимает и аккуратно отдает. Он-то понимает — жить надо с достоинством. И копейку в кулаке не держи, а то возьмет и выскользнет. До чего же приятно иногда посидеть с корешами в кафешке, когда на столе — батарея бутылок. И официанту на чай не жалеет, и гардеробщику рубль кинет. Это тебе не интеллигентишки, которые целый вечер одну чашку кофе за восемь копеек сосут. В такие вечера Владас знает, что живет не зря. А если еще покладистая дамочка подвернется... Что и говорить, и дамочек и барышень хватает. Пока ты молод, здоров и, главное, пока карман у тебя не пустой. Хотя, бывает, льнут и когда в кармане ветер гуляет.

Заходит Владас Качергюс в гастроном, просит налить красного сухого. Сморщенная старуха цедит из бочонка. На пенсию таких гнать! Вино должны подавать молодые да смазливые, чтобы выпил стакан и с ходу второй захотел. Выпивает залпом стакан, морщится. Черт знает что.

— Христос воду в вино обратил, а ты, видать, вино в воду,— облизывает он мокрые губы.

Старуха разевает рот:

— Да как ты смеешь!..

Владас, не вдаваясь в разговоры, уходит и уже на улице понимает, что сегодня точно не пойдет плитку укладывать. Хорошо бы посидеть где-нибудь в тепле. О! Ну конечно, надо заглянуть к старым приятельницам, а там видно будет.

Взяв яблочной наливки, сворачивает к стадиону. Тоже не торопясь, ощущая тепло в груди от выпитого вина (хоть и скверное было). Далеким воспоминанием мелькает стычка с бригадой. «Ладно,— думает,— завтра надо будет поискать другую работу...» И все уже кажется проще, Владас снова знает себе цену! «Да что вы мне делаете?.. Видал я вас... Часы я отбиваю...» Эту несокрушимую веру в себя Владас обнаружил еще в детстве. «Побойся бога, сыночек!» — говорила мать, поймав на очередной шкоде. «А бога нету», — отвечал Владас. «Вот погоди, покажет он тебе за такие слова!» — «А я его не боюсь!» Мать даже плакала, бывало. Как-то, вернувшись из профшколы в деревню — было ему тогда лет семнадцать, — сцепился с одним стариком тоже насчет бога. Старик доказывал, что мир сложен и его тайны человеческого разум постичь не может. Владас отрезал: «А ты, папаша, своими глазами бога видел?» «Он невидим». — «Не видел? И я не видел. Значит, бога нету». — «Если бога нет и нет страха божьего, тогда все дозволено». — «А что не дозволено? Все дозволено, папаша! Так живи или сляк, а помрешь — все равно в могилку...» Старик еще чего-то доказывал, но у Владаса прошла охота спорить, и он прилепил последний и неопровержимый аргумент: поднял вверх два кукиша и, тыча ими в вечернее небо, заорал: «Нету бога! Вот ему! Накось выкуси, нету!» Владас любил, чтобы его верх был. Сколько в его словах правды — не важно, главное — победить в споре, «стереть в порошок». И если на работе он иногда, скромничая, называет себя маленьким человеком («А что с меня взять, с маленького человека»), то лишь потому, что в такие минуты он снисходит к другим как равный к равным. И до чего же приятно потом выпрямиться и стать на голову выше. Но разве можно за это осуждать Владаса? Он же чувствует, что создан для другого: мог бы руководить да сидеть в теплом кабинете. Но он не пошел этой дорогой. Он — рабочий! А в наше время рабочий — уважаемый и любимый всеми, и власть и сила! Вот оно как получается, черт бы их всех драл, и пускай Петрушонис на рабочего не кидается. Нельзя же кидаться на себя самого!..

Владас Качергюс не скупясь наливает себе, выпивает и закуривает. Крягждене только что выскочила из своего «кабинета»; скоро магазин закрывать, надо присмотреть. Раз тебе надо, то иди, Владас посидит в одиночестве, не ради тебя он пришел, если честно. Казюне чего-то не в своей тарелке. А может, ему только показалось.

— Скупаешься? — На пороге появляется Милда, глаза жирно обведены синей краской.

Владас вскакивает с табуретки, живо наливает полстакана, подносит девушке:

— Выпей. Спасибо, что появилась.

— Ох, сама не знаю,— жеманится Милда, но тут же осушает до дна.

— Вот это мне нравится! — Облапив девушку за плечи, Владас привлекает ее к себе, сжимает в объятиях.

— Господи, кости захрустели..

— Попала бы в мои руки, узнала б, что такое мужчина,— сипит Владас девушке прямо в лицо.

Милда вырывается из его рук, точнее, Владас сам ее выпускает — не будет же бороться как сопьяк.

— Ты сегодня свободна, МилдUTE? — шепчет.

— А ты шустер... Занята, Владукас...— Милда выскакивает в дверь.

На лице Владаса долго не гаснет улыбка: он раздевает девушку.. нет, она сама перед ним раздевается, подпрыгнув, бросается на шею... «О, черт бы тебя драл!» — стряхивает Владас это наваждение и уже верит, что настанет время и он возьмет Милду; торопиться не стоит, но и из виду упускать не надо. Наливает на доньшко, пьет. Полбутылки осталось-то. Вряд ли у дамочек есть в запасе. Может, сходить и докупить еще одну? Чует сердце, что этим вечером выгорит дело. Наверняка у них хоть вино припрятано. Казюне-то больше вино уважает. Топчется в тесной комнатухе. Наконец входит Крягждене, а за ней Казюне. Обе в один голос жалуются, что с ног сбились — сегодня как нарочно тьма народу, видно, пронюхали, что был завоз. Обе выпивают, стряхивая усталость.

— А Милда где?

— Соскучился? — смеется Крягждене.

— Нет, просто так спрашиваю.

— Каждый вечер ее за углом поджидают,— объясняет Казюне.— Убежала — любовь!

— Всегда так поначалу,— говорит Крягждене.— Разве с первым Милда...— И спохватывается: — Нехорошо сплетничать-то.

— Смешно! — твердо заявляет Владас.— Какая в наше время может быть любовь! Пережиток. Вот говорят: ты мне принадлежишь, а я тебе. А как можно принадлежать? Человек — это не вещь. Человек свободен и никому принадлежать не должен. Ты пей, Казюне.

— Это ты уже загнул, Владас,— качает головой Казюне.

— А ты пей, пей,— не дает ей говорить Владас.

Казюне изучает на свет розовую жидкость и, сказав, что это уже последняя, что больше капли в рот не возьмет, выпивает в три глотка.

— Раз уж заговорил, Владас, то договаривай,— настаивает Казюне.— Муж свободен, говоришь, и жена свободна?

— Ну да!

— Оба идут куда хотят, делают чего хотят.

— Ну да!

— А вот ты мне скажи, кто детей растит?

Владас не теряется, только удобней прислоняется к ящикам.

— А если дети уже большие?

— Ладно, большие. Ну а если маленькие?

— Государство растит. Будто не знаешь, что есть ясли да садик? — смеется Владас.

— Глупости говорите,— вставляет Крягждене, хлопнув ладонями по коленкам.— Каждый по своему разумению живет. И каждый хочет жить лучше.

— Святая правда! — Владас даже вскакивает и принимается развивать мысль заведующей.— А что значит — хочет жить лучше? Во-

первых, пойми, что до ста лет не дотянешь. Особенно в наши времена. Да если еще война, черт их знает. Так вот — пользуйся всем, не откладывая на завтра, а то поздно будет!

— Так-то оно так, — с сомнением качает головой Казюне. — По-твоему, можно и утопить человека, если он тебе мешает всем пользоваться?

— Ха, смех один! — И Владас Качергюс громогласно хохочет и, потрогав бутылку, спокойно, будто и не было всего этого разговора, жалуется: — Вот черт, ни капли...

Крягждене поднимается, всплескивает руками:

— Как нарочно у меня тоже пусто.

— Хватит, — говорит Казюне и тоже встает.

— Крягждене... Товарищ заведующая, как же так? — Владас растерян. — Казюне... А может, я сбегаю, а?

Но Крягждене неумолима, она даже напоминает, что в прошлый раз засиделись, а потом дома неприятности, зачем это нужно?. Владас думает: надо было заранее все рассчитать, чтоб так не кончилось. Но ведь еще не кончилось, успокаивает он себя, помогая одеться Казюне, а потом заведующей.

На улице темно, сыро, свистит пронизывающий ветер. В начале Вороньей улицы как нарочно стоит автобус, Крягждене машет на прощанье и убегает, бросив через плечо:

— У тебя ключи, Казюне, не опаздывай завтра. Ты слышишь, Петрушонене!

Казюне кивает — слышала, мол, и не подведет. Владас внимательно смотрит на идущую рядом женщину, откашливается.

— А я-то и не знал, что ты Петрушонене.

— А что такое?

— Да ничего. Значит, твой муж — Петрушонис.

— Петрушонис. А что?

— Ничего. Знал одного. Как его звать, твоего мужа-то? Йонас? Пятрас? А может, Антанас?

— Угадал.

— Значит, Антанас...

Владаса Качергюса так и подмывет злобно рассмеяться. Ну и везенье — жена Антанаса Петрушониса! Черт бы его драл... Того самого Петрушониса, который для него вроде чирья под мышкой. Но Владас не подает виду, он только усмехается — сама судьба сунула в руки этот козырь...

— Знаешь?

— Нет, тот был Юозас Петрушонис. Послушай, Казюне, мне сдается, что твои сапожки еще скрипят, — ласково говорит Владас и берет женщину под руку.

— Не выдумывай. Донашиваю, а ему скрипят.

— Чтoб не износились, Казюне. Зайдем куда-нибудь, а?

— А куда зайдешь?

— То-то, куда зайдешь! Черти бы их драли. Ах, Казюне, Казюне, — жалобно говорит Владас и сжимает локоть Казюне. — Ты такая женщина...

— Ну-ну... Мало ли молоденьких, тонких, как глиста. Да хоть и Милда...

— Казюне, ты мне такая нравишься. Сердце тебе открываю. Да какой толк от этих дохлятин да соплячек. Ни пообщаться, ни...

Казюне замедляет шаг, опустив голову, смотрит, как в тусклом электрическом свете поблескивают ее черные сапожки, почему-то глубоко вздыхает и говорит:

— Хороший вечер.

— Пойдем в парк,— шепчет Владас ей прямо на ухо влажными губами.

— Темно.

— Вот и хорошо, что темно, Казюне. Как раз хорошо.

— Не тащи.

— Мы же не дети, Казюне.— Владас говорит, задыхаясь, обнимая женщину за плечи и пытаясь завернуть в переулок.

— С ума сошел?!

— Казюне...

— Нет, нет.

Владас снимает руку с ее плеча, идет рядом молча. Он оскорблен, дышит с трудом, сквозь зубы. Потом хватает Казюне, поворачивает лицом к себе и сипит:

— Пошли, Казюне, а...

— Сказала — не пойду, пусти,— вырывается женщина.— Ни в какой парк я не пойду!

— Так куда прикажешь повести? В какой дворец? — с насмешкой спрашивает Владас.

— За деньги можно найти в какой! — зло, уже не сдерживаясь, кричит Казюне.

Владас неожиданно толкает ее так, что она, пятясь, пробегает шага три.

— За деньги, мамаша, я и не таких найду!

Владас хохочет посреди улицы, а сапожки Казюне дробно стучат в вечерней тишине. Все громче, все чаще...

— Вот и познакомились, Петрушонене,— досадливо хмыкает Владас и в одиночестве сворачивает к городскому парку, решив, что все же нечего спешить с уходом из бригады. Того и гляди сам Антанас Петрушонис из нее уберется — ведь Владас такой слушок про Казюне пустит, что... Не все еще кончено, нет...

24

Плиты тротуара усыпаны еловой хвоей. Живая тропа лапника поворачивает к открытому подъезду, взбегает по холодной цементной лестнице. «Вот и все, вот и нет человека»,— думает Антанас Петрушонис.

Вернулся он тогда из продуктового с полной авоськой: молоко, хлеб, сосиски и еще что-то. У мостовой увидел старого человека, который как-то странно поглядывал на высокие дома. Когда любуются или просто любопытствуют, сразу можно узнать. Вдобавок этот человек, вспомнил Антанас, и раньше, когда он шел с пустой авоськой, стоял вот так и озирался, только чуть поодаль, у двух других домов, сдвинутых торцами. Выцветший и потертый шерстяной плащ (пятнадцать лет назад почти все мужчины города в таких ходили), башмаки на грубой подошве, кепка. Сразу видно, не местный, может, ищет кого? Ведь в новых районах вечная путаница. Дом заселяют, на углу малюют краской номер, дождь за неделю-другую его смоеет. Попробуй отыщи нужный дом...

Человек растерянно посмотрел на Антанаса, вроде хотел спросить о чем-то, но только пожал сникшими плечами и снова задрал голову к голубым балконам, на которых новоселы уже успели растянуть веревки и повесить разноцветные подштанники и рубашки.

— Чего ищете, папаша? — заговорил Антанас.

Глаза старика ожили.

— Вы, часом, не оттуда, не из того дома?

— Тут домов много, папаша.

— Это я вижу. Может, вы слышали, часом, где мой зять живет? Лонгминасом зовут, в институте планы рисует, где дорогу надо проложить, а где мост построить.

— Не знаю, папаша, незнаком.

— И вы не знаете,— тяжело вздохнул старик, покосился на голубые балконы и торопливо добавил: — А дочка у меня в кафе работает, заведующей. Лонгминене Петруте. А пока незамужняя была — Юодснуките. Меня-то Повиласом Юодснукисом зовут.

— Не довелось слышать.

— Вот дела-то, целых четыре месяца тут живут, а никто не знает. Кого ни спрошу, нет да нет. Другие даже смеются. Вот вы, спасибо, остановились, разговариваете. Я-то уже с ног сбился, все ищу да ищу.

— Да как без адреса найти-то? — удивился Антанас.

— То-то и оно, что адрес не прихватил. Разве мог подумать, что случится такое...

И Юодснукис рассказал, что приехал вчера вечером из деревни («Из-под Аникщяй, может, слышали, красивые места и знаменитые»), зять на легковушке со станции привез, а потом гости собрались новоселье праздновать. Только под утро последние ушли-то. Его уложили в комнатке за кухней, вздремнул было, огляделся — светло уже, вот и не мог больше глаз сомкнуть. Кругом тишина, а у него бока ноют от лежанья («Всю жизнь так — петух запел, и я уже на ногах»). Встал, постоял у окна и решил — надо на двор пойти погулять да осмотреться. Тихонько, чтоб никого не разбудить, вышел, по сосняку прогулялся. Десяток шагов за дом сделал, два или три дома прошел, а когда собрался обратно — дорогу потерял.

— Если б так в старину да ночью, сказал бы — нечистая сила водит,— посмеялся старик.

— И ничего не помните, папаша?

— Как это ничего? Помню! Знаю — как с улицы въедешь, первая дверь, потом по лестнице на третий этаж, а там уже по левую руку. Это уж помню, не бойтесь!

— А вот который дом, папаша?

— Вот этот так точно нет. А может, тот? Ей-богу, тот, в глазах светлей стало...

Хотел Антанас, распрощавшись с Юодснукисом, потопать дальше, потому что тяжелая авоська оттягивала руку, но решил все-таки проводить старика, а если что...

— Вижу, вижу, что попал! — радостно говорил Юодснукис, остановившись у подъезда. — Еще раз спасибо вам.

— Я вас подожду, папаша.

— Чего ждать-то? Думаете, я уж совсем... Нет, нет...

Недолго пришлось ждать Антанасу. В дверях опять появился Юодснукис — унылый, понурый. Молча сел на лавочку, медленно покачал головой. Подсел к нему и Антанас. Не знал, чем помочь старику да что ему посоветовать. Оставить его тут? Авось найдет-таки до вечера? Или родные хватятся, пойдут искать.

— Если б кошелек в комнате не оставил, поехал бы к себе в деревню,— наконец сказал Юодснукис, подняв затуманенные глаза на балконы дома напротив. — Раньше все ходил да на балконы смотрел. Думал, может, выйдут поглядеть-то...

Близился вечер. «Так он же с утра ничего не ел», — подумал Петрушонис и позвал старика к себе: пообедайте, мол, подумайте, авось и вспомните. Юодснукис шел, виновато опустив голову, волочил ноги, он уже потерял последнюю надежду. Ел на кухне, жевал

медленно, видно, прикидывал, что же ему делать: и он не знает, где новая квартира зятя, и зять с его Петруте не знают, где он, отец-то. Вот наделал им хлопот, боже упаси!

— Не переживайте, папаша,— успокаивал его Антанас.— В крайнем случае дам вам несколько рублей, домой к себе поедете.

— Дети черт те что думают, может, с ума посходили.— Старик свесил седую голову, потом посмотрел в окно; глядел на пригорок и вроде ничего не видел. Потом вдруг заерзал, приник к стеклу: — Ей-богу, сосна! Та самая, с отсохшей верхушкой. Я утром подумал даже: как это так, такая красавица да без верхушки растет. То же самое дерево, сосед!

Антанас посмотрел на сосну, на просиявшее лицо старика, на заблестевшие, по-детски наивные глаза.

— Выходит, и дом тот самый?

— Тот самый, тот самый!

Антанас Петрушонис все-таки проводил его, хотя Юодснукис и просил не беспокоиться. Старик нажал на кнопку звонка, долго ждал и всю эту минуту топтался — а вдруг опять нет? Открылась дверь, появилась статная женщина в обтягивающем платье с блестками.

— Ну вот... ну вот...— залепетал старик.

Из комнаты доносился гул веселых голосов, ленивое пение.

— Да где вы так долго бродите, папа? Гости опять собрались,— отчитала дочка отца.

Антанас уже сбежал по лестнице.

Лежит теперь Повилас Юодснукис в гробу. Светятся белые волосы, отдыхают сложенные на груди руки. Еще позавчера эти руки подметали двор, сыпали крошки голубям, как цыплятам у порога избы, а вчера утром успокоились. Нашли одетого уже.

— Быстрая и легкая смерть,— шепчет стоящая рядом женщина.

— Подсобите, соседи,— просит дочка Юодснукиса Петруте, накинувшая на голову черную вязаную шаль.

Антанас Петрушонис бросает шапку на стул, вместе с другими мужчинами закрывает гроб, заколачивает гвозди в пахнущие еловой живицей доски. Вчетвером берут гроб за углы, выносят в дверь. Четверо мужчин ждут на лестнице.

— Осторожно, поворачивайте!

— Дайте мне... Уже взял.

— Подай назад, ребята, не проходит. Выше поднять надо. Прими там снизу.

— Не уроните! Не опускайте конец! Ну, повернули! Выше, еще выше...

— Говорят, лучше с балкона на веревке спускать.

— Кран нанял, зацепил. Как железобетонный блок.

— Ребята, ну, ребята... Это же человек!

— Покойник. Когда я умру, мне все равно как. Лишь бы теперь...

Восемь потных мужчин наконец вырывают гроб из подъезда и берут на плечи, но путь этот короток; тут же стоит грузовик с опущенным бортом, по всем четырем углам кузова украшенный тоненькими березками. Вокруг толпятся люди, в основном женщины и дети. Кто-то смахивает слезу, жалобно вздыхает, только что пришедшие вполголоса спрашивают:

— На какое кладбище повезут-то?

— Не тут... В деревне хоронить будут.

— В деревне? А почему?

— Там жена, говорят, лежит. Сам просил.

— Но тут же дети! Кто там за могилой присмотрит-то?

— Зарастет травой.

Из подъезда выходит Петруте Лонгминене в рыжем замшевом пальто, в легкой шляпке, перевязанной черной ленточкой. Выходит ее муж, снимает шляпу и, приоткрыв дверцу «Волги», бросает на заднее сиденье. Садятся оба. Еще одна «Волга», там сидят вчетвером, двое сыновей с женами. Негромко зажужжали двигатели, машины трогают с места. И уезжает Повилас Юодснукис в свою деревню под Аникшай — впереди, на возвышении между голыми березками, и его сопровождают две начищенные до блеска «Волги».

Антанас Петрушонис стоит, пока машины исчезают за домом, потом оборачивается; взгляд невольно находит сосну с отсохшей верхушкой — одинокую, выбежавшую на пригорок из лесной чащи.

Проснувшись, переворачивается на спину, спокойно дремлет, потом как-то вдруг открывает глаза, поднимает голову, озирается. Пытается понять, что же случилось, что так тревожит его. Тишина. Ни звука. Даже в ушах звенит. Ах!.. Голова сама опускается на подушку. Не слышен больше ежеутренний шорох голика под окнами, звяканье совочка по краю ведра. Некому разбудить его ровно в полседьмого. И сухого кряхтения недостает и шарканья шагов...

Антанас Петрушонис выбирается из кровати, смотрит, который час, подходит к окну, глядит на лужицы, поблескивающие в пустом дворе. Потом торопливо одевается.

По Рябиновой улице пронесится автобус.

Гул и металлический звон завода встречают Антанаса издалека, пока он идет вдоль длинного забора. За ячеистыми железобетонными блоками видны груды металла, штабеля ящиков, готовые агрегаты для производства травяной муки, смахивающие на огромные бочки. Антанас частенько с удивлением задумывается над этим: совсем ведь недавно — пятнадцать, десять лет назад — выпускали молотилки да соломорезки. Не нужны они сейчас! Подавай деревне самую что ни на есть сложную технику. Как знать, сумел ли бы он такие чудеса делать? Ну, скажем, смонтировать гранулятор? Наверно, сумел бы, ведь никто не упрекал, что он плохо работал. Мог бы работать здесь и работать, пока руки не отказали бы, но с каждым годом все сильнее тосковал по полям, по чистому воздуху, по зелени деревьев, даже шороха дождя не доставало. Бывало, вернется с работы и тут же сворачивает на окраину, где строили новые дома. Ходит, смотрит, подсаживается к парням на кучу свежего гравия, делится куревом, толкует. В глубокой траншее, пахнувшей сырой землей, извиваются трубы. «Это жизнь города, браток, — сказал как-то человек одних лет с Антанасом. — Попробуй переруби, что тогда?.. Ни тепла, ни воды, ни газа. Даже если приспичит, деваться некуда... А все под землей, не видать... Как вены или там кишки человека — глубоко запрятаны». Конечно, разговоры разговорами, не они решают. Эти слова Антанас вспомнил уже позднее, когда собственными руками уложил не один километр труб и понял, что эта работа по нему. Здесь не душил воздух, пропитанный запахами краски, свариваемого металла и газа, уши не закладывало от грохота тяжелых молотов и треска штамповочных станков, глаза не болели от вспышек сварочных аппаратов. И что самое главное — здесь в тот же самый день ты мог быть и бетонщиком, и столяром, и стропильщиком... Как когда-то: сам пашешь, сеешь, сам плуг чинишь; теми же руками стругаешь доски, копаешь канавы, сколачиваешь сарай, ты и крестьянин и рабочий. Можешь полюбоваться солнцем, сверкнувшим над крышами домов и верхушками деревьев, и сигарету выкурить, повер-

нувшись спиной к ветру. Только Казюне была недовольна: ей-то казалось, что Антанас из серьезных рабочих «скатился в канаву», где «всякие подонки, пьяницы да проходимцы». Переубедить ее было трудно, Антанас и не пробовал, только повторял: «Так мне лучше». Потом жена смирилась — ведь в ее жизни ничто не изменилось: Антанас пил, как и раньше, в меру, как и раньше, аккуратно приносил получку. Правда, даже более жирную. И она перестала попрекать его: тебе, мол, хорошо, и мне неплохо.

И правда, грех жаловаться, думает Антанас Петрушонис. Но почему он все-таки обрадовался, когда бригаду бросили сюда, на его завод?.. Почему на его? — спохватывается, немного теряется от этой мысли и потеплевшими глазами смотрит на цеха, наполненные гулом, живые и близкие, как стук собственного сердца.

В вагончике застает Гедрайтиса, разложившего на столе газету.

— Ранняя птица, — говорит Петрушонис, протягивая руку.

— И ты не дремлешь.

— Сколько осталось-то. Не спится.

В голове мелькает странная утренняя тишина, как в тумане всплывает лицо старика Юодснукиса, его сухие руки, сжимающие метлу. Может, рассказать Гедрайтису? Но кому интересна сейчас жизнь и смерть какого-то старика...

— Ты слышишь? — орет Гедрайтис, будто вагончик битком набит людьми и надо всех перекричать. — Послушай-ка, Антанас, вот я читаю: почин рабочих станкостроительного завода... Фрезеровщик обязался за три года дать пятилетний план. И думаешь, не сделает? Я про него потому говорю, что знаю. Мы с ним земляки, по сей день сходимся. Не мужик — огонь! Вот на кого равняться надо...

Гедрайтис радостно потирает руки, топчется, встав с табурета, и садится опять. Доброе слово или хорошая весть зажигают его, а стоит только порадоваться вместе с ним, как он вообще расцветает. «Такой уж человек», — говорят мужики.

Антанас медленно переодевается. Гедрайтис шелестит газетой. Вбегают Самуолис, чихает с порога и объявляет, что схватил насморк. Окуньком вливает Игнас Дрангинис, швыряет на стул портфельчик, достав белоснежный платок, прочищает нос.

— Новая трудовая неделя, товарищи! — говорит торжественно и, потоптавшись да расстегнув полы куртки, садится к телефону, набирает номер. — Диспетчерская? Дрангинис беспокоит, Игнас... Привет, узнал. Как провела выходной?.. И я тоже, к старикам ездил, осенними благами запасся. Знаешь, мне бульдозер нужен, пришли... Что, в пятницу? В пятницу я полдня в управлении проторчал, потом опять... Сделай как-нибудь, а? Постарайся как старому другу, а то горе.

Гедрайтис, положив руки на стол, слушает этот разговор, между бровями у него пролегла глубокая складка, улыбка гаснет. Бросает взгляд на Петрушониса, на Самуолиса и, когда бригадир вешает трубку, досадливо вздыхает:

— Начинается!

— Что начинается? — задиристо уточняет Дрангинис.

Гедрайтис переворачивает газету, смотрит на мужчин.

— Трудовая неделя начинается. Как ты сказал.

Дрангинис снова берет трубку.

Антанас Петрушонис выходит во двор. Уже рассвело, свет фонарей на высоких столбах потускнел, стал грязно-желтым. Дни все короче, и еще через неделю-другую придется начинать работу впопыхах. Еще неизвестно, куда перебросят их бригаду. А может, совсем распустят? Говорили ведь как-то мужики: мол, сольют с другими

бригадами, укрупняют. Ну а если такие порядки и там, где народу побольше? Нельзя же целыми днями толкаться по вагончику да ждать, когда привезут то, подадут это, когда все соберутся на работу, когда вернутся с обеда, когда кончат перекур или партию в дурака. А потом бегут высунув языки — план горит, мол. Антанасу и на заводе тяжело было смотреть на эти приливы да отливы в работе. Три недели трусят, как ленивая лошадка, отпустив постромки, а последнюю неделю надрываются будто ненормальные. План, план! Никто не скажет вслух, однако дает понять — вкальвайте, мол, без оглядки, чтоб только побыстрее да побольше. Да ведь и не уследишь за качеством, когда в глазах от натуги рябит. Сколько говорили на собрании, даже Антанаса приятели вытолкнули вперед («Не хочу я так работать, чтоб люди меня честили!» «Тогда почему так работаешь?» — спросили резко. «Заставляют меня... нас...» — «Кто заставляет? Конкретно! Фамилию!»), пришлось заткнуться и опять в конце месяца лишь бы как, только поскорей да побольше...

Эта производственная лихорадка порядком трясла Антанаса, и он думал, что под чистым небом работа окажется понадежней. Но и сейчас хватает бед, которые не так просто одолеть, хоть многое зависит от руководителей. Народ-то всюду одинаковый, а посмотри — в одной бригаде порядок да согласие, а в другой полная неразбериха. Уж лучше не раздумывать зря, пора за работу. Вперед, Антанас Петрушонис!

Примерно в одиннадцать Антанас видит, как из дощатого вагончика выходит человек в клетчатом, перехваченном в талии пальто, а вслед за ним выбегает Игнас Дрангинис. Никак начальник, думает Антанас, по приплясыванию Дрангиниса видно. Когда человек в сопровождении бригадира подходит ближе, Антанас узнает его: главный инженер из управления.

— Вот мои люди.— Дрангинис широко машет рукой, будто полон двор этими его людьми.— Небольшая передышка, как перед сражением.

Инженер подает руку стоящим поближе, а Гедрайтис, поднявшись от топки котла, разражается смехом:

— Верно говоришь, бригадир, перед сражением. Самое время кому-нибудь бока намять.

— Если б так Качергюс говорил, я бы понял, но ты, Гедрайтис!..

Дрангинис разводит руками, не спуская взгляда с угловатого лица главного инженера.

— Ты меня не трогай! — вытягивает длинную шею Владас Качергюс и делает шаг к бригадиру.— Что положено делаю!

— Все мы видим, что ты делаешь,— не уступает Дрангинис.— Я же вам докладывал, товарищ главный инженер, писал, так что...

Но главный инженер, улыбаясь с хитрецей, поворачивается к Гедрайтису, поправляя очки, которые то и дело сползают с ястребиного носа.

— Говоришь, надо кое-кому бока намять? А кому же?

— Да кто поближе,— рубит Гедрайтис.

— Мне?

— Гедрайтис! — испуганно вскрикивает Дрангинис, но инженер успокаивает его взмахом руки.

— Не знаю. Может, и вам.

— За что же, если не секрет?

— Да какой тут секрет? Шляемся без дела с утра.

— Разве впервой? — сплевывает Самуолис.

Антанас Петрушонис думает: вряд ли Гедрайтис знает, с кем говорит. А может... Такой непоседа, все видит, везде бьезает, может

и знать. Но почему же он, Антанас, воды в рот набрал? Да тут и без него все ясно, этот беспорядок у всех в зубах застрял.

— Ну что вы говорите? Ну что он тут путает? — лепечет Игнас Дрангинис, лицо у него стало красное, будто ошпаренное. — Я ж говорил... С утра уже дал указания, но раз вы не желаете...

Гедрайтис и Самуолис зло хохочут:

— Чего это мы не желаем, а? Работать?!

— Ваша фамилия? — спрашивает инженер у Гедрайтиса.

Дрангинис почему-то радостно отвечает за него:

— Гедрайтис. Это, знаете ли...

Но инженер не слушает Дрангиниса.

— Это правда, Гедрайтис, надо бока намять. И мне тоже! — Он резко поворачивается к Дрангинису: — Слыхал, бригадир, что люди говорят? А теперь срочно организуй технику. Действуй!

— Я же звонил...

— Еще позвони. От моего имени. О материалах и технике неделю назад надо было позаботиться, а не в последнюю минуту. Иди, иди, Дрангинис, видишь, люди без дела сидят.

Покосившись на свою бригаду, Дрангинис убегает мелкой трусцой.

Инженер берет Гедрайтиса под руку, отводит в сторонку — мол, поглядим, много ли осталось работы-то. Толкуют о чем-то.

— Ох и насыдет же теперь на нас бригадир, — с опаской говорит старик с груды кирпича.

— Пахать будет как на волах, — откликается другой.

— Ни черта, — не соглашается Самуолис и повторяет: — Говорю, ни черта. Порядок должен быть.

— И все-таки придется подыскать другую работенку, — озабоченно говорит Качергюс.

— Давно пора! — не выдерживает Антанас Петрушонис.

— Почему я? Чем я тебе мешаю? — взрывается Качергюс. — Хочешь, я тебе кое-чего скажу? — Владас вспоминает про Казюне, но только желчно хохочет — еще успеется, не время теперь.

Возвращается инженер, перебрасывается словом с другими парнями, спросив кое о чем, отводит в сторонку Самуолиса. Наконец приходит очередь и Антанаса Петрушониса.

— Мы-то, кажется, старые знакомые?

— Да, товарищ инженер. Уже столько лет на партсобраниях встречаемся...

— Видишь, что творится. Старый коммунист и молчал. — Главный инженер берет Антанаса за плечо. — Ладно, оставим это. Что будем делать?

— Как вы...

— Мы, мы! А ты? Ты здесь посторонний?

Глаза главного инженера глядят сурово. Антанас жует пустым ртом, смотрит куда-то в сторону. Наконец поворачивается к инженеру.

— Скажу прямо.

— Только так, Антанас Петрушонис.

— Догадываюсь, о чем думаете. Нужен новый бригадир, рабочие требуют.

— Дальше, дальше...

— Дальше? А дальше будет так: Дрангинис старается, но дело плохо. Виноват он, точно. Но разве он один?

— Кто же еще?

— Это уж, товарищ инженер, вам виднее. У себя в управлении разузнайте, почему к работе бригадира относятся так, будто вот эта

траншея никому не нужна. Только ему одному. Всех уламывай, кланчи. Доброе слово не помогает — кричи, угрожай, авось услышат. Скажете, суюсь, куда не следует.

— Есть в твоих словах правда, Петрушонис, согласен, — говорит инженер, поправляя пальцем очки. — Если смотреть со стороны, правда, так кажется. Но на деле все сложнее. А менять надо. И меняем. Но ведь и сейчас, при тех же условиях, работают другие бригады?

— Видать, там бригадиры горластей, — усмехается Петрушонис.

— Может, требовательней? К себе и к другим.

— Известное дело, Дрангинису больше подошло бы в канцелярии сидеть.

— Это ты в точку, Петрушонис. А кого на его место?

Антанас пожимает плечами:

— Как вы...

— И опять — мы... Что ж, раз так, пожалуйста. Хотел бы предложить тебя, Антанас Петрушонис.

Антанас смотрит на главного инженера: шутит он, что ли? Да вроде непохоже.

— Почему меня? — спрашивает изменившимся голосом и понимает, как странно звучит его вопрос.

— У тебя опыт. И бригада тебе доверяет.

Антанас Петрушонис смотрит в черную утрамбованную землю, но не видит ничего, потому что перед глазами мгновенно пробегают вся его жизнь — фронтовые дороги, отцовская кузница, работа на заводе... Мелькают уложенные трубы, забетонированные опоры, проносятся и исчезают лица мужчин.

— Ну как, Антанас?

Он вздрагивает от этого «Антанас».

— Я ж недоучка.

— Не говори. Есть курсы, можно совершенствоваться. Подумай как следует, обо всей бригаде подумай.

Антанас долго смотрит в черную землю, потом хочет броситься за главным инженером, закричать: «Нет! Ничего не выйдет из этого!» Но ноги будто увязли в земле, не оторвать их.

Вернувшись к бригаде, не знает, куда себя деть. Спускается в траншею как в глубокий окоп. Легче всего, когда работаешь. И когда все кругом работают.

25

Викторас уже не спал, когда отец собирался на работу. Слышал негромкие шаги, осторожную суету на кухне. А вот и неслышно закрывается дверь, только замок щелкает упруго, как затвор винтовки. «Небось счастливый ушел, — думает Викторас, — со вчерашней улыбкой на лице...»

Зазвонил телефон, и Викторас, подскочив, схватил трубку. Почему он при каждом звонке вздрагивает всем телом и стремглав бросается к двери или телефону? Да, все время, напрягшись, ждет... Ждет чего-то.

— Алло.

Было слышно только приглушенное дыхание, и оно показалось Викторасу удивительно знакомым — нет, не мог он ошибиться!

— Молчишь, Дейманте...

— Рената хочет папочке «спокойной ночи» сказать.

— А ты мне — ничего? — вырвалось неожиданно для него самого.

Молчание. Потом:

— Викторас, мы с тобой, правда, должны много чего сказать друг другу.

— Почему мы? Что я могу тебе сказать?

— Не знаю. Может, только...

— Может, может! — Мелькнула мысль — надо положить трубку, хватит! — но все-таки Викторас замахнулся на нее: — Конечно, для меня слов не находишь!

— Викторас!

Но Викторас перестал себя сдерживать:

— Я каждое подозрение, пока там был, отгонял. А ты, как видно, только и ждала случая...

— Викторас! — вскрикнула Дейманте отчаянно, будто утопая. — Ты не веришь мне, я же тогда... тогда...

Этот вопль привел Виктораса в чувство, он всхлипнул беззвучно, как ребенок:

— Дейманте, это я зря... Я не хотел, Дейманте...

Дейманте дышала в трубку прерывисто, сдерживая слезы.

— Не молчи, Дейманте!..

— Лучше нам помолчать, Викторас. — И с каким-то облегчением добавила: — Рената рядом со мной. Поговорите.

Викторас растерялся. Что он может сказать дочке?

— Скажи: «Слушаю», — услышал он негромкую подсказку Дейманте.

— Слушаю, — повторила девочка.

— Это ты, Ренателе? — спросил Викторас, будто не узнавая ее.

— Я, — ответила девочка.

Виктораса сковало оцепенение, все мысли куда-то подевались.

— Я хочу с папочкой поговорить, — спасла его Рената.

Викторас побрел на кухню, позвал к телефону ужинавшего отца. Отец обрадовался, просиял. Разговаривали они с Ренатой долго — про садик, про сказки, даже стишок вместе прочитали. Отец опустил на корточки, будто внучка стояла рядом и он мог ее обнять.

Сказав матери, что ужинать расхотелось, Викторас закрылся в своей комнате. И чем больше он думал о Дейманте, тем обиднее становилось: разрушила семью, предала дом, изменила мужу, спуталась с другим и только из-за него, из-за Райжиса, ушла из дому, встречается с ним, спит... И увидев Дейманте в объятиях Ляонаса Райжиса, хватался за голову, тер костяшками пальцев виски и метался по комнате. Потом, поостыв уже, оправдывал: «Дейманте любила меня, была добра ко мне, может, одиночество толкнуло ее...» И спрашивал себя: а ты-то уверен в том, что не изменял бы ей, если бы эти два года жил не на краю света, а где-нибудь в городской суете? Ты, мужчина, выдержал бы этот двухлетний экзамен? Спрашивал и не ждал ответа; не знал, можно ли ответить напрямик. Потом, колеблясь, все-таки ответил: «Я бы сделал все, чтоб сохранить верность ей. А может, и Дейманте, проклиная себя, незаметно шаг за шагом приближалась к этому другому...» Снова хватался за голову, скрипел зубами: «Если б не Ляонас Райжис, если б... Это он! Все он!..» И Викторас окончательно решил — надо встретиться с Ляонасом и посмотреть ему в глаза.

Кадровик, плешивый человечек, отвечает на «доброе утро», поднимая от бумаг шустрые глазки.

— По какому делу? — И тут же откидывает голову. — Никак Петрушонис?

Викторас подходит, пожимает пухлую ручку.

— Поразительная у вас память.

— Парень! Хочешь, все цеха обойду и назову фамилию, имя каждого рабочего? И еще некоторые другие данные... Это уж как пить дать. Вернулся, значит?

— Вернулся.

— Заявленьице, — по-деловому просит кадровик.

— Не прихватил, — теряет Викторас.

— Ничего, парень. Вот бумага, вот ручка.

— Еще не решил на все сто.

— Сомненья одолели? Полетишь счастья искать?

— Дядя меня этот завод был... Ну, только добрым словом могу вспомнить.

— Так чего ждешь-то?

— Хотелось бы по заводу побродить, в свой цех заглянуть. Хоть на полчаса пропуск...

Круглое, как луна, лицо начальника насупилось.

— Осторожничаешь, парень. Хочешь поспросать что к чему?

Викторас делает шаг к двери.

— Ну, раз нельзя...

— Парень! Я этого не сказал. Вот тебе пропуск. — Кадровик то-ропливо выводит на серой карточке фамилию, имя. — Гуляй! Гляди что к чему, но заруби на носу: это тебе не музей. Это завод, парень, и твое место не среди зрителей.

Вахтерша спрашивает из окошка проходной:

— К кому?

Ей-то Викторас даже с некоторым злорадством может сказать правду:

— К начальнику механического цеха Ляонасу Райжису.

Металлическая, до блеска надраенная жесткими ладонями вертушка поворачивается, и Викторас оказывается в просторном заводском дворе. Останавливается, вслушивается в полузабытый гул, грохот и звон. Тогда, уходя, он повернулся в дверях и сказал своему заводу: «До свидания». И вот они встретились. Но встреча будет короткой, он пришел сюда не для того, чтоб взять в руки сварочный аппарат.

Неожиданно чувствует: ноги налились тяжестью. «Ты чужой здесь», — вроде шепчет кто-то, и Викторас оглядывается. «Да, я чужой здесь, но кто в этом виноват?» Мелькает мысль — идти прямо в механический цех, но сдерживается: незачем пороть горячку, у него есть время, не лучше ли оглядеться для начала, ведь все-таки... Дядя Симанас, пожалуй, был прав, когда говорил: посмотри, что изменилось за эти два года... Тут и отец работает где-то по соседству. Вот и новый корпус цеха... А тогда о нем даже разговору не было.

Антанас Петрушонис замечает сына издали, швыряет кельму в ведро, вытирает руки о полы куртки, словно собираясь здороваться, подходит поближе и, откинув голову, смотрит на высокие железобетонные фермы. Бросает взгляд на стены нового цеха и Викторас.

— Ну и махина.

— Бывает и побольше. — Осматривая цех, Викторас поворачивается спиной к отцу.

Отец не отвечает. В мешковатой рабочей одежде он кажется еще крупнее, тяжелые резиновые сапоги заляпаны раствором, плечи по-

темнели под дождем. Сняв мятую кепку, стряхивает, выколачивает о ладонь левой руки и надевает опять.

— Мать говорила,— сдавленно начинает он,— что к тебе Алексюс приходил.

Викторас пристально смотрит на отца; их взгляды встречаются на миг и расходятся.

— Приходил.

— Дело у него было?

— Да просто так.

— Обо мне не спрашивал?

— Нет.

— И ничего не говорил?

Викторас поднимает голову.

— Когда мы с ним встречались, он сказал, что я ему деньги должен.— Голос отца дрожит, труден и мучителен для него этот разговор.

Викторас хочет крикнуть: «Это меня не касается, отец!» Но молчит.

— Я его матери алиментов не платил. Все восемнадцать лет.

Антанас Петрушонис поглядывает на сына, хочет понять, о чем задумался, но лицо у Виктораса бесстрастное, глаза угрюмо смотрят в сторону.

— Тебе я скажу, сын. Может, надо было и дома сказать... не смогу... Возил я деньги его матери, а она не взяла. Оттолкнула. Ты слышишь, сын? Она, можно сказать, выперла меня с этими деньгами.

Викторас прислоняется плечом к штабелю блоков и без жалости бросает:

— Гордиться надо этой женщиной!

Небритое с утра лицо отца кажется серым, шероховатым, как бетонная глыба, под увядшей кожей ходят желваки.

— Тебе Алексюс про этот долг не говорил?

— Нет.

— Обещал еще зайти?

— Я его приглашал.

Антанас Петрушонис слглатывает застрявший в горле комок.

— Если еще зайдет, скажи, что хочу ему помочь.

Викторас наклоняется и смотрит на отца так, словно тот стоит где-то далеко-далеко.

— Чем ты ему поможешь, отец?

Антанас Петрушонис опускает голову, смотрит на месиво грязи под ногами.

— Ну чем? Чем ты ему поможешь? — Викторас требует ответа, но отец молчит, медленно проводя руками по запачканным полам куртки, потом поворачивается, уходит как-то боком.

— Матери об этом не говори,— просит.— Лучше я сам потом...

Викторас смотрит на отца и слышит его бодрый голос из прошлого: «Одевайся, сынок, на мой завод поедем». Викторас был еще мальчуганом, но отец каждый год в один из дней (чаще в весенние каникулы) приводил его на завод и говорил: «Гляди в оба, чтоб, когда вырастешь, не одни книги знал». Сам при этом работал, вроде и не замечал его, только изредка просил: поддержи, ударь-ка молоточком, подай шарнирный ключ... Бросал слово-другое, не выпрямляя спины, а после смены водил по цехам, все повторяя: «Гляди в оба». И пока-

зывает, как рождаются его машины. Неужто теперь он надломился под тяжестью старого греха? А может, грехи не стареют и нет им отпущенья, и отец это почувствовал именно теперь и тем свирепее заныла незалеченная рана? «А ты, на чье плечо он хотел опереться, разве не оттолкнул отца?» — спрашивает себя Викторас.

— Зачем ты сюда пришел, сын?

— Поглядеть.

— Лучше тебе сюда не ходить.

С тяжелым ведром раствора Антанас Петрушонис спускается в траншею. Двое мужчин, толкая ногами, катят железную трубу. Лениво пыхтит движок бульдозера; машинист сидит в кабине и дымит сигаретой.

Викторас подходит к траншее, видит склоненную спину отца — широкую, как железобетонный лоток, который закроем уложенные им трубы. Руки двигаются поспешно, но каждый их взмах точен, вымерен за многие годы работы. Этому он учил когда-то и Виктораса: «Привыкай попусту силу не тратить. Делай и думай, что делаешь». Вряд ли отец думает сейчас, что делает...

Почувствовав его взгляд, Петрушонис поднимает голову, смотрит на сына и снова нагибается, зачерпнув кельмой раствор, шлепает на шов, подравнивает, черпает опять...

Гудит паровоз, медленно тянущий вагоны с агрегатами для производства травяной муки и грануляторами. За огромным стендом «Задание пятилетки выполним!» краснеет от ржавчины гряда металлических прутьев, листов жести, старых бочек. Еще один длинный стенд, «Наша продукция отправляется...», скрывает от постороннего взгляда целую свалку отходов, которая тянется до цеха заготовок.

Викторас толкает дверь. Старый цех, полный грохота и вспышек электросварки. Все как было, все как два года назад. Хотя нет. Белый луч пламени режет металлические листы. Викторас подходит. Заготовки сложнейшей конфигурации. За пультом стоит парень; заметив внимательный взгляд Виктораса, криком объясняет, что это металлорежущий автомат «Стрела». Полюбуйся, мол, как работает. Сует чертежик да программку. Викторас кивает и уходит, недослушав. Девушка у полуавтомата окликает его, радостно спрашивает, в каком цехе будет работать, и когда слышит: «Не буду», огорченно отворачивается. А он не собирается врать — едва ли он сюда вернется. Да, а теперь в сварочно-сборочный цех. Викторас не забыл. Окованная железом дверь, скрипнув, захлопывается за ним, и его встречает звонкий перестук молотов, лязг металла. Плечистый парень лупит по шву жести, ритмично замахиваясь увесистым молотком. Рядом валяются барабаны для сушки травяной муки, стоит какой-то станок невиданной конструкции, а на нем уже согнутый, но еще не сваренный конус. Мужчина откладывает молоток, выпрямляется, и Викторас узнает — это его бывший напарник Гедрюс Брашкис; оба трудились с тем же инструментом да за одним столом, только в разные смены. Хлопает по плечу, здоровается. И опять:

— Вернулся? — Замурзанное лицо Гедрюса дружески улыбается, губы раздвигаются, обнажая белые здоровые зубы.

— Думаю еще... — Викторасу не хочется, чтоб Гедрюс тоже повернулся к нему спиной.

— А чего тут думать, не понимаю! Приходи, опять будем вместе работать.

— Ты почему место сменил?

— Так получилось... Если хочешь, скажу — с начальником поцапался.

— С Райжисом? — Голос Виктораса срывается.

— Увидел, как он с хронометром в руке ошивается. Мне-то что, у меня процент хороший, теперь как подумаю, может, и не стоило на рожон лезть. — Он снова хватает молоток, замахивается и подмигивает Викторасу: — Так и знай — жду!

Викторас не отвечает. Надо бы спросить: «Как семейство — растет?» — ведь тогда, два года назад, у Гедрюса было уже трое детей, может, нового завел, но Брашкис так лупит молотком, что и не услышит. Викторас оглядывается, будто почувствовав, что за ним наблюдают. Но ведь механический цех — там, сбоку дверь. Здесь-то он может еще поторчать, повертеться, потому что скоро...

— Держись, Викторас! — шепчет сквозь зубы и бредет у самой стены, тупо глядя на конвейер, уносящий в красильную камеру громоздкие и мелкие, вроде игрушек, детали агрегатов. В нос шибает удушливый запах краски.

«Мнешься? Струхнул?» — спрашивает себя Викторас и, сердито засунув руки в карманы пальто, толкает плечом дверь механического цеха. Глаза тут же стреляют вправо, впиваясь в конторку. Иди прямо! Иди, Викторас, и скажи... Но что ты скажешь? Ты ведь все еще не придумал, что именно скажешь Ляонасу Райжису. Хочешь увидеть человека, который радуется, одолев тебя? Жаждешь увидеть ликование на его лице? Швырнешь ему в ярости: «Сволочь» — и все? Что же еще? Что ты еще ему скажешь?..

Викторас стоит у двери, ноги не слушаются, и он не может двинуться по цементной дорожке между расставленными в беспорядке грануляторами, верстаками, между тяжелыми колоннами высокого и длинного цеха. Слышит гул, но он доносится откуда-то издали, и все рабочие далеко-далеко, и Викторас не видит ни одного знакомого лица. И его никто не узнает издали, так оно и лучше, потому что он пришел в свой цех... в свой бывший цех не руки пожимать и не обниматься.

За спиной хлопает дверь. Викторас, вздрогнув, оборачивается, и его глаза ловят взгляд начальника цеха. Оба молчат, растерянно смотрят друг на друга. Наконец Ляонас Райжис, будто потеряв равновесие, делает полшажка вперед.

— О, кого я вижу! — изображает он радость, но голос напряжен, срывается. — Старые места тянут, верно? Здорово!

Викторас, не спуская глаз с лица Райжиса, все-таки видит, как его протянутая рука медленно опускается, прячется за спину.

— В конторку не зайдём? — Голос становится жестче, начальственный голос, голос человека, которому нечего терять, когда он празднует победу.

— Нет, — качает головой Викторас.

— Конечно, лучше без дискуссий, — медленно говорит Райжис. На его лице появляется улыбка, холодная, как блеск металла. — А можешь вернуться к нам?

Руки Виктораса еще глубже уходят в карманы пальто, пальцы сжимаются в кулаки. Значит, Райжис предлагает уйти с дороги, не путаться под ногами... Вежливо предлагает, но уверенно, с издевочкой. «Уйти, чтоб ты торжествовал? Чтоб ты лишний раз праздновал надо мной победу?»

— Ну как? Вернешься?

«Слабоват ты, начальник, чтоб я тебя обходил за версту! И не тебе меня башмаком с дороги спихнуть!»

— Да, вернусь!

— Ха,— колюче усмехается Райжис и тут же бросает взгляд на часы: рабочее время, болтать некогда.— Что ж, до встречи.— И удаляется твердым шагом, все еще держа руки за спиной.

— Вернусь!— задыхаясь, повторяет Викторас, с ненавистью глядя на обтянутую полосатым пиджаком спину начальника.— Вернусь!

Перевел с литовского ВИРГИЛИЮС ЧЕПАЙТИС.

(Окончание следует)



ИННА ГОФФ

★

МЕДПУНКТ НА ВОКЗАЛЕ

Рассказ

Ждали среднюю дочь Лиду. Телеграмма, извещавшая о ее приезде, лежала на телевизоре. Это был старенький телевизор. «Первый телевизор в городе»,— говорили они с гордостью. То же самое говорили они о холодильнике. Когда они купили его, он тоже был первый в городе. Они были привержены старым вещам, может быть, потому, что сами были уже стары, в «наклонном возрасте», по выражению Сергеевны, приходившей к ним по четвергам мыть полы. Им обоим очень нравилось, что она называет их возраст *наклонным*. Они нашли, что это более точно определяет состояние старости и приближает к природе, где какое-нибудь древнее дерево уже клонится, готовится рухнуть.

Сергеевна вымыла крашенные полы, вытряхнула ковровые дорожки. Потом приволокла со своего огорода огромную тыкву — Лида любит тыквенную кашу. Из этой тыквы можно было сделать карету для Золушки — ни старый доктор, перенесший два инфаркта, ни его седенькая жена не могли сдвинуть ее с места. Да и Сергеевна, женщина крупная и сильная, созналась, что тыкву помог притащить ее сын, работавший слесарем в депо. Общими усилиями тыкву водворили на кухонный табурет, где ей и предстояло ожидать Лиду.

А доктор надел свою форменную шинель с металлическими пуговицами в два ряда, по четыре с каждой стороны и по одной на петлицах, форменную железнодорожную фуражку и отправился на станцию встречать поезд.

— Верочка, не возись с пирогом,— сказал он, уходя.— Ты устанешь. Есть прекрасный кекс, варенье из груш.

— Иди, иди,— сказала она.— Со станции мне позвонишь.

Они жили в этом городе тридцать лет. Доктор шел к автобусу и то и дело прикладывал руку к фуражке — все встречные с ним здоровались. Он шел по широкой сельской улице, пыльной, потому что давно не было дождя. Это была именно сельская улица, и особенно широкой она казалась из-за приземистых, беленных известью и подкрашенных синькой домиков, тонущих в садах.

Все автобусные маршруты здесь вели к вокзалу. Станция, железнодорожный узел были здесь самым главным, и потому настал день, когда это большое пристанционное село называли городом.

Водитель автобуса терпеливо ждал, пока доктор поднимался по ступенькам передней площадки. Они поздоровались. Автобус был набит битком, но кто-то крикнул:

— Садитесь, дедушка!

Доктор покачал головой и остался стоять — ехать предстояло од-

ну остановку. Он улыбался радостно и кротко, кивал — подносить руку к фуражке мешала теснота. Ему приятно было видеть близко над собой смугло-красные здоровые лица, которые он не узнавал, и поэтому, боясь быть невежливым, на всякий случай улыбался всем как давним знакомым.

До прихода поезда оставался целый час. Поездка на станцию была для него тем развлечением, которое он еще мог себе позволить. Иногда он приезжал сюда просто так, без всякого дела — подышать воздухом, где к запахам степи примешан запах нагретых шпал и смазочного масла, посмотреть на поезда — товарные, пассажирские, дизельный, фирменный скорый. После второго инфаркта ему запретили всякие путешествия, даже к морю, до которого на дизеле всего три часа. Поэтому поезда вызывали у него легкую грусть. Зато медпункт, куда он всегда заходил по старой памяти, возвращал ему уверенность в себе. И сейчас, минуя прохладный, украшенный пальмами в кадках зал ожидания и жаркий пустынный перрон, над которым шелестели старые акации со свисающими черными стручками, похожими на размотавшуюся фотопленку, он заспешил в медпункт. Он очень спешил — по дороге останавливался, чтобы отдышаться. В медпункте был телефон.

— Верочка,— сказал он.— Все в порядке. Я уже тут.

Она что-то говорила ему много и быстро. Он знал, что она всегда говорит одно и то же — чтобы он не поднимал тяжести, смотрел под ноги, не сидел на солнце. Он все это знал наизусть и потому, не вслушиваясь, не вникая в смысл ее слов, соглашался:

— Конечно, дорогая. Не волнуйся. Обещаю тебе... Да, да, да!..

Санитарка медпункта тетя Даша смотрела на него, любясь. Удивителен ей был этот человек, которого она помнила молодым и быстрым. Он заведовал железнодорожной больницей, работал на «скорой помощи», в рентгене, в медпункте на вокзале. И не то ей было удивительно, что прежде он пегушком бегал, а теперь еле таскает ноги,— сама она из конопатой девчонки стала ранней вдовой, а теперь уже и бабкой... Удивителен ей был старый доктор тем, что всегда говорил негромко и всегда улыбался. А жизнь его хорошо была! Овдовел тоже, еще до войны, да не один, а с тремя детьми,— хоть давься, хоть топись! А тут сосватали ему эту дурочку, Веру Лексеевну. Разве умная на троих детей пойдет? Ну а тут война. Доктор с госпиталем на фронт, а она, дурочка эта, с тремя чужими малолетками по тылам мотается. Небось волосы на себе рвала, а куда денешь детишек-то? Опять же, хоть травись, хоть давься! Ну, он им, конечно, аттестат свой прислал, когда нашел... Выжили, детей вырастили, теперь вдвоем живут. Видать, она, Лексеевна, дурочка дурочка, а сообразила, что за такого человека надо идти. Вон как он ей: «Не волнуйся, дорогая». Дорогая! Не какая-нибудь!

Доктор положил трубку, огляделся.

— Ну что, Даша? Как жизнь?

— А ваша как?

— Вот дочку пришел встречать.— Он улыбнулся радостно и кротко.— Среднюю... Сорок седьмым должна прибыть. Девятый вагон...

— На Севере которая?

— Да. В Сыктывкаре.

— Господи, и назовут же город! Как вы его выговариваете?

— Тренируюсь.

— На дворе трава, на траве дрова,— сказала Даша и засмеялась.

Но тут же смолкла — вошла новая врачиха.

Новая врачиха доктора недолюбливала. Особенно после того как, увидев ее зеленоватые, по моде подкрашенные веки, он решил, что у

врачихи ячень. Она приехала сюда вслед за мужем, партийным работником, и кляла судьбу за то, что ее забросило в этот край. Ей не нравилось здесь все, и тем более злил ее доктор, которому все здесь нравилось. Впрочем, он этого не замечал и улыбался ей так же радостно и кротко, как всем другим.

— Как дела, коллега? — спросил он.

— Подшиваются.

— Что-что? — не понял доктор. Он не знал, что сейчас это модно — так отвечать на вопрос «как дела?».

Врачиха молча заполняла какой-то бланк, и он не стал переспрашивать. За окнами медленно тянулся товарный состав. В стеклянном шкафчике поблескивали запасные стерилизаторы, хирургические ножницы, щипцы, шприцы разной емкости. На отдельной полочке стояли бутылки с эфиром, спиртом, камфарой. В закрытой нижней части хранились лекарства, которые разлагаются на свету. Медпункт состоял из двух помещений — амбулатории и хирургии, где был даже операционный стол, его чаще использовали для перевязок. Это был образцовый медпункт, его детище, которым он гордился. Его последнее рабочее место.

— Вот дочку пришел встречать, — сказал он. На этот раз врачихе. — Сорок седьмым должна прибыть, девятый вагон...

— Сидите, пожалуйста, — разрешила врачиха и вышла. Она подумала, что он извиняется за свое пребывание в медпункте. Это ей льстило.

А ему хотелось поделиться радостью — дочка приезжает!.. Дети их не слишком баловали, раз в год заглянет кто-нибудь на денек-другой. Писать тоже ленивы. Когда им хорошо — молчат, а плохо — они тут как тут. И сейчас его беспокоило, что приезжает Лида. Правда, в телеграмме указано, что проездом. Возможно, отдохнуть едет. Она у них самая невезучая. Хворала много с самого детства, замуж не вышла. Потом влюбилась в женатого...

— Ну, Даша, пора, — сказал доктор. До поезда было еще минут десять, но ему не сиделось. — Если будет много вещей, ты до автобуса проводишь нас...

— Провожу, провожу... Ступай.

Она говорила ему когда «вы», когда «ты». «Вы» относилось к доктору, которого она знала прежде, «ты» — к этому кроткому старику в черной железнодорожной шинели. Ей, Даше, самой интересно было глянуть на их Лиду. Она помнила ее малорослой девочкой с тонкими косицами, одна лента всегда развязана. Потом девушкой, приезжавшей к родным на каникулы, тоже смотреть было не на что. И вдруг слух прошел — эта Лида, невидная, чужого мужа увести хочет.

Доктор ходил по платформе, нервничал. Лиду любил он больше других детей — младшего сына и старшей дочери. Потому ли, что Лида была на покойницу мать похожа, а те двое на него. Такие же смуглые, темноглазые, шустрые...

Сорок седьмой фирменный назывался красиво — «Черное море». Вот он уже показался вдали, и замелькали голубые вагоны — черное море, черное море, черное море... У доктора зарябило в глазах.

— Аккурат против медпункта, — услышал он голос Даши.

А Лида уже стояла в дверях девятого вагона, сероглазая женщина с усталым лицом. Чемодан у нее был совсем небольшой. Чемодан и дорожная сумка.

Когда доктор и Лида наобнимались, Даша хотела взять чемодан, но Лида ей не дала:

— Спасибо, Даша. — Она обернулась к отцу: — Папа, я не одна.

И тут старый доктор и Даша поняли, что человек в голубой ру-

башке, который стоит возле, мнет кепку, приехал не сам по себе, а вместе с Лидой.

— Познакомьтесь,— сказала она.— Мой муж Сева...

— Сева,— сказал человек в голубой рубашке и протянул доктору руку.— Сева,— повторил он и пожал руку Даше.

Доктор смотрел на него снизу и кротко улыбался. Рядом с рослым Севой он выглядел еще меньше.

— Это Лидочка вашей муж! — крикнула Даша. Ей показалось, что старик ничего не понял.

Но доктор молчал от волнения.

— Пойду позвоню маме,— сказал он.— Надо ее подготовить.

Дверь из медпункта на перрон была открыта. В амбулатории никого не было. Он снял трубку, сказал тонким от возбуждения голосом:

— Верочка, это я...

Она сразу заговорила о том, что пирог плохо печется. И что она порезала палец, когда чистила рыбу, а в доме кончился йод... Он терпеливо ждал. И наконец она спросила:

— Так что, ты ее встретил?

— Она с мужем,— сказал он.— Она приехала с мужем!

Их поместили в проходной комнате. Посредине под оранжевым абажуром стоял обеденный стол. Он был куплен давно, с расчетом на большую семью. И сейчас Лида сидела на своем месте — спиной к телевизору, лицом к окну. Непосвященный Сева занял место старого доктора, но был тут же с него выдворен и усажен рядом с Лидой на табуретке. Его это удивило — еще два стула были свободны.

— Здесь сидит сестра Катя, а здесь брат Толя,— объяснила Лида.— Они здесь сидят раз в тысячу лет, но их места неприкосновенны. И твоя табуретка отныне принадлежит только тебе — посягнуть на нее не посмеет никто.

Она с грустной нежностью смотрела на родителей, так постаревших за этот год, суевившихся вокруг нее и Севы, который им сразу понравился. Мать высказывала это вслух, глядя на него почти восторженно.

— Какой он большой! — говорила она, разглядывая Севу, как будто он неодоушевленный предмет.— Мужчина должен быть большим и добрым... Вы добрый, Сева? Он добрый, я знаю! Завтра я вам расскажу историю нашей семьи... Лида не может так рассказать, ей было всего шесть лет... Ивась, тебе нравится Сева? Почему же ты молчишь? Всегда он так — улыбается и молчит. Знаете, Севочка, что сказала Лида, когда ей было шесть лет? «Наш папа не такой дурак, чтобы на тебе жениться!» Такая была чудесная крошка. Правда, Ивась? Смотри, какие у Севы музыкальные пальцы... Электрик? Это замечательно. У нас испортился утюг. Вы сможете починить утюг?.. Нет, нет, конечно завтра! Сейчас вы будете отдыхать... Возьмите еще рыбки, Севочка! Это наша южная рыбка, у вас такой нет. И у нас такой нет. Это нам один пациент достал. Папин пациент, Лидочка. Да, бывший, конечно... Узнал, что ты приезжаешь. Наш Иван Петрович тут известный человек. С ним весь город здоровается, идем — даже неловко, как с артистом каким-нибудь знаменитым... Ничего я не хвастаюсь! И среди врачей есть свои артисты! Артист, по-моему, это любой человек, который свое дело делает хорошо. Вы согласны со мной? Сева, достаньте с полки вон тот словарь... Мы с папой, когда спорим, всегда проверяем по словарю...

Сева слушал болтовню старушки с добродушной снисходительной улыбкой, отдавая в душе предпочтение молчаливому доктору. Для себя он уже определил родителей Лиды как невредных старичков-маразматиков и приготовился до конца играть роль доброго и

сильного великана. Тем более что терпеть их общество предстояло лишь сутки — завтра вечером они с Лидой уедут дальше, на юг, в свой профсоюзный санаторий.

Закуски на столе хватало, чего было маловато, так это выпивки — одна бутылка кагора на всю компанию. Впрочем, старички только чокались, Лида пила, но мало — стеснялась. Там, в Сыктывкаре, они пили напитки покрепче почти на равных. На трезвую голову, может, и не получилось бы ничего. Трезвая голова больно рассудочна. И так, если рассудить, — она старше его на пять лет, заведует лабораторией. Ее бабы отговаривали, его — ребята.... Все же решили оформить брак. Заявление подали, а там видно будет. Конечно, фасад слинял. Что вы хотите — сорок лет!.. Но если ее, Лидку, подкормить да поджарить на солнышке, она еще в норму войдет будь здоров!

Часы в деревянной резной оправе мелодично пробили десять раз. Эти часы подарили отцу, провожая его на пенсию. Они стояли высоко, на книжном шкафу, отбивая время каждые полчаса, а в полночь и в полдень еще и с курантами. Заводить их нужно было раз в месяц — пятьдесят поворотов ключа. Лиде приходилось при этом присутствовать. Отец осторожно снимал часы с книжного шкафа, мать байковой тряпочкой обтирала с них пыль. Отец садился, мать становилась возле него, и начиналось священнодействие. Отец поворачивал ключ, а мать говорила «раз», отец поворачивал снова, мать говорила «два». И так пятьдесят раз.

Лида пыталась убедить их, что это может делать один человек, но они с возмущением это отвергли. Они слишком привыкли все делать вдвоем за тридцать пять лет. Внешне как будто разные — отец застенчивый, молчаливый, мать хлопотливая, говорунья, — они были похожи, потому что смотрели на мир одинаково, с доверчивой детской радостью, ожидая от жизни только одних подарков. И Севу восприняли как подарок... А ведь она привезла его к ним на родительский суд, потому что сама не знала еще, что решить. Когда-то, лет пять назад, провожая ее на вокзал — она гостила у них после того, как решила порвать с Вадимом, — отец сказал ей слова, которых она не могла забыть: «Девочка моя! Кроме любви, существует еще о р г а н и з а ц и я жизни!..»

Вспоминая эти слова там, у себя на Севере, она думала об отце. Когда он, вдовец, женился на этой маленькой смешной женщине с черными блестящими глазами на живом некрасивом лице, любил ли он ее? Ведь их родная мать, сероглазая, с пепельно-русой косой, говорят, была собой так хороша, и если бы не погибла третьими родами, жила бы с отцом до сего дня.

Нет, это не был брак по любви. Овдовев, отец свою жизнь организовал и как бы советовал Лиде сделать то же.

Спать легли рано. Старики у себя, а Лида с Севой на широком диване в проходной комнате. Сева сразу заснул, а Лида долго ворочалась. Старики тоже не спали, отец осторожно шуршал газетой, слышался шепот: «Ивась, хочешь конфетку?» Часы отбивали время, рычал, включаясь, холодильник, что-то потрескивало — не то отклеившиеся обои, не то половицы.

Ах, как сладко спала она когда-то на этом широком диване в родительском доме! Сюда приезжала она студенткой после экзаменов и зачетов, отъездалась и отсыпалась. Потом приезжала сюда выплакаться — когда поняла, что с Вадимом надо кончать.

И вот приехала с мужем. Впрочем, еще не муж... Все еще можно перерешить...

Он приходил к ним в лабораторию — налаживал и проверял работу прибора, иногда сразу нескольких — аппаратуры было много.

И уходил. Потом стал заходить просто так в конце дня. Она задерживалась, и они оставались вдвоем в пустой лаборатории. Ей было приятно, что она ему нравится. Она, а не девочки-лаборантки, которых он даже не замечал. Было лестно, что молодой видный парень отдаст ей предпочтение, но о серьезном она не загадывала. И запрещала себя провоять — придумала себе мужа, ревнивого, вот с такими кулаками... О Севе она знала, что институт кончил заочно, без отрыва от производства. Жениться пробовал раза два на разведенных с детьми, но что-то не получилось. Живет в общезитии. Вот и все, что она знала о нем. А он о ней и того меньше. Одно только знал точно — что насчет мужа она ему дуриет голову. И обижался, не понимая, зачем ей это надо. Должно быть, много о себе понимает, решил он. Его это разжигало и злило одновременно. И как-то на очередной отказ провоять с ним выходной поднялся решительно, на прощанье сказав: «Привет мужу!»...

И больше не показывался. Она стала скучать. Даже обрадовалась поломке — испортился терморегулятор, и она вызвала наладчика.

Но в тот день дежурил другой.

Увиделись они только в марте, месяц спустя. На заводе был вечер. Она, никогда прежде не ходившая в клуб, пошла в надежде встретить его. И встретила. Он уже отметился где-то с друзьями и тоже ее искал — был уверен, что она придет.

— Какая приятная неожиданность! — сказал он от смущения развязно.

Работал буфет. Мужчины угощали женщин пирожными и шампанским.

— Пью за твоего мужа! — сказал он впервые на «ты». И добавил: — Будущего!..

В тот вечер он проводил ее домой и остался у нее до утра. А потом и вообще остался...

С утра полил дождь, который с вечера никак нельзя было предвидеть. Наползли откуда-то низкие серые тучи, деревья за окнами расквашивались, роняя липовые сливы, как тяжелые чернильные капли.

Позавтракали тем, что осталось от ужина, за семейным столом, где у Севы была уже своя табуретка. Матери все казалось, что Сева голодный. Она вскакивала, суетилась, подвигая к нему стеклянные банки — бруснику с грушей, квашенные помидоры. Сева покорно работал челюстями, похваливал. Интересовался, сами солили или покупные. И мать расцветала от этих похвал и расспросов.

— Что вы, Севочка! Разве такие купишь! Это наша Катя прислала. Человек мимо нас ехал на юг, и она с ним передала. Она каждый год нас балует! И такая кулинарка! Я готовить совсем не умею, вот и Лида в меня пошла... Не сердись, Лидочка. На правду нельзя сердиться.

Доктор слушал жену улыбаясь, молча. Так же молча накапал в рюмку каких-то капель и протянул ей. И еще из коробочки две таблетки. Она их проглотила привычно, не запивая. Потом доктор тоже принял таблетки — из другой коробочки.

Дождь за окнами все лил, трепал старые сливы. Сливь и дождь напоминали школу. У матери все хранится: их тетрадки, аккуратные, с промокашками на розовых ленточках — Катинь, и ее с кляксами, и Толика с двойками. Когда-то они подсмеивались над матерью, над тем, что она хранит все это, как директор дома-музея, где не хватает лишь пустяка — великого человека, который вырос в этих стенах, в окружении этих предметов. Теперь, изредка возвращаясь сюда, они с радостью забирались в старую кладовку, где царил образцовый

порядок, и перебирали эти давно забытые вещи. Самодельные санки, клеенчатые школьные портфели, пионерские галстуки, елочные игрушки, аттестаты зрелости, старые письма — три перевязанные тесемками пачки, самая тонкая — письма Кати. Здесь же хранились и фотокарточки, разложенные по отдельным конвертам, на каждом надпись рукою матери: «Толя», «Катя и ее первая семья», «Катя и ее вторая семья», «Лида», «Толик и его жена» и снова «Лида», но уже с пометкой «взрослая»...

И сейчас мать достала эти конверты, разложила на чистой клеенке. Все, кроме этого — «Лида взрослая». Потому что в нем рядом с Лидой взрослой был ее Вадим. Человек, которого она любила. Это тянулось двенадцать лет. И могло бы тянуться вечно. На карточках он выглядел волевым, чуть суровым. В жизни он был безвольным и мягким.

Этот конверт с фотографиями Вадима мать словно нечаянно забрала на полочке в кладовке, и Лида подумала — отец никогда бы не догадался, тут нужна женская дипломатия...

— Они были такие крошки! Восемь, шесть и четыре годика!.. Я им гостинцы привезла. Они кидались на все, как зверята. Прибегут, хватят со стола горсть конфет — и бежать... В угол забьются и там едят. Мыться не любили, кусались даже. Лида была самая трудная. Глазища серые, огромные, — «наш папа не такой дурак, чтобы на тебе жениться!»... Я по ночам плакала, думала — уеду, не вынесу!.. Катя первая меня признала — «тетя Верочка! тетя Верочка!». За ней Толик — «тетя Велочка!»... А ты все дикарем смотришь. Начну вечером сказку рассказывать, Катя и Толик слушают, а ты нарочно убежишь из комнаты, а потом тихонько, на цыпочках подкрадешься и за дверь сташешь. Я нарочно начинаю голос понижать, тебе не слышно, ты дверь открываешь. Я еще тише, тыходишь. Входишь, а я вроде не замечаю тебя. Ты все ближе, ближе... Так понемножку и приручила. И представляете, Севочка, прихожу как-то из магазина домой — хлеб, молоко, сумка тяжеленная, — а они сидят за столом в ряд тихие, умытые, торжественные, и Катя заявляет: «Мы решили называть тебя мамой!».

Сева слушает с вежливым вниманием. Он один здесь новый слушатель, но ему не так интересно, как Лиде и старому доктору, которые все это сто раз слышали. Для Севы это чужая жизнь, и чужие люди смотрят на него с любительских и ремесленных фотографий. Паренек с нахальными глазами, в бескозырке с надписью «Черноморский флот». Красивая женщина с темными, как нарисованными бровями. Женщина улыбается чуть загадочной улыбкой, как артистки на открытках. Сева поворачивает карточку, на обороте крупным почерком надпись: «Мамочке и папочке от их дочки Катечки». Катя нравится Севе, поэтому слушать про нее интересно. Как она в мединституте училась, а на третьем курсе вышла замуж и учиться бросила. А потом и мужа этого бросила, вышла за другого. Оба они были тут, на карточках. Первый молоденький, с тонкой шеей. Второй постарше, лысоватый. Сева разглядывал их, примеривался — мог бы понравиться Кате?..

Лида тоже смотрит на Катю — могла бы она понравиться... Вадиму? А если бы так случилось, она не Лида. Увела бы его от жены и двоих детей. Катя безжалостная и добрая одновременно, все ее любят, грехи прощают как шалости... И Катя себе все прощает, ни в чем себя не винит. Завидный характер!..

Узнав, что Катя уходит от мужа, мать написала ей письмо — двадцать восемь тетрадных страниц. Катя прочла его, посмеялась, поплакала и поступила по-своему. Лида приехала к родным погостить,

прочла копию — мать хранила черновики своих писем к детям, — задумалась и порвала с Вадимом.

За окнами все так же лило. Старый доктор включил свет над столом, и оранжевый абажур, похожий на закатное солнце, приблизил еще далекий вечер. Доктор устал от разговоров, сел в свое кресло у окна. Это было его любимое кресло, из брезента и алюминия, с подставкой для книги — подарок бывшего пациента. Когда у доктора был инфаркт, им звонили разные люди и все спрашивали, надо ли помочь. И все это были те, кого он лечил. Себя они не называли. Их было много, кого он спас. Часто, когда ему не спалось, он вспоминал неудачи. Редкие, они лучше помнились. Вспоминал молодость. Север. Архангельск, служба в полярной авиации, полеты на «У-2» за Полярный круг. Тот случай с массовым отравлением... Подозревалось вредительство, а он доказал, что это ботулизм, микроб, проникший в консервы. А Васька!.. Сколько ему сейчас, Ваське?

Он работал тогда на «скорой помощи». Однажды в метельную ночь звонок — женщина рождает на окраине где-то, в сарае... А вьюга страшная — заряд, в двух метрах ничего не видно. Кто позвонил, откуда — неизвестно! Может, розыгрыш?.. Ложный вызов? Но ехать надо. Шофер был опытный. Ехали осторожно, застрять боялись. Машину снегом залепило. Все же отыскали этот сарай. Не сарай — заброшенное строение, даже печурка есть. Вошли, фонариком осветили — женщина застонала. Лежит на лавке, рожать собралась. Так никогда и не узнал, как она туда попала... Скорей разводить огонь, натопили снегу, вскипятили воду. Вдвоем с шофером приняли мальчика, а он не дышит. Доктор тряс его, тербил. Не хочет жить. Тогда он как шлепнет его, как заорет: «Васька, кричи!» И тут парень закричал в первый раз... Года три спустя доктор шел по улице, а навстречу ему женщина с мальчиком, молодая, приятная: «Здравствуйте! Не узнали? Это же Вася. Ваш крестник. Вы же сами его так называли!..»

Можно бы книгу составить из воспоминаний, но кто это сделает? Верочка хорошо пишет, но все забывает. А он все помнит, но не любит писать, а рассказывать лень да и утомительно... О чем это Верочка с таким жаром? Про Толика! Это ее любимец. Страдает, что испортила ему жизнь. То письмо, тридцать четыре страницы... Зачем было вмешиваться? Случайная связь, женщина опытная, намного старше, и любви никогда не было... Конечно, ребенок. Но существует ведь материальная помощь... А тут девушка его лет, свежее чувство, радость. Теперь Верочка страдает — ее Толик стал выпивать. Жертва морали на тридцати четырех страницах, послушный сын!..

Сева держит в руках карточку Толика. На обороте надпись: «Мой лозунг — говори не все, что знаешь, но знай, что говоришь». Хитрый мальчик!.. Крутит девкам мозги, это точно. Непохоже, чтобы выпивал. Ну, даст банку с получки и с аванса...

Сева встает, потягивается. Упирает руки в бока, как тяжелоатлет перед взятием веса:

— Ну, где ваш уют? Давайте, а то ехать скоро.

— Уют? Да, конечно. Сейчас... Где же он?.. Мы им давно не пользуемся, купили новый... Может быть, в другой раз?

Ей жалко прерванного рассказа. Кажется, что впереди осталось еще что-то очень важное. Нужно досказать!.. Но она уже сбилась, в голове все смешалось, как фотокарточки из разных конвертов на клеенке стола.

Отыскался уют, и Сева занялся им, насвистывая.

— Мамаша, у вас в хозяйстве отвертка есть?

У него крупные руки с широкими розовыми ногтями. Даже странно, как ловко они ухватывают тончайшую проволочку или винтик. Тут

он мастер, смотреть приятно. Таким он бывает, когда налаживает приборы в лаборатории. Незаменяемый Прошин — его заводская кличка. Потому что у него враз получается то, над чем долго бьются другие.

Лида разложила фотографии по конвертам, отнесла в кладовку. Там одиноко лежал конверт с пометкой «Лида взрослая». Она достала карточки Вадима — их было три, все для документов. Посмотрела украдкой и спрятала, успев подумать: «Как школьница».

Да, так и не съездили вместе на юг. А сколько мечтали... Думали по дороге заехать сюда — Вадим хотел повидать стариков, с которыми был заочно знаком, даже слал им приветы в ее письмах. Никогда этого не будет. Никогда!

Мать забыла приготовить обед. Пообедали кое-как тем, что осталось от завтрака. И тут мать вспомнила про тыкву:

— Лидочка, детка! Это тебе, в твою честь! — запричитала она. — Тыквенная каша, твоя любимая! И никто не напомнил! Ивась, ты виноват! Почему ты не напомнил?

— Верочка, не волнуйся, — сказал доктор. — Тебе нельзя волноваться...

Он накапал ей в рюмку капли, и она их выпила залпом, закусив двумя таблетками. Принял и доктор свои таблетки — из другой коробочки.

За окном посветлело. Дождь перестал, капало только с деревьев. Синие крупные сливы лежали на земле, и Лиде, как в детстве, хотелось выбежать после дождя в сад, собрать их. Но мать снова стала рассказывать, на этот раз про войну. Про то, как Лида зимой заболела корью, бредила, и нужно было достать молока. И тогда мать взяла литровый бидон у квартирной хозяйки — Иван Петрович в прифронтовом госпитале, а она с тремя детьми на Урале — и пошла искать молоко. Нашла наконец молочницу, а та не хочет продавать. Говорит — только в обмен на хлеб и керосин. Мать сняла с пальца кольцо, золотое, с камешком, Ивана Петровича подарок, протянула ей: «Возьмите, пожалуйста, у меня больше ничего нет». И молочница стала креститься, заплакала: «Что вы, что вы! Не дай господи! Я вам так налью!»...

Сева слушал уже с трудом, не скрывая скуки. И Лиде неловко было за мать, которая этого не замечает, и за Севу, который не может этого скрыть. И за отца, который все улыбается своей доброй, восторженной улыбкой человека, уверенного в том, что все на свете обстоит превосходно.

Нельзя было понять, нравится ли ему Сева сам по себе, или он рад, что Лида приняла его формулу — кроме любви, существует организация жизни — и свою жизнь о р г а н и з о в а л а.

Из-за туч выкатилось оранжевое солнце. Пора было ехать на вокзал, тем более что отец вызвался провожать. На дорогу присели.

— Севочка, нагнитесь, я вас поцелую, — сказала мать. — Какой вы большой! Вы к нам еще приедете, да?.. Мне так много надо вам рассказать. Мы так мало поговорили!.. Такая большая, трудная жизнь... Но все перед глазами, а рассказать новому человеку... Вы не обижаетесь, что я вас так назвала? Вы нам сразу понравились. Да, Ивась? У нас безошибочное чутье. Вы хороший. Я рада, что Лидочке повезло...

Она махала им из окна. Маленькая, седенькая, как полуоблетевший одуванчик. Было свежо после дождя, и пахло морем — тучи пришли оттуда, с моря.

Сева шел, насвистывал. С двумя чемоданами как налегке. Прыгал через лужи и останавливался, ожидая Лиду с отцом, которые плелись

сзади. Остановки его раздражали, но старик не мог идти быстрее — задыхался. Он был в своей железнодорожной шинели с металлическими пуговицами и то и дело прикладывал руку к форменной фуражке, отвечая на приветствия. «Небось воображает себя важной шишкой,— думал Сева.— Козыряет, как маршал! Старикан неплохой, но долго не протянет...»

Автобус привез их на станцию. Промытая дождем, озаренная вечерним солнцем, она выглядела празднично. В пристанционном парке играла музыка на столбе, росли старые каштаны.

— Посидим в медпункте,— сказал доктор.

Скамьи на перроне были сырые после дождя. Лида поглядела на Севу.

— Идите, я тут покурю,— сказал он.

В амбулатории было пусто, негромкие голоса доносились из хирургии.

— Садись,— сказал доктор. Он чувствовал себя здесь хозяином.— Надо позвонить маме...

Лида смотрела на отца, как он, примостившись у телефона, близоруюкло склоняясь к диску, набирает домашний номер, и сердце ее сжималось от жалости и любви и от предчувствия скорой разлуки, не этой, через полчаса, а той, вечной, что неминуемо предстоит...

— Верочка, мы пришли.— Отец говорил бодрым, несколько тонким голосом.— Все в порядке. Я дожусь поезда. Конечно, дорогая... Да, да, да!..

Из хирургии вышла новая врачиха, мельком поздоровалась. Она была чем-то озабочена.

— Что вас беспокоит, коллега? — спросил доктор.— Если я могу быть полезен...

— Мужчину сняли с тридцать девятого. Думали, сердечный приступ, а у него гипогликемия... Сейчас уже все нормально, просится на сорок седьмой.

— Дайте провожатого, и пусть едет.

— Я уже думала, но некого послать.— Она покосилась на Лиду.— Дочка едет сорок седьмым? Она, случайно, не врач? Было бы очень кстати... Полбольницы на уборочной, работать совершенно некому...

— Поезжайте, я подежурю,— сказал доктор. И глаза его так блеснули, что Лиде подумалось: он не шутит.

— Разве что,— сказала врачиха сердито и вышла.

Они сидели друг против друга, Лида и старый доктор, и молчали. Доктор улыбался радостно и кротко. Все было сказано этим молчанием. Все, что в словах не нуждалось. Про человека, который курил сейчас на перроне, сплевывая в сторону примятого дождем цветника и поглядывая на прыгающую стрелку вокзальных часов, они оба словно забыли. Они отдышали от него, как и он, может быть, отдышал от них.

— Береги себя,— сказал доктор.— Ты мне обещаешь?

Сероглазая женщина с усталым лицом согласно кивнула ему в ответ.

— Ты должна помнить, что мы с мамой тебя очень любим...

Лида снова кивнула. Чем еще мог он, старый и немощный, защитить ее от житейских бурь, как не этими немногими словами?.. И не затем ли, чтобы услышать эти слова, приезжают они сюда все трое?

— Ты наш медпункт,— сказала Лида.— Медпункт на вокзале... Ты и мама...

Фирменный сорок седьмой прибыл, как всегда, минута в минуту.

И вот уже вновь замелькали голубые вагоны — черноморе, черноморе, черноморе. У доктора зарябило в глазах.

В поезде было душно от нагретого за день железа. До конечной станции езды оставалось три часа, и пассажиры негромко, лениво переговаривались, как люди, все уже обсудившие. Многие говорили с привычной для уха северной интонацией — тоже ехали отдыхать по профсоюзным путевкам.

— Лидия Ивановна, — позвал Сева. — Чай носят...

Она сердилась, когда он называл ее по отчеству, как бы подчеркивая этим, что моложе ее на пять лет. И сейчас она не ответила. Но не потому.

За окном, поглощаемый скоростью и темнотой, проносился осенний пейзаж ее детства. Белые подсиненные мазанки, ядра тыкв и уже без початков, как разоруженное войско, стебли кукурузы. В детстве этот пейзаж почему-то всегда напоминал ей страницы романа «Война и мир».

— Лидия Ивановна, на тебя брать?..

Все решилось как-то само собой. Она знала, что это бесповоротно. Но грусти не было. Напротив, какое-то облегчение.

И она думала о нем уже в прошедшем времени: «А он был ничего, славный парень, этот незаменимый Прошин...»



О ЧЕ Р К И И А Ш И Х Д Н Е Й

ЗИЛ — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВАЛЕРИЙ ДЖАЛАГОНИЯ



ЭСТАФЕТА

1. ИСПЫТАТЕЛИ

Белый пластмассовый плем, лихо сдвинутый на затылок, придает моему соседу по кабине Володе Пронину неожиданное сходство с хоккеистом. Я невольно прикидываю, как смотрелся бы он на ледяной арене, и нахожу, что вполне. Крепко сбитый, крутоплечий, с сильными, уверенными руками, Володя, несомненно, из породы настоящих мужчин, о которых любят петь мужественными голосами эстрадные баритоны.

Но настоящие мужчины, надо заметить, не только в хоккее ипрают. В век НТР стабильный спрос на них наблюдается и в сферах, довольно далеко отстоящих от спортивных и концертных площадок, в частности на испытательных автополигонах. День, который я провел на одном из них в подмосковном городе Дмитрове, убедил меня в этом в полной мере.

На автополигон НАМИ (так сокращенно именуется учреждение с труднопроизносимым названием Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) меня прихватили с собой зиловцы. До этого я несколько дней провел на заводе Лихачева, собирая материал для очерка о связях флагмана советского автомобилестроения с самым молодым, а в недалеком будущем и самым крупным предприятием отрасли — КамАЗом.

Материала оказалось невпроворот, поскольку камский большегруз — кровное детище зиловцев в самом прямом и точном смысле этого слова. Московские автозаводцы и конструкцию грузовика создавали, и технологические процессы для КамАЗа разрабатывали, и кадры готовили. В общем, не поскупились — сделали для камского комплекса все что смогли, а зиловцы умеют многое, в автомобилестроении — практически все.

Блокноты мои распухали как на дрожжах, а вместе с ними понемногу стала пухнуть и голова. Есть такой термин — сатурация: перенасыщенность информацией, накопление ее в таком количестве, которое физически усвоено быть уже не может, избыток попросту выпадает в осадок. Нечто подобное произошло и со мной. И тогда зиловцы, проявив проницательность и чувство такта, предложили мне развеяться, съездить за город на автополигон природой полюбоваться, а заодно посмотреть, как автомобили испытывают. Благо в эту пору в Дмитрове продолжали обкатывать опытные образцы камского автомобильного семейства...

Мы едем с Володей Прониным, водителем-испытателем с ЗИЛа, до великолепной автострады, а вокруг — лесная сказка: вековая дубрава, припорошенная ранним снегом, ели в обнимку с березами.

Комфортабельная кабина «КамАЗа», снабженная упругой подвеской, мягко пружинит на спусках и подъемах, но защитный шлем — тот самый, хоккейный — для испытателя обязателен. Профессия эта серьезная, и запас надежности для нее столь же необходим, что и для самого автомобиля. Драматичным напоминанием об этом стала сцена, которую я наблюдал здесь же, на полигоне. На моих глазах «Волга» разогналась до сумасшедшей скорости и врзалась в стовой бетонный куб.

Я хорошо сознавал, что аварию эту организовали по заказу и за рулем машины вместо шофера сидел манекен — некое подобие пластмассового камикадзе. Но все равно это было жутковато: удар, звон стекла, стон металла — и все кончено! Авторы эксперимента сразу же стали азартно рыться в том, что еще недавно было машиной. Смоделировав дорожно-транспортное происшествие, они теперь долго будут изучать в лаборатории, насколько отвечает требованиям безопасности каждый узел сокрушенного ими же автомобиля. Машины показательно разбивают не часто — удовольствие это дорогое, — и поглядеть на столь редкое зрелище собрался народ со всего полигона. Были в толпе и шоферы. Они эстетически смотрели на останки автомобиля, и в глазах их угадывалось потаенное «чур меня!».

— Не зевай! Для шофера, а особенно для нашего брата-испытателя это первая заповедь, — говорит Володя Пронин, мысли которого, видимо, тоже бродят где-то рядом с искореженным автомобилем. И он рассказывает мне историю, полную драматизма и назидания: — Вот на этом же кольце дело было. Накручивал один бедолага круг за кругом — программу по ресурсу отработывал. Дорога, сами видите, гладкая, скорость ровная, внимание напрягать не приходится. Вот он и задремал на мгновение. Очнулся, когда уже на дереве висел вместе с кабиной — в полете зацепился. А прочие фрагменты — кувыркот под откос, он их только взглядом проводить успел..

Чтобы не разочаровывать рассказчика, я скрыл от него, что уже слышал эту историю — легенду полигона с ярко выраженным воспитательным подтекстом. Вообще пока мы добирались от Москвы до Дмитрова, я выслушал массу поучительных историй и пришел к выводу, что автомобильный фольклор ничуть не уступает охотничьему. Не берусь судить, каково в нем среднестатистическое соотношение исторической правды и художественного вымысла, но то, что в каждой притче по-своему преломился коллективный опыт широких автомобильных масс, лично для меня несомненно..

Справа на обочине на электронном табло вспыхнула цифра: «77 км/час». Это средняя скорость, с которой проходит четырнадцатикилометровое кольцо скоростной испытательной дороги наша машина, вернее целый автопоезд — седельный тягач с полуприцепом. Работяге «КамАЗу» холостые рейсы противопоказаны, поэтому на платформе у нас за спиной уложены рядками и обшиты сверху досками чугунные чушки — имитация груза, с которым машина не расстанется до самого конца испытаний.

— Держимся в графике, — удовлетворенно констатирует Пронин. — Отличная, доложу я вам, машина «КамАЗ». Тянет двадцатитонный полуприцеп да в самом тягаче двенадцать тонн, а ход плавный, подъем без переключения скоростей проходим.

Слева прошуршали шины, и мимо нас промчалась «Чайка», распластанная на бетонке скоростью. Должно быть, новая модель.

— Сколько же у нее на спидометре?

— Если наш большегруз под девяносто ходит, то «Чайка» за двести. Здесь, на скоростной трассе, можно до двухсот двадцати километров в час выжимать, и ни один инспектор вдогон не наладится. Автомобильный рай! — усмехается Володя.

Приняв его терминологию, зрелище, открывающееся сверху в момент, когда бетонка пробегает по путепроводу над лентой расхристанного шоссе, по справедливости должно быть названо автомобильным адом. В самом деле, такая дорога, наверное, преследует шоферов в ночных кошмарах: сплошные ухабы да топкая трясина. Строители автополигона сконструировали их виртуозно, вложив в свой труд не только инженерные познания, но и фантазию довольно мрачного толка. То, что они сотворили, в перечне испытательных магистралей бесстрастно именуется «тяжелой грунтовой дорогой». На ней держат экзамен автомобили повышенной проходимости.

Я смотрю сверху на машины, «до бровей» облепленные грязью, и не без труда угадываю знакомый силуэт «КамАЗа».

— Тоже наши зиловцы горбят, — говорит Володя и, сам того не замечая, напрягает плечи, словно это именно ему приходится сейчас вытягивать машину из глинястой топи. — «КамАЗ» шесть на шесть работают.

В переводе с языка автомобильного на общедоступный это означает, что там, внизу, испытывается автомобиль полноприводной, все шесть колес — ведущие.

На полигон колонна этих «КамАЗов» прибыла сразу после испытательного пробега по Средней Азии и Памиру. Позднее я беседовал с участниками трансасиатского рейда,

сохранившимися на лицах бронзу южного загара, в заснеженном Подмоскowie он смотрелся весьма экзотично. Мнение водителей единодушно: «В Каракумах было полегче».

— Володя, а как по-вашему — что в работе испытателя самое трудное?

Пронин — кадровый зиловец. С баранкой почти двадцать лет не расстается, многим новым машинам помог встать на ноги, а точнее — на колеса, в испытаниях «КамАЗа» тоже с первого дня участвует. Опыта ему не занимать, но с ответом Володя не спешит, взвешивает.

— Наверное, все трудно, потому что ответственно. Одно сознание, что ведешь машину, на которой до тебя никто не ездил, чего стоит. Над ее конструкцией сотни, а может, тысячи людей голову ломали, а потом они вручают тебе ключ зажигания и говорят: «Давай, друг, проверь-ка, что у нас получилось»... В таком деле мелочей нет и быть не может, все важно и требует полной выкладки. Поэтому мы с «КамАЗом» день одинаково начинаем: он с поста экспресс-диагностики, где ему каждый узел прощупают, я — с медконтроля. На здоровье — чтоб не сглазить — никогда не жаловался, а давление мне измеряют чаще, чем какому-нибудь хроннику-гипертонику. А если интерес имеете, какая из дорог на полигоне самая трудная, советую лично по ним попрыгать. Попросите наших ребят — устроят. Я бы сам свозил вас в кругосветку, да с кольца мне ни на шаг: график железный, за смену пятьсот км должен привезти...

Я воспользовался советом Пронина. Зиловцы выделили мне старенький автобустехничку, который на подхвате у испытателей, и, посмеиваясь, пожелали счастливого пути.

Кругосветка не кругосветка, но, путешествуя по полигону, словно бегло листаясь страницы дорожного атласа. Девяносто шесть километров испытательных трасс в Дмитрове с педантичной точностью воспроизводят все мыслимые дорожные условия, да еще сверх комплекта припасают условия заведомо немислимые. Скажем, трек со сменными препятствиями — в природе такого не встретишь, и слава богу! Загонят в гнезда в шахматном порядке выпуклые стальные бруски и пустят по ним машину. «Экзекуция» эта называется форсированным прочностным испытанием несущих систем автомобиля. Пока он, бедняга, проковыляет по брускам, переваливаясь с боку на бок и отчаянно громыхая, у него буквально все фибра выломает.

— Трек пропускаем, на нем наша старушка на запчасти рассыплется, — сказал шофер технички, и я согласился чуть более поспешно, чем это требовалось.

Впрочем, острых ощущений впереди было предостаточно. Мы въехали на булыжную дорогу, и моя авторучка, словно перо сейсмографа, зафиксировала это в блокноте замысловатой кривой. Я захопнул блокнот, но этой меры предосторожности было уже недостаточно. Теперь мы ехали по булыжнику, как позднее мне объяснили знатоки, с нерегулярно расположенными неровностями, да еще и синусоидального профиля. Все эти технические премудрости понадобились для того, чтобы воспроизвести на полигоне элементарную булыжную дорогу в разбитом состоянии. Мы проехали на ней всего несколько секунд, и все это время я боролся с желанием в такт подскокам выкрикнуть лозунг, с которым некогда Остап Бендер обратился с борта незабвенной «Антилопы» к общественности города Удоева. Помните? Насчет того, чтобы ударить по бездорожью и разгильдяйству.

В окаменелом состоянии я послушно подпрыгивал на сиденье, пока автобус бочком, осторожно забираясь на дорогу, развернутую техническую характеристику которой заменяет на редкость точное и емкое название «стиральная доска».

А вот, не покидая Подмоскovie, прокатиться по Кавказу было приятно. Так на полигоне называют показательный участок горной дороги, серпантинные пегли которой действительно заставляют вспомнить крутые виражи Черноморского побережья: на два километра пути 25 углов поворота!

Потом для контраста мы с ветерком промчались по абсолютно прямой и безупречно горизонтальной — триумф геометрии! — динамометрической дороге. Здесь в идеальных автодорожных условиях, какие в природе не встретишь, проводятся исследования тягово-скоростных качеств автомобиля.

На этом наше кругосветное путешествие завершилось. Хотя мы едва ли объехали и половину полигонных путей-дорог, я почувствовал, что пора ставить точку. Если

любопытность моя была удовлетворена еще не полностью, то силы заметно прибавились: стиральная доска да всяческий булыжник их основательно порастрясли.

— Хорошо живете: чуть притомился — с дистанции долой, — добродушно иронизируют зиловцы. — А вот мы ни себе, ни «КамАЗам» передышки не позволяем. По каждой из дорог будь добр полную программу откатай, иначе как узнаешь, на что машина способна?

Мы сидим в штаб-квартире зиловцев в Дмитрове, и они совместными усилиями посвящают меня в сложную кухню полигонных испытаний автомобиля.

— Сейчас чай вам организую! — кричит через три комнаты из кухни, на этот раз вполне реальной, молодой зиловский инженер Олег Новиков.

Группа испытателей, обкатывающих тот самый седельный тягач, на котором я сегодня поездил, занимает четырехкомнатную квартиру в обычном пятиэтажном доме жилой зоны Дмитрова. Обосновались они здесь капитально, с комфортом, оптимальным для мужчин, которые уже девять месяцев оторваны от семей и будут оторваны еще месяца три.

«Мы в командировке» — оповещает плакат, вывешенный в комнате, где мы сейчас чаевничаем. На нем наклеены фотокадры — документальный отчет 12 испытателей с ЗИЛа о том, чем они занимаются на полигоне. Суть этих занятий сжато выражена в подписи к снимкам: «КамАЗ» 54102: ресурс». Над дверным пролетом — плакат побольше, с мобилизующим призывом: «КамАЗ»: шире дорогу новой технике! Наглядная агитация — дело рук Алеши Бакшеева, водителя-испытателя по профессии и художника-оформителя в порядке общественной нагрузки. Общественная жизнь в находящейся на выезде ячейке многотысячного коллектива завода имени Лихачева протекает в нормальном рабочем ритме, в полном соответствии с традициями зиловцев. Регулярно собирается партгруппа, проводятся комсомольские собрания, есть план культурных мероприятий, ведется политинформация.

— Наша задача — проверить ходимость машины, — поясняет руководитель испытаний Владимир Назаров, инженер тоже очень молодой, которого и сейчас нетрудно принять за студента. Почувствовав, что для непрофессионала такого толкования, пожалуй, недостаточно, добавил: — То есть до победного конца автомобиль гонять будем, до капремонта. Сколько машина пробежать сможет — это и есть ее ресурс.

Зиловцы работают в жестком графике. Для первой смены подъем в 6.00, в семь испытатель уже за рулем. Рабочий день кончается в шестнадцать, а за полчаса до этого — некий стыковочный задел — на кольцо выезжает вторая смена, ей рулить до часу ночи. График предусматривает и третью смену, чисто ночную, она вводится по мере необходимости: с нуля до 7.30.

— Некоторые считают, что скоростное кольцо — это семечки, — говорит Олег Новиков. Он в группе за старшего контролера. — Но мы от водителей требуем: час на кольце поработал, десять минут отдыхай — разомнись, в машину загляни, в общем, расслабься, стресс сними. А то кольцо — штука коварная. Знаете, был однажды такой случай...

И я в третий раз безропотно выслушиваю историю про непутевого шофера, который задремал за рулем, и что из этого вышло.

Ну а если говорить серьезно о делах сутубо серьезных, знакомство с зиловскими испытателями, которых я наблюдал и в работе и в недолгие часы бивачного досуга, помогло мне составить некоторое представление о том, какой это тяжелый хлеб — испытание автомобиля. Чем больше я узнавал, тем большим уважением проникался к людям, для которых вся эта нескончаемая колея испытательных дорог — сознательно выбранный жизненный путь. И еще я подумал, что испытание — это, наверное, процесс двусторонний. Человек испытывает автомобиль, а автомобиль испытывает человека. И еще неизвестно, кому это испытание легче выдержать. Наверное, все-таки автомобилю. Он железный....

Но и ему, будем, люди, справедливы, приходится ох как нелегко! Полигон — только один из этапов испытания новой автомашины. Прежде чем встать на конвейер, ей придется поработать и в реальных дорожных условиях по всей территории нашей очень просторной страны. Именно поработать, потому что составная часть заводской испытательной программы — испытания эксплуатационные: работа в автохозяй-

ствах на равных с серийными машинами. Впрочем, какое там равенство! Для опытных автомобилей выбираются рейсы, которые подальше и посложней.

Проверят по полному кругу одну серию образцов, что-то подправят в конструкции, что-то улучшат и новую серию закладывают. За первой — вторую, за второй — третью. Когда, казалось бы, все многократно проверено, выверено и найден оптимальный вариант, начинается самое главное: изготавливается четвертая серия опытных машин и они передаются на приемочные межведомственные испытания.

На ЗИЛе мне показали четыре толстенных тома в коленкорových переплетах. Все это был протокол, один-единственный (!), межведомственных испытаний образцов первого автомобильного семейства «КамАЗов» и акт об их приемке, скрепленный 23 подписями самых крупных в Советском Союзе специалистов автомобильного дела.

— Да это целая автомобильная эпопея, — говорит Ким Маркович Штаркман. Инженер-исследователь бюро по испытанию и доводке большегрузных автомобилей, иными словами «КамАЗов», он был моим главным гидом во время поездки в Дмитров, внимательным и терпеливым. — Попробуйте представить себе все это. Позади остались четыре года заводских испытаний. Конструкцию камского большегруза зилевцы буквально вылизали, и она им, к чему скрывать, нравится. Но это, так сказать, авторский, в чем-то, возможно, и пристрастный взгляд. И вот мы изготавливаем семь опытных образцов «КамАЗов» различных модификаций и передаем их на заключение людям беспристрастным — межведомственной комиссии: судите сами и оценивайте...

И они судили. Целый год.

Общий пробег «КамАЗов» за время межведомственных испытаний составил 50 тысяч километров. Этого больше чем достаточно, чтобы опоясать по экватору земной шар. Где только не побывала колонна камских тягачей — Сибирь и Крым, Кавказ и Средняя Азия... Машины гоняли при температуре плюс 43 в тени и минус 31. Куда, казалось бы, дальше? А нашли и подальше: загнали грузовики в холодильную камеру, где минус 50 получить можно, и при этом немислимом морозе, от которого даже металл постанывает, продолжали четко, пункт за пунктом выполнять программу. Спешка, пожалуй, самый опасный враг испытаний.

Словно для того, чтобы обострить и без того достаточно напряженный сюжет автомобильных испытаний, на арену для соревнования с «КамАЗом» был выпущен соперник — грузовой автомобиль «мерседес-бенц», по мнению специалистов, наиболее близкий зарубежный аналог камской машины. И побежали они по дорогам рядом — «КамАЗ» и именовый иностранец...

— Ну и кто кого?

— Испытательные трассы — это не боксерский ринг, — отвечает мне Штаркман. — Просто мы сочли полезным получить сравнительные данные по некоторым параметрам, прикинуть, как будет смотреться «КамАЗ» с позиций мировых автомобильных стандартов. Оказалось, что смотрится очень недурно. «Мерседес-бенц» — фирма первоклассная, ее автомобили пользуются заслуженной славой во всем мире. Тем приятнее было убедиться на столь авторитетном примере, что новый советский грузовик конкуренции не боится...

Это подтвердила и межведомственная комиссия, которая в своем заключении отнесла конструкцию основного семейства большегрузных автомобилей «КамАЗ» к высшей категории качества.

Но поведа рассказ об испытаниях «КамАЗов», мы изрядно забежали вперед. Давайте теперь вернемся к самому началу и, уже зная, как испытывается новый автомобиль, посмотрим, как он создавался.

2. КАК РОЖДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ

Истории наших дней известен такой случай. Перед заседанием административного совета в одной из крупных западных фирм ужесточили систему охраны промышленных секретов: предстояло обсуждение вопроса о переходе на новую технологию производства. Все правила безопасности были соблюдены, однако участники «тайной вечери» вскоре с прискорбием обнаружили, что утечка все же произошла. Хитроумные конкуренты подкупили личного портного одного из членов администра-

тивного совета компании, и тот вшил в подкладку его пиджака миниатюрный радиопередатчик. Ничего не подозревающий администратор, явившийся на совет в новом элегантном костюме, в течение всего сверхсекретного заседания с добросовестностью радиомачты вел трансляцию непосредственно на магнитофоны конкурирующей фирмы.

Вспору подумать, что история эта заимствована из бульварного детектива. Однако это было, наглядная иллюстрация нравов, царящих в мире пресловутого «свободного предпринимательства».

Самое широкое распространение получил промышленный шпионаж и в капиталистическом автомобилестроении. По авторитетному свидетельству американского журнала «Форчун», издающегося специально для деловых кругов, отделы промышленного шпионажа имеют такие знаменитые автомобильные фирмы, как американские «Форд» и «Американ моторз», французская «Ситроен», западногерманская «Фольксваген» и большинство других лидеров автомобильной промышленности Запада. Существует точная статистика: в течение пяти лет, с 1965 по 1969 год, только четыре названные выше фирмы вложили в организацию промышленного шпионажа свыше 200 миллионов долларов. Ассигнования немалые, но дивиденды оказались еще выше. Каждый доллар, затраченный на кражу чужих технических тайн, обеспечил 10 долларов чистой прибыли (вот только не знаю, уместно ли здесь это слово «чистая»).

Эти истории пришли мне на память в момент, когда зилковские конструкторы, между прочим тоже представители крупной автомобильной фирмы, увлеченно рассказывали, как они ломали голову, чтобы сделать в оптимальном варианте машину для фирмы другой, еще только создающейся,— КамАЗа. Конечно же, я далек от мысли проводить параллели, хотя бы и по закону контраста. Жестокая, не ведающая запрещенных приемов конкурентная борьба в сфере капиталистического бизнеса и деловая взаимопомощь как одна из основ развития социалистического производства — не будем сравнивать вещи заведомо несравнимые. Просто возьмем их себе на заметку как нечто, не требующее комментария.

Что же касается вполне обычного для нашей жизни факта помощи ЗИЛа, флагмана советского автомобилестроения (на то он, к слову сказать, и флагман, чтобы помогать), своему младшему брату на Каме, то здесь меня заинтересовало и даже взволновало одно обстоятельство. В Набережных Челнах я как-то услышал от камазовцев фразу, запавшую в душу: «ЗИЛ отдал нам свою перспективу». Конечно, подразумевалась не перспектива вообще в смысле вида на будущее, а более узкое толкование этого понятия как некоего задела конструкторских прикидок, перспективных разработок, без чего инженерное творчество невозможно.

— Конструктор всегда должен жить, чуть опережая время,— сказал мне Всеволод Авенирович Вязьмин.— Пока с конвейера сходили серийные «ЗИЛы», мы думали о машине новой, более производительной и совершенной, которая вобрала бы в себя все лучшее, что есть в мировом грузовом автомобилестроении, и сама стала новым в нем словом. Мы создали такую машину, но называется она не «ЗИЛ», а «КамАЗ»...

Вязьмин возглавлял на ЗИЛе бюро перспективного проектирования, а когда началась работа над «КамАЗом», вся его конструкторская команда во главе с шефом образовала новое подразделение: конструкторское бюро большегрузных автомобилей. По табличке с этим названием я и отыскал штаб «московских камазовцев» в бесконечных коридорах конструкторских служб ЗИЛа.

Всеволод Авенирович достал со стеллажа макет грузовика, очень похожий на те, что продаются в «Детском мире».

— Что это вам напоминает?

Про ассоциацию с секцией игрушек я благо разумно умолчал. Вгляделся внимательней: да это же «КамАЗ»! Впрочем, нет: в чем-то похож, а в чем-то другой. Знаете, как это бывает, когда разглядываешь фотографии в семейном альбоме: фамильное сходство проступает, но люди-то разные и поколения другие.

— Это макетная прикидка трехосного грузовика с кабиной над двигателем, опытный образец которого мы изготовили в шестьдесят восьмом году, а в шестьдесят девятом начали испытывать,— поясняет Вязьмин.— Думали, что со временем из этой модели получится «ЗИЛ-170». Но как раз в ту пору наш завод решением правитель-

ства был утвержден главным разработчиком семейства новых грузовых автомобилей, и мы начали работу над «КамАЗом» с этой перспективной модели, отдали камскому проекту свой конструкторский задел.

— И не жалко было?

Слова, наверное, были неточными, но подумалось вот о чем: работа над конструкцией камского большегруза ни в коей мере не отменяла необходимости создавать новые модели зиловских грузовиков. Народному хозяйству страны наряду с будущими «КамАЗами» нужны и новые «ЗИЛы», которые никто, кроме самих зиловцев, не создаст. А конструкторы московского автозавода отдают свои в муках творчества родившиеся идеи, свои технические озарения «на сторону».

— У нас, зиловских конструкторов,— отвечает Вязьмин,— ни сомнений, ни сожалений не было. Напротив, мы считали крупной удачей, что работу приходится начинать не с нуля. Есть некая основа, пусть самая общая, есть эмбрион, из которого должно прорасти конструкторское решение. Это значит, что страна получит новый грузовик скорее. А какая марка будет укреплена на его радиаторе — «ЗИЛ» или «КамАЗ», это уже не столь важно, в любом случае марка наша, советская.

Позднее к этой же теме мы вернулись, беседуя с Анатолием Маврикиевичем Кригером, главным конструктором ЗИЛа по автомобилестроению.

— Каждый зиловец от станочника до генерального директора считал, что нам оказано большое доверие,— сказал он.— Проекта, подобного камскому, история отечественного автомобилестроения не знала, и то, что главным разработчиком утвердили завод имени Лихачева, было решением абсолютно верным, я бы сказал — оптимальным. Не играя в ложную скромность, мы понимали, что никто не смог бы справиться с этой задачей лучше, чем ЗИЛ с его огромным опытом, высококвалифицированным и, что не менее важно, хорошо сработавшимся коллективом. Государственные интересы требовали, чтобы ЗИЛ отдал свои лучшие кадры работе над созданием семейства камских большегрузов, и это обстоятельство было решающим. В личном же плане — говорю об этом как профессионал — все участники проекта «КамАЗ» испытали творческую радость и работали просто упоенно. Идеи, которые мы заложили в проект, нельзя было реализовать ни на одном из существующих автомобильных заводов, в том числе и на ЗИЛе. Для этого было необходимо принципиально новое производство, и оно создано в Набережных Челнах. Я прожил долгую жизнь в автомобильной промышленности и рад, что смог принять личное участие в камской эпопее, которая, уверен в этом абсолютно, займет достойное место в учебниках по автомобилестроению...

В устах Кригера это звучит убедительно. Он сам автор не одного труда по автомобильному делу и сам — живая его история.

Автомобили Анатолий Маврикиевич строит сорок четыре года, с того дня, как по окончании Московского автотранспортного института в числе 55 молодых специалистов решением наркомтяжпрома Г. К. Орджоникидзе был направлен на Горьковский автозавод, в ту пору только-только пущенный. Работал рядовым конструктором, потом начальником конструкторского бюро, заместителем главного. Главным стал на Кутаисском автомобильном. С пятьдесят четвертого года в той же должности на ЗИЛе.

Участвовал в создании более 25 автомашин — грузовиков и легковушек. В войну строил танки и самоходки. Свою первую Государственную премию получил тоже за боевую машину — в сорок третьем за усовершенствование конструкции танка. Второй раз лауреатом стал вместе с группой горьковчан за создание грузового автомобиля «ГАЗ-51», а в третий — уже в Москве за «ЗИЛ-130». Между прочим, эта отличная и надежная машина, до сих пор исправно несущая службу на дорогах, была первым советским грузовиком, отмеченным знаком качества.

Практическую конструкторскую работу Кригер совмещает с научной и педагогической. Он доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, заведует кафедрой зилковского завода-втуза. Откуда берется у него время на все это, судить не берусь. Знаю только, что на ЗИЛе о Кригере ходят легенды. Никому толком не известно, когда у Анатолия Маврикиевича кончается рабочий день, потому что из отдела главного конструктора — а это две тысячи работников — он уходит последним. Вернее, не уходит, а уезжает: за рулем всегда сам сидит, а шофер рядом пас-

сажиром, чтобы потом отогнать машину в гараж. Утром он ее подкатывает к подъезду и, не дожидаясь появления Кригера, опять перебирается на сиденье справа.

И еще я слышал множество историй о фанатичной точности главного, в чем, кстати сказать, имел возможность убедиться лично.

Когда я попросил в парткоме устроить встречу с Кригером, ответ был не слишком обнадеживающим: намекнули, что успех будет зависеть от моей личной приемчивости.

— Что, труднодоступен? — спросил я с пониманием.

— Не то что трудно, а должность такая — главный конструктор. Вечно занят.

Однако, против ожидания, Анатолий Маврикиевич назначил встречу по первому же звонку на пятнадцать часов. В 14.50 я уже был в приемной, узнал, что Кригера нет, но о встрече он помнит — звонил. В 14.59 входная дверь рывком распахнулась. Кригер, стройный, стремительный, с густой сединой контрастируют молодые, очень синие глаза, на ходу пожал руку и сделал приглашающий жест: прошу.

Анатолий Маврикиевич говорил четко, лаконично, на вопросы отвечал, ни разу не заглянув в бумаги. Ни разу не посмотрел он и на часы.

— Автогигант в Набережных Челнах строила вся страна. На него работали десятки научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, пять тысяч промышленных предприятий. Я напоминаю об этих широкоизвестных фактах, чтобы у вас не создалось впечатление, будто «КамАЗ» целиком создан зиловцами. Если говорить конкретно о нашей службе, конструкторской, то ее вклад в камский проект — разработка конструкции «КамАЗа», изготовление опытных образцов всей гаммы камских грузовиков (на сегодня пятнадцать модификаций), их испытание и доводка. И последнее уточнение: двигатель «КамАЗа», кстати сказать отличный, создан Ярославским моторным заводом...

Кригер сделал паузу, глянул, записал ли я его слова, и только после этого продолжил рассказ. Я уже не раз замечал, что, говоря о своем участии в камской программе, зиловцы, отнюдь не педанты, стремятся к скрупулезной точности. Это не игра в ту самую скромность, что паче гордости, а проявление уважения к труду коллег со стороны людей, хорошо знающих ему цену.

— Работа над «КамАЗом» велась темпами, ускоренными до предела. И ритм труда во многом зависел от нас, конструкторов. Поскольку проектирование заводов камского комплекса, их строительство и разработка конструкции грузовика велись одновременно, мы стремились возможно скорей выдать всю необходимую информацию партнерам. Ведь весь самый сложный процесс развертывания автомобильного производства привязан к конструкции машины, определяется ею. Обычно заказ на оборудование передается лишь после всесторонней проверки опытных образцов нового автомобиля. Мы же первую документацию на заказ оборудования для Камы выдали одновременно с передачей чертежей в экспериментальный цех, где по ним должны были изготовить первый, самый первый «КамАЗ».

Был ли в этом риск? Конечно. Но риск без права на ошибку. Ведь речь шла о размещении крупномасштабных заказов, в том числе и за рубежом, с оплатой в свободно конвертируемой валюте. Даже незначительный технический просчет мог стоить очень дорого. Лишь полная уверенность в правильности избранного пути дала нам право сказать: заказывайте! Автомобиль еще в чертежах, но мы знаем, каким он будет.

В итоге — огромный выигрыш во времени. В 1971 году строители в Набережных Челнах еще только начали возводить корпуса, а зиловцы уже готовили к испытаниям первый образец камского большегруза. А еще через пять лет — срок рекордный! — в феврале 1976 года, к открытию XXV съезда КПСС, с главного конвейера КамАЗа сошел первый серийный грузовик...

Здесь я позволю себе сделать небольшое отступление.

Цвет для машины далеко не главное. При работе конвейера в Набережных Челнах на полную мощность его будет определять компьютер. Своей властью он станет чередовать серии машин голубых, оранжевых, желтых, зеленых — по каталогу. Но цвет камского первенца определили люди. «КамАЗ» с порядковым номером 0000001 было единодушно решено сделать красным. Цвета революции. Цвета первого

советского автомобиля, собранного в 1924 году на заводе АМО, как назывался в ту пору нынешний ЗИЛ.

Так сквозь десятилетия протянулась красная нить эстафеты от скромного полоторатонного грузовика «АМО-Ф-15», ознаменовавшего собой рождение советского автомобилестроения, до могучего красавца «КамАЗа», словно материализовавшего те высокие рубежи, на которые оно вышло.

«Рабочий-хозяин строит автомобиль, которого не было у капиталиста-хозяина!» — такой плакат с гордостью, которую я не позволю себе назвать наивной, укрепили амонцы на своем железном детиче, снаряжая его на Красную площадь, на октябрьскую демонстрацию. Могли ли они тогда предвидеть, как широко и мощно разольется автомобильная река, взявшая начало в полукустарных мастерских Автомобильного московского общества? Думаю, что могли. Потому что эта река — плод не только рук и воли, но и революционного предвидения рабочего-хозяина, его классовой мечты.

И глубоко символично, что боевой авангард советского рабочего класса — московские автозаводцы сопричастны с обоими этими свершениями, разделенными во времени полувеком, но находящимися на одной прямой — на красной линии истории...

А теперь вернемся в день сегодняшний, в кабинет главного конструктора ЗИЛа.

— Выбор конструкции «КамАЗа», — продолжает Кригер, — был определен задачей, поставленной перед нами, — создать большегрузный дизельный автомобиль, пригодный для работы по всей сети дорог общего пользования. А в общей дорожной сети у нас пока, к сожалению, преобладают дороги с максимальной допустимой осевой нагрузкой не более шести тонн. Поэтому для базовой модели мы остановились на такой конструкторской схеме: четыре колеса ведущие, грузоподъемность восемь тонн, с прицепом — до шестнадцати — двадцати тонн. Другая сторона проблемы, которую было необходимо учесть: массовое производство — сто пятьдесят тысяч автомобилей в год, больше, чем когда-либо и где-либо выпускалось. Значит, машина должна быть хорошо скомпонованной, удобной в сборке. Имея неплохую конструкторскую прикидку — опытный образец «ЗИЛ-170», мы с поставленной задачей справились в сжатые сроки. Разумеется, «сто семидесятый» был всего лишь прототипом «КамАЗа», от которого мы ушли очень далеко.

— Как встретили машину водители?

Анатолий Маврикиевич улыбается.

— Новую модель у нас, как правило, встречают не то чтобы недоброжелательно, но с некоторой опаской, усугубленной сентиментальными воспоминаниями о прошлом. Помню, когда мы в Горьком сделали «Победу», шоферы сначала скептически хмыкали: «Что это за машина? То ли дело «эмка»!» А потом отдали «Победу» свои сердца и говорили уже о «Волге»: «Разве это машина? Вот «Победа» была машина!» Так вот: о «КамАЗе» речей в подобном ключе не было — приняли сразу. Да и сравнивать его, сказать по правде, не с чем. Не говоря уж о чисто технических характеристиках машины, тот уровень комфорта и удобства управления, который обеспечен водителям «КамАЗа», аналогов в прошлом не имеет.

— Значит, теперь нам плохие дороги не страшны? — спрашиваю я не без коварства.

— Плохая дорога — враг машины, а в век НТР еще и непростительный анахронизм! — вскидывается неизменно хладнокровный Кригер. — Знаете, временами ведутся совершенно схоластические споры: что рентабельнее — строить хорошие дороги или строить машины, способные ходить по плохим! Абсурдная постановка вопроса! Конечно, при огромной территории нашей страны, бесконечном разнообразии ее рельефа и явной нехватке классных дорог нам нужны машины с высокой проходимостью. Мы энергично осваиваем Восток, Крайний Север, создаем индустриальные центры посреди тайги и пустыни. Нельзя простаивать в ожидании, пока там появятся бетонные автострады. Но абсолютно недопустимо считать, что копей скоро с конвейера в Челнах будет сходиться по сто пятьдесят тысяч «КамАЗов» в год, с хорошими дорогами можно не спешить. Автомобиль не должен тратить свою полезную мощность на борьбу с дорогой, это неэкономично. Ее следует расходовать на достижение главной цели, ради которой был изобретен грузовой автомобиль: перевозить возможно больше груза в возможно более короткие сроки. Советский автомобиль, бесспорно, должен быть на

уровне лучших мировых образцов, но и дороги, по которым он ездит, не в меньшей степени. Это две взаимосвязанные, более того — нерасторжимые стороны одной проблемы,— заключает Кригер с такой убежденностью, что чувствуется: это его кредо.

Мысль, высказанная Кригером, представляется настолько бесспорной, что трудно, наверное, отыскать людей, которые пожелали бы ей оппонировать. Но вот что удивительно: сколько еще существует на свете бесспорных истин, правота которых охотно признается всеми, а проводить их в жизнь почему-то не спешат. Почему?..

Но не будем растекаться мыслью по древу. Ближе к теме.

Вот что еще меня занимало: камский большегруз родился на кульманах отдела главного конструктора ЗИЛа, а что делала в это время конструкторская служба самого КамАЗа?

— Она в ту пору только складывалась, ведь не один грузовик — весь камский комплекс заводов существовал тогда в чертежах,— поясняет Анатолий Маврикийевич.— Большинство конструкторов КамАЗа, люди по преимуществу молодые, поочередно работали у нас, учились и, что, наверное, самое важное, впитывали дух конструкторского поиска. Ведь конструктором человека делает не вузовский диплом, а способность к творчеству, умение создавать новое, для этого же нет иного пути, как искать, искать, искать. Камские коллеги имели возможность подключаться к разработке конструкции на всех этапах работ. Вот тут, рядом со мной, через стенку,— Кригер показал на деревянную обшивку кабинета,— сидел Владимир Наумович Барун, главный конструктор КамАЗа, отличный знаток нашего нелегкого ремесла. Инженеры из Набережных Челнов работали и в агрегатных конструкторских бюро ЗИЛа, где создавались отдельные узлы «КамАЗа», и в бюро компоновочном — службе Вязьмина, откуда осуществлялась координация всех работ по камскому автомобильному семейству. Тем самым в процессе стажировки камазовцы как по цепочке прошли через все стадии рождения камского автомобиля, вжились в его конструкторский образ, а это бесценно. Как ни хороша конструкция «КамАЗа» в ее сегодняшнем виде, она должна развиваться, совершенствоваться с учетом перспектив развития мирового автомобилестроения. Заниматься этим будут уже сами камазовцы. В их руки мы передаем свое детище, свои конструкторские идеи, в которые вложили все, что знали и могли. И, естественно, мы лично заинтересованы в том, чтобы руки эти умели как можно больше. Если хотите, это проявление родительского эгоизма,— говорит Кригер, скрывая за шуткой проблему, которая не может не волновать.

На ЗИЛе я впервые услышал неуклюжее слово «калькодержатели» — некий лексический гибрид технического жаргона и суховатого языка юридических формул. Калькодержатели — это юридические владельцы чертежей, всех тех нескончаемых рулонов ватмана, свитков миллиметровой бумаги и кальки, из которых, словно птенец из скорлупы, вылупился и твердо оперся о землю тремя парами резиновых лап богатырь — новорожденный «КамАЗ».

Пока калькодержатели по камскому проекту — зиловцы. Без их авторской визы в чертежах, а следовательно, и в конструкции автомобиля не может быть изменен ни один штрих. Но это явление временное, вернее, переходное. После завершения испытаний и доводки всех образцов, составивших семью камских автомобилей, несколько контейнеров с чертежами будет переправлено в Набережные Челны. Сдать кальки, обменяться подписями и рукопожатиями — не просто протокольная процедура. Это продолжение той же эстафеты, о которой мы вспоминали, говоря о красном цветке камского первенца. Из рук в руки вместе с теплом своих ладоней передают ее московские автозаводцы коллегам из Набережных Челнов, о каждом из которых можно сказать — «выпускник зиловской школы».

Школа ЗИЛа! Много добрых слов услышал я о ней и в Челнах и здесь, в Москве, от тех же камазовцев, которые хорошо знают дорогу на завод имени Лихачева. Самое свежее впечатление — встреча с молодым конструктором Александром Тихоновым. Инженерный диплом он получил четыре года назад, окончив Челябинский политехнический институт по специальности автомобили и тракторы. Радовался, что повезло: попал в десятку, получившую назначение в Набережные Челны. КамАЗ для него, как и для многих других автомобилестроителей, начался в Москве с ЗИЛа, который был одним из центров формирования кадров для камского гиганта. Три года постигал он трудное

искусство испытаний и доводки автомобиля. Работал вместе с зиловцами на полигоне, ездил на «КамАЗах» по стране, приглядывался, учился.

Сейчас Саша прибыл в столицу как авторитетный представитель камской фирмы. Во многих автохозяйствах Подмосковья работают первые серийные «КамАЗы», и он ездит, смотрит хозяйским взглядом, как несут они службу, есть ли претензии у эксплуатационников, помогает наладить техуход.

— От зиловцев я узнал про автомобиль больше, чем из учебников. В автомобилестроении они боги,— говорит Тихонов.— Если бы нам удалось перенести культуру труда московских автозаводцев на КамАЗ с его самым высоким в отрасли уровнем технической оснащенности, эффект оказался бы огромным. Мы к этому стремимся и, надеюсь, придем.

3. ГДЕ КОНЧАЕТСЯ КОНВЕЙЕР

Так получилось, что до ЗИЛа я побывал в Набережных Челнах, походил и поездил по гигантским корпусам КамАЗа, с уважением и некоторой опаской поглядывая на не виданные никогда прежде автоматические линии и хитроумные агрегаты, рядом с которыми человека не всегда и разглядишь. Вся эта мощнейшая концентрация самой современной техники понадобилась для того, чтобы производить на свет камские большегрузы, те самые, первые образцы которых были изготовлены в экспериментальном цехе ЗИЛа. В нем я побывал уже после Камы и по контрасту был не менее ошеломлен простотой техники, с помощью которой создавались прародители династии «КамАЗов».

— Техника здесь ни при чем,— убежденно заявил заместитель начальника экспериментального цеха по опытному производству Николай Дмитриевич Овчинников.— Главное — руки, золотые руки наших рабочих. Вот вы все говорите: Левша, Левша. (Замечу в скобках, что про лесковского Левшу я и не поминал. Просто, видимо, в арсенале моего собеседника имелся такой наигранный полемический прием.) А по мне, блоху подковать куда легче, чем собрать вручную такую машину, как «КамАЗ». Я уж не говорю про то, что технико-экономическая отдача от этих операций просто несравнима!

Любопытная трактовка, не правда ли? Впрочем, в опытном производстве все любопытно и ни на что не похоже. В самом деле: автомобиль, вызвавший к жизни конвейер и ныне без него немислимый, здесь — объект штучного, ручного производства, вроде пальто или брюк в ателье индивидуального пошива. А иначе и быть не может: не станешь же монтировать автоматические линии, заказывать штампы и отливать прессформы для того, чтобы произвести на свет три грузовика! Да и где заказать технику для конструкции, которой еще нет, она только-только нащупывается с помощью тех самых автомобилей, что не построишь иначе как вручную?

Я ходил по цеху, где стоят простенькие станки — токарные, фрезерные, шлифовальные, расточные,— их встретишь в любой механической мастерской. Смотрел на людей, которые за ними работают,— тоже, в общем, обычные рабочие люди: сосредоточенные лица, сноровистые, без суеты движения. Смотрел и не мог понять: как же все-таки им удается на своих станочках изготовить те примерно пять тысяч деталей, из которых состоит автомобиль, а потом вручную собрать его? Это все-таки не детский автоконструктор!

— А вы говорите — Левша,— все посмеивался довольный Овчинников.— Людям этим цены нет — универсалы высших разрядов. Они вручную не то что грузовик — синхрозотрон воздвигнут, дайте только чертеж да подсобные материалы... Если свети в колонну все машины, которые они собственноручно изготовили, десяток-другой автопарков получится. Вспомнить есть что, но не знаю, был ли еще случай, чтобы автомобиль с таким подъемом дела, как «КамАЗ». Потому что каждый понимал: заказ — важнее не бывает, машина принципиально новая — не сегодняшнего даже дня, а завтрашнего. А новое настоящему мастеру всегда интересно делать. Вот и получились все пятьдесят четыре опытных «КамАЗа» один к одному и один лучше другого. Обычно у опытных образцов жизнь недолгая: разваливаются сразу после испытаний, а то и в процессе. Ведь многое в них делается, как у нас говорят, по обходной технологии. Скажем, рама должна быть цельной, штампованной, а в наших условиях приходится сваривать — иначе не сделаешь. В общем, обходим технологию на каждом шагу. И все же

наши «КамАЗы» ручной сборки после госиспытаний до того бодро себя чувствовали, что на них было решено ресурс проверить: откатать все триста тысяч километров. А если опытный образец так хорош, в серии машина еще надежнее окажется. Это не поверье, а технический опыт...

Я попросил Николая Дмитриевича познакомить меня с некоторыми из автомобильных асов. Выбрать лучших было не просто: 27 «экспериментальщиков» работают без ОТК, с личным клеймом, 119 сдают продукцию с первого предъявления. Отрывать людей от работы не хотелось, и я беседовал с ними на ходу, здесь же, у станков.

Запомнился слесарь экста-класса, неоднократный победитель конкурсов на лучшего по профессии Виктор Васюков. Ему обычно поручают самое трудоемкое — изготовление мелкой оснастки. Знаменитый мастер оказался человеком молодым и на редкость застенчивым.

— Ты, Вить, не бойся,— представляя меня, сказал Овчинников.— Этот товарищ из журнала. Ничего тебе не сделает, задаст несколько простых вопросов — и все.

После этих слов я, признаться, и сам смутился, не знал, что и спрашивать. Но тут Васюков улыбнулся такой открытой, доброй улыбкой, что не улыбнуться ему в ответ было просто нельзя. Разговорились.

— Профессия у нас такая — не знаю, бывают ли лучше.— Виктор говорит не спеша, раздумчиво и очень искренне.— Идешь по улице — навстречу поток машин, и вдруг знакомый силуэт мелькнул: эту серию ты открывал. Ощущение такое, будто доброго знакомого встретил... О «КамАЗе» скажу: машина красивая и надежная. Пожалуй, лучшая из всех, что мы делали.

Так же считает и Анатолий Цебро, бригадир комсомольско-молодежной бригады токарей:

— «КамАЗ» делали легко, потому что конструкция хорошая — технологичная, удобная в сборке. Думаю, что ребята в Набережных Челнах на зиловцев не в обиде.

У Анатолия одиннадцать классов, думает подавать в автомобильный техникум. На ЗИЛе седьмой год, до этого служил в армии в ракетных войсках.

— Пригодилось ли? А как же! В армии я с техникой подружился. В бригаде у нас все семь ребят после службы. Это сразу чувствуется: народ надежный, собранный... Могли бы собрать синхрофазотрон? Может, и смогли бы, но зачем? Мы автомобилестроители, а это не менее интересно.

Продолжая обход цеха, мы зашли в закуток, где на помосте вокруг кузова незнакомого автомобиля хлопотала группа рабочих.

— Привет, Леонард Сабиныч! — Овчинников хлопнул по плечу плотного мужчину в синей спецовке, с деревянной колотушкой в руке и, когда тот обернулся, сказал, заранее чему-то ухмыляясь: — Расскажи-ка товарищу из журнала, как тебя американские доктора лечили.

— Далась тебе эти доктора! — досадливо отмахнулся мужчина в спецовке, говоривший с заметным акцентом, отложил колотушку и протянул руку: — Дамьяно.

Так я познакомился еще с одним кадровым зиловцем, человеком удивительной судьбы — Леонардо Дамьяно.

Родом он из Италии, происходит из семьи, как выразился сам Дамьяно, «бунтарей-революционеров». Отец его Сабино, рабочий-социалист, спасаясь от преследования фашистов, бежал в Америку. Леонардо продолжил революционные традиции семьи. Сначала вступил в Коммунистический Союз молодежи Америки, а в 1929 году — в компартию. Во время «великой депрессии» был одним из организаторов рабочего движения в Бостоне, а потом в Питтсбурге. Активно участвовал в подготовке к национальному походу голодных на Вашингтон, но перед самым походом полиция схватила Дамьяно и бросила его в тюрьму. Молодой рабочий был объявлен «нежелательным элементом», ему грозила высылка в фашистскую Италию. Что ждало там Леонардо, нетрудно себе представить. Но по призыву МОПРа в его защиту развернулось широкое движение протеста. Классовая солидарность победила, и Дамьяно разрешили выехать в Советский Союз, ставший для него второй родиной.

В многонациональном рабочем коллективе зиловцев Леонардо обзавелся верными друзьями, встретила подругу жизни, тоже кадрового автомобилестроителя — Людмилу Николаевну, носящую теперь, как и положено, фамилию мужа — Дамьяно, обрел про-

фессию, интересней которой, по его твердому убеждению, нет. Дамьяно — бригадир сборщиков кабин опытных автомобилей, и равных ему в этом деле нет. Конструкторы приходят к рабочему за консультацией и не раз по его совету вносили изменения в чертежи. Так было и во время работы над «КамАЗом».

— Свою работу хвалить не дело, — говорит Леонардо Сабиневич, — но все же скажу: кабина у камской машины — высший класс! Был я года два назад на родине, в Италии, ездил с братом — он у меня шофер — на фиатовском грузовике от Каноссы до Турина, сам за руль садился. Сравнивал с «КамАЗом» и головой качал: кабина, что мы с бригадой делали, куда удобней... Но «КамАЗ» для нас уже прошлое. Сейчас вот кузов для «ЗИЛ-169» пробуем. Получается вроде неплохо.

— А что это за история с американскими докторами? — любопытствую я.

— Да был со мной один случай, — не очень охотно отвечает Дамьяно. — Имел неосторожность ребятам о нем рассказать, так мне с тех пор прохода не дают — смеются... А дело было так. Летом семьдесят шестого я с женой в Америку ездил, сестру навещал: у нас родня по обе стороны океана раскидана. Сидим как-то за столом, рыбу едим — сестра хорошо ее готовит, со специями разными. Вдруг чувствую — что-то в горле царапает, похоже, косточкой подавился. Сестра перепугалась, бросилась в «скорую помощь» звонить. Примчались на машине с сиреной и забирают меня в больницу. Зеркальце в рот суют, так смотрят, этак — нет ничего. «Давайте, говорят, мистер Дамьяно, для верности снимок сделаем». «Давайте», — отвечаю я благодушно. Зиловские врачи меня вышколаили. У нас ведь есть жалобы, нет жалоб — все равно будь добр профилактику пройди, через все кабинеты прошагай и рентген, само собой, тоже — куда денешься!.. В общем, сделали мне американцы снимок и руку радостно жмут. «Поздравляем, говорят, мистер Дамьяно, все у вас о'кей!» «О'кей», — отвечаю я вежливо, — спасибо за работу». О случае этом я и думать забыл. И вот наступает день отъезда. Чемоданы упакованы, прощальные объятия, а тут вдруг конверт приносят, а в нем счет: «Не откажите в любезности, мистер Дамьяно, сто два доллара за обследование вашего драгоценного горла». Ударил я себя кулаком по лбу, да поздно — сам виноват, расслабился, потерял классовую бдительность... Вот и вся история. А теперь, прошу прощения, я к кузову вернусь...

4. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ТВОРЧЕСТВА

— В Набережных Челнах создавалось производство, почти эталонное для автомобильной промышленности, и это определило необычайно высокие требования к его техническому проекту, — делится мыслями Владимир Алексеевич Кондратьев. — Каждое подразделение камского комплекса и весь он в целом должны были отвечать высшему мировому уровню техники, технологии и организации труда. Можете представить себе степень ответственности, которая лежала на проектантах КамАЗа!

Кондратьев возглавляет Специальное проектно-технологическое управление ЗИЛа, созданное для того, чтобы целиком работать на КамАЗ. В СПТУ он человек относительно новый, но камским проектом занимается давно — с момента его зарождения. В ту пору он был начальником Главного управления по проектированию предприятий автомобильной промышленности Минавтопрома СССР и имел возможность держать в поле зрения всю панораму грандиозной стройки.

— Генеральным проектировщиком КамАЗа был Гипроавтопром, — рассказывает Владимир Алексеевич, — а ЗИЛу поручили создать проекты строительства и разработать весь технологический цикл двух заводов — пресово-рамного и автомобильного да плюс к этому корпусу серого и ковкого чугуна литейного завода — тоже, по существу, завода в заводе. Вот этим-то огромным делом и занялось новое структурное подразделение ЗИЛа — СПТУ, созданное за два года до того, как на строительной площадке КамАЗа был вынут первый ковш грунта. Для того чтобы возглавить новую службу, — продолжает Кондратьев, — требовался специалист с богатым опытом, широким техническим кругозором, высокой инженерной культурой. Именно таким был первый начальник СПТУ Константин Васильевич Строганов, работавший до того главным инженером ЗИЛа. Я особо заостряю внимание на этом моменте, потому что он отражает принципиальную позицию зиловцев: не жалеть для КамАЗа ничего — ни техни-

ческих идей, ни времени, ни кадров. «Все лучшее — Каме!» — плакатов с таким лозунгом на ЗИЛе не вешивали, но этим жил весь коллектив. Если продолжить разговор о кадрах, нельзя не упомянуть главного инженера СПТУ Петра Алексеевича Цветкова, его заместителя по автомобилестроению Владимира Николаевича Алексеева, главного специалиста управления Николая Васильевича Феоктистова и многих других замечательных знатоков автомобильного производства, которые были целиком переключены на камский проект. Только названная мною четверка проработала на ЗИЛе в общей сложности более чем полтора века. С чем можно сравнить ценность таких «автомобильных университетов»? Опыт старшего поколения зиловцев был дополнен энергией молодежи. Этот сплав и обеспечил успех.

Мы беседуем в кабинете Кондратьева, где собрались ведущие специалисты СПТУ, его «мозговой центр». Они решили скооперировать усилия, чтобы возможно популярнее растолковать мне, как осуществлялась разработка проектов для КамАЗа и в чем их принципиальная новизна.

— Любопытно, к какому жанру относится наша беседа? — спрашивает, шутиливо разводя руками, Владимир Алексеевич. — Пресс-конференция или как?

Ситуация в самом деле не вполне обычная. По жанру, может, и пресс-конференция, но при условии, что кто-то в состоянии представить себе пресс-конференцию, где на вопросы одного-единственного журналиста отвечает целый инженерно-технический коллектив.

Штрих, характерный для ЗИЛа, где люди умеют работать и умеют ценить работу другого. И стараются помогать ему, насколько это от них зависит. Как далеко простирается это старание, я понял, когда один из участников беседы, желая наглядно объяснить мне, что такое «простановка стержней» в литейном производстве, вскочил с места, схватил массивную настольную лампу и попытался разобрать ее на составные части. Жаль, хозяин кабинета воспротивился...

Работа над проектами для КамАЗа была подлинным конкурсом технических идей, рассказали мне участники «круглого стола». Победу в нем обеспечивало наиболее прогрессивное решение, учитывающее специфику камского комплекса, ориентированного на крупномасштабное производство. Многие технологические процессы, разработанные зиловцами, уникальны, не имеют аналогов в мировом автомобилестроении.

Скажем, есть в «КамАЗе» такая хитрая деталь — торсион уравнивания кабины. Это двухметровый, предварительно закрученный стержень. В нужный момент он раскручивается наподобие пружины и легко, как пушинку, вскидывает кабину весом в полтонны: пожалуйста, доступ к двигателю открыт!

Традиционно торсион изготавливался из прутка проката методом резания с его неизбежной спутницей — обильной стружкой. Процесс же, разработанный для Камы, куда более эффективен. Это холодная прокатка, напоминающая манипуляции хозяйки с тестом, которое под скалкой в ее руках послушно утончается, вытягивается в жгут. Примерно то же происходит с металлической заготовкой. Поначалу она более чем вдвое короче будущей детали, зато в два раза толще. Побывав же на автоматических линиях, заготовка шлифуется, обжимается, раскатывается и достигает нужных размеров. В том же автоматическом режиме без съема стружки осуществляется холодная накатка шлиц — и торсион готов. Новая технология — сейчас она в стадии внедрения — обеспечит экономию около тысячи тонн проката в год, а в деньгах примерно миллион рублей.

Среди поставщиков оборудования для КамАЗа, советских и зарубежных, тоже выбирались те, кто был готов отказаться от проторенных путей, стать равноправным партнером по поиску. Так произошло, к примеру, при разработке технологии изготовления ступиц колеса — тел их вращения.

Работая над конструкцией «КамАЗа», зиловцы остановились на спицевой ступице, отдаленно напоминающей велосипедное колесо, но «спиц» в ней всего пять, очень массивных. Преимущества такой ступицы в сравнении с обычной круглой очевидны: она значительно легче. По каждой машине это позволяет сберечь 53,6 килограмма металла, а за год в условиях грандиозного производства камского комплекса экономии набегает почти 6 тысяч тонн. Немаловажно и то, что с «похудевшим» коле-

сом сподручней обращаться водителю. Хронометраж установил: чтобы сменить его, достаточно шести минут вместо шестнадцати.

Но как раз масштабы КамАЗа, столь весомо увеличивающие экономию металла, серьезно осложнили разработку технологии поточного выпуска спицевых ступиц. Поверхность у них прерывистая, фигурная, неудобная для обработки. Если выполнять ее, как это делается повсеместно, на токарных станках, резец неизбежно будет ударять по каждой спице, а это означает низкую производительность, быстрый износ оборудования, снижение качества. В условиях небольшого производства это терпимые издержки, в условиях КамАЗа — нетерпимый урон.

Зиловцы решили не «штопать» привычную технологию, а создать принципиально новую. Так родился метод непрерывного фрезерования ступиц, который исключил удары по спицам и дал возможность обрабатывать капризную деталь по всей ее ширине.

Для новой технологии понадобился и новый станок. Переговоры велись с рядом известных зарубежных фирм, но все они были за традиционное решение — за токарные станки. А вот итальянская фирма «Морандо» увлеклась смелой идеей московских автозаводцев и как приз получила выгодный заказ. По чертежам и техническому заданию СПТУ итальянцы сконструировали фрезерный станок, которого до сих пор не существовало. В результате впервые в практике мирового автомобилестроения была создана автоматическая линия по производству спицевой ступицы в условиях массового поточного производства. КамАЗ получил технологию, отвечающую его масштабам и уровню технического развития. А фирма «Морандо» стала обладательницей станка, которому обеспечен широкий сбыт на международном рынке. Деловое сотрудничество всегда взаимовыгодно.

Ветераны ЗИЛа рассказывали мне о бытовавшей некогда «теории», будто отличительной особенностью советского автомобиля должен быть большой собственный вес, поскольку это — эффективное средство повышения надежности. Хронологически эти странноватые автомобильные воззрения — современники эпохи архитектурных излишеств и имеют точную прописку во времени: 50-е годы. Автомобили, построенные по таким рецептам, напоминали дредноуты на колесах, тяжелые и неповоротливые. Сегодня об этой, по счастью недолговечной, гримасе технической моды нельзя вспоминать без улыбки. И зиловцы, вспоминая, улыбались.

А поводом для этого неожиданного экскурса в не столь давнее прошлое послужил рассказ о том, как много усилий было затрачено на то, чтобы всемерно облегчить собственный вес «КамАЗа». Ведь при сохранении всех характеристик машины это означает повышение ее грузоподъемности. Задача эта была одной из главных и при проектировании литейного производства камского комплекса, потому что значительную часть автомобильного «тоннажа» составляют детали, изготавливаемые из литых заготовок. В машине они самые тяжелые.

Спроектированный специалистами зиловского СПТУ корпус серого и ковкого чугуна — крупнейший в мире. Его производительность — 400 тысяч тонн чугуна в год. Гигантские масштабы производства и высокопроизводительная технология — таков он, этот уникальный корпус. Смонтированные в нем комплексные формовочные автоматические линии обеспечивают повышенную точность литья, а это гарантирует снижение веса будущих деталей и, следовательно, всего автомобиля.

Но, наверное, еще важнее качественные изменения в характере труда литейщика. Представитель одной из самых тяжелых профессий в металлургии, он стал ныне оператором автоматической линии, получил в подчинение целую команду роботов.

Зиловцы признались, что они давно мечтают о таком литейном производстве для своего завода, но площади существующих цехов не позволяли реализовать их замыслы в полном объеме. Зато на Каме было где разгуляться, и они выложились, обратили мечту в явь из пылающих потоков металла. Во имя исторической справедливости следует заметить, что опыт КамАЗа не останется бесследным и для самого ЗИЛа. Умудренные знаниями, накопленными во время работы над камским проектом, зиловцы создали первоклассный технический проект чугунолитейного завода, который будет построен в городе Ярцево Смоленской области и пополнит число филиалов завода имени Лихачева.

Наверное, это объективная реальность — цепная реакция творчества. Когда состояние творческого горения на длительный срок становится нормальным рабочим режимом для целого коллектива проектировщиков, происходит нечто вроде самовозгорания идей и они «взрываются» одна за другой, одна от другой. Множество технических новшеств и оригинальных инженерных решений, родившихся в СПТУ во время работы над проектами для автогиганта в Набережных Челнах, на мой взгляд, веский довод в пользу этой гипотезы.

Новаторской была не только технология создаваемых производств — сами производственные корпуса, огромные, светлые, лишенные цеховых перегородок, строились тоже по-новому. Так, при возведении здания прессово-рамного завода зиловцы предложили разместить трансформаторные подстанции, вентиляционные установки и прочую подсобную технику не на нулевой отметке, проще говоря, не на полу, как это делается обычно, а во втором ярусе, на антресолях. В результате при тех же размерах заводского здания в плане удалось расширить его полезную площадь на 34 400 квадратных метров!

И подобными примерами блокноты, которые я исписал, путешествуя по ЗИЛу, буквально набиты. Впрочем, пожалуй, пора их захлопнуть...

Но прежде чем закончить очерк, мне хотелось бы вернуться к его началу. Когда мы уже затемно покидали полигон в Дмитрове, навстречу с зажженными фарами выкатил еще один «КамАЗ» с большой белой шестеркой на дверце.

— Разработка камских конструкторов, — пояснил мне Володя Пронин. — Модель на перспективу.

Поравнявшись, наши машины, состоящие в кровном родстве, не обменялись ритуальным гудком, этот романтический обычай — для кораблей в открытом море. Водители просто вскинули руки в привычном дорожном приветствии. Но, наверное, это тоже была эстафета. И передавалась она на ходу, в движении, на хорошей скорости.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ГЕННАДИЙ ГЕРОДНИК



ВОСТОЧНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

ГОРОД-СУДЬБА

В августе 1944 года наша 128-я стрелковая дивизия форсировала протоку, соединяющую Чудское озеро с Псковским. Русские этот межозерный пролив называют Теплым озером, эстонцы — Ляммиярв. На западный, эстонский берег переправляла нас Чудская флотилия, состоявшая в основном из бронекатеров и тендеров.

Моему тендеру не повезло: в него угодила фашистская авиабомба. Меня контузило. Вдобавок я основательно искупался. Купание в озере с многообещающим названием Теплое оказалось не из приятных: контузия осложнилась воспалением легких и я более месяца пролежал в одном из псковских госпиталей.

Просил направить меня обратно в 128-ю дивизию, но из этого ничего не вышло. Военная судьба преподнесла мне очередной сюрприз: неожиданно получаю назначение не во фронтную часть, а в тыл — в эстонский город Валга.

Валга... Об этом городке я уже кое-что знал. В марте 1944 года, когда 128-я дивизия стояла в обороне под Псковом, наши разведчики захватили у деревни Клишово языка. Я как полковой переводчик помогал нашим штабистам допрашивать пленного. Сразу же бросилось в глаза, что унтер-офицер в форме танкиста. В чем дело? Почему танкист оказался в траншее переднего края? На этот вопрос пленный ответил так:

— Я молодой танкист, в боях еще не участвовал. Назначение получил в танковую дивизию, которая оказалась в тылу на перестроении. Штаб нашей панцердивизион находится в ста семидесяти километрах западнее Плескау, в городе Валк...

Начальство задает уточняющие вопросы:

— Это эстонский город или латвийский?

— В одной половине уездный центр Эстонии — Валга, а в другой Латвии — Валка. Штаб нашей панцердивизион находится в эстонской части, в бывшем винном заводе...

Когда 3-й Прибалтийский фронт освободил Псков и вступил в пределы Прибалтики, ранее неизвестные для нас города Валга и Валка стали все чаще и чаще фигурировать на оперативных совещаниях. И наконец в августе армии и дивизии фронта вплотную подошли к сильно укрепленному гитлеровцами рубежу Валк.

После прорыва рубежа Валк о Валге знали уже далеко за пределами Эстонии и Латвии. 19 сентября 1944 года Москва салютовала в честь очередного успеха советского оружия, ряду частей фронта были присвоены почетные наименования — Валгские.

Впоследствии я узнал историю появления удивительных городов-близнецов. **БЫЛ** в царское время город Лифляндской губернии Валк. В 1919-м он стал предметом спора между буржуазными правительствами Эстонии и Латвии. Арбитрами-примирителями выступили орудовавшие в то время в Прибалтике англо-американские интервенты. Чтобы не обидеть ни одну из спорящих сторон, английский полковник Таллент разделил город на две части. Границу провел по ручью, который местные жители иронически называют Лягушачьим Бродом.

Фамилии военнопленных, содержавшихся в лагере № 287, автором заменены. Исключение составляют фон Тюльф, Байер и Пауль, осужденные советским судом за совершенные ими злодеяния.

Двадцать с лишним лет этот **Лягушачий Брод** служил рубежом между двумя государствами. Когда в Прибалтике установилась советская власть, полосатый пограничный шлагбаум убрали. Правда, Валга и Валка так и остались уездными центрами Эстонии и Латвии. Впоследствии стали райцентрами...

Но я немного отклоняюсь в сторону. Историю городов-близнецов походя, на нескольких страничках не изложишь. Мне предстоит сейчас иная задача: рассказать о последнем этапе моей военной службы.

Пока от нового назначения я не в восторге. Предписание гласит, что направляюсь военным переводчиком в лагерь военнопленных № 287. Я убежден: Валга в моей биографии промелькнет лишь кратковременным эпизодом военных лет. И даже мысли не допускаю, что она станет для меня городом-судьбой, что в Валге встречу тридцатилетие Победы.

ТАМ, ГДЕ БЫЛ ШТАЛАГ

Осенью 1941 года на северной окраине города, которую валгасцы называют **Приймеса**, гитлеровцы огородили колючей проволокой огромную территорию — более десяти гектаров. Скоро этот загон стал наполняться советскими пленными. Оттуда доносились подаваемые истошным голосом немецкие команды, выстрелы и лай овчарок. Оттуда тянуло тошнотворными запахами: карболкой, хлоркой, гнилой брюквой и человеческой скученностью.

Первые недели пленные круглые сутки находились под открытым небом. Спали прямо на земле. Постепенно на пустыре выросли мрачные бараки. Они выглядели необычайно высокими — до десяти метров: гитлеровские проектировщики предусмотрели шестизэтажные нары.

Временные ограждения эсэсовцы заменили пятью рядами колючей проволоки. По периметру запретной зоны выросли сторожевые вышки с пулеметами и прожекторами на площадках. Так возник один из многочисленных фашистских лагерей смерти — Валгаский шталаг № 351. За три года оккупанты уничтожили здесь около 30 тысяч советских солдат и офицеров — примерно вдвое больше, чем насчитывалось жителей во всей довоенной Валге.

И вот осенью 1944 года произошла смена обитателей Валгаского лагеря. За колючей проволокой оказались спесивые гитлеровские вояки, возмнившие себя владыками мира. Еще раз подтвердилась мудрость и дальновидность русской поговорки: не копай яму другому — сам в нее угодишь. Если, уважаемые господа, кто-либо из вас недоволен новым жилищем, с претензиями обращайтесь к гитлеровскому правительству, пеняйте на немецких инженеров и в конце концов на самих же себя. Шталаг построен по типовому проекту строительной организации Тодта, в стиле «фашистского концлагерного барокко».

В каждом шталаге имелась большая площадь для построений и поверок — так называемый **а п п е л ь п л а ц**. В нацистских лагерях уничтожения апельплац выполнял и другие функции. Здесь надсмотрщики изощрались во всевозможных издевательствах над пленными. Часами держали их на ветру и морозе, устраивали всевозможные «карусели» и «мельницы», то есть десятки и сотни раз заставляли переносить по кругу тяжелые мешки с песком. Здесь фашистские садисты проводили свои экзекуции: порки розгами, кнутами и шомполами. В центре апельплаца возвышалась обязательная виселица, которая на эсэсовском жаргоне именовалась «пенделем», то есть «маятником».

Такой апельплац и достался в наследство нам. Мы тоже устраиваем утренние и вечерние поверки. Но, разумеется, без всяких издевательств, в быстром деловом ритме.

РАЗДУМЬЯ НА АППЕЛЬПЛАЦУ

Итак, очередная поверка. Пленные идут от своих бараков на апельплац строем. Командиры взводов, рот и батальонов из самих же пленников. Айнс, цвай, драй! Айнс, цвай, драй!

На апельплацу гигантским прямоугольником выстроились тысячи недавних гитлеровских вояк. Глядя на них, невольно вспоминаю сбитые немецкие «юнкерсы», «мессершмитты» и «фокке-вульфы». Грозная машина, только что наводившая ужас и сеявшая смерть, вдруг превращается в груды исковерканных обломков. Перед нами тоже

груда обломков страшной машины — гитлеровского вермахта, машины, растоптавшей десятки стран, тысячи городов и десятки тысяч сел. Здесь все перемешалось.

Кое-кого мы уже успели рассортировать и сгруппировать. Взвод оберстов и оберст-лейтенантов — 40 полковников и подполковников всевозможных родов войск. Это они водили «нах остен» полки-режименты — пехотные, мотомеханизированные, артиллерийские, танковые, бомбардировочные, горнострелковые, авиаполевые, гренадерские, эзэсовские. Рота офицеров-тыловиков из комендатур. Это они устанавливали «новый порядок» на оккупированной советской земле: грабили, сжигали, расстреливали, вешали, отправляли на фашистскую каторгу и в лагерь уничтожения...

12-й БАТАЛЬОН

Знакомлюсь с батальонными и ротными списками пленных, тщательно переписанными мастерами каллиграфического искусства — различных рангов писарями. В них подробнейшая расшифровка того, что на аппельплацу во время поверки представлено, так сказать, средствами геометрии и арифметики. Изучение этих списков даже до непосредственных бесед с пленными дает пищу для некоторых наблюдений, размышлений и выводов.

Пленные распределены по взводам, ротам и батальонам. Батальоны — высшие подразделения в лагере, поэтому номера у них бывают непривычно большие: 10-й, 15-й, 20-й...

Прежде всего бросаются в глаза знакомые имена. И до чего странно видеть их в списках пленных гитлеровцев! До сих пор я знал только одного и вполне конкретного Лессинга и Шиллера, Баха и Шумана, Кранаха и Дюрера, Лейбница и Гаусса, Канта и Гегеля... Со школьной и студенческой скамьи имена эти ассоциируются для меня с величайшими достижениями человеческого гения в области науки, философии, искусства, они окружены ореолом благородства духа, глубины чувств и могущества мысли.

Разумом я понимаю, что мои чувства несколько наивны и субъективны. Сама по себе фамилия еще ни о чем не говорит. И, скажем, единственный для меня Лессинг — в Германии довольно распространенная фамилия. Прекрасно понимаю, что под личиной одной и той же фамилии могут выступать разные люди. И все же меня корбит, когда в списках 12-го батальона вижу фельдфебеля Шиллера и обер-ефрейтора Шумана. Первый из них пивовар, второй мясник. Оба они служили в отдельном саперном батальоне, который у наших военных следственных органов на особом учете. Во время отступления гитлеровских войск из Белоруссии и Польши он выполнял специальную задачу: взрывал и сжигал все подряд без разбора. Против этих фамилий стоят условные значки моего начальника майора Гиндина, которые означают примерно следующее: вероятные военные преступники, допросить по возможности скорее.

Когда встречаю вот таких отъявленных гитлеровцев со знаменитыми фамилиями, то с особой остротой, по принципу контраста, представляю себе глубину той бездны, в которую толкнул великую немецкую нацию фашизм.

В графе «Воинское звание» изобилие фельдфебелей. Помимо просто фельдфебелей всевозможные обер-, штабс- и гаупт-фельдфебели. Сразу видно, что гитлеровский рейх — держава прежде всего фельдфебельская. На этот счет много лет спустя я прочитал интересную сентенцию у Генриха Бёлля: «В германской армии было великое множество фельдфебелей — звездочек с их погон хватило бы, чтобы разукрасить своды какой-нибудь бездарной преисподней...»

А вот довольно редкие, так сказать, экзотические воинские звания: фенрих и обер-фенрих. В иерархической лестнице вермахта их место между унтер-офицерами и фельдфебелями. Это унтер-офицеры, предназначенные к производству в офицерское звание.

«Гражданская специальность». Этой графой мы пользуемся при комплектовании рабочих команд и внутрилагерных служб. В ней, пожалуй, больше всего вранья. Непропорционально много поваров, хлебопексов, кондитеров, мясников, пивоваров, парикмахеров, портных, сапожников... А куда же девались шахтеры? Ни одного! Почему так ничтожно мало металлургов, слесарей, кузнецов, плотников?

Этот «демографический парадокс» мы разгадали без особого труда. Многие запу-

ганные геббельсовской пропагандой гитлеровцы рассуждали примерно так: «Если русские и не расстреляют нас, то загонят куда-нибудь в затопленные шахты или в Сибирь на лесоразработки. А кого туда в первую очередь пошлют? Конечно же, шахтеров, лесорубов и вообще людей, имеющих навык физического труда. Так что сам на рожон не полезу, укажу какую-нибудь более перспективную профессию. Авось повезет и меня назначат на теплое местечко в самом лагере».

Обманщики ничем не рисковали. Чтобы латать в портняжной мастерской старое обмундирование, совершенно не обязательно быть квалифицированным портным; почти каждый фронтовик брил и подстригал своих товарищей; любой солдат сумеет работать на лагерной кухне или в хлебопекарне...

Когда пленные осмотрелись, увидели, что условия работы на стройках города хорошие — восьмичасовой рабочий день, посильные нормы, корректное отношение конвоиров плюс дополнительный паек, — они поняли, что скрывать свою основную профессию не имеет смысла. У нас в достаточном количестве появились и плотники, и штукатуры, и каменщики, и маляры...

РАБОТЫ — УЙМА!

Итак, списки 12-го батальона просмотрены. Разумеется, очень поверхностно, в первом приближении. Я отобрал несколько десятков пленных, с которыми, по-моему, следует познакомиться в первую очередь. Согласно этот список с моим начальником. Всего несколько десятков... А ведь в батальоне еще более 700 пленников, которым не сможем уделить внимания в ближайшие недели. И таких батальонов в лагере более 20. Кроме того, во время допросов наши предварительные списки неизбежно пополняются. Появятся новые кандидаты, с которыми придется беседовать вне всякой очереди.

Когда я впервые оказался на апельплацу перед гигантским темно-серым прямоугольником, меня охватили грустные мысли. Вот так влип! — подумалось мне. Что делать разведчику, переводчику в этой тихой заводи? Переводить нашим врачам вопросы «где болит? что болит?». Помогать нашим десятникам и техникам на восстановительных работах в городе? Такой оборот никак меня не устраивал.

У немцев на солдатском жаргоне есть выражение «сторожить чибисовы яйца». На языке наших «славян» это означает «кантоваться», то есть ошиваться на работе сытной, безопасной и не слишком обременительной. Очень скоро я убедился, однако, что ни «кантоваться», ни «сторожить чибисовы яйца» в Валге мне не придется. Штат особого отдела, которому надежит заниматься изучением и политическим воспитанием военнопленных, совсем крохотный, да и тот пока не заполнен. Начинаем работу втроем: майор Гиндин — начальник, лейтенант Фрейдин — оперуполномоченный и я, младший лейтенант, переводчик. На нашем попечении около 20 тысяч пленников!

Во-первых, надо проделать самую элементарную работу: установить личность каждого из пленников. Некоторые прибыли в лагерь без всяких документов. Одни пленные сами поспешили преднамеренно избавиться от них, чтобы скрыть род войск, свою принадлежность к карателям или гестапо, к войскам СС и т. д. У других документы забрали в наших фронтовых штабах. Забрали и не вернули, не передали конвоирам. Хотя такие случаи были относительно редкими, они все же очень осложняли нашу работу. И те пленные, которые избавились от своих основных воинских документов — «зольдбухов» — умышленно, тоже имели возможность оправдываться: «Советский офицер забрал во время допроса. Я попал в плен под Мемелем». Поди проверить, так это или не так.

Даже если «зольдбух» на руках, это еще не значит, что он удостоверяет личность его владельца. Бывало и так: высокий эсэсовский или гестаповский чин превращался вдруг перед сдачей в плен в безобидного хозвзводовца. Или фабриковал себе фальшивые документы, или забирал чужие у арестованного или убитого.

Во-вторых, наша задача — выявлять всевозможных военных преступников: карателей, комендатурщиков, контрразведчиков, гестаповцев, эсэсовцев, членов СА и СД. В грубейших нарушениях международных норм ведения войны виновны были и многие фронтовики. Они тоже жгли, бомбили, взрывали жилые и промышленные объек-

ты, тоже грабили мирных жителей. Поэтому есть глубокая справедливость в том, что вчерашние гитлеровские вояки, оказавшиеся в советском плену, теперь своими руками восстанавливают ими же разрушенные дома, кварталы, фабричные корпуса как в Валге, так и в других городах нашей страны, пострадавших от фашистского нашествия.

Да, преступление налицо: опустошены десятки областей и целые республики. Но нам среди массы военнопленных необходимо выявить и отдельных, особенно «отличившихся» конкретных виновников, совершивших конкретные злодеяния. Только в этом случае можно вершить правосудие.

В-третьих. Опираясь на антифашистский актив, надо заняться перевоспитанием пленных. И это, пожалуй, наиболее важный участок нашей работы.

Один из лагерных антифашистских активистов, лейтенант Вилли Лоренц, назвал свое пребывание в советском плену «восточным университетом». Услышав это выражение впервые, я сначала воспринял его как горькую иронию. И только впоследствии, по-настоящему втянувшись в работу, понял глубокий смысл слов Лоренца.

УНИВЕРСИТЕТ НАЧИНАЕТ ЗАНЯТИЯ

Прежде всего мы наладили деятельность антифашистского актива. Среди пленных сразу же нашлись сторонники движения «Свободная Германия». Одни из них сделали выбор, еще находясь в действующей армии: или перебежали к нам, или добровольно сложили оружие. У других прозрение наступило позже, уже в лагере. Наиболее убежденные и активные антифашисты — капитан Ульрих Шольц, лейтенант Вилли Лоренц, унтер-офицер Курт Кённингер, солдат Альберт Кноблаух.

В Валгаском шталаге наиболее дурной славой пользовался барак № 6, отгороженный от остальной лагерной территории колючей проволокой. В этом «зондербараке» гитлеровцы содержали штрафников. Попавшие сюда, на дно фашистского ада, были обречены на неизбежную смерть.

Управление лагеря передало бывший «зондербарак» в распоряжение антифашистов. Здесь закипела дружная работа. Самодеятельные плотники и столяры разобрали нары. Из освободившихся досок и перекладин сколотили скамейки, столы, переносную трибуну, соорудили сцену. Драмкружковцы из старых солдатских одеял сшили занавес. Над сценой повесили лозунг: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается».

Так возник Клуб антифашистов. Вместить всех желающих одновременно он не может. На лекции и диспуты, в кино и на вечера самодеятельности пленные ходят батальонно. Перед клубом на деревянном щите лейтенант Лоренц вывешивает очередные номера газеты Национального комитета «Свободная Германия» — «Фрайес Дойчланд». На другом щите прикреплены две вычерченные от руки карты военных действий: прямоугольная и концентрическая. На первой из них Германия, справа от нее Восточный фронт, слева Западный. На второй карте в центре Берлин, и от него расходятся десятка полтора концентрических кругов. Карты на попечение чертежника-топографа Курта Кённингера. Он их вычертил, он же переставляет флажки.

Перед газетой и картами от подъема до отбоя толпятся пленные. Здесь кипят страсти, ход военных действий обсуждается со стратегической и политической точек зрения. Еще не все немцы избавились от иллюзий. Одни уповают на «секретное оружие». Другие надеются, что «спрямление линии фронта» вот-вот закончится и дивизии вермахта не пустят Советскую Армию в пределы рейха. Третьи ожидают обязательной ссоры между союзниками. Но иллюзии остаются иллюзиями: причудливо изогнутые линии красных и синих флажков неотвратимо движутся навстречу одна другой.

Концентрическая карта пророчит скорый крах гитлеризма, пожалуй, с еще большей наглядностью, чем прямоугольная. Проходящие по Кавказу и французской Бретани, по Северной Африке и норвежскому Заполярью внешние окружности уже полностью свободны. Освобождаются все новые и новые. В одном месте Советская Армия уже переступила обруч, опоясывающий рубежи самой Германии. Скорая развязка выглядит на концентрической карте геометрически зримо. Станет свободной самая маленькая окружность, проходящая по окраинам Берлина, огромная территория, пора-

женная коричневой чумой, сожмется в одну точку — и тогда для фашизма наступит физическая смерть, своего рода аннигиляция.

Для нас наступление этого момента предельно ясно. Мы его страстно ждем. Но пленные немцы суть краха гитлеровской Германии понимают по-разному.

В тяжелейших муках рождается новое мировоззрение, происходит переоценка ценностей. Доверительные беседы с глазу на глаз между фронтовыми друзьями, ожесточенные споры в бараках и перед витринами с газетой и картами, официальные дискуссии в антифашистском клубе. Для одних пленных каждое новое передвижение флажков, каждое новое сжатие концентрических окружностей такая же радость, как и для нас. Для других это знамения и знаки, предвещающие скорый судный день, каждая очередная сводка Совинформбюро звучит для них как роковые слова «мене, теке, фарес», предсказавшие когда-то, согласно библейской легенде, гибель Вавилонского царства.

У ГАЗЕТНОЙ ВИТРИНЫ

И все же число приверженцев антифашистского движения неуклонно растет. Огромное влияние на умы пленных оказывает газета «Фрайес Дойчланд», в которой выступают известные всему вермахту генералы Зейдлиц, Латтман, Корфес, бывший командир полка 6-й армии Паулюса Луитпольд Штейдле. Большой убедительностью отличаются логические и вместе с тем страстные статьи майора Хомана и священника Кайзера. Совершенно по-новому звучат темы патриотизма и солдатского долга в стихах Иоганнеса Бехера, Вилли Бределя и других немецких поэтов-антифашистов.

Сенсацией явилось вступление фельдмаршала Паулюса в Союз немецких офицеров, занимающий антифашистские позиции. Спустя короткое время Паулюс официально заявил о своем присоединении к движению «Свободная Германия». Это случилось в конце 1944 года. Полтора года он присматривался, взвешивал, анализировал, размышлял. И читал, читал, читал... Недаром в вермахте другие генералы наградили Паулюса кличкой «кунктатор». По аналогии с римским полководцем Фабием, которого за его чрезмерную осмотрительность и неторопливость в принятии решений в свое время называли *супстатор*, то есть «медлитель».

Но, приняв определенное решение, Паулюс действует настойчиво и последовательно. Свое присоединение к «Свободной Германии» он отметил обращением «К военнопленным немецким офицерам и солдатам. К немецкому народу».

Сегодня, когда в Валгаский лагерь прибыл номер «Фрайес Дойчланд» с обращением Паулюса, на пятячке перед газетной витриной особенно многолюдно. Лейтенант Лоренц выстраивает толпу полукругом и четко, приятным баритоном читает обращение в пятый, восьмой, десятый раз... Уставшего и охрипшего Лоренца сменяют другие чтецы.

«...Германия должна устранить Адольфа Гитлера и установить новое государственное руководство, которое закончит войну и создаст условия, обеспечивающие нашему народу дальнейшее существование и восстановление мирных и дружеских отношений с нашими нынешними противниками».

8 декабря 1944 года уже 50 пленных немецких генералов обратились с призывом «К народу и вермахту». Проект этого обращения написал фельдмаршал Паулюс.

С утра и до вечера многолюдно на плотно утоптанной площадке перед газетной витриной. Здесь работает один из факультетов «восточного университета» — факультет прозрения.

ССОРА И ПРИМИРЕНИЕ

Как-то незаметно для нас из общей массы антифашистов выделилась и обособилась австрийская секция. Активисты: школьный учитель из Верхней Австрии Йозеф Баухингер, венский врач Франц Зобалик, техник-машиностроитель из Граца Адальберт Гунерт.

Баухингеру чертовски не повезло. Он родом из селения Браунау, которое получило всемирную худую славу: там родился ефрейтор Адольф Шикльгруббер, ставший

впоследствии фюрером третьего рейха. Одни пристают к Баухингеру из простого любопытства — спрашивают, что ему известно о браунауском периоде жизни Гитлера. Другие поддразнивают Баухингера, называют его земляком или — еще хуже — троюродным племянником фюрера. Йозеф сердится, расстраивается и всерьез доказывает, что род Баухингеров не имеет даже отдаленных родственных связей с родом Шикльгруберов.

Нетрудно было заметить, что антифашисты-австрийцы держатся обособленно и очень неохотно включаются в работу лагерного клуба. Оказалось, что все это не случайно.

Однажды к майору Гиндину явилась делегация: Баухингер, Зобалик и Гунерт. У всех троих на пилотках нашивки — цвета австрийского национального флага. Две красные полосы и между ними белая. Это для нас не ново, так в лагере ходят все австрийцы. Но сегодня у пришедшей тройки какие-то новшества: слева на груди у каждого мехом вверх вырезанная из овчины круглая розетка. Что сие означает, нам пока неизвестно.

Баухингер:

— Господин майор! От имени австрийцев мы просим освободить нас от опеки немцев. Австрийцы по горло сыты их «братской помощью»! Покомандовали — и хватит! А то они и здесь, в лагере, устроили нам аншлюс.

Майор:

— Пожалуйста, изложите ваши обиды и претензии конкретно.

Зобалик:

— Они и здесь командуют нами! В антифашистском комитете командуют немцы, лагерным клубом руководят немцы, повара на кухне — немцы...

Майор:

— Немцев в лагере свыше восьмидесяти процентов. Естественно, что они везде в большинстве. Но мы проверим. Возможно, кое-где получилась диспропорция. У вас есть конкретные просьбы, предложения?

Гунерт:

— Да, господин майор. Мы, австрийские антифашисты, желаем полностью отделиться от антифашистов немецких. Фактически мы уже устроили свой самостоятельный антифашистский клуб. За баней есть небольшой полуразрушенный барак. Вот в нем мы и обосновались. Просим закрепить за нами этот барак официально. Правда, он в ужасном состоянии. Но мы своими силами приведем его в порядок. И вообще: пусть хоть под открытым небом, пусть под кустом, но зато будем чувствовать себя независимыми!

Майор:

— Барак за баней действительно надо восстановить и использовать для культурной работы. В клубе очень тесно. Но ваша затея с отделением мне совсем не нравится. И коммунисты и антифашисты сильны прежде всего интернациональной дружбой. На эту тему мы еще побеседуем подробнее... А теперь скажите, почему вы нацепили эти лохматые розетки? Что они означают?

Баухингер:

— Группа наших австрийцев работает на сортировке в лагерном цейхгаузе. Мы им дали задание нарезать такие кружки из негодных офицерских жилетов и зимних румынских шапок. Такую розетку будет носить каждый австриец. Нам необходимо отречься от всего, запятнанного нацизмом, и начать нашу жизнь, нашу историю сначала. От какого же рубежа начинать? От пещеры и каменного топора! Эти розетки — символ звериных шкур...

У Баухингера, как у фанатика-сектанта, возбужденно светятся глаза, в такт своим словам он решительно рубит ребром ладони воздух. Глядя на него, трудно удержаться от улыбки. Но дело обстоит серьезно. Нам ясно: австрийские антифашисты пошли по неверному пути — по пути националистического сепаратизма и мелкобуржуазного анархизма.

Не одну беседу провели мы с австрийскими антифашистами, пока они наконец поняли свою ошибку и усвоили азы пролетарского интернационализма: нельзя отождествлять германский фашизм с трудовым немецким народом.

Недели две-три длилось среди австрийцев глухое брожение. Они собирались группами в разваложе за баней, о чем-то дискутировали, горячо спорили. В конце концов здравый смысл взял верх, примирение с немецкими антифашистами состоялось. Австрийцы сняли свои нелепые овчинные розетки и включились в общую художественную самодеятельность, в общую антифашистскую работу.

«ПЕСТРЫЕ ВЕЧЕРА»

Так немцы называют вечера художественной самодеятельности со смешанной программой. Поначалу они доставили нам немало хлопот. Когда самодеятельные артисты впервые представили майору Гиндину перечень номеров, которые они готовят, Лев Маркович прямо за голову схватился.

Во-первых, программа вечера не отличалась четкой идеологической позицией, ясной антигитлеровской направленностью. Давным-давно приевшиеся анекдотики о Гитлере и Геринге, Гиммлере и Геббельсе тонули в маесе беззубых и пошлых шуточек, которыми конферансье и клоуны развлекают публику в цирках, кафешантанах и пивных барах. С содержанием номеров первого *bunter Abend* нас знакомит обер-лейтенант Рудольф Абст, в прошлом артист провинциальной оперетки.

Сцены из интимной жизни фюрера... Адольфа Гитлера будет играть унтер-офицер Эрих Хуммель, его любовницу Еву Браун — фельдфебель Каспар Фогельзанг. Затруднения с реквизитом. Облачение для фюрера подобрать несложно, а вот для Евы Браун и ее алькова... Обер-лейтенант просит майора оказать содействие: кружевные занавеси, шелковое одеяло, пару пышных подушек и принадлежности дамского туалета, возможно, одолжит кто-нибудь из работающих в лагерном лазарете медсестер или санитарок...

— Цум тойфелы! К черту! — решительно говорит майор и безжалостно вычеркивает «сцены» красным карандашом. — Если кому-то очень хочется воспроизвести альковные секреты фюрера и Евы Браун, пусть воспользуется своим воображением.

Обер-лейтенант Абст сокрушенно вздыхает. Но приказ есть приказ. Абст четко щелкает каблуками и послушно произносит:

— Яволь, господин майор! Цум бэфель!

Психологические этюды. Исполняет обер-фенрих Готлиб Шумахер. Обер-лейтенант с увлечением рассказывает нам о деталях этюдов.

— Это очень тонкие психологические наблюдения, и они пользуются у зрителей неизменным успехом. Не раз убеждался на практике. Представьте себе, господин майор, что из мужской половины человечества выделено двенадцать наиболее характерных типов, отличающихся друг от друга темпераментом, стилем поведения, манерой взаимоотношений с товарищами и т. д. Хитрец и простаки, храбрец и трус, человек быстрый и медлительный, волевой и безвольный... Артист мимикой и жестами демонстрирует, как каждый из типов ведет себя в некоторых конкретных обстоятельствах. Слов очень мало, почти сплошной балет, пантомима...

— Вот это другое дело, — с удовлетворением говорит майор Гиндин. — Только, пожалуйста, уточните, что это за конкретные обстоятельства. В бою? В гостях за столом? На работе?

— О нет, господин майор! Артист Шумахер выбрал ситуацию, в которой достигается наиболее сильный комический эффект. Он показывает, как каждый из типов... мочится.

Мы переглядываемся и дружно хохочем, но обер-лейтенант истолковал наш смех в свою пользу.

— *Senug!* Хватит! — стукнув кулаком по столу, восклицает майор. Кой-какой запас немецких слов у него есть. — Я никак не предполагал, что современная психологическая наука достигла в Германии таких высот!

Обескураженный обер-лейтенант испуганно вбирает голову в плечи. Что за странные вкусы у привередливого советского майора. Никак ему не угодить.

Словом, от предполагаемой программы первого «пестрого вечера» остались рожки да ножки. Пришлось заняться художественной самодеятельностью пленных всерьез. При содействии антифашистского актива создали совет клуба. Вскоре выяснилось, что среди пленных немало таких, из которых гитлеровский вермахт не успел окончательно

вытравить понимание настоящего искусства. Нашлись декламаторы, помнящие стихи Гёте и запретного в рейхе Гейне. Кстати, только в лагере многие пленные узнали, что знаменитое стихотворение «Лорелей» написано Генрихом Гейне: в школе учителя уверяли их, что это народная песня, что автор ее неизвестен.

Драмкружок с успехом ставит «Коварство и любовь» и «Вильгельма Телля» Фридриха Шиллера, «Матросов из Каттаро» Фридриха Вольфа, «Свадьбу» и «Медведя» Чехова. Со сцены клуба антифашистов частенько звучат стихи Иоганнеса Бехера и Эриха Вайнера.

Хорошо сыгрался квартет на губных гармошках. Впрочем, этот квартет однажды чуть было не подвел нас. Большинство музыкальных номеров, которые готовили «губники», не вызывали никакого сомнения. Скажем, известная немецкая песня «Майн либер Аугустина» или старинный вальс, который когда-то играли бродячие шарманщики: «В зеленые рощи и доли Мелани была влюблена».

Свое выступление на «пестром вечере» квартет предполагал закончить бравурным «Эгерландским маршем». Слово «эгерландский» нам тогда ничего не говорило. Сами музыканты тоже не смогли разъяснить, что это означает. Слышали где-то, как играет духовой оркестр,— понравилось, подобрали по слуху. Вдруг приходит к майору Гиндину антифашист Карел Куберка — чех из Судетской области — и с возмущением заявляет:

— Господин майор! Что же это в нашем лагере делается?! Иду я сегодня мимо клуба и слышу... Прямо ушам своим не поверил, но заглядываю туда и вижу: сидят рядом четыре здоровенных шваба и старательно выдувают на своих гармониках ненавистный каждому чеху «Эгерландский марш». У меня так и зачесались руки схватить палку и разогнать наглецов.

Из дальнейшего разговора с темпераментным чехом выяснилось следующее: Куберка родом из городка Хеб, расположенного в самой западной части Судетской области. А немцы упорно называют его Эгером. В 1938 году немецкие национал-социалисты устроили в Хебе-Эгере провокацию, послужившую Гитлеру формальным поводом выступить в «защиту единокровных братьев — судетских немцев». Гитлеровские дивизии вступали в Судетскую область под звуки милитаристского «Эгерландского марша», который играли военные духовые оркестры и транслировали по радио.

Разумеется, мы немедленно исправили свой невольный промах.

Кое-что приемлемое для клубной самодеятельности нашлось во фронтовом солдатском юморе. То, что прежде тайком передавалось из уст в уста, теперь можно было наглядно изобразить на сцене. Получались очень злые сатирические миниатюры.

«Карьера гитлеровского генерала». Вот он стоит перед нами во всей своей прусско-вермахтской красе. Надменный, с моноклем в глазу. Генеральская шапка с высоченной тульей-седлом. Под выдающимся вперед кадыком Железный крест. Сверкают начищенные денщиком-ордонансом сапоги с бульдожьими носами. Голенища цилиндрические, без единой складки — будто отрезанные от цельнотянутой металлической трубы. И шикарные генеральские галифе. Смотрим главным образом на них — в них гвоздь всего номера. Ведущий перечисляет советские города, через которые пролегал победоносный путь генерала: Брест, Минск, Смоленск, Вязьма... Нос генерала задирается все выше и выше. Одновременно раздаются в стороны и крылья генеральских галифе. Вот генерал величественным жестом подносит к глазам бинокль и патетическим тоном возвещает: «Я уже зрю Москву!» И вдруг раздается громкое «пш-ш-ш»: чудовищно раздавшиеся в стороны галифе мгновенно опадают. Механика фокуса такова. Слева и справа в галифе всунули по резиновой автомобильной камере с незаметно подведенными из-за сцены шангами, через которые накачивали воздух. А тут его выпустили. Генерал уныло вешает нос, а ведущий зачитывает приказ фюрера: «За срыв плана «Барбаросса» генерала такого-то отстранить от командования и отдать под суд».

О-КА-ВЕ-БАРАК

Так в шутку пленные называют десятый барак, в котором живут старшие немецкие офицеры, не являющиеся командирами лагерных рот и батальонов,— оберсты, оберст-лейтенанты и майоры. Словосочетание «О-Ка-Ве-барак» лагерные остряки обра-

зовали из ОКВ, Oberkommandowehrmacht, что означает по-русски главное командование вооруженными силами Германии.

К концу 1944 года уже многие немецкие офицеры, в том числе десятки генералов, оказавшихся в советском плену, примкнули к антифашистскому движению «Свободная Германия». А наш О-Ка-Ве-барак пока что туго поддается антифашистской пропаганде. Но предполагать, что у нас в Валге, в лагере № 287, подобралась прослойка старших офицеров, особенно приверженных идеям фашизма, нет никаких оснований.

Одни старшие офицеры, оглушенные разразившейся катастрофой, еще не вышли из шокового состояния. Другие все надеются на чудо: на «секретное оружие», на ссору между союзниками, на тотальную мобилизацию, на всеокрушающую вспышку пресловутой «тевтонской ярости»... Они ведут тайную контрпропаганду, пытаются иногда даже запугивать антифашистов. Вернемся, мол, в Германию — расправимся с вами, предателями фатерланда. Третьи закатывают истерики, демонстративно заявляют о своей поддержке фюрера. Правда, эта категория самая малочисленная. И наконец, в О-Ка-Ве-бараке угадывается группа офицеров, в какой-то мере уже переоценившая свое прежнее отношение к гитлеризму. Но заявить об этом открыто они еще не решаются.

Познакомимся хотя бы с некоторыми обитателями О-Ка-Ве-барака.

Брюзгливый оберст.

Как правило, в плену немцы поразительно исполнительны и дисциплинированы. Это относится и к обитателям О-Ка-Ве-барака. Во-первых, они настолько вымуштрованы, настолько приучены повиноваться сильнейшему, что обычно и не помышляют о сопротивлении. Реванш планируют на будущее. Во-вторых, большинство гитлеровских вояк, запуганные геббельсовской пропагандой, представляли себе наши лагеря для пленных по образу и подобию немецких концлагерей. И никак не могут прийти в себя от удивления, оказавшись во вполне человеческих условиях.

Но изредка попадаются и недовольные, выражающие свое недовольство открыто. Например, оберст Гюнтер фон Логау. Лет за пятьдесят, язвенник, сердечник. Голова наполовину лысая, наполовину покрыта седоватым пухом, костистый нос круто загнут вниз, вокруг длинной худой шеи постоянно обмотан теплый шарф, якобы предохраняющий оберста от ангины.

Гляжу я на этого изнуренного различными хворями оберста и невольно вспоминаю крупную хищную птицу, которую видел до войны в зоопарке. Это был представитель отряда грифов — сип белоголовый. У него покрытая редким пухом голова, на длинной шее воротник из перьев, мощный клюв круто загнут вниз...

Оберста Логау с теплою, насыщенного местечка направили в действующую армию совсем недавно. Он был инспектором кавалерии при одном из военных округов. Не провоевав и месяца, попал в плен. Явившись к нам в лагерь, оберст своим видом напоминал богатого путешественника: у него внушительных размеров чемодан и какой-то загадочный брезентовый футляр, смахивающий по своим очертаниям на музыкальный инструмент, скажем на виолончель.

В чемодане оказалась всевозможная мелочь, необходимая для человека, привыкшего пользоваться всеми благами цивилизации: пижама зимняя, пижама летняя, пестрый восточный халат-шлафрок, тапочки кожаные, тапочки на меху, несколько теплых шарфов, несессер с разнообразным набором инструментов для мужского туалета и т. д. и т. п.

Зато в брезентовом футляре всего два предмета, никакого отношения к музыке не имеющие: складной походный стул — der Feldstuhl — и станок для снятия сапог — die Stiefelziege, «сапожная коза». Все это хитроумное приспособление предназначено на случай, если под рукой не окажется денщика.

Как видим, оберст Логау росказням Геббельса об ужасах большевистского плена не очень-то доверял. И в советском плену он не желал расставаться со своими барскими привычками, однако ожидаемого комфорта у нас он не нашел. Вместо кроватей с шишками получил лишь «полковничьи» нары, вместо пуховых перин и подушек — набитые соломой сенники и наволочки. Недоволен оберст! Ворчит, жалуется, требует...

Учитывая болезненное состояние оберста, его поместили в лагерный лазарет. Там

квалифицированное медицинское обслуживание, отдельные койки и питание получше, чем общее. Для язвенников диетические блюда. Но и это не устраивает привередливого Гюнтера фон Логау. Дескать, меню однообразное: компотов из свежих фруктов не подают, французских десертных вин тоже... К таким лишениям оберст не привык.

Разоблачая гитлеризм, наши антифашистские активисты часто привлекают для иллюстрации, так сказать, местные наглядные пособия. Поротно, побатальонно водят своих соотечественников на некоторые объекты, которые остались в наследство от шталага № 351. Дескать, смотрите, в каких условиях жили здесь советские военнопленные. Смотрите, запоминайте, сравнивайте! Вот этот столб — остаток лагерной виселицы. Вот на берегу речки Педели обвалованный прямоугольный участок. Сейчас его используют в качестве стрелкового тира. Лагерная охрана шталага тоже довольно часто стреляла здесь. Только не по бумажным, а по живым мишеням. На улице Пикк в отдельно стоящей группе барачков размещался лазарет шталага. Немецкие врачи так усердно «лечили» советских пленных, что в лазарете от голода и эпидемий умирали ежедневно более 30 человек.

А вот и итог такой «заботы»: лагерное кладбище на окраине леса. Семь параллельно идущих двухсотметровых траншей. И в каждой по 10—12 рядов трупов, лежащих штабелями. Всего около 30 тысяч. Это установила недавно закончившая свою работу специальная государственная комиссия.

Конечно, такие наглядные уроки производят впечатление на многих и многих пленных. Но у оберста Логау и ему подобных особая психология, особая логика. Какое ему дело до 30 тысяч советских пленных! Ведь это славяне, кавказцы, всевозможные кочевники и прочие представители «низших» рас. А Логау — фон, Логау — представитель «высшей» расы и свою драгоценную особу ценит много выше.

Неудавшийся удавленник.

Майор Курт Фальке — бывший летчик-истребитель, отмеченный многими гитлеровскими наградами, в том числе Железным крестом с дубовыми листьями. Лицо его изуродовано сильными ожогами. Фашистского аса сбил советский ас. Фальке с трудом выбрался из горящего самолета и попал в плен.

У майора стабильно скверное настроение, ему осточертела жизнь. Во-первых, удручен своим уродством. Он еще молод, и жить с «обгорелой мордой» (это его собственное выражение) не имеет смысла. Во-вторых, майор Фальке не верит ни в «секретное оружие» фюрера, ни в возможную ссору между союзниками. Будущее Германии рисуется ему в самых мрачных красках. Пребывая в глубокой депрессии, майор неустанно повторяет: «Alles verloren! Alles verloren!» Все потеряно!

Забегая несколько вперед расскажу об одном лагерном ЧП, причиной которого явился майор Фальке.

Отмечая капитуляцию фашистской Германии и окончание войны, мы 9 мая 1945 года проводили в лагере торжественный митинг. Командир батальона старших офицеров полковник Эппенбах, прежде чем вести свое подразделение на ампельплац, построил его перед О-Ка-Ве-бараком. Проверил выправку, сделал переключку. И в ужасе обнаружил: одного не хватает. Уточнил, кого именно. Оказалось, майора Фальке. Неужели сбежал?!

Обшарили все — нет, будто сквозь землю провалился. Но скоро выяснилось: беглец не сквозь землю провалился, а наоборот — вознёсся вверх. Майора Фальке обнаружили на чердаке. Он висел на жгуче, скрученном из собственных кальсон и переброшенном через стропильную балку. К самоубийству подготовился заранее. Оторвал в потолке три доски и до поры до времени оставил их на месте. Узнав о капитуляции фашистской Германии, окончательно утвердился в мнении, что для него «аллес ферлёрен». И вот под шумок, пока батальон строился, майор Фальке выскользнул на чердак...

Однако самоубийцу успели вынуть из петли со слабыми признаками жизни. Его немедленно отнесли в лазарет, там оказали неотложную помощь. Придя в себя, майор Фальке с удивлением обнаружил, что он не на небесах, а на той же грешной земле, в плену. Он бушевал, метался в постели, грыз подушку.

— Какой смысл дальше жить! — причитал обгорелый ас. — Зачем меня спасали? Аллес ферлёрен! Я все равно покончу с собой!

— Почему вы, черт вас подери, вздумали повеситься именно в такой день? — гневно спрашивал неудавшегося удавленника майор Гиндин. — Хотели напакостить своим соотечественникам, испортить им праздник, что ли?

— Я уж давно хотел это сделать, — отвечал майор Фальке. — Но до официального сообщения о капитуляции чувствовал себя солдатом фюрера и не мог распоряжаться своей судьбой. А сейчас — всему конец!..

Впавшего в истерику майора пришлось поместить в лазаретный изолятор. При нем в течение недели посменно дежурили немецкие санитары. Постепенно расписовавшийся ас утомился. Острое возбуждение сменилось апатией. С разрешения врачей майор Фальке вернулся на свое место в О-Ка-Ве-барак и на самоубийство больше не покушался.

Обер-штабс-кибитц.

В О-Ка-Ве-бараке царит мрачно-выжидательная атмосфера. Оберсты, оберст-лейтенанты и майоры редко шутят, у них скорбно-опустошенные выражения лиц. Головы вобранны в плечи, будто их хозяева ждут сильного удара чем-то тяжелым по макушке. Впрочем, совсем не «будто». На эти армейские головы за последнее время обрушился не один оглушительный удар. И очередной, самый сокрушительный, должен вот-вот разразиться. Советские войска уже на берегах Одера и Нейсе.

На этом мрачном траурном фоне выделяется весельчак и балагур оберст-лейтенант Макс Эйлерс. Что у него на душе — это другое дело. Скорее всего артистически делает веселую мину при плохой игре. Но внешне он всегда беззаботно-весел и пытается расшевелить своих впавших в депрессию коллег.

На допросах оберст-лейтенант Эйлерс очень ловко увертывается от ответов на прямые вопросы и пытается соскользнуть на болтовню о занимательных пустячках. О своих обязанностях в военном ведомстве говорит очень скупно, зато готов сколько угодно разглагольствовать о берлинских ресторанах и клубах, завсегдаемом которых он был большую часть своей взрослой жизни.

После нудных утомительных допросов иногда в порядке отдыха отложишь протокол в сторону и послушаешь рассказ пленного, не имеющий прямого отношения к делу. И как знать: бывает, что именно во время такого разговора на побочную тему пленный попутно проболтается и о чем-то очень важном.

Эйлерс, например, с удовольствием рассказывает о своей деятельности в Берлинском клубе боельщиков. Это его выражение — деятельность. Оберст-лейтенант был в руководстве секции карточных игр. Приученные к иерархическому подчинению, немцы распространили эту традицию и на сферу отдыха, досуга. По-немецки основное значение слова «кибитц» — птица чибис, пигалица, побочное — боельщик. Так вот члены Берлинского клуба боельщиков подразделялись на рядовых кибитцев, обер-кибитцев, штабс-кибитцев, обер-штабс-кибитцев и хаупт-штабс-кибитцев.

В бумажнике у Эйлерса сохранился прелюбопытный документ — аусвайс, выданный Берлинским клубом боельщиков. И по размерам, и по форме, и по обратной стороне, так называемой рубашке, — обычная игральная карта. А на лицевой стороне типографским способом напечатан текст следующего содержания:

«Настоящим удостоверяется, что подполковник М. Эйлерс является членом Берлинского клуба боельщиков и ему присвоено звание обер-штабс-кибитца. Обладатель сего удостоверения имеет право вмешиваться в такие игры, как скат, допелькопф, бридж, покер, тарок, ромме и другие.

Обер-штабс-кибитц имеет право указывать на допущенные ошибки, корректировать, а также участвовать в общих криках одобрения или возмущения.

В спорных вопросах решение обер-штабс-кибитца является окончательным и обжалованию не подлежит».

В верхнем левом углу аусвайса миниатюрное фото владельца, величиной с почтовую марку; в верхнем правом примечание: «Строго персонально! Передача удостоверения другим лицам категорически запрещается».

Майор Гиндин полушутя-полусерьезно признал права обер-штабс-кибитца и даже расширил их. Дело в том, что многие пленные играли в самодельные шахматы, шашки, домино и карты. Иногда вспыхивали запрещенные в лагере азартные картежные игры.

Денег у пленных не было, играли на пайку хлеба, на завтрак, обед или ужин, на портянки или носовой платок. Так вот обер-штабс-кибитцу было поручено следить, чтобы любые игры в лагере не выходили за рамки дозволенного. Оберст-лейтенант Эйлерс к своим обязанностям относился с исключительной добросовестностью. Он безжалостно накладывал свое вето, если игра принимала опасное направление.

Божьи посредники.

Один угол О-Ка-Ве-барака занимают войсковые капелланы. На нижних нарах более почтенные возрасты, на втором и третьем ярусах — помоложе.

Как известно, Гитлер не особенно благоволил к официальной христианской церкви. Но это не мешало вермахту использовать церковь в своих целях. «Для пользы дела» в гитлеровской армии имелись штатные протестантские и католические священники. И было их не так уж мало. Во всяком случае, даже в нашем лагере их скопилось более 20.

К сожалению, мы пока что не имеем возможности заняться взводом капелланов более или менее основательно. В первую очередь интересуемся потенциальными военными преступниками. А божьи посредники... С ними вопрос спорный.

Допрашиваем — чем занимались в армии? Все отвечают одно и то же: служили молебны, произносили душеспасительные проповеди, напутствовали смертельно раненных и приговоренных к казни военным трибуналом.

Не имея возможности более детально изучать биографии воинских капелланов, выполняем минимум: пытаемся установить, в каких частях и подразделениях вермахта они служили. Эти данные в дальнейшем могут оказаться очень полезными. Нашей разведке обычно известно, какие полки, дивизии, батальоны участвовали в карательных экспедициях или допускали акты вандализма во время отступления. И если удастся доказать, что данный конкретный военнопленный в это время служил в этом подразделении, то вопрос о его личной ответственности решить уже значительно проще.

Консультируюсь со Швейком.

Занимаясь божьими посредниками из О-Ка-Ве-барака, я вспомнил, что bravому солдату Швейку довелось побывать в денщиках не только у строевых офицеров, но и у войсковых священников. Я решил, что знаменитая книга Ярослава Гашека в какой-то мере поможет мне понять святых отцов в военных мундирах. С большим трудом разыскал «Похождения bravого солдата Швейка» и внимательно перечитал их.

Прежде всего я восстановил в памяти, что в австро-венгерской армии, в которой служил Швейк, воинских священников называли фельдкуратами и обер-фельдкуратами.

По свидетельству Гашека, воинские попы в австро-венгерской армии здорово пили. Ничуть не меньше, чем попы гражданские. И не только церковное вино, пить которое их обязывал духовный сан. Денщик Швейк частенько таскал пьяного фельдкурата Отто Каца, как куль муки. Но, несмотря на некоторые человеческие слабости, фельдкураты во времена Швейка справлялись со своими задачами блестяще. Они обеспечивали место под райскими кущами для каждого солдата и офицера, павшего за Австро-Венгерскую империю и императора Франца Иосифа.

Хотя роман Гашека значительно расширил мои представления о деятельности святых отцов в военных мундирах, непосредственно применить эти сведения к изучению взвода капелланов оказалось не так-то просто: минуло более четверти века, гитлеровская армия существенно отличается от австро-венгерской и наши капелланы в плену, а не на свободе в отличие от гашековских фельдкуратов.

И все же, вооружившись дополнительными сведениями, я решил побеседовать с одним из духовных пастырей. Мой выбор пал на католического капеллана в чине майора Конрада Хартлебена. Он возглавлял пастырскую службу в пехотной дивизии, где было много баварцев и швабов, преимущественно католиков.

Мне удалось выяснить следующее. В распоряжении Хартлебена был «опель-капитан». Шофер по совместительству являлся денщиком, а во время богослужений — помощником-министрантом. В конце сорок третьего, после того как советские штурмовики разбомбили трибунальскую машину, Хартлебена уплотнили: к его «опель-капита-

ну» прикрепили военного прокурора. Поначалу Хартлебен очень расстроился, но ничего не попишешь, пришлось потесниться.

Военный прокурор и военный священник работали на пару, так сказать, синхронно. Первый выносил смертные приговоры дезертирам, трусам и паникерам, второй напутствовал их словом божьим.

Попутно между нами произошел такой диалог.

В о п р о с. Не приходилось ли вам или кому-либо из ваших коллег напутствовать на тот свет приговоренных к смерти польских или советских граждан?

О т в е т. Несколько подобных попыток кончилось полной неудачей. И поляки и русские, как правило, отказываются от услуг священника в форме немецкого офицера.

В о п р о с. Насколько мне известно, части вермахта комплектуются без учета принадлежности к тому или иному вероисповеданию. Как же вы, католические и протестантские капелланы, делите между собой свою паству?

О т в е т. Да, на фронте с солдатами и офицерами работать сложнее, чем в мирное время с прихожанами. Но в целом капелланы разных вероисповеданий ладят между собой. Вообще-то массовые богослужения в подразделениях вермахта не поощрялись. Другое дело, если перед тобой убитые и их много... Тут уж некогда сортировать на католиков и протестантов. Раньше отпевает один капеллан, потом другой. Когда вермахту окончательно изменила фортуна, в нашей практике появились новые, не предусмотренные никакими предписаниями траурные церемонии — заочные панихиды. Наши дивизии то попадали в котлы, то поспешно, не успевая подобрать и похоронить убитых, отходили. Во время кратковременной передышки мы на скорую руку отпевали павших, оставшихся лежать далеко на востоке, на территории, уже занятой Советской Армией...

— Не занятой, а освобожденной нашей Армией! — не выдержал я и поправил Хартлебена. — И трупы ваших соотечественников не «остались лежать» на полях битвы. Их подбирают и хоронят специальные подразделения Советской Армии. Конечно, похоронная церемония выглядит очень скромно — без духового оркестра и прощальных залпов...

— Какой уж там оркестр, — понимающе махнул рукой Хартлебен и сокрушенно добавил: — Но все же хотелось бы, чтобы кладбища павших немецких солдат и офицеров были освящены по христианскому обряду и отмечены хотя бы деревянными крестами...

У каждого свое болит, подумал я. Святой отец ни словом не обмолвился о том, что фашизм ввергает в бессмысленную бойню миллионы живых. Духовный пастырь в первую очередь озабочен неустроенностью мертвых.

После разговора о таких скорбных материях, как панихиды и кладбища, мы перешли к более мажорным темам. В частности, я поинтересовался, какие сорта вин разрешается ныне военным священникам использовать для богослужений. По словам Хартлебена, требования к церковному вину в вермахте существенно изменились. В сторону расширения ассортимента.

В заключение нашей интересной беседы я спросил у Хартлебена, почему у него нет тонзуры — выбритого на макушке кружка, который обязан носить каждый католический священник. Лукаво улыбнувшись, святой отец ответил:

— Конечно, католические капелланы тоже обязаны носить тонзуру. Но плен — чрезвычайная ситуация. Здесь мы не выполняем и ряд других обязательных предписаний церкви. Например, на всех католических священниках нашего взвода нет ни одного breviария — молитвенника с повседневными молитвами. Не молимся, не исповедуемся... Впрочем, отчасти исповедуемся, если считать исповедания допросы, на которые вы нас времени от времени вызываете.

— А не получается ли, — задал я Хартлебену последний вопрос, — что именно здесь, в плену, вы, военные священники, приближаетесь как раз к тому идеалу святости духовного пастыря, о котором много распространяется католическая церковь? В самом деле. В плену вы живете в соответствии с заветами, которые проповедовали первые христиане, — скромно, по-спартански. И главное — перестали посылать людей на верную смерть. Не так ли?

Святой отец вспыхнул, но тут же подавил свои эмоции. Ответил вежливо и с юмором:

— Эта мысль хотя и парадоксальна, но не лишена резона. Она дает пищу для глубоких размышлений. Но нам, военным священникам, не очень хотелось бы, чтобы ради продления нашего безгрешного состояния советское правительство задержало нас в плену на дополнительный срок...

Как будто и разговорчив Хартлебен, но его словоохотливость обманчива. Стоит заговорить со святым отцом более конкретно о его политических взглядах, как он начинает вилать и с искусством дипломата переключает беседу на какие-нибудь пустяки. И все же Хартлебену и его коллегам придется более или менее ясно высказать свое мнение и о потерпевшем позорный крах фашизме, и о будущем политическом устройстве Германии. Но об этом речь впереди.

МОРГЕНАППЕЛЬ

Сегодня я дежурный офицер по лагерю. Самая нудная пора дежурства — ночь. Раза два обхожу за ночь всю территорию, заглядываю в отдельные бараки...

Валга уже давно в глубоком тылу, фронт откатился на запад на сотни километров. Но нервы пленных еще не пришли в норму. То там, то сям на нарах слышны испуганные вскрики, вопли, проклятия, молитвенное бормотание. Бывшие гитлеровские вожки вновь и вновь переживают апокалипсические ужасы Ха-ка-эль¹. Им чудятся лавины идущих в атаку советских танков, налеты «черной смерти» — штурмовиков и обстрелы из «шталинорганов» — «катюш».

С верхних нар кто-то отчаянно-безнадежным голосом зовет своего друга: «Ру-у-ди, во бист ду?! Ру-у-ди!». И в самом деле, куда же запропастился Руди? Или он сложил свою голову в белорусских болотах? Или утонул в Даугаве под Ригой? Или лежит где-то на нарах в другом лагере и зовет сквозь сон своего друга Ганса?

Моргенаппель — утренняя проверка. Стою в центре аппельплаца, принимаю рапорты комбатов. В батальонах все налицо, и за сутки в лагере ни одного умершего. Для сравнения вспоминаю: всего несколько месяцев назад на этом же аппельплаце звучали иные рапорты. В Валгаском шталаге ежедневно умирало в среднем по 30—40 советских пленных. Об этом рассказали немногие уцелевшие узники шталага № 351.

На аппельплацу тысячи гитлеровцев от рядовых солдат до полковников. Они ловят каждое мое слово, следят за каждым жестом. Исполняют команды не как-нибудь, а с присущим немцам исполнительским рвением.

Я ничуть не упиваюсь своей властью. Нет! Только анализирую ситуацию. Прекрасно понимаю: не во мне суть. Я лишь рядовой представитель той могучей силы, которая вырвала у фашистских бестий клыки, обрезала им когти и поставила по стойке «Stillgestanden!» («смирно!»). Мое право подавать здесь команды завоевано очень дорогой ценой.

Stillgestanden! Rechts um! — направо! Im Schritt! — шагом марш! Айнс, цвай, драй! Айнс, цвай, драй! Колонны расходятся по баракам. На смену им на аппельплац вступают новые батальоны.

ЛАЗАРЕТ ШТАЛАГА № 351

В годы оккупации лазарет Валгаского шталага размещался не в самом лагере, а через квартал от него, на углу улиц Пикк и Ньюкогуде. Там еще с царских времен сохранились казармы Красноярского полка. Гитлеровцы прихватили к этим казармам ряд частных домов, целый городской квартал обнесли колючей проволокой, спиралью Бруно, поставили по углам сторожевые вышки. Этот филиал основного шталага вмещал до двух тысяч человек.

Об условиях жизни советских пленных в лазарете мне рассказал бывший узник Валгаского шталага военврач первого ранга Михаил Яковлевич Дьязов. В 1941 году он

¹ Die Hauptkampflinie — передний край, в разговорной речи немецких фронтовиков — Ха-ка-эль.

был начальником гарнизонного военного госпиталя на эстонском острове Сааремаа (Эзель) и там попал в плен. Медперсонал до последней минуты оставался на своем посту, возле тяжелораненых.

Свои странствия по фашистским лагерям смерти военврач Дьяков начал с Валгаского шталага. Оказавшись в конце войны на свободе, он приехал в Валгу, чтобы склонить голову на лагерной братской могиле. Там покоятся многие фронтовые друзья Михаила Яковлевича и тысячи больных из лазарета, умерших у него на руках.

Бывал и я у Дьякова в гостях в подмосковном поселке Сходня. Во время встреч с Михаилом Яковлевичем я подолгу слушал его рассказы о страшных испытаниях в годы войны. Он испил чашу фашистского плена до дна: прошел семь лагерей смерти! Из его рассказов нетрудно составить большую повесть. Вот несколько страничек из этой пока еще не написанной книги.

«Если шталаг № 351 с полным основанием можно назвать фашистским адом, то лазарет — последний круг его. Сюда переводили окончательно обессиленных дистрофиков, больных сыпным тифом, дизентерией и другими эпидемическими заболеваниями. Лечили больных медики из самих же пленных. А нас было немало: 26 военных врачей, несколько десятков фельдшеров, еще больше санитаров. Немецкий шефартц Хазельхорст только контролировал нашу работу. Он даже не каждый день появлялся в лазарете, а в бараки заглядывал только через порог.

Я сказал: лечили... Но лечить-то было нечем. Ни лекарств, ни перевязочных средств, ни хирургических инструментов. Даже градусников не было, температуру определяли на ощупь. И питание то же, что в основном шталаге: баланда из гнилой брюквы, мизерные пайки суррогатного хлеба. Умирало по несколько десятков, а иногда и до 200 человек за сутки.

Об обстановке в лазарете можно судить, например, по тому, что единственным помещением, которое более или менее отвечало там своему назначению, был морг — одноэтажная каменная постройка с цементным полом. Заведовал этим участком «конвейера смерти» один из военнопленных — ленинградский инженер Михаил Васильевич Аносов. Аносов выполнял в лазарете еще одну обязанность — тайную, о которой знали немногие. Он был главным архивариусом. Хранить ему доверили важные документы.

С первых дней существования лазарета мы, пленные врачи, тайком от лагерной администрации вели свой учет умерших, чтобы впоследствии, когда выйдем на свободу, сообщить об этом родным погибших. Писали на обратной стороне «мелдунгов» — бланков строевых записок. Указывали имя, дату смерти и домашний адрес. Эта картотека, завернутая по частям в клеенку, хранилась под цементным полом морга.

К 30 июля 1943 года мы начали регистрацию восемнадцатой тысячи замученных. Эту дату я называю не случайно — она явилась поворотным рубежом в моей судьбе. В этот день немецкий дежурный офицер приказал построиться на аппельплацу всему медперсоналу лазарета. Всех нас — врачей, фельдшеров, санитаров — набралось 260 человек. Перед строем появилась группа офицеров: четыре немца и два власовца.

«Спасители земли Русской» долго распинались перед нами, произносили «патриотические» речи. Немецкие офицеры стояли в стороне и беззаботно болтали между собой. Дескать, мы тут ни при чем, это ваше внутреннее дело.

Наконец власовский подполковник скомандовал: «Итак, кто желает служить в доблестных частях РОА — три шага вперед!».

Строй не шелохнулся, наступило зловещее молчание. Умолкли и немцы, они стали озабоченно и недовольно поглядывать в нашу сторону. Власовцы опять принялись за разговоры, но в их речах уже слышались угрозы. Опять команда, и опять безрезультатно. С нулевым успехом закончился и третий тур увещаний. По знаку немцев власовцы распустили строй.

Начался следующий этап: нас стали поодиночке вызывать в лагерный «особый отдел». Сбросив маску непричастности и незаинтересованности, в разговор включились немцы. Но и этот маневр не принес желаемого успеха.

Вербовщики так и уехали несолоно хлебавши, а с неподатливыми медиками началась расправа. Нас стали обрабатывать уже не словами, а кулаками и дубинками. Многих списали в рабочие команды, нескольких врачей, в том числе и меня, посадили в карцер. В середине августа черная крытая машина увезла нас, группу военнопленных

врачей, из Валги на запад. Для меня начались странствия из одного концлагеря в другой: Саласпилс, Ковенский 7-й форт, концлагерь Зандбостель X-B под Гамбургом...

И все же я выжил... Как только оказался на свободе, стал искать своих друзей — бывших узников Валгаского шталага. Тех, чьи адреса помнил. Очень немногих, но все же нашел. От них узнал, как жил лазарет после июльско-августовского погрома 1943 года.

Картотеку умерших продолжали вести. Порядковый номер был уже близок к 30 тысячам. Когда фронт подошел к Пскову, немцы переименовали шталаг № 351 в дулаг № 110. Шталаг — тыловой стационарный лагерь, дулаг — прифронтовой пропускной. В июле 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта, освободив Псков, устремились в Прибалтику. Началась эвакуация дулага № 110. Она производилась чисто по-фашистски: всех, кто хоть немного переставлял ноги, несколькими колоннами погнали в сторону Риги. Отстающих конвоиры тут же пристреливали. Под Ригой оставшихся в живых погрузили в товарные вагоны, на грузовые платформы и повезли дальше на запад, в Германию.

Колонны ушли, а в лазарете на нарах оставались еще лежачие больные. В последние дни эвакуации они куда-то бесследно исчезли. Администрация фашистских лагерей смерти знала немало способов уничтожения беспомощных людей.

В лазарете ходили слухи, что после окончательной эвакуации шталага деревянные постройки будут сожжены, а каменные взорваны. Поэтому Аносов перепрятал свой архив. Ему помогали его близкие друзья. Предполагалось, что после войны оставшиеся в живых счастливицы поедут в Валгу и найдут скорбный клад...»

На этом я обрываю рассказ Михаила Дьякова. От себя добавлю: время от времени в Валгу приезжают бывшие узники шталага № 351. Они осматривают неузнаваемо изменившуюся северную окраину города, где вырос новый микрорайон. Удивляются деревьям, зданиям, людям, которых раньше не было. С трудом находят место, где когда-то стоял их барак. Возлагают цветы к монументу на лагерном братском кладбище. Некоторые плачут и ничуть не стыдятся своих слез...

К сожалению, среди приезжавших не было ни самого Аносова, ни кого-нибудь из его близких друзей. Таким образом, бывшая территория так называемого лазарета шталага № 351—дулага № 110 и поныне хранит две тайны: списки около 30 тысяч советских военнопленных, замученных фашистами в Валгаском лагере смерти, и трагические подробности уничтожения последних узников этого лагеря.

ЛАЗАРЕТ ЛАГЕРЯ № 287

Наш лагерный лазарет по сравнению со своим болезненно разбухшим предшественником совсем крошка, всего на 200 мест. Размещается в приземистых бараках, построенных специально для этой цели уже советской администрацией. В нем несколько отделений: терапевтическое, хирургическое, инфекционное, амбулаторное, санаторное. Я не оговорился — даже санаторное! Кроме того, зубоврачебный кабинет, лаборатория, аптека, санпропускник и дезкамера.

За все время существования лагеря № 287 у нас не было ни малейшей вспышки эпидемических заболеваний. В инфекционном отделении лежат единичные больные дизентерией, желтухой, гриппом. Сюда же до окончательного выяснения диагноза кладут тех больных, у которых предполагается заразное заболевание.

Пленные со свежими ранениями к нам не поступают, мы уже слишком далеко от фронта. Хирурги оперируют фурункулы, аппендициты, язвенные прободения кишок, осложнения старых ран и в этом роде.

В санаторном отделении дистрофики и больные, истощенные тяжелыми заболеваниями. Они попадают к нам с пополнением. Одни сильно отошдали в котлах, другие — пока попали в плен, долго блуждали по лесам или прятались в подвалах. «Санаторники» получают усиленное питание. Хлеба, например, по 750 граммов вместо общей шестисотграммовой нормы.

Наши медики отвечают за санитарное состояние лагеря.

В лазарете нары отсутствуют, здесь деревянные койки. Одинарные или двухъярусные. Рядом с ними тумбочки. Все это сделано в лагерной мастерской.

Лечебную работу в лазарете возглавляют советские военные врачи Береснев, Кирсанова, Ширшов. Все рабочее время они проводят в лазарете вместе с больными. Медсестры — вольнонаемные, санитары — из военнопленных.

Добросовестно работают в лазарете военнопленные врачи. Австриец из Вены Франц Зобалик — опытный врач-лаборант. Расконвоирован, проводит большую антифашистскую работу среди больных. Часто бывает в городской поликлинике, помогает эстонцам в организации лаборатории, обучает новенькую лаборантку.

У терапевта Бунге еще и ветеринарное образование. Это для нас оказалось очень кстати. Бунге направили в подсобное лагерное хозяйство, где постоянно работает рота пленных, имеются лошади и прочий домашний скот.

У Евгения Ивановича Береснева большой опыт работы в советских военных госпиталях. Он очень пригодился ему при организации лагерного лазарета. Главврачу многое подсказывает Тамара Васильевна Кирсанова, которая уже до Валги лечила пленных: она работала врачом в лагере военнопленных в Боровичах Новгородской области в 1943 году. По рассказам Тамары Васильевны, в Боровичском лагере работать было намного труднее. Там в основном содержались немцы, плененные Эстонским национальным корпусом в январе 1943 года в великолукском котле. Пленные прибывали в состоянии тяжелой дистрофии, завшивевшие, обмороженные, больные сыпным тифом и дизентерией, с тяжелыми запущенными ранениями. И пока не удалось погасить эпидемические заболевания и поставить на ноги дистрофиков, смертность была довольно высокой.

Однако главные виновники гибели этих немцев не голод и раны, не тифозные микробы, а фашистское командование. Гитлер и командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Клюге неоднократно обещали деблокировать окруженные части. Начальник великолукского гарнизона фон Засс отказывался капитулировать, когда положение стало явно безнадежным. В итоге плененные эстонскими воинами немцы попали в полутрупу.

Настроение у пленных, особенно офицеров, из великолукского котла было иное, чем сейчас. Они проклинали не столько фюрера и его генералов, сколько свою военную судьбу. Дескать, наша неудача всего лишь незначительный эпизод на фоне великой победоносной войны.

Первое время вызывающе и недостойно вели себя пленные немецкие военврачи. В Боровичском лагере их оказалось с десяток. В то время когда советские хирурги сутками не спали, оказывая неотложную помощь раненым и обмороженным, когда даже советские врачи-женщины и медсестры таскали на себе лежачих больных, гитлеровские эскулапы объявили забастовку. Они нагло заявили: «Ваши пленные — вы их и лечите!».

Такое поведение гитлеровских медиков советским врачам сначала казалось совершенно непостижимым, чудовищным. Постепенно загадка разъяснилась. Не все 10 пленных врачей были единодушны. Только двое из них оказались фашистскими недобряками, они и держали в руках остальных. Смысл врачебной забастовки заключался в следующем. Спасение немецких пленных невыгодно третьему рейху. Допустим, их вылечат, поставят на ноги. А что дальше? Русские пошлют их в шахты, на военные заводы и нефтепромыслы. То есть немцы будут укреплять боевую мощь большевиков. Пусть же они лучше погибнут, лучше принести их в жертву фатерланду!

Такова была «бухгалтерия» фашистской врачебной этики. Скоро, однако, удалось изолировать отъявленных гитлеровцев, после чего остальные пленные врачи включились в лечебную работу. И трудились честно, добросовестно, наравне с советскими врачами.

ГРУСТНОЕ РОЖДЕСТВО

Конец 1944 года. И на прямоугольной и на концентрической картах фашистская империя тает подобно бальзаковской шагреновой коже.

Приближаются Weihnachten — рождественские дни. Рабочие команды, заготавливающие в лесу дрова, привезли елки. И для клуба и для барачков. Добровольцы готовят самодельные украшения. Вырезают из бумаги серпантин и стилизованные снежинки, фрукты и овощи, фигурки зверей и птиц, фей и гномов, бородатого горного духа Рюбецаля и, конечно же, западного деда-мороза — Санта-Клауса. Раскрашивают. На одной

барачной елке я обнаружил с дюжину засушенных цветков эдельвейса, этикие пушистые звездочки, густо усеянные белыми волосками. Уроженцы южных горных районов Германии и Австрии часто хранят их как память о родине вместе с семейными фотографиями или между листками записных книжек.

В подготовку к рождеству включились и антифашисты. Распределяют по баракам из клубных запасов бумагу, картон и краски, выдают напрокат ножницы. А от свечей пришлось отказаться — категорически запретил противопожарный надзор. Ограничились электролампочками, и то по одной на елку.

Наконец 24 декабря, в сочельник, по всему лагерю раздались песнопения. Пели на разных языках, пели и народные песни и религиозные.

Захожу в бараки и наблюдаю, как пленные поют свою «Елочку»:

Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum,
 Wie grün sind deine Blätter!
 Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
 Nein, auch im Winter, wenn es schneit...
 (О елочка, о елочка,
 Как зелена твоя хвоя!
 Ты зеленеешь не только летом,
 Но и зимой, когда падает снег...)

Когда-то многие из этих людей елочные безделушки, маски, шумные хороводы с участием Санта-Клауса, рождественско-новогодние песнопения — всю праздничную суету и мишуру, возможно, и не принимали так близко к сердцу. Со снисходительностью взрослых считали, что все эти утехи — достояние детей. А старшим поколениям надлежит только сорадоваться, ликовать косвенно, наблюдая за весельем детворы. Здесь же, вдали от родины, по-детски наивная «Елочка» оказалась беспредельно дорогой сердцу каждого, она превратилась в настоящий ностальгический гимн. Вижу, многие ее поют со слезами на глазах...

Вот видите — растрогался. По-солдатски, по-человечески посочувствовал тем, кто развязал войну, кто может ценить только на себя. На минуту позабыл, что по вине этих плачущих взрослых я тоже оторван от родных, что где-то далеко, на Урале, Новый год встречает моя маленькая дочка Таня, с которой я еще незнаком... На минуту позабыл, что эти сентиментальные швабы и баварцы сожгли мой край, убили моего отца и двух братьев, уничтожили сотни и тысячи моих земляков...

Недавно я получил от родных первые подробные письма из освобожденной Белоруссии с описанием тех злодеяний, которые там творили фашисты. Зимой сорок третьего — сорок четвертого года на самом севере республики, в Освейской лесной зоне, командование гитлеровской группировки «Центр» провело крупную карательную экспедицию под кодовым названием «Винтерцаубер» («Зимнее волшебство»). Только изощренные садисты могли придумать такое название для столь жестоких деяний!

«Волшебство» выглядело так. В зимнюю ночь специальные эсэсовские эйнзатц-команды и снятые с фронта воинские части начали прочесывание окруженного со всех сторон партизанского края. И так опустошили Освейский район, что в нем осталось всего-навсего 5—7 случайно уцелевших хат. Несколько сот жителей райцентра Освеи вывели на середину Освейского озера. Затем подорвали лед и всех пустили на дно.

О варварском уничтожении целого района была выпущена специальная листовка «Освейская трагедия». Советские самолеты разбрасывали ее над нашими войсками. Печальная весть о гибели белорусского местечка, где я родился и вырос, попала ко мне с неба в августе сорок четвертого, во время боев на рубеже Мариенбург, перед вступлением в Юго-Восточную Эстонию.

Очень возможно, что среди этих 800 пленных, присутствующих сейчас на елке в бараке № 8, есть и участники акции «Винтерцаубер» на Витебщине. И все-таки я немного расчувствовался, пожалел этих взрослых плачущих солдат, хотя знаю, что среди них немало фашистских мерзавцев...

СТАРАТЕЛЬНЫЙ ПАУЛЬ

Одна из медсестер лазарета — Александра Федоровна Зарецкая, или, как ее называет весь медперсонал, Шура. Ее судьба типична для многих советских женщин, оказав-

шихся на оккупированной территории. Незадолго до войны Шура, тогда еще совсем молодая девчонка, вышла замуж за командира Советской Армии. Жила с мужем в воинском гарнизоне, растлила сына, была счастлива. К июню 1941 года первенец Леня только-только научился ходить...

Эта воинская часть успела эвакуировать семьи военнослужащих. Под бомбежками, различными видами транспорта и пешком, с ребенком на руках Шура добралась до родных мест. Ее мать Анна Анисимовна жила в Порховском районе Псковской области. Поначалу Псковщина представлялась Шуре глубоким тылом. Она считала себя и Леню в безопасности и беспокоилась только о муже. Но скоро огненный вал докатился и сюда. В Шурину деревню Тосницы ворвались гитлеровские мотоциклисты. В райцентре обосновалась фашистская фельдкомендатура. В Тосницах и в соседних деревнях — Терептине, Веретье, Заречье, Заозерье, Веретенях, Красухе — появились старосты и полиция. Началась полная тревог и смертельных опасностей жизнь под немцем.

Особенно распоясались оккупанты, когда на Псковщине стали действовать партизаны. Отряды карателей частенько совершали неожиданные налеты на деревни, пытаясь застать там неуловимых партизан. Свои неудачи вымещали на стариках, женщинах и детях. Доставалось и Зарецким. Местные предатели донесли в комендатуру, что Шура — жена командира Советской Армии, а родной ее брат в партизанах.

Чаще всего в Тосницы приезжали каратели из Порхова и Терептина. Некоторых извергов сельчане знали в лицо, знали их имена и звания. Особенной жестокостью отличался унтер-офицер Пауль. Он немного говорил по-русски, а поэтому обычно выступал в роли переводчика. А заодно был и палачом. Не расставался с дубинкой, сделанной из толстого кабеля. На одном конце дубинки кожаная петля для надевания на руку, а из другого торчали обнаженные концы проволоки...

«Беседа» обычно проходила так. В избу вваливались автоматчики, офицер и переводчик. Автоматчики, держа оружие наготове, застывали у порога, офицер садился на стул и через переводчика задавал хозяевам вопросы. А Пауль не просто переводил — он «выколачивал» ответы своей дубинкой.

Подвергалась такой экзекуции и Шура. А однажды Пауль так избил Зарецкую-старшую, что у старушки потекла из ушей кровь. Наотмашь лупил дубинкой по лицу и голове. Внучек Леня хотел было вступить за бабушку, но озверевший фашист отшвырнул его ногой...

Впрочем, это были только цветочки. Наступили еще горшие времена. Оккупанты стали жечь деревни, иногда палили избы вместе с жителями. Дошла очередь и до Тосниц. Шуру Зарецкую приютили свояки, живущие в дальнем уединенном селении. Но факельщики добрались и туда. В разгар зимы Шура с матерью и ребенком ушла в лес. Но партизан они найти не успели: безлецов во время облавы задержали эсэсовцы.

В Пскове эсэсовцы и полиция погрузили несколько сот женщин, стариков и детей в холодные товарные вагоны и повезли неведомо куда. Разгрузили эшелон в литовском городе Пабраде. И всех сразу бросили в лагерь, за колючую проволоку.

К счастью, пробыли в этом лагере недолго. Вскоре гитлеровцы устроили невольничий рынок, на котором местные богачи, съехавшиеся со всей округи, придирчиво выбирали рабов. Шуру с Леной и мамой взял хозяин, приехавший с большим опозданием. Ему выбирать было не из чего. Хозяева оказались типичными кулаками. Скота много, кормили плохо. В конце концов Зарецкие не выдержали, перебрались на другой хутор. Старый хозяин не возражал, считая, что молодая русская батрачка очень строптива. Новые хозяева оказались хорошими людьми и кормили досыта.

Выдержали Зарецкие все испытания, выдюжили, дождались свободы. И при первой возможности вернулись на Псковщину. Там Александру Федоровну ждала похоронная: муж Павел погиб, защищая родину.

До войны Александра Федоровна закончила школу медсестер. Эта специальность и привела ее в лазарет лагеря № 287. Вошла она впервые в палату, и тут ее по всем правилам поприветствовал дежурный санитар. Он так звучно щелкнул каблукми и так зычно гаркнул «ахтунг!», что женщина невольно зажмурилась и чуть было не присела, будто рядом с ней неожиданно прогремел пушечный залп. А когда взглянула на сверхстарательного пленного, ее забила нервная дрожь: перед ней стоял переводчик Пауль. Тот самый! Александра Федоровна даже машинально взглянула на его правую руку:

а где же дубинка? А гитлеровец и глазом не моргнул, сделал вид, будто видит медсестру впервые. Вполне возможно, что он и в самом деле не узнал ее. Ведь через его руки прошли сотни жертв.

На допросах в оперотделе унтер-офицер клялся и божился, будто «фрау Кранкеншвестер» обозналась. Дескать, в Псковской области — в Плескаугебит — вообще не служил и о Порхове понятия не имеет. Зольдбуха, где должно быть отмечено все прохождение воинской службы, у него не оказалось, а второстепенные документы свидетельствовали, что унтер-офицер Пауль Х. в момент пленения служил в пехотном полку номер такой-то.

Оформив свидетельские показания Александры Федоровны, мы передали унтер-офицера Х. со всеми следственными материалами в Таллин. А там поступили так: направили в Порховский район оперативную группу — военного следователя и двух конвоиров. Они возили унтер-офицера по сожженным деревням, показывали его уцелевшим жителям. И везде находились свидетели: переводчика Пауля запомнили многие. Иногда опергруппе с трудом удавалось защитить гитлеровца от народного гнева.

Спустя какое-то время к нам в лагерь пришло официальное сообщение: «Военнослужащий гитлеровской армии унтер-офицер Пауль Х. признан военным преступником и приговорен военным трибуналом к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях».

НЕМНОГО ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ

Разоблачение унтер-офицера Пауля Х. взбудоражило и советский персонал лагеря и военнопленных.

Первое время своеобразно реагировали советские врачи и медсестры лазарета. Дело в том, что медсестра Зарецкая поступила на работу несколько месяцев спустя после образования лагеря № 287. За это время санитар и переводчик Пауль зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Исполнительный, расторопный, добросовестный, деликатный, с открытым честным лицом... И вдруг он же — каратель, садист, военный преступник. Такое сочетание казалось прямо-таки непостижимым.

В частности, поначалу поверить в виновность Пауля никак не мог главврач лазарета Береснев. Прежде чем передать унтер-офицера в оперотдел, он решил сам побеседовать с ним по душам. Побеседовали вдоволь, оба расчувствовались. По «честному» и такому «откровенному» лицу гитлеровца текли слезы...

— Нет, такой культурный и чуткий парень, как Пауль, пальцем не тронет беззащитного человека! — заявил капитан Береснев майору Гиндину. — Хотя у меня нет никаких документальных доказательств, интуитивно я чувствую, что это не тот немец, за которого его принимает медсестра Зарецкая.

Конечно, капитан Береснев слишком понадеялся на свою интуицию, и она его основательно подвела. А доверительные беседы с матерым карателем могли закончиться самым печальным образом.

Во время следствия мы установили, что сразу после беседы с капитаном Бересневым унтер-офицер Пауль договорился со своим другом обер-ефрейтором Байером о немедленном побеге из лагеря. Этот Байер тоже оказался порховским карателем, в свое время друзья служили в одной комендатуре.

Таким образом, эта история оказалась поучительной для всех нас. Она еще раз напомнила нам: будьте бдительны, поменьше доверяйте чисто внешним впечатлениям.

Огромное впечатление дело Пауля — Байера произвело и на пленных. К тому времени «Фрайес Дойчланд» уже не раз писала об Освенциме, Бухенвальде и других фашистских лагерях смерти. Но далеко не все немцы сразу безоговорочно поверили в достоверность этих фактов. Читали газетные сообщения преувеличениями советской пропаганды. А те, которые в какой-то мере верили, рассуждали примерно так: «Все это крайности Гимmlера и его сподручных. Нас, фронтовиков, эти темные дела не касаются». И вдруг оказывается, что «сподручные Гимmlера» не где-то далеко, а притаились рядом, в Валгаском лагере. И сколько таких здесь еще?

Удручающе действовало разоблачение служащих порховской комендатуры на работавших в лазарете немецких врачей и санитаров, на активистов-антифашистов. Они остро чувствовали перед нами вину за своих соотечественников и опасались, что

эта история отрицательно скажется на отношении советского персонала к остальным пленным.

А О-Ка-Ве-барак оценил событие со своих позиций: «Беззаконие! Произвол! Какой может быть спрос с унтер-офицера и обер-ефрейтора! Пусть русские разыщут коменданта порховской фельдкомендатуры и предъявят обвинение ему. В конце концов и комендант не виноват, он тоже выполнял приказы старшего начальства».

Когда у нас в лагере стало известно о приговоре Паулю и Байеру, медсестра Зарецкая сказала мне:

— На этот раз даже моя мама согласится: так им и надо, фашистским кровопийцам!

— Вы считаете вашу маму чересчур жалостливой? — спросил я Александру Федоровну.

— Уж она такая жалостливая, что дальше некуда. Как увидит колонну пленных немцев, слезы вытирает. Дескать, у них тоже есть матери, жены и дети... Очень уж мы отходчивы, слишком скоро прощаем своих заклятых врагов. Других критикую, а сама тоже такая. Вот уже полтора месяца работаю в лазарете. Вовсю стараюсь, ухаживаю за гитлеровцами, которые спалили мою родную деревню, убили мужа, поломали всю мою жизнь. Кормлю с ложечки немощных обёрстов... И не по приказу это делаю: иначе не могу. Совесть не позволит мстить пленным. Не буду хвалиться, и другие наши сестры и врачи так же добросовестно относятся к своим обязанностям. И вот я иногда задумываюсь: а не слишком ли мы добрые?

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ЛИЛИЕНБЕРГУ?

Ефрейтор Франц Лилиенберг сообщил нам много важных фактов о преступной деятельности своих сослуживцев из энской фельдкомендатуры. Но себя он упорно выгораживает. Дескать, был маленькой сошкой — всего-навсего техническим секретарем, печатал на машинке. Пока что мы его рассказам не очень-то верим. Человек с высшим образованием, знающий несколько языков — и вдруг такой незначительный пост? Маловероятно! Даже трудно себе представить этого крупного мужчину, опытного инженера-строителя в роли секретаря-машинистки.

Сам Лилиенберг это странное обстоятельство объясняет так. Отец у него немец, мать чешка. Жили они в Судетской области. Семья была связана родственными и дружественными узами со многими чешскими семьями. После захвата Гитлером Судетской области Лилиенберги попали в опалу, их зачислили в категорию неблагонадежных. Могли угодить и в концлагерь...

Возможно, и так. Но все это лишь слова, слова и слова. Не исключено, что перед нами какой-нибудь гауптман-комендатурщик или зондерфюрер, а его скромная автобиография — искусно составленная легенда.

Я получил право вести следственную работу самостоятельно. Это случилось после того, как у нас увеличилось число переводчиков. Хотя моего друга Петю Фрейдина перевели в Таллин, вместо него дали сразу двоих переводчиков — Алиду Кусвальд и Йомптона Ландмана. Майор Гиндин стал работать в основном с ними, меня подключал к себе только изредка.

Итак, допрашиваю Лилиенберга раз, другой, третий... Интереснейшего материала уйма, но тут же, на месте, перепроверить показания пленного невозможно — из энской фельдкомендатуры на Смоленщине у нас больше никого нет.

Однако постепенно я проникаюсь доверием к Лилиенбергу. В работе следователя — а сейчас я выступаю в его роли — большую роль играет интуиция. Бывает, встречаются такие детали, как будто совершенно второстепенные, которые, как говорится, к делу не подошьешь. Тем не менее именно они вселяют уверенность, что идешь по верному пути. Отвечая однажды на мой очередной вопрос, Лилиенберг рассказал мне попутно о большом налете советской авиации на энский железнодорожный узел:

— По сигналу «флигераларм!» сотрудник фельдкомендатуры действовал почти автоматически. На этот счет имелась подробнейшая инструкция, и ее не раз прорабатывали на практике. У каждого был свой точно очерченный круг обязанностей.

Начальник особого отдела, например, или его заместитель забирал с собой металлическую шкатулку с шифрами и прочими особо секретными документами, закрывал сейф и ключ клал в предусмотренный инструкцией карман. Я отвечал за свою машинку... Итак, закрыв машинку в футляр, я побежал с ней в наше внутреннее бомбоубежище, переоборудованное из погреба под каменным зданием. Машинку нес в правой руке, кавалерийский карабин — в левой. В бомбоубежище тоже действовали строго по инструкции. Машинку я поставил в третью нишу, считая от входа. И не как попало поставил, а обязательно справа. Место слева было закреплено за арифмометром нашего счетовода...

Впоследствии я много раз вспоминал этот рассказ Лилиенберга. Читаю художественное произведение, обращаю внимание на какую-то деталь. В одном случае мысленно благодарю автора за то, что он сообщил что-то новое для меня, в другом.. Удивительное дело! Как будто ничего особенного, сам это десятки раз наблюдал. И все же деталь обращает на себя внимание, запоминается. Автору начинаешь доверять и в том, чего сам не знаешь.

Одним словом, среди разнообразнейших функций художественной детали одна из самых важных — функция доверия. А в том конкретном случае пишущая машинка, порождавшая ранее недоверие к Лилиенбергу, вдруг стала свидетельствовать в его пользу. Во всяком случае, так мне казалось.

Франц Лилиенберг «начитал» мне целую хронику энской фельдкомендатуры. Протоколы составили довольно увесистую папку. Возможно, эти свидетельские показания уже оказались полезными — помогли разоблачить и привлечь к ответственности руководителей комендатуры. Возможно, эту папку извлекут из архивов будущие историки и она прибавит какие-то штрихи к звериному облику фашизма. Сейчас я хочу рассказать только один эпизод, который в хронике уместился всего на двух-трех страницах.

При фельдкомендатуре была своя столовая. Поварихами, официантками и судомойками работали вольнонаемные девушки и женщины. Но главная хозяйка-распорядительница не менялась, она переезжала вместе с комендатурой. Это была молодая, очень красивая чешка, звали ее Ия Вильчарова. С ней жил ее маленький сын Марек. В сорок четвертом ему было примерно пять лет. Естественно, что Марек стал в комендатуре общим любимцем. Люди, оторванные от родных очагов, от близких, в общении с жизнерадостным и ласковым малышом находили отдушину для своих неистраченных чувств.

Работникам комендатуры было известно, что нежные чувства к чешской красавице питает сам комендант. Он удостоил пышноволосяю Ию высокой чести: она приносила ему на квартиру завтрак, обед и ужин и вообще шефствовала над холостяцким жилищем. Среди работников комендатуры имелись завистники, которые наблюдали за квартирой коменданта, знали, когда чешка приходит, когда уходит, и на основании этого делали определенные умозаключения.

Поначалу Лилиенберг презирал Вильчарову. Считал, что свою женскую честь она променяла на теплое местечко и сытую жизнь. Но, присматрившись к ней внимательней, стал догадываться, что ее внешняя удовлетворенность своей судьбой, веселость и даже некоторое легкомыслие только маска, на самом же деле эта женщина глубоко несчастна.

На смену презрению пришло сочувствие, захотелось познакомиться с чешкой поближе. На многое Лилиенберг не претендовал — всего лишь на улыбку, на доброе слово. Не имея в комендатуре друзей, чувствуя себя только незначительным винтиком в чудовищной гитлеровской машине, он очень нуждался в обычном человеческом общении. К своей радости, Лилиенберг обнаружил, что недоступная с виду красавица идет на сближение намного охотнее, чем он ожидал. Они стали откровенны друг с другом, и тогда выяснилось, что во взглядах на жизнь, на политику у них много общего. Оба ненавидят гитлеровцев и фашизм, оба одинаково оценивают преступления оккупантов в Чехии, Словакии, Польше и России.

Дружба переросла в любовь. Но ситуация была такова, что настоящее глубокое чувство оставалось платоническим. Любя Франца, Ия вынуждена была по-прежнему отдавать свои женские ласки ненавистному оберст-лейтенанту. Стоило ревнивому ко-

менданту заметить что-либо подозрительное — им обоим пришлось бы жестоко заплатить. А приходилось бояться не только за себя, но и за ребенка.

Тайные встречи Франца с Ией были редки и кратковременны. Чаще всего они беседовали открыто, на глазах у всех. Делалось это, например, так: Лилиенберг крепко сдружился с Марекком. Вырезал мальчику из дерева уточек и гномиков, мастерил лодочки и кораблики. Вместе они снаряжали на пруду флотилии. Придет за сыном мать и попутно как бы мимоходом побеседует несколько минут с дядей Францем.

Скоро наступил такой момент, что Ия отважилась посвятить Франца в самые сокровенные свои тайны.

Тайна первая. Вильчарову удручало то, что она работала на фашистов. Более того — служила забавой отъявленному гитлеровцу. Она не раз мысленно строила планы побега к смоленским партизанам, планы мести. Но как сделать это конкретно, она и понятия не имела. К тому же ее по рукам и ногам связывал маленький ребенок. И вот неожиданно выяснилось, что она может бороться против фашизма, оставаясь в комендатуре. Такой вариант даже предпочтительнее. Оказалось, что одна из работавших в столовой девушек имела связь с партизанами. Она передавала им все важное, что слышала от болтавших за столом немецких офицеров. Наташа Якимец — так звали эту девушку — распознала в чешке свою возможную единомышленицу, доверилась ей. После этого партизаны стали получать из комендатуры информацию более ценную, чем раньше. Ведь Вильчарова знала немецкий язык намного лучше, чем Наташа, и немецкие офицеры остерегались ее значительно меньше, чем русских девушек. Случалось, лишнее болтал при ней и сам комендант.

После этого признания Вильчаровой Францу осталось одно: включиться в работу на партизан. Через его руки проходили все секреты комендатуры: планы предстоящих арестов и карательных экспедиций, отчеты высшему начальству о произведенных казнях, сведения об узниках, содержащихся в городской тюрьме, списки фашистских осведомителей и т. д. Непосредственно с Наташей Франц не общался, сведения передавал только через Вильчарову.

Для Лилиенберга началась новая жизнь. Она властно втянула его, нерешительного, больше склонного к внутреннему протесту, чем к конкретным действиям, в активную борьбу с фашизмом. Одновременно на Лилиенберга обрушились переживания, которые раньше его не тревожили. Он жестоко мучился от сознания, что любимая им женщина — любовница коменданта. Он боялся за себя, за Ию и за Марека. Ведь длинная цепочка Лилиенберг — Вильчарова — связанная Якимец — партизанский отряд была уязвима в каждом своем звене. Стоит только гестаповцам ухватиться за одно такое звено — и... Выдержать их изощренные пытки способны далеко не все. Но беда нагрянула совсем не с той стороны, откуда ждал ее Лилиенберг.

Тайна вторая. Ия призналась Францу, что она чешская еврейка. Вместе с престарелыми родителями, мужем и годовалым Марекком находилась в гетто. Потом их разлучили: родителей расстреляли, мужа забрали в рабочую команду, а ее с ребенком привезли в Освенцим.

Ия и Марек уже были на «конвейере смерти». Группу донага раздетых узниц везли в баню. Так объяснили им конвоиры. Только позже Ия узнала, что здание с дымными трубами не баня, а крематорий.

Узницы шли гуськом. Ия неслась на руках Марека. Там, где кончалась грунтовая дорога и начинался асфальт, было несколько ведущих вверх ступенек. На ступеньках стоял эсэсовец с автоматом, рядом с ним офицер. Иногда офицер командовал: «Дизе аух» («Эту тоже»). Тогда эсэсовец хватал женщину за руку и ставил в сторонку.

Вытащив из шеренги Ию, эсэсовец отнял у нее ребенка и сунул в руки другой узнице, оставшейся в строю. Ия закричала не своим голосом, рванулась и выхватила у женщины мальчика. Офицер поморщился, махнул рукой и сказал: «Ладно». Марек остался с Ией...

Оказалось, офицер — тогда он был еще майором — комплектовал рабочую команду для подсобного хозяйства. Вильчарову он назначил поварихой и удостоил своего особого внимания. Впоследствии майора повысили в звании и перевели в Россию. По своему привязавшись к Ие, он не хотел с ней расставаться. Воспользовавшись тем, что Вильчарова чертами лица не похожа на еврейку, оберст-лейтенант состряпал ей

документы, что она чешка. И увез с собой в Россию. Нетрудно догадаться, что этот «благодетель» и комендант энской комендатуры — одно лицо.

Итак, о второй гайне Вильчаровой в комендатуре поначалу знали только двое — она сама и комендант. Теперь знал ее и Лилиенберг.

Первым в беду попал Марек. Играя однажды на задворках комендатуры, мальчик забрался на дерево и сорвался вниз, на ограду из колючей проволоки, сильно поранившись о ржавые колючки. Дежурный шофер комендатуры, действуя из самых лучших побуждений, немедленно отвез пострадавшего в гарнизонный госпиталь. Мать узнала о несчастье немного позже и побежала следом за машиной.

Военный врач попался очень добросовестный. Он бережно наложил повязки и швы, предусмотрел, чтобы мальчику было не очень больно и чтобы от швов не остались рубцы. Сделал противостолбнячную прививку. Улыбнулся мальчику, пошутил с ним, подбодрил плачущую в коридоре мать. Но, исполнив долг врача, он не забыл и о долге гитлеровского офицера — позвонил в гестапо: «Оказывая неотложную помощь пострадавшему, я обнаружил у мальчика обрезание в соответствии с ритуалом иудейской религии. Прошу выслать ваших представителей».

Ию и Маректа увезла черная гестаповская машина. А спустя несколько дней Лилиенберг собственноручно напечатал на машинке докладную коменданта своему начальству: «Среди вольнонаемных работниц комендатуры (из персонала кухни) выявлена некая Ия Вильчарова, выдававшая себя за чешку, но фактически оказавшаяся еврейкой. Упомянутая Вильчарова ликвидирована такого-то числа. Одновременно с ней ликвидирован ее ребенок (пяти лет, мужского пола)».

Надо полагать, гестаповцы добились от Вильчаровой совсем немногого: на своих местах остались Лилиенберг и Якимец. Никак не отразились события и на судьбе самого коменданта.

Когда к Энску приблизился фронт и фельдкомендатура передислоцировалась на запад, Лилиенберг умышленно отстал от своей колонны. Пытался найти тех партизан, которым помогал вместе с Ией и Наташей. Но из этого ничего не вышло. Несколько суток блуждал по лесам и болотам, пока не попал в плен.

Когда Франц Лилиенберг закончил свой рассказ, я увидел, что по его лицу текут слезы...

МИТИНГ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Наконец-то свершилось! Поверженный враг капитулировал. Ликует вся страна, все прогрессивное человечество. Включается во всеобщее празднество и наш лагерь. Нам, советским офицерам, предстоит необычная миссия: организовать празднование окончательного разгрома гитлеризма самими же недавними гитлеровцами.

Десять часов утра. Апельплац переполнен до отказа. В центре его возвышается специально сооруженная к сегодняшнему торжеству дощатая трибуна. Митинг проводит антифашистский актив. Вот лейтенант Вилии Лоренц поднимается на трибуну и делает передышку: он сильно волнуется. В руках у него перевод чрезвычайного сообщения Советского правительства. Немецкие газеты с последними новостями до лагеря еще не дошли. Лоренц картинно разворачивает бумагу, свернутую в свиток, — в этот момент он похож на средневекового герольда — и неторопливо, выразительно зачитывает акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, подписанный в предместье Берлина Карлсхорсте...

Чтение закончено, наступает пауза. Тишина кажется особенно выразительной, потому что напряженно молчат тысячи людей. Но вот послышался одинокий возглас не то в румынском, не то в венгерском батальоне — и сразу взрывной волной пошло и пошло. На разных языках раздаются: «Конец войне!», «Мир!», «Свобода!», «Гитлер капут!», «Смерть фашизму!», «Слава Советской Армии!», «Да здравствует свободная Венгрия!», «Да здравствует независимая Австрия!», «Нех жые незалежна Польшка!».

Пленные обнимают друг друга, по-ротфронтовски вскидывают вверх сжатые кулаки, плачут, становятся на колени и молятся, срывают с себя и швыряют на землю гитлеровские погоны и знаки отличия...

Особенно темпераментно ведет себя многонациональный фланг строя. Немцы выражают свои чувства более сдержанно. А большинство обитателей О-Ка-Ве-барака,

комендатурщики и иже с ними вообще безмолвствуют. Об их чувствах можно только догадываться. Гитлер кагут? Согласны, туда ему и дорога. Победа? О да, но, к сожалению, не наша! Мир? Да, но совсем не тот, который нам нужен! Конец войне? А это мы еще посмотрим!

Так начался в нашем лагере день, стоящий на рубеже между Великой Отечественной войной и наступающей Эпохой Мира. Однако в программу праздника, составленную управлением лагеря, пришлось внести непредвиденные дополнения.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ МЕССА

Сразу же после окончания митинга к майору Гиндину явились представители комитета антифашистов капитан Шольц и унтер-офицер Кённингер. У них необычная просьба: многие верующие хотят отметить знаменательное событие благодарственной мессой. Как и «пестрые вечера», она пойдет в несколько сеансов. Католический и протестантский священники уже подобраны — из более или менее антифашистски настроенных военных капелланов. Таковые в О-Ка-Ве-бараке последнее время обнаружались. Осталось одно — разрешение командования лагеря.

Майор Гиндин пообещал антифашистам дать ответ через час. Посоветовался с начальником управления лагеря майором Королевым, со мной и другими своими помощниками. Закрыв глаза, прикинул на слух:

— Тор-жест-вен-на-я мес-са в ознаменование полного разгрома гитлеровских вооруженных сил и окончания войны... А ведь совсем не плохо звучит! — делает вывод майор Гиндин. — Однако вернее будет, если позволю в Таллин...

Из Таллина ответили: «В честь такого исключительного события не только разрешите, но и чем сможете помогите. Но если в дальнейшем у верующих разгорится аппетит на воскресные и повседневные службы — пусть потерпят. Вернутся по домам, в свои приходы — там и будут молиться сколько душа пожелает».

Почти все необходимое для мессы инициаторы богослужения раздобыли и подготовили сами. Не хватало только белого хлеба и вина. Достать такие деликатесы в то время было не так-то просто. Особенно если они понадобились срочно. Раздобыть их майор Гиндин поручил мне.

Я опять вспомнил про braveго солдата Швейка. Ведь ему тоже не раз приходилось доставать церковное вино. Причем приказы фельдкураторов он обычно выполнял весьма изобретательно. Прежде всего я установил, что в нашем городке имеются лютеранский и православный священники, а также раввин. Я смутно представлял себе, что иудейский духовный пастырь общается с Иеговой, обходясь без вина, поэтому визит к раввину сразу же отпал. Начал с православного священника. Но дома оказалась только матушка, батюшка уехал в деревню отпевать усопшего. Эка! незадача! Ладно, иду к пастору. Выслушав мою просьбу, он взмолился:

— Только не называйте, пожалуйста, военных капелланов моими коллегами! Слишком много поддых и жестоких дел совершается сейчас в мире именем бога. Когда Гитлер позвал в фатерланд разбросанных по всему свету своих соплеменников, на зов фюрера отозвалось большинство прибалтийских немцев. В том числе и немцы-пасторы. А спустя несколько лет многие из них опять вернулись к нам. Но уже не в священнических облачениях, а в военных мундирах. И кровавыми делами превзошли своих предшественников — тевтонских рыцарей. Нет, упаси меня господь от таких коллег!

Я успокоил пастора: торжественная месса состоится в честь победы над фашистской Германией и служить ее будет капеллан, который разочаровался в Гитлере и примкнул к антифашистам.

— Для такого святого дела с удовольствием поделюсь моими скудными запасами, — сказал пастор.

Он достал из буфета белый хлебец и отрезал от него краюшку. Затем налил из графина в бутылочку-четвертинку граммов полтораста темно-красного вина. Сложив пальцы щепотью, он мелко потряс рукой над хлебом и вином и что-то прошептал про себя.

— Передайте вашим капелланам, что эти дары божии освящены по всем правилам.

Когда я вернулся в лагерь, в клубе все было уже готово, ждали только меня. Рядом с импровизированным алтарем поставили покрытый белой скатертью столик. Для вина и хлеба приличествующую торжественной обстановке посуду достали у лагерных медиков. Ризу сшили из списанных в утиль румынских шинелей. Окраска их выглядела более мажорно, чем немецких. Скоро из клуба-барака зазвучала патетическая латынь:

— Te deum laudamus! (Тебя, господи, славим!)

ПРОБЛЕМА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Низкий процент занятости пленных в рабочих командах сказывается на обстановке в лагере: у большинства уйма свободного времени. Антифашисты и художественная самодеятельность в состоянии решить эту задачу только частично.

Пленные сами изобретают всевозможные способы, как занять себя. Мастерят самодельные шахматы и шашки, игральные карты и домино, лото и даже восточные нарды. Расчерчивают игральные «доски» прямо на земле и сражаются в незнакомые для нас игры. «Мюле», то есть «мельница», — народная игра в камушки; «не сердись!» — другая народная игра, в фишки. От одной группы играющих к другой расхаживает обер-штабс-кибитц Эйлерс. Сам не играет, только балагурит. Говорит, играл бы в бильярд, в Берлине был бильярдистом экстра-класса. Но у нас в лагере бильярда нет...

Некоторые пленные от безделья впадают в маниловщину. Что-то изобретают, сочиняют нереальные, подчас даже явно абсурдные проекты. Бывает, одержимые зудом прожектерства, обращаются за содействием к лагерному начальству. Мы с майором Гиндиным шутки ради нарекаем эти курьезные планы кодовыми названиями. Вот один из них.

План «Исход». Предложен группой офицеров во главе с майором Кесслером. Содержание его таково. После причиненных войной разрушений Советскому Союзу трудно кормить миллионы пленных, и он, видимо, заинтересован поскорее от них избавиться. Особенно от неработоспособных. Скорейшего возвращения на родину жаждут и сами пленные. А пропускная способность железных дорог пока низкая: вагоны необходимы для хозяйственных нужд. Пленные выдвигают встречный план: они согласны возвратиться в Германию пешком. К этой преамбуле приложена техническая разработка проекта пешей эвакуации пленных. Несколько основных маршрутов движения — из Прибалтики, с Урала, из Москвы, с Украины и т. д. Расположение питательных пунктов и санпропускников, графики, схемы, цифровые расчеты...

Отвечая авторам проекта, майор Гиндин не скупится на язвительно-иронические интонации:

— Вот что, досточтимые господа! Читая ваш Vorschlag, я вспомнил Библию. В одной из книг Ветхого завета, называемой Исход, описано, как древние евреи возвращались из Египта в землю обетованную. Тоже месяцами шли пешком, тоже были у них питательные пункты: Иегова сышал сверху манну небесную и обеспечивал подслащенной водой. Но это было в ветхозаветные времена. А вы предлагаете нам подражать древним иудеям сейчас, в век пара и электричества. Абсурд! Не беспокойтесь — как нам ни трудно, вывезем вас, доставим в Германию. Только на духовой оркестр не рассчитывайте. И не вздумайте опять «дранг нах остен» затевать! Если еще раз полезете, тогда пеняйте на себя!

Кесслер и другие авторы проекта «Exodus» принадлежат к той группе пленных, с которыми майор Гиндин иногда разрешает себе говорить в таком резковато-насмешливом тоне. За год с лишним обучения в «восточном университете» они успели немало. Явно отстающие «студенты».

ЛАГЕРНЫЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

Коллекционеров в гитлеровской армии было довольно много. Особенно среди офицеров-тыловиков. В годы войны в Риге, например, функционировало более 20 филателистических и нумизматических частных магазинчиков. В основном они обслуживали гитлеровских офицеров.

Однако покупать марки или монеты по мелочам в магазинах, подкарауливать новинки — это и накладно и требует времени. Куда заманчивее сразу «загрести» солидную коллекцию, не затратив ни пфеннига. За коллекциями марок и монет усиленно охотились эсэсовские и гестаповские офицеры, всевозможные зондерфюреры, руководившие операциями по уничтожению евреев и «неблагонадежных элементов». В таких случаях коллекции забирали «по закону», в качестве военных трофеев.

Во время бегства под ударами Советской Армии и затем по пути в лагерь гитлеровские филателисты и нумизматы растеряли свои коллекции — и награбленные и собранные честным путем. При них осталась только неистребимая страсть к собирательству. И вот здесь, в лагере, они начинают снова, от нуля.

Однако условия для коллекционирования в лагере не очень-то благоприятные. Пленные из рабочих команд подбирают в городе валяющиеся на земле почтовые конверты и открытки, достают марки у работающих на объектах эстонских и русских инженеров и техников. Так что их коллекции выглядят пока очень скромно и хранятся не в роскошных альбомах, а в тощих бумажниках.

И все же у одного лагерного коллекционера есть настоящие альбомы с тысячами почтовых марок. История этого филателистического Креза такова.

Жил в Ганновере одинокий почтовый чиновник Мартин Дриш. Марки заменяли ему и семью, и родных, и друзей. Пятидесятилетний Дриш обладал еще одной коллекцией — целой кучей болезней, что до поры до времени обеспечивало ему белый билет. Когда начались жестокие бомбардировки Ганновера, Дриш шил для своих альбомов специальный заплочный ранец и ходил с ним на работу. А во время воздушных тревог спускался в бомбоубежище. Судьба любимой коллекции беспокоила коллекционера больше, чем его собственная. Когда дом Дриша разнесла английская бомба, чиновник нашел приют в своей почтовой конторе.

Наконец тотальная мобилизация добралась и до таких, как Дриш. Получив повестку, чиновник мучительно раздумывал над тем, как быть с коллекцией. И не придумал ничего лучшего: взял заветный мешок с собой на призывной пункт. Откупаясь от придирчивых фельдфебелей марками, оказался вместе с альбомами в запасном полку, а затем в действующей армии. Коллекция хранилась уже не в самодельном, а в форменном солдатском ранце.

Вместе со своими альбомами Дриш попал в плен. На допросе он упал перед советскими офицерами на колени, упрашивая их оставить ему марки. Дескать, без них жизнь теряет для него всякий смысл. И офицеры вняли мольбам страстного коллекционера. В конце концов Дриш со своими альбомами добрался до нашего лагеря и рассказал нам о многотрудном пути своей коллекции. Майор Гиндин разрешил ему оставить марки при себе и поручил мне присматривать, чтобы никто не вздумал покушаться на достояние самоотверженного филателиста.

Нумизматов среди пленных значительно меньше, чем филателистов. Но все же в целом по лагерю десятка три-четыре наберется. Их коллекции имеют убогий вид. У одного заваялись старинный немецкий талер добисмарковских времен и современный английский шиллинг, у другого арабский динар и польская «десентизлотувка» с моржеобразным ликом пана Пилсудского, у третьего турецкий пиастр и петровский медный пятак величиной с хоккейную шайбу...

Но даже из таких крохотных нумизматических коллекций можно почерпнуть для себя немало полезных сведений. Так, у лагерных нумизматов я впервые увидел немецкие эрзац-деньги. Государство разрешало выпускать их отдельным городам, провинциям, учреждениям, если в тех местах по каким-либо причинам для нужд населения не хватало официальных государственных ассигнаций. Такие суррогатные деньги немцы называют нотгельд. Это примерно то же самое, что русские бонны. В царское время они были в ходу на некоторых приисках и больших заводах.

Так вот у наших лагерных нумизматов мне довелось видеть бонны-нотгельды, выпущенные в годы инфляции Берлином, Бременом и Гамбургом. В годы первой мировой войны нотгельды выпускали крупные лагеря военнопленных. Например, лагерь Берайх во Франкфурте-на-Майне и лагерь в Диденсгофе. Во время второй мировой эта практика еще более расширилась. Появились нотгельды не только в лагерях, но и в крупных гетто.

Некоторые немецкие нотгельды наряду с основной попутно выполняли и побочные функции: служили средством рекламы или являлись своего рода политическими плакатами. Например, броская надпись на одной из бумажных бон гласила: «Выпущена в память о потерянных германских колониях — Камерун, Того, Германская Восточная Африка, Германская Юго-Восточная Африка, Самоа...» И так далее. Очень изобретательный прием пропаганды идей реванша! Ведь деньги каждому ежедневно попадают на глаза.

ПИСЬМА С РОДИНЫ

В кратковременной истории лагерной филателии следует особо выделить одно знаменательное событие, которое еще более повысило интерес пленных к собиранию почтовых марок. После того как Советский Союз и другие перенесшие фашистскую оккупацию страны мало-мальски восстановили дезорганизованную войной почтовую связь, пленным разрешили переписку с родными. Для этой цели мы выдавали им стандартные открытки Красного Креста.

Прошел месяц после отправки первой партии открыток, пошел другой. А ответов все нет и нет. Некоторые наиболее нетерпеливые пленные стали роптать:

— Не дошли наши открытки, где-то застряли в пути!

Из О-Ка-Ве-барака по лагерю поползли провокационные слухи:

— И не ждите ответа! Вся эта история с письмами — хитроумный ход энкаведистов. Они сейчас разбирают наши открытки и написанные на них адреса сверяют с теми, которые мы указали в лагерных списках. Тем пленным, которые пытались скрыть свой настоящий домашний адрес, не миновать Сибири.

Однако вопреки мрачным прогнозам О-Ка-Ве-барака прибыли первые ласточки из Польши и Чехословакии, из Румынии и Венгрии. В однообразной жизни пленных это настоящая сенсация. Имена первых счастливых передают из уст в уста по всему лагерю. Каждое письмо прочитывают и перечитывают десятки, сотни раз. Приободрились и остальные пленные: значит, письма доходят, надо надеяться, надо ждать...

Именинники и в одиночку и коллективно — при участии соседей по нарам и бараку — внимательно изучают каждую строчку письма, каждую букву. Немало прочитывают и между строчками. И конечно же, уйму важных новостей с родины приносят им почтовые марки. На одном почтовом штампе — польский город Ченстохов, а на другом — венгерский Эстергом, на третьем — румынские Яссы... Поляки с удовлетворением отмечают, что старинным польским городам возвращены их прежние исторические названия. Вроцлав, Ополе, Лодзь, а не переименованные на немецкий манер или полностью переименованные — Бреслау, Оппельн, Литцманштадт...

На старых марках наискосок идут надпечатки. Они решительно и бесповоротно перечеркивают господство королей, буржуазно-помещичьих и фашистских диктатур. Возвещают новую эру — эру власти трудового народа. Кое-кому прибыли письма и с новыми марками. На венгерских, например, портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Петефи. Примерно такие марки когда-то уже были в обращении — во время венгерской революции 1919 года. Но тогда их век оказался слишком коротким. А ныне муза истории Клио прочит им долгую жизнь.

Стали приходиться письма также из Австрии и Германии. И опять почтовые марки наглядно рассказывают о величайших исторических переменах на Западе. Австрия снова суверенное государство. На немецких марках и в помине нет ни Гитлера с его разбойничьей камарильей, ни фашистской паучьей свастики.

Можно себе представить, как лагерные филателисты охотились за новинками — этими визитными карточками стран, только что сбросивших с себя нацистское иго.

(Окончание следует)



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЛЕОНИД ТОПОРКОВ



ОТКРЫТЫЙ УРОК

У КОСТРА ПАМЯТИ

Когда едешь из Белграда по дороге на Ниш (далее она тянется в Скопле, столицу Македонии), то часа через три-четыре в долине Южной Моравы, где в нее впадает текущая с гор Озрен-Девица речка Моравица, встретится горняцкий городок Алексинац.

Часа три-четыре... Не слишком ли приблизительно для ранней сухой осени, когда солнце еще по-летнему горячо, для широкой асфальтированной магистрали, по которой скоростная езда отнюдь не возбраняется? Тут я опирался не столько на собственные наблюдения, сколько на слова Влады, опытного белградского автомеханика и водителя, а уж он-то знает, что говорит: поколесил по стране. Накануне отъезда Влада напутствовал меня:

— Аутопут на Ниш, конечно, добрый. Но учти: с характером. По нему ехать надо врло опрезно. Да, очень осторожно. Как бы объяснить? Мы называем это «фата моргана»... Да, да, как мираж. Такое свойство дороги, или скорее воздуха, и это наши водители знают. Знать-то знают, но... В общем, осторожно!

Дорога и в самом деле приятная, но сильно загруженная (она сейчас реконструируется). Нет-нет да встретятся то справа, то слева останки разбитых автомобилей, нет-нет да заметишь на обочине свежий или уже запыленный венок — кто-то отъездился.

Но сказано: опрезно. И мы едем не спеша, любуясь меняющимися живописными окрестностями. Долины, холмы, леса, горы, полыхающие сарьяновскими красками, в безмолвии празднующие прощание с летом. Шустрая Южная Морава, то возникающая и бегущая рядом с дорогой, то вдруг исчезающая бог весть куда, — синий прихотливый автограф края... Шоссе запетляло по высотам, как бы стараясь показать один и тот же пейзаж с разных точек. Приближение Алексинаца угадывается по канатке, несущей с гор в долину вагонетки с углем. А вот и сам город. Собственно говоря, не он интересуется нас, а лежащая где-то неподалеку деревушка Горни-Андровац. Побывать в ней я собирался давно, и на то были причины. Как туда проехать? Спрашиваю миловидную продавщицу газет на главной улице Маршала Тито, малолюдной и тихой в воскресный день.

— Приятели из России, из Москвы? — взмахивает она бровями-крыльями. — Здорово, здорово! Так вы, очевидно, к Вронскому?

— Да, — говорю, пораженный ее догадливостью и тоном, каким было сказано это «к Вронскому»: так говорят о человеке живущем. На всякий случай уточняю: — В Горни-Андроваце хотелось бы взглянуть на церковь Раевского, который...

— Знаю, как не знать! — выпаливает она скороговоркой. — Это ведь и есть Вронский. Ну тот, Аннин драган... Возлюбленный Анны Карениной... Значит, так: за мостом через речку сворачиваете на Житковац, а там сами ориентируетесь. Храм стоит на видном месте. Сречно! («Счастливи!»)

И столько готовности содействовать нам, столько живого, участливого интереса было в той девушке, судя по всему недавней школьнице, что в наше настроение мгновенно влилась изрядная доля того нетерпеливого волнения, которое овладевает перед редким, важным свиданием.

Горни-Андровац оказался совсем близко, километрах в десяти. Вскоре мы увиде-

ли на полого лежащем взлобке круглую, облицованную керамическими плитками церковь. Ее здесь называют русской, потому что она построена в типично русском стиле, или просто церковью Вронского. Так уж всемогуща сила классической литературы и молвы, сопутствующей ей. Обошли церковь, постояли у ее северной, обращенной к России стены. Надпись на ней гласит, что церковь святой Троицы воздвигнута в 1902—1903 годах на месте героической смерти полковника Николая Николаевича Раевского, который погиб в сражении при Горни-Андроваце 20 августа 1876 года, участвуя в освобождении славян от турецкого ига.

Внутри церковь сохранилась не так хорошо, как снаружи. Там, в сыроватой прохладе, группа специалистов вела реставрационные работы. Обновлялись утраченные со временем росписи, живописные композиции. Минувшие с поры строительства семьдесят четыре года, к счастью, почти не тронули портрета Раевского. Николай Николаевич, похожий чем-то на актера Ливанова, изображен на нем в парадном полковничьем мундире, фуражка с прямым козырьком надета чуть набекрень. Умные, живые глаза, длинный, с горбинкой нос. Усы, борода.

— Красивый, обаятельный человек,— заметил художник-реставратор Миодраг Анджелкович.— Сколько благородства, душевной строгости и чистоты!

Вышли на солнышко, посидели на горушке подле церкви, разглядывая «сильно пересеченную местность», где в тот августовский, жаркий в прямом и переносном смысле день кипела битва, припоминая, что ведомо нам о людях и событиях тех лет.

Николай Николаевич, происходивший из славной семьи Раевских (его дед, тоже Николай Николаевич,—участник нескольких войн с Турцией, герой Отечественной войны 1812 года, человек, близкий Пушкину и декабристам),— один из передовых людей своего времени. Он заслужил бы бесспорно признание потомков одним лишь добровольным, самоотверженным участием в сербском антитурецком освободительном движении. Но судьбе было угодно, чтобы возникла легенда о том, что именно с него написал некоторые черты своего героя Лев Николаевич Толстой. Таким образом, к романтическому ореолу, окружавшему его, добавились сила и бессмертие литературной легенды (тут, быть может, уместно напомнить, что в создании образа Анны писатель вдохновлялся обликом дочери А. С. Пушкина Марии Александровны Гартунг). Как бы там ни было, благодаря Толстому в сознании югославов Раевский запечатлелся и как Вронский, который, как мы знаем, после смерти Анны Карениной уехал в Сербию, чтобы сражаться на ее стороне против иноземных поработителей. В заключительной части романа есть сцены проводов русских добровольцев, направлявшихся на балканский театр военных действий. «Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь»,— говорил на прощание Вронский. «Избавление своих братьев от ига есть цель, достойная и смерти и жизни»,— отвечал пришедший проводить его Сергей Иванович, один из героев романа. Мы не знаем, что стало в Сербии с Вронским, а вот Раевский, которому тогда не было и сорока лет, действительно отдал жизнь за «избавление своих братьев от ига».

Каковы же обстоятельства смерти Раевского? Вот как описывает их в своей книге «Отечество» военный лекарь Владан Джорджевич (впоследствии ученый и литератор, основатель сербского Красного Креста), видевший, сколь храбро бились русские добровольцы с ордой Абдул-Керим паши: «Из Горни-Андроваца пришло донесение, что тамошняя позиция в серьезной опасности. Генерал Черняев, который предводительствовал русскими добровольцами, не располагал, однако, резервом, чтобы срочно перебросить туда подмогу. Тогда он решил послать в Горни-Андровац надежного офицера и обратился к Раевскому: «Прошу вас, поезжайте туда и постарайтесь хотя бы на час удержать позицию. Мы пришлем подкрепление». Раевский вскочил на коня и умчался самым коротким путем через пастбище.

Потом генералу Черняеву принесли записку. Он развернул ее, но увидя, что она написана по-сербски, попросил меня перевести. Я стал читать: «Сообщаю покорно,— извещал поручик Шаманович,— что полковник Раевский погиб возле моей батареи от неприятельского осколка...»

В бою полегло еще 28 русских волонтеров. Все они были с почестями погребены на высоте, где отдали жизни за историческое дело сербов. Труп полковника Раевского перенесли в монастырь святого Романа у большого села Ражань. Там было похоронено его сердце, а тело отправлено в Россию. По окончании сербско-турецкой войны, завер-

шившейся в 1878 году освобождением от многовекового оттоманского ига (о чем страстно мечтал Николай Николаевич), боевые его соратники воздвигли на месте, где располагалась батарея, скромный памятник-камень. Он и сейчас стоит здесь. Сестра Раевского Мария Николаевна на свои средства заказала построить возле Горни-Андроваца памятную церковь. Она прислала из России два сундука чертежей, планов, снимков, по которым надлежало строить. Руководить работами взялся нишский архитектор Иосиф Колар, выходец из Италии, живописную часть взял на себя далматинский художник Д. Обренович. На деньги Марии Николаевны поблизости поставили также здание школы, в которой учились дети из трех окрестных сел. Это тоже была память о замечательном русском человеке. Живая память.

Церковь Раевского, или, если угодно, Вронского, давно уже стала одной из достопримечательностей того региона Сербии, который тяготеет к городу Нишу. Народная тропа к ней не зарастает. События почтенной давности глубинной сутью вошли в сознание и душу сербского народа, стали мостом, соединяющим его с русским народом. В связи со столетием гибели героя и вообще вековым юбилеем освобождения Балкан от чужеземного порабощения развернулись работы по реставрации церкви, имеющей также и архитектурную ценность. Вокруг нее создается мемориальный парк. Он задуман нишским институтом охраны исторических памятников как обширный комплекс, куда входят сохранившиеся фортификационные сооружения, предметы военного обихода, напоминающие о героических годах борьбы. Это будет вместе с тем и своеобразный историко-литературный музей, для чего из Советского Союза здешние специалисты намерены испросить экспонаты о Раевском и Толстом, в том числе касающиеся истории написания романа «Анна Каренина».

Мы уже собрались было уезжать, когда подошел старик. Он пас скот поблизости, на той поляне, по которой некогда мчался на опасную позицию русский офицер. Опираясь на отшлифованную руками палку, старик попросил огонька, чтобы разжечь трубку. Узнав, что мы «земляки Раевского», необычайно оживился. Сам он родом из Горни-Андроваца, родился, когда церковь уже стояла, то есть для него как бы существовала всегда. Четыре зимы довелось ему поучиться в школе. Да, в той самой. Но большие обстоятельства жизни не позволили. Отец его тоже воевал с турками, хорошо помнил Раевского, многих других русских и часто рассказывал о них.

— Мы побратимы,— сказал дед.— Вот и в этой войне, в которой и я пороху понюхал, вместе сражались. Кровь, пролитая за праведное дело, породнила нас. А святее этого ничего быть не может.— Он помолчал и спросил:— В Ниш поедете?

— Да.

— Это хорошо. Там сможете увидеть совсем другой памятник. Его тоже смотрят люди, но вот вопрос: что при этом они испытывают?

— Как называется памятник?

— «Челе кула». Самый страшный на свете.

Мы попрощались со стариком.

— Сречно, приятели! — сказал он.

И долго еще мы видели его фигуру, неподвижную, похожую на изваяние.

В тот же день мы были в Нише — интересном, бурно растущем столетидесятипяти тысячном университетском городе, одно время, в первую мировую войну, бывшем даже столицей Сербии. Зажатый со всех сторон горами в долине реки Нишавы, он потянулся вверх, начал смело осваивать этажи неба. По всем статьям новый, современный город. Однако это город очень старый и даже древний.

Прямо с утра едем к памятнику, благо на автобусе, курсирующем мимо гостиницы, значится табличка: «Челе кула».

Пастух был прав: Ниш сохранил страшный, пожалуй, единственный в своем роде памятник, который вопреки замыслам его «авторов» — оттоманских завоевателей исторически обернулся против них самих, ибо сильнейшим образом заклеил варварство и агрессию. «Челе кула» в переводе «башня из черепов». Она и правда сложена из человеческих черепов. В 1809 году захватчики жестоко подавили сербское восстание под Нишем и, дабы утратить народ, воздвигли четырехугольную башню и замуровали в нее 952 черепа казненных повстанцев. Они не сломили воли народа, не убили в нем свободулюбия, сопротивления и достоинства. Глядя на памятник, невольно вспоми-

наешь картину «Апофеоз войны» известного русского художника-баталиста В. В. Верещагина, к стати, тоже участника освободительной войны на Балканах: пирамида из черепов, отъевшиеся птицы над ней. И вот здесь тоже: апофеоз — насилия, угнетения. Только не кистью, не воображением художника воссоздано все это. Перед нами совершенно материальное, хладнокровно и деловито слепленное палачом сооружение, далекое от искусства. К нему можно притронуться рукой. На нем можно рассматривать кричащие в трагической немоте глазницы давно ушедших, но до сих пор взывающих к человечности юнаков. В сравнении с памятником-церковью Раевскому у Горни-Андрочаца «Челе кула» выглядит как контраст, оттеняющий историческую справедливость. И захотелось из нишской башни на свежий воздух, к жизни сегодняшней, к свету...

По зеленым тенистым улицам города ходишь с удовольствием — так много здесь нового, радующего глаз и душу. Сотрудница городской скупщины Светлана Гуцин (ее родные — выходцы из России, но по-местному эта фамилия звучит именно так, а не Гуцина) посоветовала посмотреть жилой район возле парка Чаир. Как-как? Чаир? Не тот ли, с полузабытой патефонной пластинки: «В парке Чаир распускаются розы...»? Нет, Светлана не знает о таком некогда модном танго. Неужели есть?.. Мы пошли в Чаир. Там и впрямь горели розы. И высились старые платаны, березы, ели. Чаир издавна привлекал к себе жителей. Когда-то это было место загородного отдыха, куда сходились на игрища (Чаир в переводе «поляна»).

Многими нитями Ниш связан с нашей страной. Завод цветных металлов имени Джуро Салая, пользующийся мировой известностью, поставляет советским строителям алюминиевые конструкции, которые все больше находят применение в градостроительстве, главным образом при отделке фасадов зданий. Именно отсюда возводимый в Москве на излете Ленинского проспекта высотный Центральный дом туриста получают отделочные элементы из серебристого металла.

— Это самый крупный заказ, который когда-либо получал завод, — рассказывает его директор Б. Иванович. — Чтобы покрыть алюминиевыми конструкциями двадцать тысяч квадратных метров поверхности ЦДТ, потребуется их триста тонн. Для нас это серьезное испытание. Коллектив старается как можно лучше исполнить ответственный заказ Москвы, чтобы и впредь иметь дело с надежными советскими партнерами.

Отличное впечатление производят табачная фабрика (крупнейшая в Югославии), электронные, химические, текстильные, машиностроительные, кожевенные предприятия, являющиеся основой экономики города. Продукцию многих из них также знают у нас в Советском Союзе.

Славный город Ниш. Рабочий, студенческий — молодежный. Кажется, нигде больше не видал я столько молодых людей. Как-то вечером, когда мы сидели в номере гостиницы, с улицы начал доноситься некий однообразный, равномерно и неуклонно усиливающийся шум. Он нарастал постепенно и потому сначала не обратил на себя внимания. И лишь когда возрос до масштабов попросту пугающих — уж не случилось ли чего? — мы выглянули на улицу, примыкающую к гостинице. Она была от края и до края запружена людьми, которые в неверном свете гостиничных окон медленно продвигались или стояли, потому что двинуться хотя бы на полшага было некуда. При этом люди разговаривали, смеялись, жестикулировали, курили, баловались транзисторами — возникала такая мешанина звуков, что стекла вибрировали.

— Обыкновенное кóрзо, — объяснил нам нишский знакомый. — То есть молодежное гулянье. Такая традиция — сходиться сюда, чтобы пообщаться, почесать языки, завязать знакомства. И гуляют, представьте, именно на этой улице, не самой лучшей в городе. Что ж, и это тоже традиция.

Часам к десяти вечера шум начал спадать и вскоре исчез совсем. Утром те, что толпились возле гостиницы, как обычно, стояли у станка, за прилавком, слушали лекции.

КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ

— Достань-ка, Мария, звездочку, — сказал дед Миладин жене, когда мы вдосталь наговорились и пригубили его «фирменной» сливовицы, душистой и крепкой. — Пусть друг посмотрит, удостоверится.

Дед говорил, смешивая сербские и русские слова.

— Не забыл, нет, не забыл российскую речь,— иногда замечал он.

Да и как забыть, если в жизни Миладина Бибина годы, прожитые в России, занимают особое место. И какие годы! Великий Октябрь, гражданская война... Рядовой австро-венгерской армии, он в пятнадцатом году оказался в русском плену, а когда революция смела царя, не раздумывая вместе с другими земляками встал на ее защиту. Был бойцом ударного красногвардейского батальона в Киеве. Затем вихрь гражданской войны занес его на Волгу, где Миладин сражался в составе Саратовского интернационального полка. Довелось повоевать под командованием Василия Ивановича Чапаева.

— Самого Чапая! — выдохнул Бибин и выпрямил худенькую, старчески сутуловатую спину, движением руки изображая на чисто выбритом лице своем некие пышные усы. — Выпало и под началом Буденного послужить.

И такое же мановение руки, от которого возникает видение не менее роскошных усов. Помолчал, отдыхал (восемьдесят годков за плечами!), и вот в комнате, затененной от яркого солнечного света, послышалась песня о неумирающей сотне юных бойцов из буденновских войск, которая на разведку в поля поскакала. Он пел хрипловато и тихо, порою переходя на еле слышный шепот, и при этом глаза его были закрыты, словно он каким-то внутренним зрением рассматривал картины прошлого.

Мария, дородная добродушная старушка, давно уже стояла рядом, держа в руках черный выходной пиджак мужа, на котором сверкал советский орден Красной Звезды. Миладин положил пиджак на колени и сухонькой рукой провел по ордену.

— Вот,— проговорил он.— За боевую нашу молодость. Добрая память. Нас ведь из села Меленци — из одного, слышь-ка, села! — воевало на фронтах гражданской войны как раз около сотни юных бойцов. Из них немало у Чапаева. Право, так было. Знаете, как прежде, при королевской власти, называли Меленци? Бунтарским селом. А еще «маленькой Москвой». Хотели обругать, стало быть, а выпшло — похвалили: лучше не скажешь. Километрах в десяти отсюда есть село Кумане. Тоже, как и мы, жители его бунтарями слыли. Великую школу русской революции и гражданской войны прошли. Пригодилась она потом, когда фашистов били и сами начали строить социализм.

Село Меленци, куда я приехал к деду Бибину, расположено в самой что ни на есть равнинной части Воеводины, чуть севернее города Зрэнянина. Село просторное, типичное воеводинское. В нем 8 тысяч жителей. Сохранив сельские черты, оно сильно продвинулось в индустриальном развитии, приобрело тот агропромышленный облик, который ныне характерен для многих крупных югославских сел. О Меленцах, об удивительной судьбе его обитателей я впервые узнал, читая «Воспоминания об Октябрьской революции» Иосипа Броз Тито, который сам, занесенный военным ураганом первой империалистической в Россию, став на сторону революции, прошел по многим ее огненным дорогам. Чапаевцам села Меленци он посвятил теплые, душевные слова. Время берет свое. Большинство из них уже нет в живых, остался, пожалуй, лишь Миладин Бибин. Но память о героях живет. Живы традиции, заложенные ими, заветы дружбы, взаимного доверия и сотрудничества между нашими братскими народами.

Старик Бибин посетовал, что из-за слабости в ногах не может лично показать гостю родное село. Ну да вот рядышком сидит тезка его Миладин Еремич, шеф местной канцелярии, он не хуже это сделает. Либо учительница Ксения Янкович. Отца ее, Ивана, Бибин знал и по Киеву, где вместе записывались в ударный батальон.

— Ваня там, впрочем, и женился на гимназистке Леночке,— присовокупил дед.— Нет уж теперь нашего Ивана. А Елену мы частенько навещаем. Так она тут и осталась. Все, старая, по хозяйству хлопочет.

С ними, Миладином Еремичем и Ксенией Ивановной Янкович, мы и отправились по селу. Дорогой мои спутники вспоминали, как лет тому с десяток назад в Меленци приезжал народный артист Советского Союза Борис Бабочкин. Встреча с ним была на редкость трогательной, исполненной высокого значения. Он рассказывал о работе над фильмом и образом Чапаева, который полюбился и за рубежом. О Меленцах и говорить не приходится — восторженный гул стоял в кинозале. Ветераны-интернационалисты, пришедшие, как они говорили, «к своему комдиву», «доложили» (и это тоже их слово) о прожитой после возвращения домой жизни. Прожитой честно, по-боевому. Взять того

же деда Бибина. Он счастлив тем, что уже в первые дни борьбы с гитлеровцами, сразу после обращения Коммунистической партии Югославии к народу, на его салаше, а по нашему заимке, где Миладин сеял жито, собрались люди из «бунтарских сел» Меленци и Кумане да и из других тоже, чтобы создать партизанский отряд. Этот отряд, получивший впоследствии название Северно-Банатского, не давал покоя фашистам. Воевал по-чапаевски. Миладин Бибин был в отряде связным. Его салаш стал местом явок, там хранились оружие, еда, листовки. Враги сожгли заимку. Бибина схватить не удалось, а вот сынишку малолетнего они улекли в концлагерь (сейчас он работает продавцом в сельском магазине; старший сын погиб во время войны).

В том же духе, что и Миладин Бибин, «докладывали своему комдиву» другие ветераны, те, кто сражался в партизанском отряде рядом с незабвенными Борой Микином, Неделько Барничем, Бошко Вребаловым — односельчанами, посмертно удостоенными звания Народного героя Югославии. Их рассказы слушали собравшиеся в школе имени Б. Вребалова юные жители села. Слушали, широко раскрыв глаза и поражаясь подвигам седовласых стариков, чьими устами как бы говорила сама история. На мирном поприще, в труде на благо новой, социалистической родины молодые меленчане продолжают дело своих дедов и отцов.

Мы миновали рощу, вышли в поле.

— Сейчас кое-что интересное увидите, — загадочно пообещала Ксения Ивановна.

Вдали показалась россыпь людей, орудующих лопатами. Подошли поближе: человек двадцать меленецких жителей сажали деревья.

— Вот тут и был как раз салаш дедушки Миладина, — сказала Ксения Ивановна. — Это бывшие партизаны собрались. В память о своем отряде лесок сажают. Здесь ведь место его рождения. Так они задумали. Ну, а мы всем миром поддержали идею. Как не поддержать?!

Вечером мы сидели у деда Бибина и смотрели очередную серию большого телевизионного фильма, весьма популярного в Югославии, — «Салаш в Малом Рите». Фильм режиссера Арсена Диклича посвящен подвигу воеводинских партизан, действовавших на территории Баната, он об участии в ратных делах партизанских детей. Он построен на документальном материале и смотрится с захватывающим интересом. Особенно теми, кто все это видел и пережил, кто узнает родные места, а в действующих лицах — друзей и знакомых. И врагов тоже. Потому что это были не абстрактные, а совершенно определенные враги, некоторых из них они знали лично еще до войны, встречались с ними на улице, как, например, местного уроженца доктора Шпилера, во время оккупации ставшего начальником полиции в Банате (в фильме — Шифер).

— Все так оно и было! — то и дело восклицал дед Миладин. — В ажурат так было!.. И жито немецкое мы палили. И ребятишки крепко нам помогали.

В те дни нови-садская газета «Дневник» напечатала статью «История о «Салаше в Малом Рите». В ней описывалось, как в Меленцах восприняли этот фильм:

«Зловещую фигуру Шпилера уже многие забыли, но меленчане не могут забыть. Раны, которые он нанес им, остались незалеченными. Люди не могут позабыть, как он убил их земляка Народного героя Бору Микина. Не могут простить ему смерти Народного героя Неделько Барничя, которого этот злодей закопал живым в землю за девятнадцать дней до освобождения Зренянина. Они не забывают гибели многих других героев. Поэтому не случайно именно в Меленцах мы задали вопрос: все ли так было в действительности, как показано на малом экране? И меленчане в один голос ответили: да, это правда.

Хозяева салашей вокруг села Меленци, как и их дети, стали надежными помощниками партизан. Один из них — Миладин Бибин, участник Октябрьской революции, боец из дивизии легендарного Чапаева. Или ныне покойный Иван Попов со своими двумя сыновьями. Или братья Малевичи... Это словно бы о них рассказывает фильм».

Где бы ни побывал в Югославии, с кем бы ни разговаривал, тема войны обязательно всплывает в той или иной форме — она до сих пор жжет сердца писателям, кинематографистам, историкам, публицистам. Не потому что югославы какой-то воинственный народ. Просто в нем живет память, живет чувство гордости и достоинства: он не покорился, сражался и победил, он всегда готов постоять за себя.

Поздней осенью я ехал в боснийский город Яйце. Начиная от Баня Луки, дорога на Яйце проходит в горах. Она красива во все времена года, но сейчас полна была особой прелести. Дыхание ноябрьских холодов только-только коснулось склонов живописного каньона, по которому вьется Врбас — река зеленовато-голубая, вся в пене водопадов. Постоянно в эту пору леса здесь начинают рдеть, неистово пламенеть: сама природа словно бы салютует подвигу югославских партизан, тропы которых пролегли по этим вот скалистым вершинам. Стоит пройтись ветровому порыву, как ложится на землю, помеченную могилами юнаков, красный листопад.

Будто из сказки возникает древний, с восточными чертами город Яйце, когда горы самую малость расступаются, давая простор небу. Его дома-терема орлиными гнездами прилепились по склонам. Неспроста этот город с узкими, то круто ниспадающими вниз, то взбегающими в гору улицами, над которыми возвышается старинная крепость, привлекает тысячи туристов. Однако люди приезжают сюда не только для того, чтобы отдать себя во власть очарования лесистых гор, знаменитых Пливских озер, половить рыбу. Их влечет величие городка, овейного неуязвимой славой. Именно здесь на исходе ноября 1943 года состоялась вторая сессия Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ), узаконившая то, что было рождено в ходе борьбы, руководимой коммунистами, — решимость народов Югославии воссоединиться в новом государственном содружестве. Тогда же был создан в качестве временного правительства Национальный комитет освобождения Югославии. Это ли не поразительный пример исторического оптимизма: в тяжкую годину югославские коммунисты и все трудящиеся не просто мечтали о будущем, а четко и убедительно планировали его, творили органы народной власти.

Двухэтажный каменный дом на берегу Врбаса — музей второй сессии АВНОЮ (он был открыт к ее десятилетию). Входишь в него не без волнения. Все тут дышит незабываемыми днями великой народной эпопеи. Мы пришли в музей вместе с секретарем общинной скупщины Яйце Бранко Луичем и школьным учителем Слободаном Ташичем, недавним выпускником Белградского университета. В тишине бывшего гимнастического зала, где проходила сессия, звучал их рассказ.

Партизаны трижды с боями отбивали город. За годы народно-освободительной войны он находился в их руках 403 дня! Яйце стал центром свободной территории, в нем размещались ЦК Компартии Югославии и верховное командование во главе с Иосипом Броз Тито, организации АВНОЮ, тут же было образовано телеграфное агентство — известный ныне ТАНЮГ. В одной из схваток дом на берегу Врбаса был подожжен, так что перед заседанием пришлось его срочно восстанавливать. Делегаты, тайно пробравшиеся в Яйце из всех уголков страны, перво-наперво стали свидетелями необыкновенного зрелища: партизанская драматическая труппа показала для них гоголевского «Ревизора». Не случайно был выбран именно «Ревизор» — бессмертная комедия, способная вселить в людей могучий заряд бодрости и веселья, того подъема духа, в котором они нуждались. В музейной тиши чудился мне смех людей, одетых в выдавшую виды партизанскую форму, одинаковую для рядового и для маршала. Нечто большее, чем просто театральное представление, виделось в том спектакле: борцы верили в победу.

— А юмор, хорошее настроение, — заметил учитель Слободан Ташич, — тоже острое оружие. Так что ваш Николай Васильевич Гоголь незримо находился в рядах бойцов. Впрочем, почему же только ваш? Он и наш, великий Гоголь...

А потом снова зарыбил в глазах красный листопад. Председательствовал на сессии один из замечательных руководителей народной войны Иван Рибар. Месяц назад погиб его младший сын Юрица, а за два дня до открытия сессии — старший сын, любимец народа Иво Лола. Иван Рибар старался на публике не выказать горя, был, как и всегда, строгим и деловым. Это стоило ему нечеловеческих усилий.

Они, партизаны, были людьми особого склада. Все начиналось с их ратных дней и ночей, с походов «по долинам и по взгорьям». Начиналось с 80 тысяч плохо вооруженных бойцов в сорок первом и завершилось восьмисоттысячной армией в сорок пятом, когда они вместе с советскими воинами, внесшими свой вклад в извлечение своих братьев от ига, праздновали великую победу. Вся страна превратилась в сплошной партизанский фронт. И этот фронт, образовавшийся в глубоком европейском тылу врага,

приковывал к себе в течение всех лет войны до 35 фашистских дивизий. В бастионы и узлы сопротивления обратились города, села, горы, леса. Незримыми нитями югославский фронт соединялся с главным — восточным, советским, оказывая ему определенное содействие.

Еду бывшими партизанскими дорогами Шумадии, как с давних пор называют этот край южнее Белграда, от Дуная до Западной Моравы. Шумадией потому, что издревле тут стояли густые, непроходимые леса. Сейчас их куда меньше. Изводить лесные массивы начали еще турецкие завоеватели: они выжигали деревья, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. Ныне леса заботливо оберегают, приумножают зеленое богатство. И когда остановишься где-нибудь в пути под сенью тенистой дубравы, прислушаешься к шелесту листвы, на память приходит некрасовское: «Идет-гудет зеленый шум». «Шума» по-сербски и означает «лес».

Шумит, переговаривается листва. О чем? В Крагуеваце, столице Шумадии и Поморавья, я познакомился с Душаном Николичем, человеком трудной судьбы, директором старейшей в Сербии гимназии.

— Каждому свое слышится в лепете шумадийских дубрав,— сказал он, теребя седые волосы.— Мне так чудятся в нем отзвуки партизанских походов, песен, свет костров.

Душан Николич пригласил меня побывать в Шумарице — лесочке на окраине города, где на сотнях гектаров раскинулся мемориальный парк и музей имени 21 октября. Каждая пядь земли в Шумарице заповедна, священна. Мы ходили по ней со старым учителем, и он рассказывал то, что обычно рассказывает своим воспитанникам во время так называемого большого школьного часа — открытого урока негасимой памяти.

Крагуевац был оккупирован гитлеровцами в апреле 1941 года. Но это не означает вовсе, будто он был покорен. Тотчас после призыва партии к восстанию окружной комитет СКЮ, собравшийся на водяной мельнице в селе Грошници, приступил к формированию партизанского отряда. Уже в августе отряд открыл счет боевым действиям. Начал он с уничтожения общинных архивов и линий связи, взрыва дорог и мостов, нападения на вражеские поезда и автотранспорт. В Крагуеваце на главной улице была сожжена огромная карта, на которой фашисты демонстрировали свои «успехи» на советском фронте. Партизаны держали под контролем железнодорожные коммуникации Белград — Ниш, Лапово — Крагуевац — Кралево.

На сопротивление оккупанты ответили террором. 21 октября 1941 года они организовали массовую казнь 7300 мирных жителей Крагуеваца, среди которых были 300 учеников гимназии и их наставники. Злодеяние свершилось в Шумарице между Сушичким и Ердоглийским ручьями, там, где мы шли сейчас с директором гимназии. Это была фашистская «Челе кула», по своему размаху во много раз превосходившая нишскую.

Душан Николич, выпускник и затем учитель этой гимназии, избежал смерти только потому, что не оказался в тот день на работе. Зато потом, будучи заподозрен в связях с партизанами, был увезен в концлагерь в Германию. Там он познакомился с советскими военнопленными и вместе с ними участвовал в антифашистской подпольной борьбе.

— Черные годы своей жизни провел я в концлагере,— говорил Николич.— Както в семидесятых годах привелось мне поехать в Берлин. Едва сошел с поезда, слышу — «Подмосковные вечера!» Туристы пели. Знаете, не мог слез сдержать... Другие времена, другие песни, другая, словом, жизнь. А тогда с русскими товарищами мы вполголоса напевали «Москву майскую»: «Кипучая, могучая, никем не победимая». Жили с надеждой, верили в победу.

А в Шумадии борьба между тем продолжалась. Крагуевацкий отряд, влившись в состав Первой пролетарской бригады, увеличивал счет ударам по врагу. Фашистский террор не сломил сопротивления шумадийцев. Больше того, гитлеровские войска, находившиеся здесь, сами чувствовали себя словно бы заточенными в некий лагерь: они не были хозяевами положения и метались, как зафлаженные волки.

Такое совпадение: Крагуевац был освобожден 21 октября — три года спустя после того трагически памятного дня, когда город и вся страна были потрясены чудовищным преступлением фашистов. В боях за город и окрестности отличились воины 113-й стрел-

ковой дивизии Красной Армии, которые бились бок о бок с югославскими частями. Теперь перед ними был открыт путь на Белград, на север.

О чем шелестят, переговариваются деревья? Я согласен с учителем Душаном Николичем: они ведут вечную, нескончаемую повесть о героях. О тех, кто ушел из жизни, навсегда оставшись в ней. В прекрасном, величественно-простом шумарицком музее имени 21 октября весь длинный путь от зала к залу, где собраны свидетельства борьбы, тебя сопровождает будто бы нашептываемый стенами радиорассказ о документах, за которыми стоят тысячи доблестных жизней. Рассказ на сербском, русском, английском, немецком языках. Люди внимают ему с молчаливой сосредоточенностью, и это тоже открытый урок причастности к истории страны, сражавшейся мужественно и бескомпромиссно.

ВЫСОТА ДРУЖБЫ

О трогательной истории довелось узнать в Загребе, шумной и многолюдной столице Хорватии.

...В одну из квартир на Савском венце в Белграде летним утром позвонил молодой человек. Как водится, был он в потертых джинсах, при бородке. Дверь открыла высокая седая женщина в темном платье.

— Добрый день,— в полупоклоне поздоровался с ней парень.— Вы Елена Срнич?

— Да. Проходите, пожалуйста,— ответила женщина, приглашая гостя в переднюю.

Он вошел, огляделся, остановил взор на старых семейных фотографиях на стене. Отыскал глазами один из снимков, долго рассматривал его.

— Знаю, это ваши сыновья,— сказал он, заметив недоуменно-вопросительный взгляд старушки.— Я ведь из бригады, которая называется «Братья Срнич».

— Как? Как вы сказали? — медленно проговорила она, опускаясь в кресло и показывая рукою гостю, чтобы он тоже сел.

Молодой человек белозубо улыбнулся и принял без излишних предисловий рассказывать о том, что он приехал из Загреба, где сейчас работает в студенческом строительном отряде. Там собрались ребята и девушки из Сербии, Македонии, Хорватии. Отличная, словом, бригада! Они возводят на окраине города центр спорта и отдыха для маленьких граждан.

— Мы долго думали,— продолжал парень,— как назвать бригаду. Остановили выбор на ваших сыновьях. Мы читали о них, знаем если не все, то главное. Что они храбро дрались с фашистами, что все четверо погибли один за другим на горных партизанских тропах.

Женщина слушала его, благодарно кивала головой. Потом заплакала. Не горестно, не навзрыд — те черные слезы давно уже отяжелились,— а тихо и светло, потому что для нее это утро выдалось поистине прекрасным: от внимания чужих людей душу словно бы осенило праздничное сияние. Незаметно для себя она начала рассказывать о сыновьях. О Драгане, Момчило, Мичо, Душко. Старший сын, Драган, совсем мальчишкой добровольцем уехал на гражданскую войну в Испанию. Отчаянный был, парашютист. За ним и пошли остальные трое, когда сформировался мачванский партизанский отряд. Мать знает, где сложили головы Драган и Момчило,— у города Шабац. А вот где похоронены Мичо и Душко, ей неведомо. Они были хорошими ребятами, ее сыновья, трудолюбивыми, заботливыми. Война отняла у нее самое дорогое...

Гость рассчитывал побыть у старой Елены с полчаса, а за кофе и угощениями засиделся чуть ли не полдня. На прощание сказал, что уполномочен передать ей приглашение всей бригады приехать к ним в Загреб, ибо теперь они и есть «братья Срнич». Деликатно оставил билет на поезд, купленный в складчину, поцеловав старушку, ушел. Она долго еще сидела неподвижно в смятенье и раздумьях. Ни о каких разъездах она, понятно, прежде и не помышляла. Привыкла домовничать. А тут, взволнованная неожиданным визитом, решила про себя: надо ехать. Обязательно ехать.

Бригада — все 57 человек — встретила Елену Срнич торжественно, с цветами, и все называли ее не иначе как матерью. Показали ей, что успели сделать с начала лета, угостили обедом, за которым было много веселого шума, тостов. Сказала слово и Елена:

— Теперь я не ощущаю себя одинокой, потому что все вы — мои сыновья. Я горжусь вами так же, как теми, кого родила и воспитала. Будьте всегда такими, как сейчас, когда вы собрались в бригаде, названной именем моих сыновей. Спасибо вам, дорогие...

Не идет из головы эта встреча с партизанской матерью, все думаю о благородном порыве молодых строителей. Не похоже, чтобы это был лишь красивый утешительный жест. Просто у ребят возникла потребность в своей повседневной жизни нравственно опереться на высокие идеалы, на такую отнюдь не эфемерную материю, как память. В данном случае память о братьях Срнич, лично никому из них не знакомых, но родных по духу. И вот разыскали мать... В этой житейской истории будто в капле воды отразилась нерасторжимая связь поколений и традиций, новая мораль людей нового общества. В этом сугг. Ребята хотели быть достойными старшего поколения.

В Югославии часто слышишь выражение: «Све у реду». Оно означает «все в порядке». Вот и белградский машинист сорокадвухлетний Младен Цветкович на вопрос, как он чувствует себя перед этим необычным рейсом, ответил с улыбкой:

— Све у реду.

Свершилось то, чего ожидали долгие годы: вступила в строй железная дорога Белград — Бар, соединившая югославскую столицу и Дунай с Адриатикой. Трасса Б—Б, как для краткости назвали ее, пронзила насквозь страну, могучим стволом раскинулась по ней, чтобы потом разветвиться, еще дальше проникнуть в отрезанные от «большого мира», труднодоступные горные районы, открыть доступ к богатствам земли.

— Помню, еще год назад, — говорил Младен, — когда я среди тысяч добровольцев работал на трассе, меня, между прочим, спрашивали, хочу ли я стать машинистом самого первого поезда. Да кто ж откажется от такой чести? Я был бы совершенно счастлив... Что сказать о себе? Родом из села Узичи, это возле Пожега, а Пожега сама лежит на линии Б—Б. С детства бредил профессией железнодорожного машиниста, по-моему, самой увлекательной. Вот и выбрал себе дорогу.

Цветкович стоял у локомотива в ожидании сигнала к отправлению и поглядывал на часы. Не много рассказал он о себе, но дополнили товарищи по работе. Они говорили о страстном желании Младена лично участвовать в сооружении магистрали, по которой он хотел водить поезда. Младен выезжал туда пять раз и всегда удаивался звания ударника. Руководил бригадой молодых железнодорожников. Случалось, руководство транспортного предприятия не находило возможности отпустить машиниста Цветковича на стройку. Все равно он уезжал туда — во время своего отпуска. Вместе с отцом Младен внес в фонд строительства дороги 50 тысяч динаров из собственных сбережений. Мало того, проводя «отпуск» на трассе, завернул в родные Узичи и договорился с односельчанами, чтобы они своим трудом и на свои средства благоустроили находящуюся рядом станцию. Вон, оказывается, что имел в виду Цветкович, когда говорил перед отходом поезда:

— Буду проходить мимо Узич, дам длинную сирену. Земляков поприветствую.

Словом, стало понятно, почему тайным голосованием коллектив белградских железнодорожников оказал доверие быть первым Младену Цветковичу.

От Белграда до порта Бар на юге Адриатического моря путь неблизкий: около пятисот километров. И каких километров! Это сейчас голубой экспресс, ведомый Цветковичем, летит птицей, превышая на иных перегонах стокилометровую скорость. За день состав одолевает расстояние, на которое строителям понадобилось двадцать с лишним лет. Ведь трасса пролегла высоко в горах, там, где привычно плыть облакам.

Идея строительства дороги зародилась в середине прошлого века, но только в условиях социалистического общества стало возможным осуществить ее. Предлагалось множество проектных вариантов трассы, одной из сложнейших в мировой практике, пока специалисты не остановили выбор на так называемом лимском варианте (Лим — река в Черногории). Дорога строилась отдельными участками. Сперва в 60-х годах были сданы перегоны Белград — Ресник — Вреоци и Титоград — Бар. Затем передовые отряды начали штурм участков бесприммерно трудных — в Черных горах, в знаменитом Монтенегро. Они столкнулись с большими препятствиями. Подумать только: на всем протяжении трассы пришлось пробить 254 тоннеля, причем некоторые из них тянутся

от пяти до семи километров. Общая длина тоннелей составила 114,5 километра. Четверть магистрали! Через ущелья и реки перебросено 206 железобетонных и 28 стальных мостов. Есть мосты, которые, протянувшись почти на полкилометра, вознеслись на добрые две сотни метров.

Вот каким был он, этот «югославский БАМ», как сказал о дороге Младен Цветкович. Вся страна прониклась первостепенной значимостью стройки. Молодежь Югославии выставила на трассу 250 ударных бригад

Есть чем полюбоваться в пути из вагонного окна. Дорога открыла людям новые красоты отчего края. Конечно, видеть величественные и поэтические пейзажи для 19 миллионов пассажиров, которые станут путешествовать ежегодно по дороге Белград — Бар, весьма заманчиво. Но куда важнее, однако, что за год она примет на себя переброску с развитого севера в горные районы и к морю 5 миллионов тонн необходимой грузовой. Экономисты подсчитали: к линии Б—Б так или иначе тяготеет 49 процентов общей территории Югославии. К ней уже сейчас подключаются Македония и Косово, многие новостройки Боснии и Герцеговины. Мощное влияние трассы ощутит на себе сельское хозяйство горной глубинки. Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счета развитие туризма. Дорога становится бытом.

«Све у реду». Так сказали мне и инженеры-гидротехники Петар Витюк и Владимир Грегорович из объединенной дирекции гидросистемы Дунай — Тиса — Дунай, когда я приехал в Нови-Сад, чтобы познакомиться с этой главной искусственной рекой Югославии. Рекой жизни. Ибо из двух миллионов гектаров воеводинских земель полтора миллиона в той или иной мере нуждаются в помощи гидросистемы ДТД.

Витюк и Грегорович более двадцати лет работают на трассах этой системы. Представители поколения пятидесятилетних, они в военное лихолетье юношами ушли в партизаны. Засесть за учебники довелось уже после войны. Вместе окончили строительный факультет Белградского университета и, как они выразились, донашивали шинели на строительных лесах. Впрочем, жили оседло. Единственной и всепоглощающей страстью этих людей стала ДТД. И они не намерены расставаться с ней, хотя дело, которому отдано столько лет, в общем-то, завершено. Осталось лишь достроить самую крупную плотину через Тису. Все основные работы будут закончены к Новому году, в честь предстоящего в 1978 году XI съезда СКЮ.

— Завершено? — улыбнулся Петар Витюк. — Дело, пожалуй, лишь набирает темпы. Гидросистема — это ведь ныне не только и не столько стройка, а мы уже не только строительная организация. Жизнь поставила перед многотысячным коллективом новые задачи и потребовала по-новому организовать дело. Стать, что называется, ближе к земле. Мы, конечно, и раньше не отрывались от нее, точнее от грунта: вынута его — будьте здоровы! Теперь нам нужно взять у земли больше плодов. И тут нас весьма интересует опыт Голодной степи, где Главголодностепстрой, как известно, не только занят строительством и освоением новых земель, но и имеет совхозы, выращивает хлопок, другие культуры. В нашем распоряжении сейчас тоже солидная площадь орошаемых земель — сто тысяч гектаров. Имеем двадцать агрокомбинатов, их задача — показать пример высококультурного, индустриального хозяйствования на земле.

За два десятилетия на каналах и других объектах гидросистемы вынута свыше 127 миллионов кубометров грунта — больше, чем при прокладке Суэцкого канала. Ответившись от Дуная у венгерской границы близ города Бездана, основные нити канала проходят по Воеводине 900 с лишним километров (680 — судоходные), прежде чем снова влиться в Дунай у Банатской Паланки — возле границы с Румынией. Но ведь кроме главных магистралей прорыта еще частая сеть каналов помельче — детальная, как говорят специалисты, и протяженность ее 16 тысяч километров. Так что если бросить взгляд на автономный край с заоблачной высоты, то просторы его поразят воображение голубой геометрией современного землепользования. Нынешняя Воеводина с ее новым обликом в еще большей мере, чем раньше, подтверждает постоянно применяемый к ней эпитет житницы Югославии.

Но система имеет не только сельскохозяйственное значение. У нее множество «профессий». Начать с того, что ДТД надежно отводит избыточные поверхностные воды. В Воеводине рек много, текут они медленно, поскольку уклоны ничтожно малы, и

потому их влияние на водный режим земель, на уровень грунтовых вод весьма неблагоприятно. Система способствовала исчезновению болот, которые испокон веку были бичом края.

Что верно, то верно: воды в Воеводине избыток. Но... ее не хватает. Таков парадокс природы. Вода тогда ведь благо, когда ее можно доставить в нужное место в нужное время. А край между тем жестоко страдает от засух. И тут-то выручает оросительная сеть. Уровень системы, объясняли инженеры, регулируется таким образом, что отовсюду весной вода стекает в нее и оттуда в Дунай, а летом, в период вегетации растений, она из реки через водозабор у Бездана сама вливается в канал. И только в исключительных случаях, когда Дунай маловоден, ирригаторы прибегают к помощи насосов.

Далее. Система снабжает водой промышленные предприятия, города, села, отводит сточные воды индустрии. ДТД стала системой судоходной, и это еще выигрыш для экономики. Все больше грузов перевозится теперь водой. С созданием гидросистемы канули в прошлое разорительные паводки. Вспоминают 1956 год, когда половодье захлестнуло десятки тысяч гектаров полей, много деревень, салашей. На старой карте, отразившей то грозное событие, пострадавшие районы густо пестрят синими пятнами. Убыток превысил тогда 80 миллиардов динаров. Но вот год 1970. Он выдался куда водообильней, однако потерь не было. На пути паводка встали тысячи километров дамб, капитальные гидротехнические сооружения.

Гидросистема Дунай — Тиса — Дунай стала ареной международного сотрудничества. В ходе ее строительства из Советского Союза, например, поступила армада экскаваторов, бульдозеров, скреперов, другой техники. В рамках СЭВ совместно с СССР, ЧССР, Венгрией и Румынией Югославия решает проблемы использования водных ресурсов Тисы, реки, берущей начало в нашей стране и впадающей в Дунай ниже Нови-Сада.

Так люди, рожденные новой эпохой, меняют облик мира.

Но пора в Белград, столицу Социалистической Федеративной Республики Югославии. Сейчас, в разгар лета, она необыкновенно красива. Посмотришь на Белград этого года — всюду стройки, стройки. Неожиданно для себя нашел точку, с которой вид на него особенно впечатляющ. Дорога обогнула холм, прикрывавший город, и внезапно открылись белые кварталы, а среди них ступенчатой глыбой возвышающийся комплекс высотных, под тридцать этажей, зданий Коньярника. Окружающие дома были им меньше чем в «пояс», вершины железобетонных гулливеров утопали в дымке.

Тридцать с лишним лет назад советские и югославские солдаты, ворвавшиеся со стороны горы Авала, приземистого окраинного Коньярника и Лекино Брдо на улицы Белграда, за который фашисты цеплялись со слепым отчаянием обреченных, увидели город в развалинах, в дыму пожарищ. Сердца освободителей сжимались от боли и гнева. Многострадальный Белград! Тяжкие испытания сотрясали этот древний славянский город на протяжении веков: захватчики разных мастей пытались стереть его с лица земли без малого сорок раз. Но он упорно возрождался из праха и пепла. Вот и теперь, начав чуть ли не с нуля, поднялся, стряхнул с себя ядовитую пыль гитлеровского вторжения, засверкал многооко новыми домами, являя миру феномен жизнестойкости югославского народа, его неистребимого стремления к добру и свету. Белград прочно завоевал репутацию города новоселий.

Инженер Божидар Иванович, с которым я познакомился в дирекции по строительству Нового Белграда, возводит его вот уже свыше двадцати лет. Однокашник Петара Витюка и Владимира Грегоровича, инженеров с системы Дунай — Тиса — Дунай, окончил вместе с ними тот же строительный факультет. С 1955 года главное дело его жизни — Новый Белград. Первые кварталы этого района закладывались на месте бывшего фашистского концлагеря в Старом саймиште.

Тут мой собеседник, мысленно унесшись в прошлое, на минуту приумолк. Потом наша беседа перекинулась к незабываемым октябрьским дням 1944 года, когда бойцы 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Владимира Ивановича Жданова и Первого пролетарского корпуса НОАЮ генерал-лейтенанта Пеко Дапчевича вытряхнули гитлеровцев из югославской столицы, а два прославленных генерала обнялись среди испещренных снарядами и пулями каменных стен Калемегдана — последнего

убежища фашистов. Иванович рассказывал мне о том, как враги укрепляли город, готовясь удержаться в нем любой ценой, как понастроили повсюду мощные бетонные доты. Их, разумеется, меньше всего заботили последствия: взятие Белграда, по вражеским расчетам, должно было обернуться большими жертвами среди населения и новыми разрушениями. Но если фашистов не волновало будущее города, то о нем крепко думали в штабе 3-го Украинского фронта. Советские и югославские войска, во-первых, разгромили основные силы отступавшего противника еще на подступах к столице, а во-вторых... Вот что писала югославская газета по горячим следам битвы за Белград: «Сожженные русские танки на улицах Белграда свидетельствуют о героизме танкистов, не щадивших своей жизни для того, чтобы Белград был освобожден с наименьшими разрушениями. Русские герои проливали свою кровь и за то, чтобы в борьбе при освобождении города как можно меньше погибло детей и женщин».

Никогда не забудут белградцы самоотверженности советских воинов в сражении за город: они бились так, будто это были их родные Москва, Ленинград, Минск, Киев... Югославы помнят подвиг лейтенанта Николая Кравцова, уроженца Чугуева, который при штурме почтагта бросился на амбразуру фашистского дота, заставив умолкнуть губительную огневую точку. Они помнят, что во имя их свободы отдали жизни еще около тысячи советских солдат — участников битвы за Белград.

— Нам уже тогда,— говорил Божидар Иванович,— рисовался в воображении Новый Белград. Да, с большой буквы. Мы грезили мирными стройками. И принялись за них, едва республика окрепла. Начинать было трудно. И экономически и чисто технически. Судите сами: в том же Новом Белграде сперва пришлось намывать из реки песок на площадку, потому что тут лежали болота. И подняли ее уровень на четырех тысячах двадцати гектарах на три метра! В общем, как у Пушкина: «Из топи блат...». Так что теперь, как говорится, све у реду. До Девятого съезда нашей партии новоселье справят многие тысячи белградцев.

В Новом Белграде, просторном и пронизанном светом, заселено 50 тысяч квартир, а будет их около 70 тысяч. Пролегли широкие, празднично-нарядные проспекты: Ленина, Гагарина, Хо Ши Мина, Неру, Георгиу-Дежа... Достоинно украсил район Дворец конгрессов на берегу Савы — великолепное сооружение, напоминающее стеклянный корабль, в нем в июне этого года началась встреча представителей государств — участников общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству 1975 года в Хельсинки. 70 процентов территории района занимают зеленые насаждения и 30 — здания: вертикали до двадцать одного этажа. Готовы два тридцатизэтажных «облакодера» — небоскреба. Это уже западные ворота города — со стороны Загреба.

Белград не самая многолюдная из социалистических столиц: миллион 300 тысяч жителей. А впечатление — городище! Оно и оттого, что город устремился ввысь, и оттого, что его берут в полон автомобили. Видимо, одним из первых среди братских столиц Белград испытал на себе радости и огорчения автомобильного нашествия. Статистика свидетельствует: каждая третья или четвертая семья имеет собственное «возило».

Пословица говорит: «Брдо по брдо — Белград». Брдо значит холм. Город стоит на десяти холмах, и неспроста белградцы иной раз в шутку называют его Брдоградом. Каждый холм — исторически своеобразный район, развивающийся по четко продуманному плану. Все вместе — единый организм, живущий по законам добра и красоты.

* * *

Города, села, заводы, стройки, дороги... С кем бы ни поговорил в поездках по стране, речь неизменно заходила о крепнущей дружбе народов Советского Союза и Югославии, о развитии традиционных связей и всестороннего сотрудничества. Дружественный визит Л. И. Брежнева в ноябре прошлого года в Югославию, его переговоры и беседы с И. Броз Тито закрепили и двинули вперед советско-югославское сотрудничество во всех областях жизни. Дружба наших народов воспринимается как великая историческая ценность, как достигнутая ими высота.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАДИМ БАРАНОВ



ЖИЗНЕННЫЕ КОРНИ

О труде современного литератора

Было время, когда писатели редко выносили на суд широкой читательской аудитории свои суждения о профессионально-литературных делах, об особенностях творческого процесса. Сборник статей «О писательском труде», вышедший в 1953 году, воспринимался как откровение.

Прошло два десятилетия. В течение 1973—1976 годов только в журнале «Вопросы литературы» под рубрикой «В творческой мастерской» выступили Ф. Абрамов, И. Авижюс, Ч. Айтматов, В. Астафьев, Г. Березко, В. Быков, К. Ваншенкин, Е. Винокуров, С. Залыгин, М. Карим, М. Колесников, Э. Межелайтис, Я. Парандовский, П. Проскурин, Е. Путрамент, В. Распутин, В. Розов, С. Сартаков, К. Симонов, М. Слуцкис, Ю. Трифонов, А. Чаковский, Г. Чиковани... Всего было опубликовано около 70 выступлений ведущих советских и зарубежных художников о своей работе.

В это же время выходят книги писателей о литературном труде: «От первого лица» С. Антонова, «Интервью у самого себя» и «Литературные заботы» С. Залыгина, «Собеседник» В. Каверина, «Разное» В. Катаева, «Разговор с товарищами» К. Симонова... Некоторые из книг такого рода переиздавались дважды (Г. Марков, «Жизнь. Литература. Писатель»; Л. Озеров, «Мастерство и волшебство»; К. Симонов, «Сегодня и давно») и даже трижды (К. Федин, «Писатель. Искусство. Время»).

Я перечислил почти исключительно книги издательства «Советский писатель», но ведь немало объемистых томов, содержащих наряду с портретами и критическими статьями и материалы, если можно так выразиться, «самоаналитического» характера,

выпустили и другие издательства, например «Современник» и «Советская Россия».

Чем вызван этот «взрыв»? Вероятно, не тем, что бездействуют исследователи¹. Скорее всего писателями движет вполне понятное стремление как можно глубже осмыслить свой собственный опыт, и не изолированно от литературного процесса, а в связи с его ведущими тенденциями. Возможно, есть здесь и желание преодолеть известную упрощенность и схематизм, еще бытующие в книгах о труде писателя (хотя и писателям порою не удается уйти от тех же самых грехов).

Но, думается, дело не только в этом. Современные писательские суждения о творческом труде художника по-своему отражают новый этап нашего общественного развития, своеобразно синтезируют огромный духовный опыт зрелого социализма, весьма наглядно подтверждая тезис о том, что в нашей стране после Октября «расцвели советская литература и искусство, они вносят огромный вклад во всю мировую культуру» (постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции»). Демонстрируя, как далеко ушли литераторы от иных представлений 20—30-х годов, такие сегодняшние наблюдения и анализы дают

¹ Можно было бы перечислить немало интересных работ литературоведов о писательском труде (С. Вонди, «Черновики Пушкина»; Л. Боровой, «Путь слова»; И. Вайнберг, «За горьковской строкой»; В. Галанов, «Живопись словом»; Е. Добин, «Искусство детали» и «Сюжет и действительность»; П. Медведев, «В лаборатории писателя»; В. Мейлах, «Талант писателя и процессы творчества»; Ю. Окланский, «Рождение книги»; Н. Фортунатов, «Пути исканий»).

убедительнейший материал для опровержения имеющих широкое распространение за рубежом идеалистических построений об искусстве, творческом процессе, помогают утвердиться подлинно прогрессивным материалистическим концепциям искусства и его роли в жизни общества эпохи научно-технической революции.

Пытливое желание знать, «как это делается» (К. Чапек), привлекло к писательским выступлениям интерес и со стороны самых широких читательских кругов (прямо к удовлетворению этого интереса служат, например, увлекательные работы литературоведа Романа Белоусова «О чем умолчали книги» и «Из родословной героев книг», воссоздающие многие жизненные и писательско-биографические обстоятельства рождения того или иного литературного героя).

Нет слов, как у всякого широкого движения, у писательского «самопознания» обозначились и свои издержки. Один острый на язык критик заметил, что на тему «как мы пишем» рассуждают не только умудренные опытом литераторы, но и те, кому его явно недостает.

В этой статье, построенной в значительной мере на основе писательских самохарактеристик, мне хотелось бы поразмышлять об истоках и особенностях рождения образа, то есть художественного обобщения материала действительности в зависимости от творческой индивидуальности писателя, специфики его таланта. Будут затронуты и вопросы, которых писатели касаются редко, вопросы, связанные с процессами, трудно поддающимися самонаблюдению в ходе работы писателя над рукописью.

Все или ничего?

А. Фадеев очень точно заметил однажды: «Нас, писателей... художественное произведение прежде всего интересует в процессе его создания». И уточнил: нас особо интересует «процесс творчества и художественный метод». Трудно переоценить это соображение о связи творческого процесса с категорией метода. Ведь метод (от греческого *methodos*) не что иное как путь, способ достижения цели. И, может быть, подходя к литературе с этой точки зрения, мы скорее сможем избежать тех недостатков, которые еще существуют у нашей теоретической мысли и которые очень

точно охарактеризовал академик М. Б. Храпченко на VI съезде писателей СССР. «В теоретических работах последних лет,— сказал он,— много внимания уделяется вопросу о возможностях социалистического реализма. Суждения по этому поводу часто имеют довольно абстрактный характер; они обычно мало опираются на анализ конкретного литературного материала».

...Корреспондент обратился к М. Шагинян с вопросом о жанровой природе ее книг. «Не понимаю, для чего нужно так возиться с определением «жанровых особенностей» каждого произведения,— ответила старейшая советская писательница.— Характерно, мне кажется, для сегодняшнего дня вовсе не сочетание документальности с художественным вымыслом... А наиболее характерно присутствие лирического «я» в современных писаниях, очень интимное, очень личное, автобиографическое присутствие автора в его труде, носит ли он вывеску «очерка», «опыта», «исследования» или разных форм беллетристики».

То, что все глубже осознается как значение времени самими писателями, находит авторитетную поддержку со стороны ученых. Автор известной книги «Личность Достоевского» Б. Бурсов полагает, например, что склонность к нивелировке художественных индивидуальностей писателей, игнорирование их глубоко своеобразного и неповторимого мира вообще составляет главный недостаток литературоведения прошлых десятилетий.

Несмотря на наличие специальных трудов о творческой индивидуальности писателя, многое здесь еще остается исследованным не до конца. Больше внимания уделялось анализу того, какой жизненный материал, какие факты и стороны личного писательского опыта становились фактами искусства. Меньше анализировались индивидуальные пути претворения этого личного опыта в ткани произведения.

Для исследователей психологии творческого труда очень важной представляется мысль К. Феина: «Вряд ли всегда приемы писательского труда схожи между собой применительно к тому или иному рассказу или двум разным романам. Вывести «среднее арифметическое», говоря о своей работе «вообще»,— значит допустить заведомую неточность там, где целесообразной могла бы быть только точность».

Обратившись сейчас к таким книгам, как

монография А. Цейтлина «Труд писателя» (1962), читатель может узнать, что есть творческий процесс, из каких звеньев он состоит, начиная со сбора фактов и кончая сложными процессами творческой их переплавки. Кажется, учтено все, включая значение записных книжек и наличие (или отсутствие) подробного плана. Книга А. Цейтлина построена на огромном материале русской, зарубежной и советской литературы, но, может быть, именно это богатство материала невольно рождает у современного читателя мысль: не стираются ли за обильными примерами индивидуальные особенности труда писателей?

Книга А. Цейтлина как бы вычерчивает общую схему творческого процесса, расширяющуюся на всех писателей. Но сейчас важно понять не только то, что в равной мере присуще труду всех художников, но и то, что специфично для каждого из них.

Думается, индивидуальность исследовали преимущественно по «горизонтали» — по принципу многих сопоставлений, непохожести одних художников на других. Но необходим и вертикальный разрез, погружение в глубины индивидуального опыта писателя и тех процессов, которые с этим опытом сопряжены.

Глубоко прав К. Федин, говоря: «Важнейший из источников жизненного материала — личная биография». Но только, понятно, формы выражения «биографичности» материала могут быть самыми различными и порой неожиданными. Расскажу одну историю, как из мелочи, пустяка родилось, ну, не открытие, конечно, а, скажем так, новое представление о книге.

Перечитывая дореволюционный роман А. Толстого «Егор Абозов», я наткнулся как-то на то место, на которое раньше не обращал внимания. Герой романа «отер ладонью лицо (эта привычка «умываться» в минуты волнения была у него издавна...)». Тот, кто хорошо знаком с мемуарной литературой, скажет: постойте, да ведь это жест самого А. Толстого! Действительно, так оно и есть. Но только вытекают ли из этого сколь-нибудь широкие следствия, так сказать, всякое ли лыко в строку? Возникает естественный вопрос: а нет ли еще каких-нибудь точек соприкосновения у героя и автора? Начинаем искать. Абозов — молодой писатель, и в его рассказе протекает речка Чегра: «Каждую весну Чегра

лезла из берегов». Но она же «протекает» и в написанном уже после Октября за границей «Детстве Никиты»: «На крутых берегах реки Чегры намело за эти дни большие пушистые сугробы...»

Комментаторами отмечено, что журнал «Дэлос», в котором дебютирует Е. Абозов, носит черты реально существовавшего эстетского журнала «Аполлон», где было в первом номере опубликовано стихотворение Максимилиана Волошина «Дэлос». Но ведь А. Толстой печатался в «Аполлоне»! И если Абозову в момент дебюта в «Дэлосе» было двадцать восемь лет, то А. Толстому — момент первой публикации в «Аполлоне» — двадцать семь.

Итак, в Абозове есть «нечто» от самого А. Толстого. Однако установить прототипичность того или иного персонажа — полдела. Самое важное и интересное начинается там, где нередко ставят точку.

Оглянемся на минуту на первые реалистические опыты А. Толстого. Вопреки позднему, 20-х годов, заявлениям писателя о том, что его творчество совершенно лишено прототипов, «Заволжье» — книга насквозь прототипическая. Ведь и построенная она была на материале семейных хроник рода Толстых. По-собственному признанию писателя, это была находка. Типаж тут был столь ярко выражен, что он словно не требовал никакого воображения: просто бери и переноси людей в книгу. И в самом деле, достаточно взглянуть на сохранившуюся фотографию деда А. Толстого Леонтия Борисовича Тургенева и его сестры Ольги Борисовны, чтобы убедиться: брат и сестра Репьевы в «Мишуке Нальмове» списаны прямо с них с воистину фотографической точностью.

Но с развитием А. Толстого как гражданина и художника меняются не только его представления о действительности в целом, но и конкретные приемы работы с жизненным материалом. Внешнее сходство героев с прототипами все более стирается, об этом говорит и образ Егора Абозова. Обнаруживается следующая закономерность: эстетическая активность работы художественного сознания А. Толстого над материалом растет по мере роста его этической активности. Утрачивая черты портретного сходства, образ становится более «зашифрованным», он вбирает в себя прежде всего самое главное не из внешности, а из духовного опыта реальной личности. Так и в системе А. Толстой—Е. Абозов. Писатель

не участвовал в революционном движении, целый ряд моментов его биографии выглядит иначе. Но он наделил Егора своим жизнелюбием, своей стойкостью, своей неприязнью к богеме. Открываются, таким образом, живые признаки занимаемой писателем позиции по отношению к буржуазно-декадентским кругам, с которыми в жизни он, реальный Алексей Николаевич Толстой, еще не порвал окончательно.

Пример с А. Толстым я привел, естественно, вовсе не для того, чтобы сказать, будто необходимо везде и во всем отыскивать прототипы и будто художественное произведение — лишь проекция внутреннего мира автора. Нет, творчество отнюдь не сводится к «самовыражению», оно прежде всего отражение огромного мира, простирающегося вокруг. Но предметом изображения художника становится только то внешнее, что не просто прошло через его внутреннее «я», но и стало его органической частью. Хорошо сказала В. Панова: «Большая ошибка думать, что если писатель даровит, то может писать о чем угодно. Без собственного материала, интимно выстраданного, заветного, писательский талант — пустой звук, не имеющая общественной ценности безделка, отвлеченность, которой не в чем материализоваться».

Случается, интимно близкими, родными должны для художника стать факты чужей то чужой жизни, совершенно не похожей на его собственную. Но в таком случае особенно важно, чтобы эти факты вошли в тесное соприкосновение с его собственным опытом. В. Каверин рассказывает интересные подробности работы над романом «Перед зеркалом»: «Я не мог написать роман о художнике, не зная его картин. Идя по следам «Лизы Тураевой» изо дня в день, из месяца в месяц, я сам как бы невольно становился ею... Фотографии ранних работ «Лизы» сохранились у Р. — она прислала ему и оригинальные рисунки, среди которых есть несколько превосходных. Я попросил его показать мне все, что у него сохранилось. Он приехал, и это была совсем другая встреча, убедившая меня в том, что я уже работаю над романом, хотя не написал еще ни одной строчки. Теперь ни я, ни, кажется, он не чувствовали неловкости вмешательства в чужую жизнь. Теперь я не только узнал свою будущую героиню, я полюбил ее. Читая ее письма, я уже не мог размышлять над ними, как прежде, с холодностью профессионала. Впервые с такой

вещественностью я понял знаменитую фразу Флобера: «Мадам Бовари — это я»...»

Итак, писательский труд глубоко индивидуален не только по выбору материала, но и по способу его «пересоздания», связанному с природой таланта и, разумеется, характером материала. Более того, индивидуален и тот исходный объем материала, который необходим писателю для начала творчества.

Процесс художественного познания подчас озадачивает нас своими парадоксами. Как в науке бывают «сумасшедшие» идеи, так бывают в литературе «сумасшедшие» рассуждения. Именно к ним относятся наблюдения и выводы, сделанные, к примеру, Юрием Нагибиным в статье «Признания» («Литературная Россия», 4 июля 1975 года). Рассказывая о работе над сценарием фильма «Чайковский» и родившейся как «ответвление» от него повестью «Как был куплен лес» (о «романе невидимок» — заочных отношениях композитора и Надежды Филаретовны фон Мекк), писатель напоминает такой факт. Ознакомившись с замыслом фильма, кинорежиссер М. Ромм сказал: «Писать такое вот можно, если знаешь все о герое или если ничего не знаешь». Меня аж током пронизало от этих слов. Я понял, что отныне мой метод определен раз и навсегда: ничего не знать...»

Так, «не зная ничего», стал Ю. Нагибин писать сценарий. Ничего — кроме тех сведений о композиторе, которые, оказывается, таились в запасниках его памяти, кроме музыкальных образов, звучащих в каждом с детства, кроме еще каких-то деталей и ассоциаций, не очень-то многочисленных, впрочем.

Конечно, как и следовало ожидать, при таком методе невозможно было избежать фактических ошибок. Фон Мекк почему-то стала баронессой, ее дочь Юлия превратилась в Лидию... Но устранить все эти неточности было нетрудно. Зато писателю, не ведавшему фактической стороны дела, удалось «высчитать» роман Юлии-Лидии с учеником Чайковского скрипачом Пахульским, действительно ставшим впоследствии ее мужем... Так и в рассказе «Сон о Тютчеве», написанном как бы «вслепую», сместились поначалу многие подробности и приметы пейзажа или быта, но была верно воссоздана «подлинность душевного пейзажа» Тютчева. «Значит, в главном мой метод себя полностью оправдал», — заключает Ю. Нагибин.

Ответ на вопрос, почему писатель порою как бы даже создает особо жесткий режим для притока «материала по теме», мы найдем у С. Залыгина. Оглядываясь на пройденный путь, он не без удивления обнаружил, что среди героев его книг нет специалистов его профессионального профиля (гидрологи, гидротехники, мелиораторы). Одна из причин — боязнь впасть в узкоспециальные вопросы и уйти в сторону от собственно-эстетических задач искусства. Но психологически более интересна вторая причина, названная С. Залыгиным. «Дело в том, что для меня написание почти что любого произведения есть еще и процесс узнавания всего того материала, о котором я пишу. Мне в процессе работы обязательно должно быть интересно узнавать; этот интерес — самый начальный и, пожалуй, самый важный стимул работы: должно быть интересно мне, мне самому, и тогда у меня есть шанс передать этот свой собственный интерес и читателю».

Интересно — в процессе работы!

Вопрос об оптимальном количестве жизненных фактов, лежащих в основе образа, весьма важен, и некоторые распространенные представления на этот счет нуждаются сегодня в уточнении. В многочисленных выступлениях Горького, обращенных к начинающим, подчеркивается, что задача художника не сводится к фиксации фактов, что литератор должен уметь обобщать повторяющиеся величины. «Если писатель сумеет отвлечь от каждого из двадцати—пятидесяти, из сотни лавочников, чиновников, рабочих наиболее характерные классовые черты, привычки, вкусы, жесты, верования, ход речи и т. д.—отвлечь и объединить их в одном лавочнике, чиновнике, рабочем, этим приемом писатель создаст «тип»,—это будет искусство».

Глубоко справедливые по существу суждения М. Горького о типическом не лишены и известного схематизма, объясняющегося в первую очередь их популяризаторской направленностью. Кстати, сам М. Горький за основу характера брал нередко одно реально существовавшее лицо, но помещал его в вымышленные обстоятельства и заставлял совершать поступки, которых человек не совершал в жизни никогда, но которые в романе были обусловлены именно данными обстоятельствами. Определяя возможность того или иного поступка, линии поведения персонажа, писатель опирается на весь свой опыт, в частности

на многократные наблюдения над людьми того же социально-психологического типа, что его герой.

В «Дневнике писателя» у Ф. М. Достоевского находим такую запись: «Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует». Вот этот процесс угадывания возможного, вероятного в одном лице, связанный с очень сложной и интенсивной работой воображения, процесс, с трудом поддающийся формально-логической расшифровке, часто и составляет тайное тайных писательского труда.

Примерно о том же говорил Лев Толстой в своем удивительном по современности звучания признании: «Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для [того], чтобы выбрать из них $\frac{1}{1\,000\,000}$, ужасно трудно».

К суждению Л. Толстого необходимо сделать только один комментарий: та «одномиллионная», которая составляет заветную цель художника, в конце концов тоже характеризует его личность, его труд. Все кибернетические машины просчитают задачу одинаково и дадут один ответ. Потому что программа в них заложена одна и та же. Но даже если несколько писателей будут работать над одним материалом, у каждого окажется своя «одномиллионная», потому что для каждого характерна индивидуальная эстетическая программа.

Возвращаясь в будущее

Столкнувшись с фактами последующей переработки автором произведений, написанных ранее, читатель М. Гдалин прислал в «Литературную газету» недоуменное письмо: «Насколько это разумно, целесообразно и оправданно?» Если герои произведения уже начали свою самостоятельную жизнь в нашем сознании, правомерно ли такого рода вмешательство?

В статье «О формальном „нельзя“ и творческом „не надо!“» литературовед А. Вулис разъяснял читателю, сколь закономерной и необходимой бывает такая авторская акция, если это связано со стремлением усовершенствовать книгу, если старый ва-

риант в чем-то уже не устраивает самого писателя, выросшего творчески.

Итак, все как будто встало на свои места. Но для читательских недоумений есть и другого рода пища. К примеру, И. Рахтанов в своей книге «Рассказы по памяти» вспоминает о забытом теперь писателе Колбасеве и отмечает, в частности, такую особенность его творчества. «Образ Василия Бахметьева, как и образы матроса-большевика, а потом комдива Семена Плетнева, соучеников по корпусу — Лобачевского, Овчина, барона Штейнгеля, переходят из рассказа в рассказ, из повести в повесть. В этом особенностью манеры Колбасьева. Его проза циклична, каждая отдельная ее часть, каждый рассказ или повесть самостоятельны, лишь поскольку кажется, что рядом с ней нет продолжающей ее следующей». Ну и, естественно, вещь как бы перестает быть самостоятельной, лишь только становится в этот длинный ряд, в своего рода творческую очередь, в которой, как известно, свои правила, властно подчиняющие индивидуальность общему закону движения к одной цели.

Обратимся к примерам из творчества гораздо более известных писателей. В пьесе К. Симонова «Парень из нашего города» есть второстепенный персонаж Сафонов. Позднее он перешел в другую пьесу, «Русские люди», и не просто перешел, а стал ее главным героем. Такие «переходы» нередко встречались и прежде. Вспомним хотя бы горьковского Достигаева, который выдвинулся из ряда второстепенных героев пьесы «Егор Булычов и другие». Так сказать, из «других» он стал персоной номер один.

Возьмем пример совсем недавний. Второстепенные герои повести ленинградского писателя Игоря Ефимова «Лаборантка» становятся едва ли не главными персонажами его рассказов, а главный герой повести Троеверов в рассказах мелькает не однажды...

Для полноты картины добавим, что существуют не только «кочующие» герои, но и целые произведения, полностью входящие в другие, более крупные. В «Привычном деле» В. Белова можно найти вошедшие в него целиком рассказы «Вечерние разговоры», «Три часа сроку». Повесть А. Алдан-Семенова «Поход за последним „тигром“», опубликованная в «Просторе» в 1975 году, почти без переработки вошла в

роман «На краю океана», напечатанный год спустя в «Октябре».

Читатель может быть обескуражен таким явлением «трансплантации». Что же касается литературоведа... Один исследователь как-то сказал, что каждая статья такого критика, как К. Чуковский, удивительно чутко к биению художественного пульса произведения, «разворачивает целую коллекцию писательских самоповторений». Выходит, чем более наблюдательным является критик, тем больше самоповторений писателя обнаруживает он, и, следовательно, такой-то наиболее наблюдательный критик принесет наибольшее разочарование читателю...

Но далеко не все столь просто в области так называемых самоповторений, как может показаться на первый взгляд разочарованному читателю. В творчестве любого писателя независимо от степени его таланта есть определенная совокупность излюбленных тем, образных решений, тех или иных частных приемов — всего того, что входит в понятие его творческой индивидуальности, в немалой мере определяет его почерк. Можно ли упрекать писателя за то, что, двигаясь вперед, он опирается на предшествующий опыт?

Таким образом постепенно складывается внутренняя преемственность тем и образов в творческом развитии писателя. Сошлюсь в этой связи на суждение А. Борщаговского: «Я верю в то, что называю для себя рабочим термином «второго слоя». Все серьезное должно сколько-нибудь отлежаться — переписанное по прошествии времени, оно вберет новый временной слой, в чем-то изменившуюся, выросшую личность автора. Многие из того, что стало новыми главами «Последнего поклона» В. Астафьева, в зародыше, в первом наброске было в рукописи давней его повести «Кража». Тогда, по выходе «Кражи», я, читатель, печалился о том, что некоторые мотивы исчезли при публикации. Но, может быть, не исчезли они тогда, мы не получили бы сегодня этих превосходных и мужественных страниц «Последнего поклона»? Личность художника сложилась, развилась, сделал свое дело и второй временной слой».

И в данном случае в принципе не важно, были или нет опубликованы те куски, которые позднее вошли в «Последний поклон». Важнее то, что они были написаны, но ждали своего, более подходящего часа.

Так порою ждут своего подлинного часа и опубликованные куски и родившиеся герои...

Для писателя созданная книга не существует изолированно от тех, что возникли ранее, и тех, что еще только зреют в его душе. «Книги написанные и ненаписанные» — так назвал свою чрезвычайно содержательную беседу с критиком Л. Лазаревым Константин Симонов. Лев Славин в своих воспоминаниях замечает, что И. Ильфа одолевали десятки замыслов одновременно. Многие из них так и остаются в черновых набросках или просто «в уме». Мы, быть может, никогда и не узнаем о них. Но очень прав В. Быков, заметивший — очевидно, на основе собственного опыта, — что на развитие осуществленного замысла влияют и те, которые писатель по разным причинам не реализовал.

Вызревание замысла — длительный и, как свидетельствуют писатели, сложный и весьма таинственный процесс. Зерно замысла может захиреть, а может прорасти и дать чудесное растение. Но замысел не сорняк, который взойдет на любой почве, даже в узенькой щелке между камнями. Зерно не растет само, его надо растить. И плод зависит не только от того, каким было зерно, но и от того, как его выращивали.

Одно из замечательных произведений прозы последних лет — повесть «Живи и помни» В. Распутина. Критики не перестают удивляться, как мог писатель уже послевоенного поколения нарисовать с такой психологической глубиной трагедию, развернувшуюся в годы войны в глухой сибирской деревушке. А одна из причин успеха, помимо покоряющей талантливости автора, длительность вынашивания — нет, даже не замысла, его еще не было, а прозамысла, что ли. В. Распутин рассказывал мне, какое сильное впечатление на него, восьмилетнего деревенского мальчишку, произвела необычная уличная сцена: селом вели заросшего, оборванного человека, скрывавшегося в лесу. Необычным, пугающим словом называли его: дезертир...

Прошли годы. И вот в одном из рассказов молодого прозаика («Мы с Димкой») возникает как бы первый вариант сюжета с дезертиром: мальчишки думают, мог ли убежать с фронта отец Димки.

Новая стадия созревания той же темы — повесть «Последний срок». Люся во время прогулки вспоминает военное детство и страшного человека, неожиданно встретив-

шегося ей в лесу. И только потом — «Живи и помни». И — совсем все по-другому. Но, я думаю, это «по-другому» таким потрясающим по силе психологической достоверности получилось во многом именно потому, что вызрело полностью, корни вобрала из творческой почвы все соки, до последней капельки.

Итак, в творчестве настоящих писателей то, что не совсем верно называется «самоповторением», отнюдь не носит механического характера. Это скорее выражение многостадийности художественного поиска, связанного с ростом писателя как творческой личности.

Эволюция замысла распутинской повести протекала внутри одного — эпического — рода. Случается, что тот или иной образный мотив может перекоачевать из одного вида или рода в другой, третий...

Интереснейшие материалы к творческой истории наиболее крупной и значительной работы о Великой Отечественной войне — трилогии «Живые и мертвые» — получили исследователи с публикацией военных дневников К. Симонова в «Дружбе народов». Если бы кто-нибудь ранее отважился заявить, что замысел трилогии непосредственно связан со стихотворением «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», написанном в самом начале войны, такое заявление было бы воспринято как явное преувеличение. Наверное, так оно и есть. Так, да не совсем.

В начале июля под Борисовом К. Симонову пришлось вместе с А. Сурковым остановиться на краткий отдых в избе, хозяйка которой, «маленькая старушка с быстрыми движениями» и старик, весь в белой и с белой бородой, отличавшийся, напротив, малой подвижностью и молчаливостью, поразили военных корреспондентов каким-то суровым спокойствием восприятия случившегося и готовностью ждать возвращения своих насколько хватит сил. Однако родилось ставшее знаменитым стихотворение несколько позднее, а по военным временам значительно позднее — в ноябре 1941-го, когда К. Симонову пришлось коротать время и голодать на корабле, застрявшем во льдах Белого моря. «Там-то и вспомнились первые недели войны, все пережитое тогда и отстоявшееся в душе, именно все, — подчеркивает писатель в своем комментарии, возникшем уже многие годы спустя, — а не только одна наша поездка под Борисов, хотя как самая точ-

ная и близкая к жизни подробность в стихах присутствовали тот самый день и та самая деревня...»

Чем стало оно, это историческое стихотворение, для миллионов читателей, особенно в годы войны, хорошо известно. Но чем ему суждено было стать для автора, мы в полной мере не поймем без той подробности, которую узнаём теперь из дневника. «Деревни были маленькие, и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладбища с одинаковыми, похожими друг на друга старыми деревянными крестами. Несответствие между количеством изб в деревне и количеством этих крестов потрясло меня. Я понял, насколько сильно во мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней. Горести первых двух недель войны убедили меня в том, что и сюда могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой было невозможно. Что бы там ни было, она была и останется русской. На этих кладбищах было похоронено столько безвестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь на много саженей».

У лирического стихотворения, охватывается, была чрезвычайно прочная и именно эпическая основа: мысль о преемственности национальных традиций и жизни вообще, соотнесение личного «я» не только с судьбой народа в настоящем, но и с глубиной его исторического прошлого, с теми, кого давно нет в живых, но память о которых питает животворное чувство патриотизма в душе лирического героя.

Конечно, само название трилогии «Живые и мертвые» включает в себя не только этот, но и много других смысловых моментов, выражая целостную поэтическую концепцию, еще не до конца, как мне кажется, раскрытую критикой. Но и этот начальный исток темы влился позднее в трилогию, и не случайно в первом из вошедших в нее романов, в самом его начале, в первой главе есть сцена, на которую уже обращала внимание критика: Синцов видит небольшую деревушку и большое кладбище рядом с ней. В романном отрывке те же самые подробности, но главное — то же настроение. Только нет стариков, с кото-

рыми встретились корреспонденты в сорок первом. Очевидно, романский замысел потребовал от этой сцены большей эпичности, отказа от некоторых деталей и подробностей. Знакомые нам подробности, впрочем, остались, только писатель перенес их в другое место, в главу шестую, где отступающие Серпилин, Синцов и бойцы обнаруживают избу лесника. Здесь в полную силу заработали подробности вплоть до ноющего плача внучки деда и бабки Дуньки, у которой убило парня.

Можно ли упрекать автора за такого рода «самоповторение»? Наверное, каждому ясно, что возвращение через годы к трагическим дням начала войны и вообще к войне было неукоснительной внутренней закономерностью развития К. Симонова не только как военного писателя, но и как гражданина. Известно, что, собирая материал для трилогии, он много работал в архивах, встречался с генералами и солдатами, то есть всячески стремился расширить то, что составляло сферу его личного опыта. Но при этом неизбежны были возвращения к каким-то наиболее сильным личным впечатлениям военной поры, пусть и реализованным в образной форме когда-то, но миновать которые сейчас писатель все равно не смог бы, даже если бы и захотел.

Пример К. Симонова дает нам один из типов писательского возвращения к прежним темам и образам: дневник — стихотворение — роман, хотя хронология публикаций оказалась иной: стихотворение — роман — дневник. То есть творческая хронология оказалась неидентична внешней, временной. Вопрос этот весьма немаловажен для изучения закономерностей развития того или иного художника.

Глубиной содержания и своеобразием вылепленных характеров обратил на себя внимание роман С. Залыгина «Комиссия». Обращаясь к «Комиссии», критика стала говорить о том, что мы теперь имеем «своеобразную трилогию»: «На Иртыше» (1964), «Соленая Падь» (1967), «Комиссия» (1975). У «трилогии» этой, оказывается, есть «пролог» — очерк «Весной 1954 года». «Так началось его (Залыгина.— В. Б.) восхождение вверх по течению временного потока: из весны 1954 года в весну 1931-го, затем в август 1919 года и вот уже ныне, в «Комиссии», в осень одна тысяча девятьсот восемнадцатого» (Вс. Сурганов).

В стройные и вполне логичные рассуж-

дения подобного рода приходится внести, однако, некоторую поправку: как появлялись произведения в печати — одно, но как р о ж д а л и с ь произведения — это другое.

Первым у писателя стал формироваться замысел «Соленой Пади» (примерно в 1957 году, за десять лет до публикации романа). Начался сбор материала, осмысление, кристаллизация замысла, который, постепенно разрастаясь, существенно менял свои первичные очертания. Работа оказалась столь сложной и трудоемкой, что писатель прервал ее, чтоб написать другой, первый свой роман, материал которого был непосредственно, биографически намного ближе ему, — «Тропы Алтая» (1961). Так сказать, от грохота событий гражданской войны он скрылся в таежную алтайскую глушь. Но звучать в его душе эти события продолжали. Размышляя над судьбами людей, подобных героям все еще не написанного романа о гражданской войне, С. Залыгин вольно или невольно пытался представить себе их будущее. Так родилась повесть

«На Иртыше», герой которой Степан Чаузов был партизаном, воевал с Колчаком и, кто его знает, может быть, в войсках Мецзякова?..

А когда С. Залыгин приступил наконец к «Соленой Пади», в нем уже жил опыт автора романа об ученых и сибирской хроники — двух столь несхожих произведений, без которых, однако, «Соленая Падь» была бы другой. А может быть, и не состоялась совсем. Так же важен, я убежден, для автора «Комиссии» опыт «Южноамериканского варианта» и такого подчеркнуто экспериментального рассказа, как «Коровий век», — вне его не было бы столь восхитившего критику удивительного залыгинского вторжения в мир психики животных.

Таким образом, внутренняя хронология в творчестве далеко не всегда совпадает с внешней, доступной нашему взору, а без учета тех процессов, которые протекают в глубинах писательского сознания, в полной мере невозможно понять их результат.

(Окончание следует)



Л. ЛАВЛИНСКИЙ



НА СТРАЖЕ ВЕКА

Горцы хорошо знают: чем крупнее вершины, тем они кажутся ближе и доступнее. Знают, насколько и обманчиво такое впечатление. Серьезно говорить об А. Твардовском значит в той или иной мере говорить обо всей современной поэзии, ведь имя это неотделимо от ее высших достижений. Трудно к тому же не повторить сказанного другими: к счастью, поэт и при жизни не был обойден вниманием, а к настоящему времени о нем создана целая литература — стихи и поэмы, критические исследования и мемуарные очерки. И теперь продолжают появляться книги — пишут воспоминания друзья и редакционные сотрудники, делятся впечатлениями читатели. Хотя мне знать Твардовского лично не довелось, не обойдусь и я без некоторых читательских воспоминаний. Только начать придется не с них.

Когда мысленно охватываешь эту большую и драматически напряженную судьбу, сразу бросается в глаза, что А. Твардовский словно прожил в поэзии несколько жизней, словно был ровесником всех современных поколений. В самом деле, получив широкую известность как крестьянский поэт предвоенных пятилеток, он в годы Великой Отечественной войны создает знаменитую «Книгу про бойца» и поднимается в ней, по верному наблюдению современника, до масштабов поэта общенародного. С этой поры А. Твардовский остается одним из самых бесспорных лидеров отечественной поэзии, какие бы дискуссии ни возникали вокруг его имени.

Для поэтов более молодых, но успевших побывать на фронте, он уже авторитетный учитель. Однако из тех учителей, что меньше всего довольствуются прежними заслугами. Наравне с учениками (и соперниками) Твардовский — в неостывающем азарте

поиска, в неустанном движении. И если самые существенные удачи, если высшие лирические взлеты этого поколения связаны так или иначе с отстоявшимися впечатлениями фронта (как главного жизненного испытания), то и автор «Теркина» оставил нам замечательные стихотворения в этом роде. Пора зрелой активности «военных» поэтов (я умышленно не называю имен — они у всех на слуху) совпала с крупными преобразованиями в стране, начатыми XX и последующими партийными съездами. Горячее, сложное и захватывающее острое время! Поэзия этого периода дает бурные всходы, и впереди мы снова видим А. Твардовского с его философской поэмой «За далью — даль», поэмой, гармонично вобравшей главные ритмы, идеи, аналитический пафос эпохи.

Не однажды приходилось слышать, что «За далью — даль», дескать, вещь значительно слабее «Теркина». Из видных критиков на сей счет определенно высказался Вл. Гусев: «Ныне, по прошествии всех этих лет, ясно, что «За далью — даль» — не лучшая из поэм Твардовского»¹. По моему, критик здесь не очень прав. Думаю, прав поэт, считавший, что каждому времени нужна своя песня. К тому же не захотят ли читатели в порядке добровольного самозадания припомнить в гражданской поэзии тех лет произведение более емкое и впечатляющее, чем «За далью — даль»? Емкое по глубине и актуальности обобщений, по размаху панорамной живописи, запечатлевшей картины всенародного строительства, или, наконец, по бесстрашной откровенности в показе трагических противоречий эпохи? Не знаю, к каким

¹ Вл. Гусев. В середине века. О лирической поэзии 50-х годов. М. «Советский писатель». 1967, стр. 219.

выводам придет тот или иной читатель,— с моей точки зрения эти поиски заранее обречены на неудачу.

Целый пласт нашей духовной жизни (а стало быть, и особая проблематика литературы) возник в итоге огромной работы партии по разоблачению культа личности и его последствий. Нет ни одного скольнибудь значительного поэта тех лет, который не был бы захвачен этими всеобщими переживаниями. Из среды тогдашних молодых вырвались протуберанцы яростных обличений, надолго приковавшие читательское внимание. Но, будучи справедливыми, мы обязаны признать, что самые прямые, совестливые и точные слова о случившемся со страной и народом в названную эпоху нашел автор «За далью — даль», и никто иной.

Это произведение обозначило в поэзии четкий временной рубеж, завершив 50-е годы и открыв собой новое десятилетие. Последующие пути нашей литературы невозможно представить без участия другого, уже послевоенного поколения авторов, тех, кто со всей горячностью жаждущих серьезного дела новобранцев взялся за ведущие темы действительности, за создание коллективной эпопеи целины и ударных строек. Для этих поэтов (а я и на сей раз попробую обойтись без списочных перечислений) героика народного наступления на тайгу или дикую степь явилась в определенном смысле тем же, чем Отечественная война для их старших братьев, то есть важнейшим жизненным испытанием. Вдобавок именно в те дни гражданская муза подняла взоры к звездам — началось непосредственное освоение космоса отечественной наукой. Лирическая активность тогдашних молодых имеет свою цену, однако нельзя не заметить, что многое в их исканиях также предвосхищено «не лучшей поэмой» А. Твардовского. Об этом еще будет повод поговорить.

Разумеется, все, что здесь высказано в порядке беглых набросков и тезисов, не имеет целью как-либо умалить работу иных замечательных поэтов. Ни один талант, будь он столь значителен, как у Твардовского, или даже еще крупнее, не в силах выразить время полностью, так, чтобы другим не оставалось сказать нечто существенное и необходимое. Лишь в науке оптимальное решение проблемы отменяет все прочие. Природа искусства принципиально иная: она допускает бесчисленное множе-

ство решений, в чем-то противостоящих, а в чем-то дополняющих друг друга.

Достоинны, однако, изумления неубывающая в течение десятилетий и довольно равномерно распределенная между ними поэтическая энергия А. Твардовского, сосредоточенность его таланта на главных направлениях всенародной жизни и неуклонный рост его ровень и в обгон своего времени. Ведь если мы утверждаем, что 60-е годы в поэзии — время господства в ней различных жанров философской лирики, то и в этом отношении поздние стихи Твардовского могут послужить эталоном строгого мастерства. Бессмысленно теперь гадать, завершились бы новые поиски созданием крупной формы (как неизменно бывало прежде). «Предсказывать» Твардовского было невозможно при жизни, но теперь, когда его путь завершен, творческое наследие поэта предстает удивительно единым и целостным. Перечитайте любое стихотворение — вам тотчас отзовутся десятки и сотни других. Можно сказать, это комплекс художественных сооружений, из любой точки которого видно целое, открывается гармония целого.

* * *

Однако при всем том, что сказано выше, поэзия А. Твардовского иной раз встречает прохладное отношение. Мне, например, вспоминается разговор с молодым стихотворцем, который спросил, кого из современных поэтов я считаю крупнейшим. Зная всю бесплодность распределения в литературе чемпионских титулов и призовых мест, я все же назвал А. Твардовского.

— Да, к сожалению, — кисло согласился собеседник.

Я заинтересовался столь загадочной репликой и выяснил, что ее надо понимать так: своим огромным литературным авторитетом А. Твардовский на долгие годы закрепил в поэзии господство классических традиций, чем и отбил у начинающих охоту к формальным поискам, вкус к новизне.

Возможно, я не упомянул бы в статье о столь наивном мнении, если бы не услышал в реплике отголоска давних критических дискуссий. В свое время нередко писалось, что А. Твардовский традиционен, причем иные критики вкладывали в это определение обидный намек на некую старомодность. Автору «Теркина» прямо или косвенно противопоставлялись коллеги, принадлежащие к иным стилевым течени-

ям, якобы более подходящим к скоростным ритмам современности. До недавнего времени и часть нашей профессиональной критики весьма категорично прописывала поэта по ведомству традиционалистов, лишая его стихотворные принципы преимущества эстетической новизны.

Однако схема «новаторы — консерваторы» (традиционалисты — лишь смягченный синоним консерваторов) постепенно изжила себя, и молодой поэт — заочный оппонент Твардовского, — сам того не ведая, высказал парадокс, начисто ее добивающий. В самом деле, если авторы, вооруженные сверхсовременными по сравнению с Твардовским ствелевыми приемами, все-таки не сумели подняться до его художественных высот, если именно он наиболее полно, глубоко и правдиво выразил свое время, то что нам за толк в таком «новаторстве»?

Увы, в поэзии куда сложнее, чем в наших схемах. Верно, что А. Твардовский аскетически строго относился к любым формальным новациям, убирая из своих стихов решительно все, что казалось ему украшательством, изыском, мишурой. Верно, что его стиль не сверкает острой метафоричностью, отличающей произведения многих, подчас очень талантливых современников. Однако же его стиль обладает тем завидным качеством, которое один из критиков метко назвал скрытой метафоричностью. К этому определению мы еще вернемся. Сейчас я лишь отмечу, что А. Твардовский «стесняется» чью-либо самобытность не больше, чем любой другой талант такого калибра. Например, не очень близкий ему и открыто метафоричный В. Маяковский. Громадный лирический темперамент трибуна 20-х годов втянул и еще продолжает втягивать в орбиту своей деятельности немало одаренных последователей и легионы подражателей. Но даже совершенно исключительный авторитет, который был в свое время придан стихотворным принципам Маяковского, к счастью, не сделал нашу поэзию однозвучной. Ничуть не сковал он самостоятельности того же Твардовского или Смелякова.

* * *

Сегодня можно считать развеянным державшийся довольно долго миф о том, что Твардовский — поэт исключительно эпический. Еще А. Макаров в превосходной статье о «Василии Теркине» показал, какой громадный лирический потенциал заключен в даровании поэта. Для подтверждения

своих мыслей критик использовал лишь лирические отступления «Книги про бойца»; коллегам, выступавшим впоследствии, было легче: они располагали поздними произведениями А. Твардовского. Я разделяю мнение о крупной лирической одаренности Твардовского, но не премину заметить, что лирик это более чем своеобразный, в принципе необычный. Ведь у него даже в молодости почти не было стихов о любви, в особенности написанных от первого лица. Можно искать этому разные объяснения, но всего скорее на молодого поэта сильно подействовал императивный запрет Некрасовского Гражданина в суровые для родины дни «красу долин, небес и моря и ласку милой воспевать». Эта заповедь стала для многих поколений русских поэтов символом веры, но нет нужды доказывать, что понималась она очень по-разному. Кстати, сам Некрасов никогда не грешил упрощенными представлениями о долге и, отдавая все силы общественной борьбе, писал наряду с песнями народной скорби глубокие и вполне интимные стихи о любви.

В молодой советской поэзии первых послереволюционных лет все было иначе, и даже для Маяковского противоречие между личным и общественным разрасталось порой до трагических размеров. С. Есенин, правда, не сомневался в извечном праве лирического поэта писать о себе и о любви (даже в шутку не назвал бы он эту тему «и личной, и мелкой»), но зато и числился у тогдашних критических ортодоксов среди авторов отсталых и несознательных. Даже юный Я. Смеляков в начале 30-х годов вынужден был еще отстаивать свое, отличное от рапповского понимание гражданственности (первая же книжка поэта программно называлась «Работа и любовь»), а впоследствии, уже будучи зрелым поэтом, пронически напомнил: «Красота в годы те была вроде как под сомнением, что ли...»

Все сказанное, конечно, не объясняет еще позиции молодого Твардовского, однако же кое-что в ней приоткрывает, характеризуя сложившееся поэта время. Правда, он сам впоследствии признавал, что его делающая первые шаги муза испытала значительное влияние личности и творчества М. Исаковского. Но легко отличимая характерность младшего из подружившихся на всю жизнь поэтов заявила о себе очень скоро.

Едва ли не с первых шагов в поэзии А. Твардовский стремится овладеть крупной эпической формой. И позднее личные пере-

живания, связанные с любовью, семьей, отцовством, автор уже отмеченной «Страны Муравии» высказывает крайне скупое, предпочитая изображать чувства других людей — своих земляков и современников, прежде всего крестьян-колхозников. Среди его стихотворений 30-х годов множество бытовых сцен, ухаживаний, соперничества, ревности, то есть мотивов, вполне привычных русскому песенному фольклору. При этом сквозь лирические признания героев А. Твардовского (а чаще героинь) явственно проступает колхозная новь той поры. Во многих старинных песнях повторяется, например, такая тема: добрый молодец, проезжая селом, просит у девицы попить или напоить его коня. У А. Твардовского молодец одет в шоферскую спецовку, а роль доброго коня играет редкая еще тогда в глубинке автомашина. В остальном песенный сюжет (обращение к девушке, заигрывание, начало знакомства) движется по традиционному руслу. Охотно подхватывает автор частушечные мелодии («Погляжу, какой ты милый, замечательный какой...»). Но среди положенной по жанру устойчивой образности мелькнет вдруг совсем необычная здесь, цепко схваченная деталь: «И холстинковое платье, и загар твой до локтей». Такая вот отчетливость художественного зрения, такая, я бы сказал, бытописательская образительность уже в те годы выводит Твардовского-лирика за пределы песенной поэтики.

Стихам А. Твардовского, даже сравнительно ранним, довоенным, совершенно не свойственна наступательная агитационность Д. Бедного, однако нет в них и обнаженного есенинского лиризма. Твардовский показывает человеческие чувства и отношения в их многозначной сложности и богатстве оттенков, но словно бы со стороны. Как во всякой крестьянской поэзии, у него много стихов о женской доле, еще недавно беспроектной и тяжелой, а ныне преображенной. Но рассказывая о необычных судьбах своих героинь, автор старательно избегает публицистического нажима.

...Возвращается в родное село награжденная орденом колхозница. Горячая суть события раскрывается в переживаниях другого человека — мужа крестьянки. «Плачет, — разве ж он не рад? Оробев, подходит ближе. Чем-то словно виноват, чем-то будто бы обижен». Вот такое это семейное торжество, замешанное на слезах, робости, ревности и, очевидно, других острых чувст-

вах. Молодой поэт знает их дополненно и передает достоверно. При этом он умело пользуется и речевыми характеристиками героев, проникающей в народный говор книжной и газетной лексикой (обычно, как и М. Исаковский, при шутовском повороте темы). Мужик хвалится женой: «Баба — о! Политотдел!» Это прочное знание сельского просторечия — основа будущего лексического многообразия «Василия Теркина».

* * *

Сосредоточенный на главных особенностях и приметах времени, молодой Твардовский видит целевую задачу своей поэзии в утверждении колхозной нови и пришедшей с нею социалистической морали. Однако от притязаний некрасовского Гражданина, или, вернее, от вульгарных истолкований этой проповеди, он решительно отстает родные пейзажи. Это совершенно естественно: какая крестьянская поэзия обойдется без природы? Вот почему в грустных сетованиях сельской девушки на неудачное замужество «вслух говорит соловей за кустом». Впрочем, эту строчку еще можно представить в стихах С. Есенина или М. Исаковского. Зато ни тот, ни другой поэт не сделал бы, я думаю, такой почти календарной записи:

Рожь отволновалась.
Дым прошел.
Налило зерно зерно до половины.
Колос мягок, но уже тяжел,
И уже в нем запах есть овинный...

В этом сравнительно раннем эскизе есть фамильная авторская мета — резкая вещественность изображения и какая-то деловитость, что ли. Колос словно пробует на ощупь, разминается пальцами хлебороба.

Природа в лирике 30-х годов обычно интересует поэта не сама по себе, он смотрит на нее не как на отстраненную «вечную красу», но прежде всего как деловитый хозяин. Конечно, А. Твардовский и при этом остается художником: «И лодка пробирается кустами, дыма ольховой пылью над водой». Но едва ли решился бы молодой поэт любоваться весенним паводком как таковым, безотносительно к делу рук человеческих. Стихотворение «Новое озеро» — это рассказ о построенном в колхозе водоеме, к которому приставлен рыбовод-сторож. Имеется и обобщение в конце, довольно искусственное в своей приподнятой символике:

И попросту собой доволен сторож,
И все ему доступны чудеса:
Понадобится — сделает озера,
Понадобится — выстроит здесь город
Иль вырастит зеленые леса.

Сложная диалектика созидания, превосходно выраженная много позже, в «Разговоре с Падуном» и в других послевоенных стихах, пока еще не по силам молодому поэту. Очевидно, стесняется он и своего лиризма, обязательно заземляя его на деловых разговорах о хозяйственных нуждах.

* * *

Впрочем, одно пейзажное стихотворение тех лет заметно выделяется среди прочих. Эта тонкая, написанная вообще редким у Твардовского белым стихом миниатюра по содержанию предвещает его позднюю лирику. Вещь эта глубоко интимна, посвящена собственной матери и свидетельствует о сложности авторских переживаний, о том, что далеко не все они находили тогда дорогу в поэзию:

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают...

Изобразительные определения в этих стихах совершенно лишены традиционно-фольклорной поэтичности, они прежде всего привлекают свежестью и зрительной точностью (как «загар до локтей»). «Неполная», «зернистая» — такие эпитеты сами по себе необычны в крестьянской лирике, но особенно в сочетании с «зеленым» следом. Причем необычность их только в приданной словам живописной функции, сами-то слова в народной лексике вполне обиходные. Всегдашняя стилевая примета А. Твардовского: эффект эстетической новизны достигается с помощью самых привычных и общеупотребительных слов. Иногда намеренно берутся затертые, чудо их преобразования в тексте тем разительнее.

Но что же придает этим пусть зорко подмеченным деталям такую поэтичность, такую тихую и задумчивую грусть? Попробуйте вынуть из стихотворения шестикратно повторенное «и» — немедленно нежная миниатюра превратится в перечисление, лишенное музыки и чувства. Протяжное «и-и-и...» и есть объединяющая детали мелодия. В нем и певучесть крестьянской речи,

и ритм трудовых сельских будней, и печаль бескрайних полей. Причем сам по себе, в отрыве от контекста, звук «и», конечно, ничего этого не означает. А все вместе — удивительно целостная и точная картина. Вдобавок перед нами вовсе не статичный пейзаж, приуроченный к определенному времени года. Мы ощущаем в стихотворении мягкий переход от апрельской, «еще неполной» листвы к терпкому запаху сена. Едва ли не самое интимное из ранних стихотворений Твардовского интересно еще и тем, что образ женщины,ступающий в звуки и краски русского села, более и традиционен, классичен, чем иные. Образ вечной труженицы, живущей заодно с природой. Застенчивая приглушенность красок сообщает ему высокую утонченность. Шум листвы легок — она еще молода. Стук валька негромок — одинок. Бабья песня далека, едва слышна — это, собственно, только ее отголосок. Человек здесь совершенно неотъемлем от природы — она полна примет его деятельности. Но извечной деятельности крестьянина, а не той, что характеризует только новую эпоху. Внешних признаков современности, почти обязательных для молодого Твардовского, в миниатюре нет. Быть может, стихотворение «Матери» не самое лучшее в его тогдашней лирике, но бесспорно из лучших. Оно сплетено свежо и ладно, как полевой веночек. Правда, в работе поэта этих лет, если оглядеть ее в целом, сказывается еще некоторая разобщенность мелодий: если уж вечная тема, то исключительно вечная и решается в грустно-задумчивой интонации. Напротив, если речь, собственно, о нынешних днях, в стихах торжествуют непрменный мажор, бойкий сельский юмор. Художественная объемность, синтетичность зрелой философской лирики еще впереди.

Из «балладных», то есть сюжетных стихотворений 30-х годов выделяется цикл анекдотических историй о столетнем плотнике Даниле — работа, показывающая отличное знание молодым поэтом не только сельского говора, но и народного характера. И уже одним этим как бы сулящая читателю «Василия Теркина». Конечно, личный характер занозистого сельского патриарха не так уж и близок духовному облику советского бойца, но общее, что роднит их, полностью относится к национальной и народно-социальной психологии. Кстати, позднее, в «Книге про бойца», появится и герой,

непосредственно похожий на старого Данилу, — тот самый «дед-солдат», у которого Теркин дважды был гостем, чинил часы и беседовал о ходе войны. Образ, олицетворяющий доблесть дореволюционной русской армии.

Но, вероятно, еще более важным из непредугаданных подступов к фронтовой поэме оказался сам тип сказового повествования, открытый в «Стране Муравии» и с полным блеском выявленный в цикле о Даниле. Самое обширное и лучшее тут стихотворение «Еще про Данилу» — не просто остроумный анекдот, как иные. В этом стихотворении есть уже поэтическая сличность разных мелодий: в текст естественно входят и мастёрски выписанные пейзажи, и шуточные обращения автора к герою, и колоритные сцены перебранок деда с женой и многое иное. Все это, как можно видеть теперь, прямые дороги к «Теркину».

Знаменательно, что А. Твардовский, связанный с крестьянством прочными духовными узами (а перед войной Россия была, как известно, преимущественно крестьянской по составу населения), оказался в час грозных испытаний наиболее нравственно вооруженным, подготовленным для создания монументальной вещи о войне. А ведь он впервые познакомился с армейской средой совсем незадолго до Отечественной — во время финской кампании. Тогда же, как писал впоследствии автор, в атмосфере общих агитационных усилий нескольких приехавших на фронт литераторов родился и образ плакатно-удачливого бойца, замелькавший на страницах армейской печати. Нет надобности доказывать, насколько окончательный Теркин — живой, реальный характер, героический солдат Отечественной войны — сложнее, глубже и достовернее первоначального плакатного наброска. Лишь в ряду стихов о старике Даниле, поэтического предания «Ленин и печник», наконец, самой «Муравии» тот набросок приобретает значение художественной предпосылки к «Теркину». Однако важнее заметить, что в этом вершинном произведении тогдашнего Твардовского сошлись все прежние дороги поэта, в том числе и те тропы, что открывались стихотворением «Матери».

Получившая неслыханный резонанс поэма «Василий Теркин» — «отдых мой и подвиг мой» — стала для автора пожизненной мерой самовзыскательности, его гордостью и проклятием, поскольку уже не позволяла писать слабее, вполсилы. Мемуаристы рас-

сказывают, как подолгу вынашивал А. Твардовский новые стихи, как немилосердно их правил, как трудно решался прочесть даже в кругу близких: старый фронтовой друг — солдат Отечественной — обязывал поэта к полной самоотдаче.

Для художественной композиции «Василия Теркина» (уникальной книги, состоящей из тридцати внутренне самостоятельных и сюжетно взаимосвязанных небольших поэм) очень показательны и многочисленные лирические обращения к читателю. В «Стране Муравии» автор еще отказывался брать слово для исповеди, уступая его своим персонажам, еще скрывал свои чувства за объективным повествованием — теперь он открыто выходит на сцену, и иные лирические отступления занимают пространство целой главы. Правда, степень духовной сличности с героем очень высока — не то что в более позднем «Доме у дороги» (и сознательно подчеркнута Твардовским: «То, что молвить бы герою, говорю я лично сам...», но «и Теркин, мой герой, за меня гласит порой»). Объяснить такую нераздельность просто: в годы всенародного испытания поэт не чувствует нравственного права на переживания и мысли отдельные, отличные от всеобщих. «Теркин» писался прежде всего для армии, но тогда половина населения ходила в солдатских шинелях, а другая только и жила думами о фронте. Давний образ, сохраняя черты собирательности, сошел с плаката и стал живым человеком, с собственными чувствами и реальной сельской биографией — молодым земляком поэта.

Естественно, пейзажи родных мест, возникающие на страницах «Теркина», сильно отличаются от довоенных. Теперь это природа, не преобразуемая человеком, а разрушаемая. Очевидно, по остроте своего сочувствия этой природе поэт догадался и о самостоятельном значении вечной ее красоты для поэзии — Отечественная война не только для Твардовского стала жестокой философской школой. Верный действительности, поэт к мирным видениям отчих лесов и полей идет из мрачного пекла боев. Говорится как будто о мирной природе, но картина изуродованного войной леса проступает со всеми подробностями:

Лес, ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Вез порядку, как-нибудь;
Не корчеванный фугасом,

Не поваленный огнем,
 Хламом гильз, жестянок, касок
 Не заваленный кругом;
 Блиндажами не изрытый,
 Не обкуренный зимой,
 Ни своими не обжитый,
 Ни чужими под землей.

Лишь сделав над собой усилие, лишь оттолкнув неотступный бред разрушений, поэт дает иные пейзажи — мирные, июньские, солнечные. Эффект художественного контраста, усиленный и зрительными и звуковыми повторами (будем арифметически точными: А. Твардовский четырнадцать раз использует в приведенных строфах различные отрицания — «не», «ни», «без»), помогает сполна излиться авторской боли. Картина, где краски положены во много слоев, становится стереоскопической, оживает, передавая движение оскорбленного патриотического чувства...

Одновременно с «Книгой про бойца» А. Твардовский написал громадное количество лирических стихотворений, часть которых помещалась при жизни автора в разделе «Фронтовая хроника», а иные выходят по сей день в разных периодических изданиях. Здесь есть прекрасные и совершенно законченные произведения, есть и то, что поэт, по свидетельству его друзей, называл «дрибницей» (то есть разнокалиберной мелочью). Это сцены фронтового быта, картины разоренных и опустошенных сел, обрывки характерных разговоров, иными словами — сделанные с натуры этюды или фотодокументы. Их обилие говорит не только о неиссякаемой писательской энергии, но и о величайшей авторской добросовестности Твардовского. Эти стихи открывают читателю необозримую широту поля, на котором выросла художественная достоверность «Теркина», и, стало быть, помогают измерить истинную высоту подвига, совершенного поэтом в годы войны.

* * *

«Василий Теркин» был уже написан, его автор увенчан высшей литературной премией, отдельные главы поэмы бесперебойно звучали по радио и с эстрадных подмостков, когда в печати стали появляться первые части нового и, по-видимому, не менее обширного повествования — «За далью—даль». Скажу о личном восприятии той поры, в чем-то похожем на читательские впечатления К. Симонова, которыми он делится в книге «Сегодня и давно».

Читал я эти главы охотно и в сочных бытовых сценах, в наблюдательности и хлестком юморе повествования узнавал крупный талант Твардовского, но чего-то мне в новой вещи не доставало. Очевидно, причуденный «Теркиным» к стремительному разгону событий, к тому, что в повествовании бесценно действует умный, бесстрашный, обаятельный герой, я невольно ожидал того же и от нового произведения. Нельзя сказать, чтобы я в ту пору представлял работу поэта слишком упрощенно, под стать тем читателям, что предлагали автору переселить Теркина из фронтовых условий прямехонько в колхоз или на завод. Приложенный к тогдашнему изданию поэмы «Ответ читателям «Теркина» вполне убедил меня, что содержание новой эпохи требует иных повествовательных форм. Но я никак не ожидал, что главным героем произведения теперь окажется сам автор с его драматическими переживаниями и думами об эпохе. Изумленный громадным и до поры неясным художественным замыслом, я все же считал, что поэма как-то перегружена второстепенными сценами, мелькающими и исчезающими персонажами, в то время как в ней нет истинного героя. Почему я вспоминаю эти двадцатилетней давности заблуждения? Только потому, что они наглядно показывают инерцию читательского восприятия, подсознательно желающего, чтобы поэт подтверждал новыми произведениями сложившуюся репутацию.

Между тем А. Твардовский подтвердил новой поэмой лишь то, что в продолжение всей творческой жизни он оставался художником-новатором. Не громогласным эстетическим бунтарем и не виртуозом чисто формального, лабораторного эксперимента, а новатором в том главном смысле, что заставляет поэта с постоянной чуткостью прислушиваться к импульсам народной жизни и находить для их выражения органичную, единственно возможную форму:

Все в этом мире — только быть на страже —
 Полным-полно своей, не привозной,
 Ничьей и невостробованной даже
 Заждавшейся поэта новизной.

Ни одна новая поэма А. Твардовского не повторяет общей тональности и сюжетной конструкции предыдущих. Я бы сказал — сколько их написано автором, столько и разновидностей жанра. Можно ли ме-

ханизмически сопоставлять мощный трагизм «Дома у дороги» с сатирической фантастикой «Теркина на том свете» или, скажем, последнюю поэму со знаменитой «Книгой про бойца»? Но ведь такие попытки делались, и это даже вынудило А. Твардовского пуститься в печатные разъяснения.

«За далью—даль» стала обобщением главных событий послевоенного времени, его героических свершений и противоречий в той же мере, в какой «Василий Теркин» был кровавым детищем войны. В измерениях того философского замысла, который вынашивался и воплощался долгие годы, художественная истина оказалась бы неполной, однобокой, если бы автор умолчал о тяжких нарушениях законности и уродливых явлениях, присущих известной эпохе. Однако поэт обязал себя избежать и легковесных заострений, показав наши общие беды и боли на фоне грандиозного коммунистического строительства. Величие труженицы Волги, пламя всесоюзной кузницы Урала, перекрытие неистовой Ангары — вот на каких просторах разворачивается неспешное действие поэмы, а если очертить ее временные исторические границы, то следует сказать, что иные получающие здесь развязку сюжетные линии завязываются еще в 20—30-х годах...

Даже глава «Литературный разговор», подвергнутая в свое время нареканиям критических ортодоксов, на деле является блестящим по смелости обнажением внутренних противоречий творчества — противоречий в определенной мере вечных, обусловленных самой природой искусства, но, разумеется, зависимых также и от времени. Нисколько не убоившись упреков во внутреннем раздвоении, А. Твардовский показал силу и слабость, духовные возможности и недуги своего поэтического «я». Диалог, а точнее непримиримый спор с «внутренним редактором», заканчивается шутовым намеком на мистическое истолкование: вредный собеседник исчез, и «с этой полки запах серы в отдушник медленно протек». Но серьезность мысли такова, что приводит и к самостоятельному стихотворению тех лет — «Ты и я» (тоже о собственном двойнике). Наверно, с этого стихотворения и названной главы поэмы нужно начинать родословную довольно многочисленных стихотворений о двойничестве, возникших позднее, в поэзии послевоенного поколения.

Всмотримся же в лицо «внутреннему ре-

дактору» — его характеристика вполне конкретна и язвительно точна:

...Бездарность и безделье
Тебя, как пугало земли,
Зачав с угрюмого похмелья,
На белый свет произвели.
В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты — только тень,
Ты — лень моя.

Встряхнусь — и нет тебя в помине,
И не слышна пустая речь.
Ты только в слабости, в унынье
Меня способен подстеречь.
Когда утратив пыл работы,
И я порой клоню к тому,
Что где-то кто-то или что-то
Перу помеха моему...

И о тебе все эти строчки,
Чтоб кто другой, смеясь, прочел,—
Ведь я их выдумал до точки,
Я сам. А ты-то здесь при чем?

Я сделал длинную выписку не только с назидательной целью (напомнить, что поэт такого масштаба, предъявляя претензии времени, обществу, не минует и себя). Мне еще важно показать, как досконально знает и как точно выписывает А. Твардовский противника. Конечно, мы прочтем эти строчки не просто «смеясь» и не станем понимать заявление об их «выдуманности» слишком буквально. Сами-то внутренние сложности не выдуманы, и, стало быть, автору нужна немалая нравственная сила, чтобы вот так, с помощью хлесткой шутки, разделиться со своим антиподом.

Двойник, которого ненавидит А. Твардовский, — по всей видимости, отдаленный потомок пушкинского «духа отрицанья, духа сомненья». Только в нем совсем нет гордого и язвительного обаяния последнего, а тем более космического величия лермонтовского демона. Впрочем, это и не духовно опустошенный «нищий дурак», цеплявшийся к герою Блока, и не душивший С. Есенина «черный человек». Это личность прозаически-сниженная («пугало земли»), лентяй и нытик, хмурый, слабый, зараженный безверием. Так выглядит этот призрак и в поэме и в стихотворении «Ты и я». В резко непримиримом отношении к «внутреннему редактору» проявляются не химерические страсти, в чем упрекали поэта, а истинная партийность А. Твардовского — нетерпимость к собственным слабостям. Шугливая интонация не мешает «крутой» принципиальности. Между тем стихи по

добного рода, появившиеся у тогдашних молодых, вовсе не отличались зрелой отчетливостью позиции. Даже честный ужас А. Вознесенского, внушенный образом внутреннего врага («SOS!»), по сравнению с суровым самоосуждением А. Твардовского кажется несколько артистичным и кокетливым. Что же касается иных сверстников, то, желая быть беспощадными в саморазоблачении, они нередко достигали противоположного — как раз и вещали от имени «пугала земли».

Василий Теркин привык поднимать дух однополчан умной шуткой. Этот неунывающий и неустрашимый герой, как частица самого народа, жил постоянно в сознании и в характере А. Твардовского. И поэт заставлял его неутомимо сражаться против сил зла, будь оно своим, личным или «постороннего», внешнего происхождения.

* * *

Если внимательно приглядеться к лирическим мотивам главных поэм Твардовского, легко обнаружить в этих произведениях истоки многих и многих позднейших стихотворений. Так множество мелких речек и рек образуют озеро, из которого в свою очередь выливаются другие реки. «Ты и я» пример не единственный и не самый красноречивый, поскольку допускает одновременную работу автора над стихами и поэмой. Постоянство лирического характера А. Твардовского ярче подтверждается тем, что к некоторым излюбленным мыслям или потрясшим воображение событиям он возвращался спустя годы и даже десятилетия.

Отказавшись в пользу первоочередного самозадания «Василия Теркина» от начатой «в трудный год» иной поэмы, А. Твардовский вернулся к теме и завершил работу над ней спустя год после победы. Здесь отлились все боли, которым до времени автор не давал выхода, отлились резко и обнаженно, не заслоненные шутками доблестного Теркина. Но сюжет «Дома у дороги» представляет собой как бы развитие истории, рассказанной в «Книге про бойца»: ведь на месте Андрея Синцова или раненого капитана, сопровождавшего его в скитаниях сорок первого года, легко представить того командира, с которым выбирался из окружения «мой герой». А судьба Анны, угнанной в плен и хватившей лиха на чужбине, могла выпасть и крестьянке, в чьей хате довелось тогда Теркину ночевать.

Однако юмор, привычный для интонаций «Книги про бойца», в новой поэме совершенно отсутствует. Единственная шутка вложена в уста нашего солдата, идущего в колонне пленных, она страшна, как неосторожная спичка во взрывоопасной шахте, — так велико трагическое напряжение этих мгновений. Право, я не могу отыскать во всей нашей поэзии более страшные в своей достоверности переживания, чем эти:

Ты не стыдись меня,
Что вниз сползли обмотки,
Что, может, без ремня
И, может, без пилотки.

И я не попрекну
Тебя, что под конвоем
Идешь. И за войну
Живой, не стал героем.

Окликни — отзовусь.
Я здесь, твоя Анята.
Я до тебя прорвусь,
Хоть вновь навек прощусь
С тобой. Моя минута!

В самом деле, какие уж тут шутки! Жизнь, однако, торжествует и в этом произведении, правдолюбивый девиз которого («да будет болью — боль») А. Твардовский пронес через все оставшиеся ему годы. Никогда его патриотическая мысль не могла смириться с причиненными родине утратами, никогда старые раны не переставали его жечь и отзываться новыми поэтическими строками.

«Стихи эти продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего заполняли душу. Навечно обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвенья, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе — так приблизительно можно определить эту мысль и чувство. Они составляют, как говорится, пафос и написанного после «Я убит подо Ржевом» стихотворения «В тот день, когда окончилась война» и многих других, вплоть до совсем недавних строчек «Из записной книжки...»².

Так сам автор обозначил обширный цикл послевоенных стихов, открывающийся трагическим монологом «Я убит подо Ржевом». Перечитывая этот монолог сегодня, вспоминаешь многочисленные обращения к

² А. Твардовский И. Статьи и заметки о литературе. Издание третье, дополненное. М. «Советский писатель». 1972, стр. 207—208.

воинам из древнерусских повестей. «Братие и дружино! Луце ж бы потягу быги, не же полонену» — героический призыв легендарного «Слова о полку Игореве». Страстно-повелительную речь обращает к однополчанам и боец, павший подо Ржевом:

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна...

Огромный подъем национально-патриотических чувств в годы гитлеровского нашествия многих поэтов повернул к отечественной истории. Старшие современники помнят, как гордо реяли над сражающимися советскими войсками образы Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова. В тяжкие дни нашего отступления лирический герой К. Симонова видел над спинами солдат «красное солнце позора» (сравните хотя бы с затмившимся светилом из «Слова») и, переосмысляя знаменитые слова Святослава Киевского, утверждал, что мертвые тоже «имут срам» — страдают от поражения. Эти стихи обязывали живых к подвигу. Движимый тем же гражданским чувством, вводит в поэтический текст древние обороты и интонации А. Твардовский. «Форма от первого лица в «Я убит подо Ржевом» показала мне наиболее соответственной идее единства живых и павших «ради жизни на земле...» — писал поэт в заметке, строки из которой приводились выше. Простая и мощная метафора Твардовского (наделить погибшего солдата жгучим ощущением «срама») поднимает читателя на высоту трагического переживания. Впрочем, если говорить о стихотворении все сполна, отмечу, что в последней его части есть расслабляющие длинноты (недостаток, особенно свойственный некоторым неудавшимся вещам Твардовского). Но ударная мощь основной части «Я убит подо Ржевом» обжигает, захватывает читателя и сегодня.

* * *

Мучительные мысли о войне минувшей соединились у А. Твардовского с постоянными тревогами по поводу угрозы новой, еще более страшной бойни. «И памятью той, вероятно, душа моя будет больна, покамест бедой невозвратной не станет для мира война». Так обнажил автор однажды смысл своих постоянных возвращений к прошлому. А. Твардовский с его всегдаш-

ним стремлением к изобразительной пластике почти не прибегает к отвлеченно-символическим изображениям войны. Картины бесчисленных жертв и страшных разрушений как живая память случившегося встают в его стихах одна за другой. И нет сомнения в том, что поэт считал эти картины одновременно и предостережением против новой военной опасности. Вместе с тем самую возможность повторного массового кровопролития А. Твардовский упорно не впускал в сознание.

Лишь в крошечной по размерам и написанной незадолго перед смертью миниатюре поэт непосредственно говорит об угрозе ядерной катастрофы. Открытый выход к теме — уступка жестокой реальности, нарастающему чувству гражданской тревоги. Но даже и здесь, как будто признав мировую бойню возможной, поэт объявляет ее утопией. Стихотворение написано в сослагательном наклонении: «В случае главной утопии...». И построено так, что чужое, придуманное слово «утопия» находится в резком разладе с традиционно-фольклорной образностью остальных строк — отбрасывается поэтическим сознанием. Здесь, вероятно, мы подошли к еще одному нравственному запрету, который был нарушен автором лишь в последние дни жизни. Даже для крупной личности существуют пределы возможного, и, сполна выразивший свое время, А. Твардовский оставил незанятыми территории, которые предстояло осваивать другим.

Пронесший по планете огненный смерч самоуничтожения, скорый поезд человеческого прогресса, который хотят пустить под откос, или охваченный пожаром символический улей — все это художественные доказательства от противного, все это образы из стихотворений более молодых, не воевавших поэтов. Они пишут сильные, заряженные ненавистью к войне и милитаризму стихи. Но для А. Твардовского, видевшего воочию все, о чем он писал, такая символика была невозможна и не нужна.

Объясняя, как было написано стихотворение «Я убит подо Ржевом» и другие ему подобные, автор не уточнил, что чувство единения живых с павшими приходило к нему чаще всего в форме смутно осознаваемой вины. Хотя поэту, безусловно исполненному патриотический долг, казалось бы, не от чего казнить, болезненное чувство было совершенно естественным. Такого непридуманного противоречия духов-

ной жизни, хорошо знакомое и Я. Смелякову, и М. Луконину, и многим другим истинным поэтам. Раздумывая в часы ночных бессонниц о гибели Патриса Лумумбы, Смеляков чувствовал себя так, «словно я бросил мальчишку того, что по дороге доверился мне». Фронтные и многие послевоенные стихи Луконина полны недоумения из-за нелепой «ошибки» смерти, позволившей лирическому герою выжить, когда вокруг погибло столько лучших сверстников. Во всех этих случаях истинной вины нет, но она остро переживается. Объяснение такого противоречия, конечно, в мере нравственной ответственности, какую прилагают к себе наши лучшие поэты. Их мера намного превышает возможности отдельной личности, но особое обаяние, сила этих людей и состоит в гражданственности их переживаний.

О стихотворении «Я знаю, никакой моей вины...» много писали. А. Кондратович рассказал об истории его создания, опубликовав черновой вариант и пояснив этапы авторской правки. Критик отметил, что в первоначальном тексте концовка звучала рассудочно и чуть ли не банально³. Однако именно в поэзии Твардовского рассудочность и банальность порой как бы меняют знаки, становясь искусством и сбивая с толку иных самоуверенных знатоков. Важно поэтому понять, в чем конкретная непригодность убранных автором строк — непригодность для данного стихотворения. Задавая вопросом, откуда возникает мучительное ощущение вины, герой отвечает себе так: «Не знаю. Только знаю, в дни войны на жизнь и смерть у всех права равны». Ответ верен, но ведь любой мгновенно найденный ответ (и энергично выраженный в особенности) принес бы воистину облегчение. А. Твардовский вовсе не желает притуплять ощущение боли, поскольку оно очистительно. «Да будет болью—боль», да не угаснет вечный огонь над могилами павших! Оборвав начатую фразу, лишив ее логического завершения, поэт продолжил мысль в бесконечность. Герой не чувствует за собой вины, «но все же, все же, все же...».

В стихотворении «Лежат они глухие и немые...» тоже нет никаких метафорических неожиданностей — броских сравнений или эпитетов, сложных рифм. Напро-

тив, все отдельно взятые выражения прозаичны или привычны до банальности. Мертвые — «глухие и немые», земля — «плотная от годов», а дальше и вовсе нет никаких картинных определений: «пожилые» люди, «чужая» сторонка, «мужская» доблесть, «смертный» час. Притом все стихотворение из тринадцати строк представляет собой одну синтаксически громоздкую фразу. Но все частности, слитые воедино, создают удивительно целостный и мощный образ воюющего народа. Вот она, «скрытая метафора», которую отметил в своей книге о поэте А. Туржов⁴ и которую, к сожалению, не улавливают многие переводчики русской поэзии.

Но сила А. Твардовского не только в замечательно точной и емкой образности. Все лучшие его вещи отмечены в первую очередь тончайшим ощущением художественных пропорций. Тут уместно напомнить (это и впоследствии нам пригодится), что «чувство соразмерности» Пушкин считал главным признаком истинного вкуса.

«Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», — резко обнажил автор смысл событий в «Книге про бойца». Формула истинно гуманистическая, но отчего же столь непримиримое противостояние славе? По шутивому балагурству Теркина насчет желательности медали, по трогательной ревности его, коренного жителя Смоленщины, к герою тамбовцу трудно представить, какие грозные размеры принимает у иных людей жажда личных почестей. Такой нравственно здоровой натуре, как Теркин, недуг тщеславия не опасен. Солдат перелывает под огнем ледяную реку или бьется врукопашную с фашистом вовсе не ради ордена. Но у иных грешная страсть отражается на поступках, искажает и в конце концов опустошает душу. Об этом автор поэмы знал уже настолько, что ввел свое знание в главный рефрен произведения. И впоследствии, спустя много лет по окончании войны, не уставал поэт размышлять о бесчисленных разновидностях людского честолюбия. «Страсти мелочной успеха» он не прощал никому, в том числе и себе. Даже в стихах, посвященных памяти павших, А. Твардовский не уклоняется от мысли о том, какую часть в их боевой доблести составляли мечты о

³ А. Кондратович, «А только б сладить со строкой...» («Литературная газета», 3 октября 1973 года, стр. 6).

⁴ А. Туржов. Александр Твардовский. Издание второе, исправленное. М. «Художественная литература». 1970, стр. 169.

личной славе. И снова исключает ее (славу) из побудительных мотивов народного подвига: «Ни те, ни эти, в смертный час тоскуя, верней всего, не думали о ней». Ответ по смыслу совершенно тот же, что и в «Теркине», хотя мобилизующая чеканность фронтового призыва сменилась в мирные дни раздумчивой печалью.

Но чем настойчивее разводит Твардовский жажду прижизненной известности и духовные предпосылки подвига, тем достойнее и заслуженнее представляется ему слава посмертная, осеняющая могилы павших или осуществленная в виде прямого провода между ним, поэтом, и будущими поколениями читателей.

А. Твардовскому принадлежат сильнейшие из многочисленных стихов, посвященных первому в мире космонавту, — сильнейшие, потому что поэт выразил в них не только мгновенный порыв восхищения, но и некоторые из самых дорогих, глубоко выношенных истин. Это мысль о сущности подвига, о минувшей войне, об исторической преемственности поколений и, конечно, о славе. Это строки, очень характерные для его нравственного максимализма:

Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век,—
Там тоже, отправляясь на задание,
В свой космос хлопцы делали разбег.

И пусть они взлетали не в ракете
И не сравнить с твоєю высотой,
Но и в своем фанерном драндулете
За ту же вырывались черту.

За ту черту земного притяженья,
Что ведает солдат перед броском,
За грань того особого мгновенья,
Что жизнь и смерть вмещает целиком.

И может быть, не меньшею отвагой
Бывали их сердца наделены,
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов
Не стоил подвиг в будний день войны.

Сурово-неподкупна гражданская совесть А. Твардовского и нерушима верность его памяти боевых товарищей. Должно быть, только он и мог вот так, очень деликатно, напомнить в дни всенародного торжества о тяжелых утратах и невзгодах родины. Я думаю, духовная высота и художественная полновесность этих строк не требуют пояснений. Отмечу только, что, «разматывая нить» недавней истории, передавая трагическое напряжение тех лет, поэт, как и прежде, обходится без единой броской метафоры.

Зато лирический апогей стихотворения — образ роковой черты — выделен в тексте громадным нажимом авторской интонации. Этот нажим создается множеством повторов — не просто ритмических или музыкальных, но прежде всего уточняющих и развивающих главный смысл образа. «Земное притяженье» (понятие для космонавтов вполне бытовое) не только зрительно сближается с силой, прижимающей солдата к земле перед атакой. Слово «черта», получая в нужный момент синоним «грань», начинает обозначать уже не пространственные, а метафорические рубежи («скрытая метафоричность»!). Кстати, эта философская многозначность образов и не позволяет перелагать стихи Твардовского на музыку: песня требует относительно простой семантики. Ключевое слово («черта»), помимо прочего, еще выносится в конец строки и рифмуется. Так же в принципе прописан, развернут, раздвинут и лесной пейзаж из «Теркина», речь о котором шла выше. В посвящении космонавту варьируется образ роковой черты. Я не буду рассматривать все смысловые скрепы и вообще не рискну пересказывать содержание остальных строк корявой критической прозой. Но напомню, что поэт радуется сходству «разведчика мирозданья» с героями Отечественной, называет его законным продолжателем их подвига. Не упускает, впрочем, отметить, что свою «суровую и безгласную» славу бойцы давних лет не променяли бы даже на всесветную известность космонавта. Вот ведь, оказывается, как может быть дорога честно заслуженная (зачастую смертью купленная) память истории. Тем более дорога, что, защищая отечество, бойцы, «верней всего, не думали о ней». Гармоническое равновесие скромности и внутреннего достоинства — вот что ценится в народе. На этот же нравственный идеал равнял свою поэзию и Твардовский. Иного соотношения он не одобрял ни в ком, даже в людях выдающихся, занимавших исключительное положение в обществе. Даже в тех, чьи имена писались рядом со словом «Родина».

В поэме «За далью—даль» об этом сказано с полной мерой гражданского мужества и боли, сказано так, что сам автор почувствовал — «тут ни убавить, ни прибавить», хотя вскоре этот решительный вывод и получил поправки в виде новых стихотворений. Всего лишь спустя три года по окончании поэмы А. Твардовский при-

бавил к одной из ее ведущих тем замечательное стихотворение «Дробится рваный цоколь монумента...» — снова о людях, что творят себе богов, а затем их же ниспровергают. Жизнь, как видно, подсказала новый поворот темы, хотя первые две строфы как будто его и не предвещают:

Дробится рваный цоколь монумента,
Взывает сталь отбойных молотков.
Крутой раствор особого цемента
Рассчитан был на тысячи веков.

Пришло так быстро время пересчета
И так нагляден нынешний урок:
Чрезмерная о вечности забота —
Она, по справедливости, не впрок.

Эти чуть назидательные, хотя и очень крепко сработанные строки, пожалуй, мог бы написать не только Твардовский. Но большинство современных поэтов, в том числе и глубоких, поставили бы здесь решающую точку, довольствуясь той истиной, что возведенное человеческими руками ими же и разрушится. Перечитайте большинство стихотворений, опубликованных в начале 60-х годов: разные по глубине и силе чувства, они сходны по уровню философского осмысления событий. Талант Твардовского разрывает земное притяжение своего времени:

Но как сцепилась намертво камня,
Разъять их силой — выдать семь потов.
Чрезмерная забота о забвеньи
Немалых тоже требует трудов.

Все, что на свете сделано руками.
Рукам под силу обратить на слом.
Но дело в том,
Что сам собою камень,—
Он не бывает ни добром, ни злом.

Так неожиданно раскручивается спираль лирического сюжета. Это не стихи об историческом возмездии безмерному славолобию. Горькой истине о делах рук человеческих противостоит мысль более глубокая и сложная. Люди не камни: им положено видеть разницу между добром и злом, а последнее нередко является в образе чрезмерности. Изваянная в стихе нравственная альтернатива Твардовского — верность народным, «теркинским» представлениям о славе. Бой за торжество коммунистических идеалов поэт вел не только на войне, но и в мирных условиях в продолжение всей жизни.

* * *

Художественные принципы А. Твардовского не оставались с годами неизменными, но и не претерпевали катастрофиче-

ских сдвигов. Его мощный талант равномерно распределял силы и в каждом десятилетии являлся читателю во всеоружии, выражая главное содержание времени. Новаторство поэта состояло также и в том, что он в недоступном для других объеме ввел в свои стихи разговорную прозу, то есть слова и обороты народного просторечья с его деловой неприглаженностью и сугубо традиционной, устойчивой образностью. «Выдать семь потов» — представьте-ка это выражение в книге поэта минувшего столетия! Пожалуй, оно выглядело бы там не только прозаично — антиэстетично, искусственно. Зато в системе иных художественных координат, в стихах А. Твардовского, строка эта сильна и весома. Почти все лучшие строки Твардовского не содержат никаких словесных звукоусилителей и как бы подслушаны в ежедневном гуле тысячеустой, мелькающей перед глазами толпы. Я думаю, никто из нынешних поэтов не чувствовал так тонко красоту и музыку живого говора масс, не полагаясь так безусловно на его выразительную мощь, как автор «Теркина» и «За далью — даль».

Конечно, любой настоящий поэт использует в стихах элементы разговорной речи и, творя собственный художественный язык, опирается на практику по возможности широких слоев населения. Однако эти элементы обычно переплавляются в тех или иных целях и следы такой «горячей обработки» бывают очень заметны. Эпоха Маяковского, например, ежедневно рождала множество новых обозначений, сложных и сокращенных слов, резко переосмысляла старые понятия. Однако неологизмы, изобретенные самим поэтом, легко отличимы на этом фоне лексического взрыва, поскольку они включены в определенную систему художественных образов, в блестящую игру авторского полемического остроумия. Вполне органично, но резко заметно на фоне литературно-языковых норм и словоизобретательства Л. Мартынова. Разумеется, художественная речь Твардовского тоже тончайше преобразована, но между нею и обыденной какая-либо преграда почти неуловима. Индивидуальность вроде бы вовсе отсутствует — на деле она слишком велика для рассмотрения вблизи. Твардовский словно не обрабатывает, а лишь безошибочно отбирает из неисчерпаемых запасов звучащего народного языка все, что требуется, — «чистое золото» поэ-

зии: Не создавая ошеломительных по новизне метафор и сравнений, умеет вложить в общепотребительные слова и выражения редкостно емкий, горячий смысл — ставит их в самые различные сочетания и соподчинения друг с другом. Вот почему переводить А. Твардовского — работа, схожая с сизифовой, и многие его стихи, озвученные на иностранных языках, рискуют показаться прозаично-бесцветными. Поэмы еще может выручить острое развитие действия, захватывающий сюжет, а вот для того чтобы передать силу лирических стихов Твардовского, от переводчика требуется сверхчуткий слух к смысловым нюансам и блестящее знание языковых идиом.

Все эти признаки свидетельствуют, конечно, не о кондовой старозаветности Твардовского (а такое мнение приходилось слышать от иностранцев), а, я бы сказал, о принадлежности его таланта к ствольной части нашего поэтического древа: сходные особенности отличали крупнейших русских поэтов прошлого и нынешнего столетий. Кстати, я не случайно вспомнил выше о том, что Пушкин придавал исключительное значение чувству соразмерности. Эти коренные типологические особенности русской поэзии и поэтики не замыкаются в пределах последних столетий. Вот, например, четкая характеристика образных и языковых средств, которые предпочитал национальный гений, живший задолго до Пушкина. «Он использует богатства русского языка для создания поэтического произведения, и это поэтическое произведение не вступает в противоречие с деловым и обыденным языком, а, наоборот, вырастает на его основе. Образы, которыми пользуется «Слово», никогда не основываются на внешнем, поверхностном сходстве. Они не являются плодом индивидуального «изобретательства» автора. Поэтическая система «Слова о полку Игореве» развивает уже существующие в языке эстетические связи и не стремится к созданию совершенно новых метафор, метонимий, эпитетов, оторванных от идейного содержания всего произведения в целом. В этом использовании уже существующих богатств языка, в умении показать их поэтический блеск и значительность и состоит народность поэтической формы „Слова“»⁵.

⁵ Дмитрий Лихачев. Великое наследие (Классические произведения литературы Древней Руси). М. «Современник». 1975. стр. 174.

К таким выводам о нашем древнем памятнике пришел академик Д. Лихачев. Но я ничуть не удивляюсь, что художественная мощь «Слова» и даже самая его подлинность ставятся под сомнение зарубежными «знатоками» русской литературы. Когда «чувство соразмерности» и совершенное знание языка уступают место псевдонаучной амбиции, иного ждать и не приходится. Однако мысли Д. Лихачева о поэтике «Слова» я (конечно, с поправками на условия иной эпохи) отнес бы и к лучшим вещам Твардовского. Говоря так, я имею в виду не столько масштабы явления, сколько склад дарования и тип образно-речевой системы.

Столь глубокие (в историческом смысле) истоки поэтики Твардовского кажутся тем знаменательнее, что поэт не оставил по себе ни одного произведения, посвященного национальной старине. В противоположность, например, Л. Мартынову, для которого отечественная история с молодых лет была поэтически освоенной областью, или зрелому Я. Смелякову, заплатившему дань Калите, Грозному и петровской эпохе, А. Твардовский стремился всего себя отдать настоящему:

И попевать, надрываясь до страсти,
С болью, с тревогой
За нынешним днем.
И обрести беспокойное счастье
Не во вчерашнем, а именно в нем...

Самоограничение на поверку слишком жесткое, или, во всяком случае, для гражданской музы возможны и иные решения. К примеру, тот же Мартынов, размышляя о древнеримских цезарях, ни на шаг не удаляется от нравственно-актуальных запросов нашей эпохи. Но, в ущерб себе или во благо, Твардовский непосредственнее Мартынова, он и по строительному материалу своих стихов всегда поэт современный в самом прямом, полном и точном смысле слова. Он весь по горло в событиях переживаемой эпохи, однако чуть ли не за каждым его сравнением и оборотом эхо минувших веков. Тут можно вспомнить не только прямые «политбеседы» Теркина («Сколько лет живем на свете? Тыщу?.. Больше. То-то, брат!»). И не только лирические отступления в поэме «За далью — даль», где автор вспоминает к случаю преобразовательские замыслы иной эпохи («И стало явью то, что было мечтой еще царя Петра»). Главное, видимо, в том, что

в лучших произведениях Твардовского всегда ощущаются пройденные народом исторические расстояния, ощущаются и в тех случаях, когда автор об этом умалчивает.

Вчитываясь в отчаянный спор между замерзающим на снегу Теркиным и призраком смерти, вспоминаешь не столько горьковскую «Девушку и Смерть», сколько очень давнее произведение — его в курсах по древнерусской литературе именуют «Прение живота и смерти». Было бы, разумеется, нелепо усматривать сходство между христианской дидактикой средневекового анонима и жизнеутверждающей образности советского поэта. Бессмысленно и сравнивать алчного воина из «Прения» с обаятельным Теркиным. Скорее всего, работая над поэмой, Твардовский ни разу и не вспомнил о древнем памятнике. Для меня тут одно важно: сюжетная ситуация, в которой Смерть и Воин (отнюдь не девушка) сталкиваются как непримиримые философские противники, издревле привычна народному художественному сознанию. Так же как эпитеты, рисующие внешний облик Смерти: «косая», «безногая», «старуха» и т. п. Иными словами, образ, развиваемый поэтом, принадлежит той полуфольклорной стихии повседневного русского просторечья, которая берет истоки в очень и очень отдаленных временах. Это — глубоко народную и историческую подоснову образов Твардовского всегда чувствует (пусть не всегда осознает) одноязычный с ним читатель.

* * *

Крупные произведения А. Твардовского переведены на основные европейские языки, но его зарубежной известностью я бы не обольщался: капиталистическая заграница желает видеть в нем прежде всего редактора «либерального» журнала 60-х годов, а не великого русского поэта. Идиоматичность его поэзии, погруженность в стихию родного языка, помимо политических и прочих барьеров, мешает широкой известности на Западе. Однако трудная или легкая переводимость поэзии ни в коей мере не может служить мериллом ее эстетической ценности. Общечеловеческий масштаб таланта не зависит от количества удачных переводов — они лишь помогают сделать сущее очевидным для всех. Известно, что меньше всего теряют при переводе на иной язык произведения остро-метафоричных поэтов, а это очень разно-

калиберные вещи и разновеликие авторы. Напротив, поэзия, максимально использующая смысловые и музыкальные особенности родного языка, богатство его лексических оттенков, связанное с исторической биографией народа, — такая поэзия гораздо труднее поддается переводу. Но это ничто еще не говорит о национальной ограниченности или общечеловеческой масштабности автора.

Пушкина за его способность к перевоплощению современники именовали Протеем, а сегодня драгоценнейшей чертой его поэтики академик Д. Д. Благой называет «эстетический интернационализм»⁶. Однако на некоторых европейских языках и по сей день нет достойных переводов Пушкина. Между тем иные самоуверенные «знатоки» русской литературы на этом основании твердят о его узконациональном значении. Все это говорится, понятю, не в упрек зарубежным друзьям и пропагандистам отечественной поэзии — только для несения ясности в некоторые подзапутанные коллегами вопросы. А заодно чтобы подчеркнуть международную значимость и масштабность А. Твардовского. Не архаичность поэта (это определение — плод дремучего невежества), а открыто и резко выраженный национальный характер его поэзии очень не по нраву иным космополитствующим специалистам по современному искусству. Уж скорее они готовы признать новшествами наивные перелицовки дедовских зигунов и кафтанов, которым, увы, тоже находится место в нашей литературе, — ведь эти игрушки куда безопаснее для их теорий, чем органичное и уходящее корнями в глубь веков творчество А. Твардовского. Смешно убеждать этих горе-специалистов в широте интернациональных связей поэта, смешно напоминать, что его художественный авторитет был и остался непререкаем для таких прославленных мастеров, как Расул Гамзатов или Кайсын Кулиев. Но для отечественных ревнителей формального новаторства я приведу все же как пример истинного интернационализма одно небольшое стихотворение, написанное перед самой победой или вскоре после нее. Не стихотворение — вздох горького облегчения, вырвавшийся у солдата, что провоял четыре бесконечных года:

⁶ «Дантовские чтения 1973». Под общей редакцией Игоря Вэлзы. М. «Наука». 1973, стр. 64.

В поле, ручьями изрытом,
И на чужой стороне
Тем же родным, незабытым
Пахнет земля по весне.

Полой водой и — нежданно —
Самой простой, полевой
Травкою той безымянной,
Что и у нас под Москвой.

И, доверяясь примете,
Можно подумать, что нет
Ни этих немцев на свете,
Ни расстояний, ни лет.

Можно сказать: неужели
Правда, что где-то вдали
Жены без нас постарели,
Дети без нас подросли?..

Перед такими стихами критическое перо всегда робеет и замирает, поскольку анализировать их, то есть отделять строку от строки и слово от слова, попросту невозможно. Но о чем все-таки необходимо сказать: написанная по неостывшим следам кровавой войны, миниатюра уже не содержит ненависти к «этим немцам». Недавний враг разгромлен, и жгучее чувство мести тотчас иссякло. Напротив, герой замечает общую для родины и чужбины «безымянную» травку, точнее, тонкий (незримый) ее запах. Если художник, столь знающий цену конкретному, оставляет предмет без точного названия, это уж конечно неспроста. Очевидно, название и не нужно в грустной, полувопросительной тональности стихотворения. «Безымянная» травка — намек на извечное и высокое, что как бы не поддается словесному выражению и выше людской вражды. Напоминание о мирном крестьянском труде, о любви к земле и отечеству, о равенстве всех перед законами времени, жизни и смерти и еще о чем-то, приближающем человека к бесконечности. Вот когда зрелому мастеру вполне удалось соединить нравственно-актуальное, сегодняшнее и то, что уже сильно пробивалось в раннем стихотворении «Матери». Вот когда «зеленый след» отпечатался и под Москвой, и на чужбине, и во всей пронизанной болями послевоенной действительности.

Разумеется, «безымянная» травка выросла из общего мотива «незначимости», уже отмеченного в поэзии Твардовского многими критиками. Действительно, в стихах о самом родном и близком (например, об отчей Смоленщине) поэт часто пользуется такими определениями, называя, впрочем, «незначимой» и войну с белофиннами, в прославленных теперь строчках «Из

записной потертой книжки...». Притягательность для Твардовского этих слов и красок не столько в лирической трогательности, сколько в их приложимости к образу человеческих множеств. Суровый мастер выражал так любовь свою к простоте и естественности, свой неуступчивый, недостижимый для мелкого тщеславия демократизм. А порой и тяжкую боль, призываемую мыслями о неисчислимости на войне народных утрат...

«Эстетический интернационализм» как принцип сегодня легче осознается и шире пролагает себе дорогу в поэзию, чем в минувшем столетии. Опора этого принципа — сплоченность народов, живущих единой социалистической семьей. Однако было бы нелепо воображать, что советские поэты заняты поисками унифицированной безнациональной формы. Сам Пушкин гордился тем, что его поэзия «Русью пахнет», и высмеивал недалеких критиков, которые ему в этом отказывали. Истинные художники слова и в нашем столетии не отрекаются от своего происхождения. Читая стихи Гарсиа Лорки, начинаешь чувствовать себя в какой-то мере испанцем, а книги Галактиона Табидзе делают тебя словно бы уроженцем Грузии. Сходные превращения ждут доброжелательного иноязычного читателя, открывшего том Твардовского: русский поэт даст ему почувствовать духовную общность с нашей многовековой национальной культурой. При этом, конечно, ничье национальное чувство не пострадает.

* * *

Уже из сказанного видно, насколько целостна, широка и последовательна эстетическая программа А. Твардовского. Для ее понимания, конечно, особенно важны стихи, в которых А. Твардовский открыто формулирует свое «беспокойное счастье» гражданского поэта; начаты они с прямой насмешки над камерной музой сельского толка:

Жить бы мне век соловьем-одиночкой
В этом краю травянистых дорог,
Звонко выщелкивать
Строчку за строчкой,
Циклы стихов ваготавливать впрок.
О разнотравье лугов непрямых.
Зорях пастушьих, угодьях грибных.
О лесниках-бодряках бородастых.
О родниках и вечерних вакатах.
Девичьих косах и росах ночных...

Когда Твардовский приводил эти иронические перечисления, в нашей критике еще

и толку не было ни о каких «тихих» лириках. Автор просто отделил себя от стихотворцев, что довольствуются «малым эхом» и сторонятся трудных магистралей искусства. Но такова сила пронизательности большого поэта, что своими строчками он как бы предвосхитил позднейшие литературные дискуссии. Как же решает Твардовский вопрос о взаимоотношениях «тихой» поэзии с остальной? Естественно, вслед за решительной пересортицей расхожего лирического реквизита («косы» и «росы» и т. п.) автор утверждает принципиально иной взгляд на призвание и долг поэта. Однако стихотворному сюжету предстоит еще один неожиданный поворот. Оказывается, для истинного счастья все-таки мало «биться, бегаться и лезть на рожон», решая неотложные задачи эпохи. Нужна еще духовная опора в молчаливом присутствии родных лесов и полей, нужно соотношение масштабов времени и вечности. Условно говоря, необходима «безымянная травка», о которой писал поэт в конце войны. И вот почти те же приметы деревенского «разнотравья», что вышучивались в начальных строчках, теперь становятся в лирически-приподнятый ряд, обозначают нечто дорогое и необходимое:

Да! Но скажу я: без этой тропинки,
Где оставляю сегодняшний след,
И без росы на лесной паутинке —
Памяти нежной ребяческих лет —
И без иной безымянной травинки
Жить мне и петь мне?
Опять-таки — нет...

Два-три прикосновения художнической кисти, придавших пейзажам нужную меру конкретности, — и вековое противоречие между поэзией гражданской, с одной стороны, и той, что воспевает «красу долин, небес и моря», как бы перестает существовать. В самом деле, для конца 50-х годов, для общества, начавшего лепку гармонически развитой личности, неизбежен пересмотр некоторых эстетических истин. А. Твардовский выступает одним из его зачинателей. Издавна природа отчих мест необходима таланту Твардовского, но лишь теперь автор резко формулирует неотделимость от нее собственной поэзии. Исконной философской проблеме Природа и Человек действительность рубежа 60-х придает новые острые грани.

Преобразовательский труд современников (от скромного по масштабам «Нового озера» до грандиозного перекрытия Аягары) всегда

был для Твардовского предметом радостных вдохновений. Правда, к внешнему научно-техническому колориту эпохи поэт остался довольно равнодушен (еще один повод упрекнуть его в архаичности!). Весьма осторожно и разборчиво использовал специальную терминологию и профессиональную лексику, понимая, что этот слой в языке очень подвижен и изменчив. При семимильных темпах промышленного прогресса лавина новых обозначений растет день ото дня, вытесняя недавно вошедшие в быт и привычные истари. По-видимому, лишь резкая субъективная окрашенность, лишь напряженная метафоричность способна придать этой лексике эстетическую долговечность. Но А. Твардовский никогда не был поэтом повышенной ударной экспрессии. Из профессионального словаря рабочих он берет лишь наиболее укоренившиеся и распространенные обозначения. Это не обедняет объемного (во всей сложности) раскрытия проблем, связанных с преобразованиями. Искренне восхищаясь героизмом тружеников, автор, однако, с нарастающей тревогой всматривается в дела рук человеческих. Не устает вновь и вновь размышлять над тем, как все это скажется на состоянии «вечной красы» и на природных богатствах в будущем. В самом ли деле они вечны?

Только укрощению «старика Падуна» посвящено три стихотворения, причем одно из них по размерам приближается к поэме. У автора вроде и нет сомнений в праве человека брать у природы сколько ему нужно и когда нужно. Вся образная пластика служит утверждению человеческого превосходства над слепыми стихийными силами. Древний порог предстает и в виде упрямого стада каменных коров, которых взбешенная хозяйка Ангара не может выгнать из ущелья, и в обличье необузданного деспота, жестокого и хвастливого («хочу щажу, хочу топлю»). И все же поэт не в силах оторвать зачарованного взгляда от яростно ревущего порога, возвращаясь к нему снова и снова. Ведет с ним мировоззренческие споры, иронизирует, уговаривает и требует подчиниться людям, веку. И затем снова любитесь противником...

Правда, позднейшая лирика Твардовского знает по преимуществу иную природу — ясную, тихую благодать лесного Подмосковья. Родные места навевают успокоение, врачуют сердечные раны, но неспособны вовсе заглушить пробудившихся сомнений. «Как неприятно этим соснам в парке», — се-

тует поэт, наблюдая за островком поглощаемого городом леса. И за внешней грубоватостью изобразительных определений («прогонистые», «вразброс», «невыпазд», «похилились», «голизна») прячется авторская застенчивая ласка и сердечная боль. В горьком сочувствии гибнущим соснам уже нет мыслей, утешавших героя, спорившего с непокорным Падуном,— мыслей о человеке-хозяине. Природа теперь как бы зывает к человеку о защите, хотя поэт, естественно, не пользуется столь резкими красками, как в поэме «Василий Теркин», когда перед нами восставала картина изуродованного войной леса. Новое десятилетие — новый Твардовский, хотя в главном, конечно, прежний: чутко вслушивающийся в пульс современности.

* * *

Когда-то очень давно, лет двадцать назад, прочитал я среди прочих стихотворение Твардовского написанное еще двумя десятилетиями раньше. Оно не показалось мне сильным — просто довольно редкая у поэта лирическая мелодия расставания с любимой. Речь от первого лица, хотя никаких индивидуальных примет героя нет, кроме того что это несомненно сельский парень. Слышатся в строчках будто бы есенинские ноты: «Выйду, выйду напоследки, ой, как воды высоки, лед идет цепочкой редкой серединою реки». Тут, конечно, сразу вспомнишь: «Выйдут парни, выйдут девки славить зимни вечера...» Впрочем, вспомнишь и многое другое: лирическая стихия, породившая строки обоих поэтов, конечно, одна: песенный фольклор русского послереволюционного села. Быть может, я не обратил бы особого внимания на стихотворение А. Твардовского (все в нем хорошо, но все и слишком привычно), если бы не одна резко увиденная деталь: «...разглядел я вдалеке, как куски дороги зимней проплывали по реке». Не однажды потом возвращался я мысленно к засевающим в памяти строчкам, пытаюсь понять, в чем их сила и обаяние. В картинной точности или в чем-то еще неуловимом? Так продолжалось, пока эти строки не оторвались для меня от конкретного смысла стихотворения — в новых книгах поэта оно мне почему-то не попадалось. И тогда пластическая деталь приобрела значение емкого символа. Весеннее пробуждение реки предстало вдруг в значении крутых жизненных сдвигов, которые по-своему перекраивают про-

ложенные стежки личных судеб, ломают прежние устои и обычаи...

Позднее, когда я наконец разыскал и перечитал стихотворение заново, я понял, что автор не вкладывал в него столь широкого смысла. Просто по уплывшей дороге парень ходил зимой к девушке, а теперь и дорога исчезла и подруга вскоре уедет в город. Однако увидев эти строки в контексте, я с удивлением отметил редкостную цепкость художнического зрения, схватывающего многое как бы попутно и ненароком. Сейчас, зная позднюю лирику Твардовского, я сказал бы, что потенциал философской мысли, пусть еще не раскрытый, не выявленный автором, все же ощущим во многих стихотворениях 30-х годов. Конечно, лишь наделенный провидческим даром критик сумел бы по «кускам дороги зимней» представить сложные пути зрелого Твардовского. Но, читая «Разговор с Падуном» или те же стихи о соснах в парке, по крайней мере не удивляешься, что эти произведения принадлежат автору, сложившему когда-то мелодию грустной любовной частушки. Внутреннее их единство очевидно в том, что талант А. Твардовского был наделен исключительным разнообразием художественных потенций. Это на самых первых порах, возможно, и создавало некую стилистическую пестроту, зато впоследствии, когда автор вполне овладел своим дарованием, позволило ему оставаться на гребне любой общественной волны, не изменяя себе.

Я уже писал, что, к сожалению, не был знаком с Твардовским лично. Но видеть и слышать его выступления доводилось. Не забуду, например, приветствия Михаилу Исаковскому, сказанного на юбилейных торжествах по случаю семидесятилетия поэта. Меня тогда поразила суровая красота и точность речи Твардовского, речи, которая проносилась без какой-либо вспомогательной бумажки и текла без малейших запинок, уверенно и очень стройно. Мало сказать, что она была совершенно лишена торжественного суесловия, лишних слов, резкой внешней жестикуляции. Создавая живой образ юбиляра, она в то же время оставала впечатлением громадной интеллектуальной силы самого говорящего — высокого, крупного, седоголового и монументального. Редкой для юбилейных речей серьезностью выступление Твардовского заставило меня вспомнить книги его статей и заметок о литературе, для про-

фессионального критика эти книги могут служить прекрасными учебниками стиля.

Твардовский не писал поэм о давнем прошлом народа, но если бы автор счел это необходимым, я думаю, читатели получили бы перворазрядные произведения такого рода. Твардовский не писал стихов о собственных любовных переживаниях, но если бы увидел в этом свой первоочередной долг... Не обеднило ли его творчество жесткое самоограничение? Задавая такой вопрос, нужно учитывать по крайней мере несколько моментов. Во-первых, физические силы любого писателя (даже при исключительной работоспособности) все-таки не безграничны. Твардовский — поэт полной, предельной самоотдачи, и мы должны ясно сознавать, что исторические или какие-либо иные произведения могли быть созданы не дополнительно к известным и всенародно любимым, а только лишь за счет их. По-видимому, творческий потенциал такого масштаба остается у поэта постоянен в разные периоды жизни, и от переключения энергии в другое русло ее не становится ни больше, ни меньше.

Твардовский при всей своей гордости даже мысли не допускал, «что где-то кто-то или что-то перу помеха моему». Полновластный хозяин собственного вдохновения, он не хотел зависеть ни от «немудреных советов» критики, ни от своих слабостей. Даже, как сказали бы в старину, от милости нисходящего на поэтов ангела. Твардовский по-хозяйски впрягал этого ангела в рабочий воз и заставлял тащить тот груз, в котором нуждалось время. Заставлял трудиться «до семи потов», забывать, «где ты, что ты», от счастливого изнеможения или смертельной усталости. А когда горный дух, не выдержав сурового режима, начинал роптать и спорить с автором, тот без колебаний списывал его в рядовые черты, даже запахом серы неделял...

* * *

Сколько бы сейчас ни писали у нас о Твардовском, растущая год от года дань признания все еще кажется недостаточной, поскольку нет пока аналитических работ, равноценных подвигу поэта. По-видимому, мы, современники, еще не вполне ясно ощущаем масштабы явления. В. Лакшин, например, поместивший в одном из выпусков альманаха «День поэзии» тонкую

статью о поздней лирике Твардовского, отметил в числе наследственных признаков его поэтики по-некрасовски «резкую предметность натуры» и «тютчевскую одухотворенность». Впрочем, критик тут же отказался от своих определений, объяснив их «нашим критическим косноязычием». «Не вернее ли сказать, — рассуждает далее В. Лакшин, — что лирика Твардовского самобытна и вылита по мерке самой личности поэта? Не больше ли в ней элементов того неподражаемого нового, что удерживает от желания искать на ней отблеск великих имен и что позволяет сказать при чтении его стихов одно: это Твардовский»⁷. Что ж, если так ставить вопрос, критик, разумеется, прав: предложенный ответ «вернее» иного. Но не выглядит ли этот лирический пассаж как галантное извинение В. Лакшина за свою наблюдательность? И не возникло ли постепенное самоопровержение в результате невольного страха перед старой схемой «традиционалисты — новаторы» с ее жестким «либо — либо»? Однако пытаются же литературоведы установить генеалогию некрасовской и тютчевской поэтики, и никто при этом не подозревает их в попытке умалить значение великих имен. И я думаю, для памяти А. Твардовского не будет ничего обидного — напротив! — если отметить, что великий поэт развивает пушкинские традиции полноты, объемности, гармоничности мировосприятия, что нередко его стихи и прямо перекликаются с произведениями гениального пророка нашей поэзии. Разве не от Пушкина идут в лучших его поэмах свободные обращения к читателю, размышления о мере поэтической условности, реплики по ходу сюжетного действия и обязательность лирических отступлений? Но что из этого? Когда-то еще М. Лермонтов зло посмеялся над своими критиками, написав «Тамбовскую казначейшу» строго выдержанной онегинской строфой: «Пускай слышу я старовером, мне все равно — я даже рад». Конечно, «старовером» был не Лермонтов, а те, кто его таковым считал. И самый пронизательный из тогдашних критиков по первым же публикациям разглядел в Лермонтове поэта всенародных масштабов, выразителя новой, послепушкинской эпохи...

Смешно бояться, что А. Твардовский

⁷ «День поэзии». М. «Советский писатель», 1971. стр. 197.

может показаться кому-то подражателем Ф. Тютчева. Способен ли поэт несамостоятельный или второстепенный написать хотя бы такое:

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке
На теплом пенушке...

Это поэтическая речь прежде всего нашего времени, хотя в этих строчках и нет никаких его внешних примет. Я говорю о неповторимо своеобразном ритмическом рисунке стиха, о раскованности рифмы. Но еще важнее само чувство, выраженное в стихотворении:

Я думаю свою
без помехи подслушаю.
Черту подведу
стариковскую палочкой.
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметил галочкой.

Сам Пушкин не мог бы написать таких стихов хотя бы потому, что не знал фразеологии наших партийных собраний; и такие выражения, как «подвести черту» или «отметиться галочкой», если и существовали в те времена, то, конечно, не вмещали в себя сегодняшнего смысла. Да, здесь, конечно, то «неподражаемо новое», что услышал в речи современников А. Твардовский, чему придал бесспорно поэтическое значение и уже этим одним выразил свой лирический характер. Кстати, в поэме «Василий Теркин» он «подводил штыком черту» под рассказом об исторических битвах эпохи. Поэт остался самим собой и в философской лирике...

Сколько было в нашей поэзии хороших и плохих стихов о том, что каждому должно оставить по себе след в мире, прочную память в потомстве. И вдруг прославленный поэт, всенародный любимец приравнивает свою жизнь какой-то формальной галочке! Что же это — самоуничижение паче гордости или ирония над читателями? Ни то, ни другое. Во всем стихотворении разлито горькое чувство прощания, точнее, последнего прощания. И если поэт в решающие минуты определяет так цену и смысл своих жизненных исканий, мы почувствуем, какие же грандиозные требования прилагал к себе автор, насколько они превосходят возможности любой личности...

За всем тем легко заметить, что, кроме начальных строк, выбивающихся из общего ритма, стихотворение А. Твардовского написано правоверным классическим амфибрахием и в тексте нет решительно ничего, что ставило бы законы традиционной метрики с ног на голову. Однако насчет ритмического «новаторства» в принципе очень точно высказался однажды сам поэт, его слова я и напомним здесь во избежание долгих рассуждений: «Я и теперь считаю, вообще говоря, что размер должен рождаться не из некоего бессловесного «гула», о котором говорит, например, В. Маяковский, а из слов, из их осмысленных, присутствующих живой речи сочетаний. И если эти сочетания находят себе место в рамках любого из так называемых канонических размеров, то они подчиняют его себе, а не наоборот, и уже являют собою не просто ямб такой-то или хорей такой-то (счет ударных и безударных — это же чрезвычайно условная, отвлеченная мера), а нечто совершенно своеобразное, как бы новый размер»⁸. Вот превосходное по точности обоснование поэтической практики самого Твардовского — право же, «ни убавить, ни прибавить».

Когда-то В. Маяковский, издеваясь над эпигонами Пушкина, выдвигал в противовес их вялым ямбам свой громыжающий стих-лестницу и новый принцип усложненной, взрывной, неожиданной рифмовки. Однако издевки революционного трибуна не могли задеть существа пушкинской музыкальной системы, от которой неотъемлемо и «сладкозвучная» классическая рифма. Допустимо ли судить по форме отрубленного пальца, насколько духовно богат или даже внешне привлекателен был его обладатель? Между тем именно в роли таких судей часто оказывались наши псевдонаторы — ненавистники пушкинских рифм.

Рифму А. Твардовского тоже называют традиционной, но что это конкретно означает? Поэт действительно часто пользовался простыми и точными концевыми созвучиями — не брезговал ни отглагольными, ни по совпадению падежных окончаний (в стихотворении «Июль — макушка лета...» нанизываются такие рифмы: «лето — света — цвета...»). Однако наряду с простыми у Твардовского не реже встречаются более

⁸ А. Твардовский. Статьи и заметки о литературе. М. «Советский писатель». 1961, стр. 109.

сложные и глубокие созвучия, а порой только приблизительные, ассонансные, вполне «современные». Вот несколько выписанных наудачу словесных пар из поэмы «За далью—даль»: просесть — доносит, Сибирь — быть, бесповоротных — охотник, юность — растянулась, располагаться — богатства, времен — ремонт, пятасть — натиск. И даже словно из Роберта Рождественского или Евтушенко: иркутской — попутной. Работая над крупными эпическими произведениями, А. Твардовский не затруднял себя поисками особой, резко отличающей его от других авторов рифмовки, используя все богатство приемов, накопленное современной поэзией. Поэтому, хотя в его поэмах можно встретить и корневые, и составные, и всякие иные рифмы, поэт никогда не возводил какую-либо их разновидность в исключительный принцип, он вообще не хотел становиться жертвой формальных принципов. В лирических стихах, где словесное поле поуже, рифмы обычно поточнее и поглубже, однако и тут нет никакого литературного автоматизма. Для Твардовского важна не пропаганда редкостных, не встречающихся больше ни у кого способов словесного крепления, а нечто гораздо более существенное: чтобы рифмы держали интонации, выделяли ключевые по смыслу понятия. Иногда главное содержание строфы заключено в одной словесной паре. Что вы скажете о таком сатирическом созвучии: «здоровяк — на бровях»? Я думаю, даже приведенных здесь примеров

достаточно, чтобы убедиться: стих А. Твардовского не звучит ни по-некрасовски, ни по-тютчевски — он совершенно современен и самобытен, хотя и похож на своих «родителей» или предшественников.

Но попытаюсь наконец и я подвести решающую черту. Александр Твардовский из тех поэтов, что всем своим творчеством противостоят модным на Западе теориям о расслоении современной духовной культуры на утонченно-элитарную, с одной стороны, и сортом пониже и подешевле — для широких читательских масс. Советский поэт Твардовский общенароден, и это можно проследить на любом уровне критического анализа — от общефилософского до молекулярно-строчечного. Его многочисленные «лучшие» произведения (а талант поэта отличался редкостной щедростью) внутренне монолитны и содержательны во всех элементах формы. Вот почему прилагаемые к поэзии краугольные эстетические категории (народность, партийность) как бы вырастают в объеме и тяжелеют в весе, едва речь заходит о стихах Твардовского. Державно-суровая и свойски-простая, проницательная и задушевная, эта поэзия широко открыта для всех под стать московскому Кремлю, который, кстати, воспет автором вдохновенно и неоднократно. Хочется думать, что она и выстроена так же прочно. Но впереди еще многие и многие исследования, статьи, книги о ней. Впереди — суд ближайшего потомства и истории.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Михаил Шур. У времени на поверке. — Вл. Гусев. Прошлое и будущее стиха. — В. Пронин. С любовью к человеку.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Вл. Кузнецов. Ленинским курсом мира. — Ан. Чирва. Очерки о русских издателях. — Вадим Монахов. Поведение: механизмы его регуляции.

Литература и искусство

У ВРЕМЕНИ НА ПОВЕРКЕ

Геннадий Фиш. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. 637 стр. Т. 2. 447 стр. М. «Художественная литература». 1976.

С о вступительной статьей Павла Антокольского издательство «Художественная литература» выпустило двухтомник избранных произведений Геннадия Фиша. Знаменательно, что эти книги предваряет слово поэта. Проза Фиша нередко дарит нам картины и обобщения истинно поэтические. Недаром Горький, прочитав «Падение Кимас-озера» и высоко оценив эту повесть, назвал ее духоподъемной. Жаль, что наша критика редко пользуется этим горьковским критерием литературного качества. Поэтическое начало, пафос возвышающей правды органически присущи реализму советской жизни.

Крестный отец и первый редактор «Падения Кимас-озера» Николай Тихонов писал об этой книге: «Героический поход развертывается перед нами как напряженнейший рассказ, где автору не приходится накачивать откуда-то со стороны восторженный кислород. Нет, вся вещь дышит настоящим пафосом правды».

Может показаться, что автор намеренно романтизировал прозаические будни боев и походов гражданской войны. Но дело обстоит как раз наоборот: он с реалистической точностью выразил романтическую сущность событий!

«Падением Кимас-озера» открывается двухтомник избранного. Естественно, встает вопрос: как принимает современный молодой читатель, новый читатель послевоенных лет, книги революционного пафоса, книги борьбы и ярости? Библиотекари «с

фактами в руках» утверждают, что новый читатель не может обойтись в своем духовном развитии без этих книг, они помогают формированию его идейного и нравственного облика. Можно сказать, что достоянием всех поколений стали литературные памятники революции, гражданской войны, Великой Отечественной войны. Сейчас, в год шестидесятилетия Октября, мы представляем себе сводный полк этих прекрасных книг как бы на боевом смотре. В голове колонны «Железный поток», «Разгром», «Бронепоезд 14-69», «Чапаев», «Как закалялась сталь», «Звезда», «Повесть о настоящем человеке». Да, мы вправе гордиться боевыми заслугами нашей литературы!

К литературным памятникам Октябрьской эпохи бесспорно принадлежат и «Падение Кимас-озера», «Мы вернемся, Суоми!», «Третий поезд» Геннадия Фиша, включенные в первый том настоящего издания. Не сама только тема, не сам материал, а именно художественное воплощение и мастерство выражения дали жизнь и долготу этим книгам.

Ранние произведения автора обычно проходят широкое читательское испытание при нем же — писатель принимает на себя всю тяжесть ответственности на суде времени. Выпало это и на долю Геннадия Фиша — его ранние произведения неизменно десятилетие за десятилетием были на виду массового читателя.

В повести «Падение Кимас-озера» сильно звучит лирическая нота. Она приблизила к

сердцу читателя эпическую ширь батально-го сюжета, высветила крупнопланово лица бойцов в их святой непримиримости и неистребимом жизнелюбии. Иные критики, говоря о таких книгах, как «Падение Кимас-озера», подчеркивают документальность повести как особое достоинство и важное преимущество. Но сама по себе документальность не дает никаких преимуществ, научное литературоведение признает только преимущество таланта. В самом деле, где правда искусства, там и правда жизни независимо от того, взята ли она в «натуральной» подлинности или представлена в обобщении. Что касается повести «Падение Кимас-озера», то ее документальность особая: известно, с одной стороны, что здесь действуют подлинные лица, с другой же стороны, повествование ведется от имени явно вымышленного героя Матти Грена. Правда художественного вымысла и точность подлинных событий здесь сливаются в одно целое. И думается: чтобы написать «Падение Кимас-озера» устами бойца, мало владеть искусством словесного перевоплощения, надо иметь полное, исчерпывающее, глубинное знание живой фактуры образа и обстановки. Автор как бы стал в общий строй бойцов-лыжников под именем Матти Грена...

История литературы знает писателей, привязанных к своей «малой родине», которая пожизненно питает их неубывающим материалом окружающей жизни и в то же время никак не сужает, не ограничивает проблематику произведений. Этим писателям дано видеть из своего «гнезда» весь мир. Но мы знаем и писателей, обретающих свою тему вдалеке от родных мест. Так в судьбе Геннадия Фиша, южанина по рождению, появилась зеленая земля Карелия от Ладоги до Полярного круга. Написав «Падение Кимас-озера», он уже не мог порвать с этой землей. Карелия усыновила писателя, на ее хлебах, можно сказать, выросл его талант. Республика лесов и озер, республика яркого эпоса, глубокой народной мудрости и самобытности досыта потчевала писателя, обильно питала его ум и воображение.

Боевой поход курсантов-лыжников Интернациональной школы под водительством Гойво Антикайнена был в творчестве Фиша первым сюжетом, отразившим народно-героическую романтику гражданской войны в Карелии. Роман «Мы вернемся, Суоми!» и повесть «Третий поезд» развивали тему победоносного интернационализма на

том же высоком пафосе лирической прозы. Эти произведения также включены в первый том настоящего издания.

Фиш строил свою прозу плотно, экономно, он смолоду понимал, что важным первоэлементом художественности является точность письма, выразительность детализации. Проза от первого лица позволяла ему уходить от привычных книжных приемов, не сужая при этом обзора, ибо рассказчиком руководил зоркий, разборчивый вкус писателя. Часто предаваясь уместной в этой обстановке патетике, рассказчик в «Падении Кимас-озера» в то же время внимателен к реальной предметности, к земной прозе похода.

Несколько особняком стоит в первом томе «Ялгуба» — произведение необычное для Фиша, выступающего на этот раз как бытописатель-фольклорист, талантливо чуткий к народному слову и народному юмору. Павел Антокольский приводит в своей статье слова из письма М. Горького к Геннадию Фишу («Ялгуба» впервые была опубликована в горьковском альманахе «Год XVII»): «Вам удалось написать весьма интересную и социально значительную вещь, которая будет прочитана с радостью и с «пользой для души»... Очень рад поздравить Вас с удачным вкладом в советскую литературу».

Деревня Ялгуба населена удивительными рассказчиками и острословами-выдумщиками. Здесь собраны новеллы, притчи, были-небылицы, шутейные истории, в том числе озорные байки раблезианской вольности. Но за всей этой веселой кутерьмой забавных сюжетов стоит громадная тема ломки старых устоев, тема советской колхозной новинки, молодость республики, духовного здоровья и неистощимого оптимизма народа. И радости! Радость как пульс письма, как суть и как стиль.

После «Падения Кимас-озера» писателю отпущено было всего семь-восемь мирных предвоенных лет. Написал он значительно больше того, что включено здесь в первый том. Работоспособность молодой писатель выказал удивительную.

В декабре тридцать девятого года Геннадий Фиш во фронтовой Карелии, на войне против белофиннов. Спустя два года снова Карелия, уже большая война. Тут и начинается второй том — военный том, повести и рассказы, которые написаны в ходе боев и печатались тогда же.

Наша литература о войне огромна и многообразна. Читатель различает в ней не-

сколько потоков, несколько боевых порядков фронтовых книжек. Крайне любопытно ему взглянуть, как писали о сорок первом в сорок первом и о сорок втором в сорок втором. Такие произведения Геннадия Фиша, как «На земле Калевалы», «Контрудар», «Дальний поиск», «По дороге в Сегежу», «Карельские девушки», «Остров Ильина», «Ночь в траншее», «Голос жизни», печатались в «Знамени» и других журналах военного времени, в летучих брошюрах фронтовой редакции, они начали свою жизнь в окопах и землянках. Я перечитывал сейчас эти страницы с особым чувством. С Геннадием Фишем — писателем фронтовой газеты «В бой за Родину» я, военный корреспондент «Правды» по Карельскому фронту, познакомился летом 1941 года, и два года войны мы прошли вместе.

Присмотримся к этой прозе. В чем-то она, вполне понятно, проигрывает, местами перо слишком спешит к развязке. Но во многом и выигрывает: эта проза сохранила и донесла до нас не только правду самих событий войны, но и живую непосредственность писательского ощущения того времени. Отмечаешь острую публицистичность художественного повествования, публицистичность, которая потом так широко и сильно прозвучит в скандинавских книгах писателя в последние годы его творчества.

«Я не знаю, какими словами можно описать невообразимые краски заката на нашем северном небе! Чем бы я ни был занят, куда бы я ни спешил, я не могу не остановиться, увидев вечернее небо. Багровые и алые, шафранные и серые, сиреневые

и, ей-богу, совсем зеленые и снова прозрачные, как голубое пламя, тона спутались так, что даже не уследить, где кончается один и возникает другой... И когда смотришь на такое небо, на душе делается торжественнее. Эта красота меня никак не разоружает, а, напротив, ожесточает... Такое небо, небо моей родины,— и я не могу встать во весь рост и смотреть на него свободно, а должен ползти в этой густой траве, и прятаться, и бояться, что вдруг заметят... И я вижу эти две темные фигурки, шагающие по мосту, словно они заводные и внутри у них пружинка.

У меня на душе становится горько, и я хватаюсь за автомат».

Я подчеркнул бы еще одно свойство военной прозы Геннадия Фиша — соединять в одном сюжете, в едином развитии главной нравственной темы чисто батальный материал с неизбежно выплывающими из памяти обстоятельствами и фактами отношений, связей в большом нашем мирном мире. Его воюющие герои встают в полный рост человеческий. Фронтовой литературный опыт Геннадия Фиша показывает нам, что и в самой что ни на есть «окопной книге» могут быть открыты горизонты больших событий, больших обобщений и больших чувств. Дело не в точке обзора, а в широте взгляда,— в том, что художественное произведение формируется не вложенным в него капиталом фактов и сюжетных событий, а искусством исполнения, талантом воплощения.

Хорошие книги не умирают. Увы, нет такого правила для самих писателей.

Михаил ШУР.



ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ СТИХА

Андрей Вознесенский. Витражных дел мастер. М. «Молодая гвардия». 1976. 334 стр.

В поэзии Вознесенского всегда есть будоражащее начало, которое свидетельствует о присутствии жизни. Правда, жизнь эта «какая-то взвинченная», эйфорическая. Ее можно сравнить с атмосферой дружеского пира. С одной стороны, говорят умно и жарко, жизненные энергии сгущены; с другой же — некто встанет наутро, посмотрит в окно на падающий снежок и подумает: «О чем, собственно, была речь?»

Сравнения хромают, а всякая жизнь достойна разбора.

Мне кажется, не правы те, кто говорит о «падении» Вознесенского. Тому не понравился цинизм «Баллады яблони» (да и кому он может понравиться?), другой видит за ритмом и гибкостью образа одну риторичку, третьему не по душе «холод», четвертые вообще находят лишь безнравственность, неуважение ко всему, отсутствие человечности и иное столь же серьезное и печальное для поэта.

Вот вышел сборник поэта, и мы, конечно, настраивающие себя на объективный лад,

но уже невольно предубежденные, открываем, думаем: «Ну, сейчас начнется... Алюминии, аэропорты...» Оно действительно начинается, но мы все-таки не можем тут же не почувствовать напора энергии и культуры.

Вознесенский мыслит рельефно, он чужд плоскостности и скуки — смертельных врагов творчества, о чем мы как-то забыли, за чим — дыхание поисков XX века и власть ритма, который не является только ритмом, а оформляет, «объективирует» вихрь мира:

Ты пролетом в моих городках,
ты пролетом
в моих комнатах, баснях про Лондон
и осенних черновиках,

я люблю тебя, мой махаон,
оробевшее чудо бровастое...

Ах, отчаянный гончар,
Полубес,
чем глазурный начинял
голубец?
Лепестки твои, кустарь,
из росы.
Только хрупки, как хрусталь,
изразцы...

Вознесенский — поэт, и с этого, мне кажется, следует начинать всякий разговор о нем; желание доказать, что он просто не поэт, выисало кровь из многих критических суждений о нем и вообще было непроизводительной тратой сил литературы и критики; кроме того, когда так много лет доказывают, что кто-то не поэт, а сами эти доказательства лишь способствуют популярности поэта в отечестве и за границей, то невольно приходит старое:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Он риторичен, мысль его дедуктивна — не органична, а заданна? Ну да, так бывает у Вознесенского. Он дает тезис и далее «разматывает» его:

Когда спекулянты рыночные
прицениваются к Чюрленису,
поэты уходят в рыцари
черного ерничества...
Но самое черное ерничество...
Но самые черные ерники...
Мой бедный, бедный ерник!
Какие ж твои молитвы?

Но каждому знакомому с поэзией, в общем-то, известно, что упомянутое в принципе непохвальное качество может быть свойственно даже и крупным поэтам; поэ-

зия в подобных случаях достаточно «цинична». Ведь всякое свойство стиля может выступать как бы на разных уровнях, в разных слоях. На одном уровне это промах, на другом уже «стилевой прием», то есть нечто сознательное — возвышение над материалом, проявление художественной воли; на третьем — вообще органическая черта таланта.

У Вознесенского это чаще всего прием, близкий к органичности. В приведенном примере публицистика сознательна, как сознательна и ввод «эпатирующего», но внутренне очень ритмичного слова «ерничество, ерники».

Любопытно, правда, что сам Вознесенский, вот уже много лет выслушивая упреки в «дегуманизации» и подобном, порой для доказательства обратного как-то судорожно прибегает к риторичности как таковой на первом, непозитическом ее уровне. Здесь он спешит провозгласить те тезисы, в отсутствии которых его упрекают. Это началось еще в «Озе»:

Все прогрессы — реакционны,
если рухнет человек...

Причем именно за эти истины (конечно, бесспорные сами по себе) его порой хвалят, а за прием, лишь «выдаваемый» за риторичку, ругают.

Другое, и куда более тяжелое, обвинение Вознесенскому — это уже упомянутый «антигуманизм» и внутренне соединяемая с ним, как теперь говорят, бездуховность (хотя вообще антигуманизм и бездуховность — тоже разное). Тут его защищать труднее, но не потому, что он действительно антигуманен, а потому что вся манера его опосредованная и при всей звонкости «зажатая»; бывает в поэзии и такое, и, честно говоря, опять-таки любому, кто соприкасался с ней, с поэзией, особенно с поэзией новейшей, с «поэзией века», этого объяснять не надо.

Но текущая критика наша, пусть умная и тонкая ныне, еще нередко требует от поэта обыкновенной прямолинейности, лишь камуфлируя это требование якобы пониманием «нюансов и оттенков»; по сути, лозунг

На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые —

сплошь и рядом остается в силе. Вознесенский, конечно, беззащитен перед такой системой мер.

Гуманизм его, повторяю, опосредованный и «расколотый»; он задавлен иронией, наро-

читой «сдержанностью чувств» при общей обостренности психических импульсов и напускным цинизмом, долженствующим скрывать душу, которая от неких нескромных взоров в желтую кофту укутана; стиль этот подробно разработан в новейшей поэзии. Вот образец этого стиля у Вознесенского:

Визжат малыцы рожденные
у повитух в руках.
как трубки телефонные
в притихшие века...

Это антигуманизм? Вовсе нет, но поэт как бы стыдится откровенности и говорит «куку-танно». Однако все-таки именно в связи с этим приемом следует перейти к иному разговору.

Чем раздражает тех или иных читателей Вознесенский? Он поэт, он не так уж безнравствен, как кажется; в чем же дело?

Ведь он — раздражает; с тех пор как его прославил Асеев статьей «Как быть с Вознесенским?», прошло уже немало лет, и, как говорится, споры не утихают. Казалось бы, сама констатация этого факта комплиментарна для поэта, с этого мы как будто и начали, но споры эти какие-то странные. Я редко видел человека, который без убоин о хвалил бы Вознесенского, тем более умилился им; да, именно умиления я не видел.

Вознесенский — поэт, но поэт тех свойств жизни, которые нам — как бы это сказать? — сейчас не хотелось бы видеть в соединении с именем поэта, с поэзией. Мы немного путаем все эти вещи. Нас раздражает та жизнь, точнее та атмосфера, в которую вводит нас Вознесенский, и мы говорим: он не поэт, он не гуманист.

Вознесенский принадлежит той сфере жизни, о которой любят говорить: «Это XX век...»

Вознесенский, как это, может быть, ни странно звучит, поэт прошлого в нашем веке. Поэт прошлого именно для нашего века. Мы так привыкли, говоря «XX век», иметь в виду «все новейшее», что не заметили, как сам-то XX век идет к концу и у него уже есть свое прошлое и свое будущее, выводящее нас в XXI и далее.

Как оно и водится в истории, в жизни, некая часть будущего вторым планом прошла и через сам уходящий век, время от времени выступая на поверхность — давая знать о том, что она — ничего себе — существует, движется, хотя кто-либо и забыл о ней; она напоминала о себе и во взрывах

революций и в тихом шелесте листьев. Ныне чем далее, тем более она явственна; я не хочу высказать тщеславную мысль, что XX век был физическим, техническим, а XXI будет гуманитарным; несть спасения в stalkиваниях лбами различных начал жизни; они, каждое по-своему, идут, развиваются и сами найдут свое соотношение; мы иногда слишком страстно «урезаем» нечто по принципу «этого нет, потому что у меня другие вкусы, у меня другая профессия»; я здесь не поддамся этой ошибке — от нее и так уже много бед в нашей прозе, поэзии и критике.

Но факт есть факт, что Вознесенский-то «ударен» прежде всего тем, что можно условно назвать техницизмом жизни, и даже на самые проблемы гуманизма смотрит сквозь это — не может выйти из атмосферы «механических сил». При этом надо помнить, что сама «техника» — это еще не жизнь; но мироощущение, капитально пронизанное техницизмом, — это одно из явлений жизни века и это серьезно. Причем и с мироощущением все не просто. Техницизм Вознесенского — это, может быть, больше борьба со своим же техницизмом, чем подчинение ему; но тем-то и отличается Вознесенский, положим, от человека, который живет так, будто проблемы душевного техницизма вообще нет на свете.

Отсюда тянутся многие и многие нити его стилистики; техницизм, конечно, уже не сам по себе, а вырастает до символа и ключа поэтики; бытовые реалии, моральные категории, сам темп, мелькание жизни, ее лязг — все связано с этим.

Два разделившиеся эха
в них пели, плакали, свистели,
как в двух расстроенных, ореховых,
стереофонических системах...

Понятно, что и Микеланджело и прочие исторические титаны говорят порою в системе технического века, а как же иначе? Не для того Вознесенский уходит в историю, чтобы заниматься только историей. Вновь и вновь пытается он столкнуть между собою исконное и новейшее, природное и машинное; и это лишь один из наиболее острых случаев все того же приема, мироощущения:

В текстах порой открывались цитаты из «Страшного суда» и незавершенных

«Гигантов».

Дух создателя был един и в пластике, и в слове — чувствовалось физическое сопротивление материала, савонароловский своеобразный напор и счет к мирозданию.

Хотелось хоть в какой-то мере воссоздать не букву, а направление силового потока, поле духовной энергии мастера.

Кстати, Вознесенский часто выступает как поэт-книжник, поэт гуманитарной эрудиции; эрудиция его органична; но и тут редко он удерживается от искушения соединить духовное и техническое, что видно и в тех же цитатах...

Не слишком ли проста отмычка? И «вы что, против технического прогресса»?

Нет, я лишь говорю, что XX век на какой-то момент, ныне пройденный, вдруг заподозрил, что техницизм есть сама суть жизни, что напор механических сил таков, что невозможно уже считаться ни с какими другими силами.

Эти другие — стихийные и природные, духовные и мыслительные, светлые и органические, бурные и гармонические — силы, повторяю, непрерывно и могуче напоминали о себе то гулом революций и бурь народных, то утренним, извечным блеском природы после дождя, то простой синевой неба, то спором философов на некие темы, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к наращиванию машинной мощи человечества, но имеющие отношение к его моральной и мыслительной мощи, а следовательно, и к машинной в конечном итоге; короче, речь идет о том, что «техническая» (термин этот, конечно, расширительный) сила века будет расти, мы боремся за это, но она должна расти в подчинении у тех социальных, нравственных и природных, «исходных» сил, без которых она бессмысленна и опасна не только внешне, но и внутренне. XX век все более понимает это и, видимо, передаст это понимание, это выстраданное старое, но новое знание XXI веку.

В разных факторах сказывается это. Недаром в развитых капиталистических странах у молодежи отвращение к технике и комфорту: известно, что не сама техника виновата, а то, что ее выдают за суть жизни. В социалистических странах ситуация иная, сам XX век иной, чем на Западе: техника не давит на весь стиль жизни. Но недаром у нас столь трогательное оживление любви к природе — ко всем этим кошкам, мышкам, и зайчикам, и голубым небесам, и зеленым листьям, некогда забытым на какое-то время и даже не знающим, что о них забывали, живущим себе, тихо меняющим сами себя в строгом соответствии с

временами года, с законами своей вечной родины; недаром в нашем обществе столь искреннее, резкое и порой даже болезненное возобновление внимания, любви к нашей большой классике — русской классике XIX века, всегда имевшей дело с главными категориями человеческого, духовного (а не механического) существования.

Вознесенский — поэт — давно знает все это:

Все прогрессы — реакционны,
Если рушится... —

но сам он поэт другого и знает это.

Он поэт того прошлого, которое на некий исторический миг овладело некоторыми умами «типично XX века», того прошлого, которому почудилось, что можно — без простой теплоты, без давней традиции, без прямой любви, без «неопосредованного» чувства, без открытой гармонии, без ясного, свободного разума, без природы, без неба, а лишь на одной новизне, на скорости, на углах и четких линиях, на технике, на фантастике, на механике, на крутой энергии, на (узко понимаемой) «практике», на (механистически понимаемой) науке.

Был момент, когда сам XX век давал некоторые основания для такой трактовки жизни. Но если и был, то давно прошел. Да и был ли...

Положение Вознесенского — при всех его успехах и здесь и в остальном мире — неуютно, он не может не видеть, что в последние годы неуловимо меняется даже и сам Образ Поэта, принятый публикой; опять пошли в ход «старые» категории — искренность, простота, свобода и благородство тона, полнота чувства (а не «эмоция»), возвышенность стиля, умиление, любовь, духовная глубина, наконец романтизм в самом «неопосредованном» значении этого слова; вновь пристально вспомнили о Блоке и Есенине; от поэта ждут понимания природы, высоких, а не «амбивалентных», гражданских чувств, красоты мира, его глубины и мужества, ждут высокой «наивности» и бесспорных слов.

Вознесенский душой понимает и традицию, и все прочее, и даже прямую теплоту:

Не до муз этим летом крошечным.
В доме — смерти одна за другой.
... Занимаюсь квартирообменом.
Чтобы съехались мама с сестрой...

Мать снимает пушинки от шали,
и пушинки
летят
с пальтеца.
чтоб дорогу по ним отыскали
тени бабушки и отца...

И он человек поэтически более искренний и ответственный, чем ему иногда приписывают, но именно поэтому он и не может быть менее собой, чем он есть.

Порой он пытается, но ему не удается: он — поэт, притом поэт с чувством пути, а раз так, то и сразу видно, где свое, а где та

попытка; но, в сущности, он чаще всего именно верен себе, то есть взрен своему материалу и атмосфере — XX веку в несколько уже старом, прошедшем значении этого слова.

Спасибо, что свечу поставила
в католиковском лесу,
что не погасла свечка талая
за грешный крест, что я ношу...

«Век шествует путем своим», а поэт своим; у каждого поэта свое назначение.

ВА. ГУСЕВ.



С ЛЮБОВЬЮ К ЧЕЛОВЕКУ

Ингеборг Бахман. Три дороги к озеру. Перевод с немецкого. Повесть и рассказы. М. «Прогресс». 1976. 304 стр.

Когда четыре года назад пришло известие о том, что выдающаяся австрийская писательница Ингеборг Бахман погибла в катастрофе, невольно подумалось, как удивительно художник порой провидит свою судьбу. В прозе Бахман чаще всего выступали интеллигентные героини, которых в финале их недолгих историй зачастую подстерегал «закономерный» роковой случай. Внезапная смерть освобождала от постоянной неустроенности, поражения в любви и разочарования в дружбе. Порой трудно бывало различить, идет ли речь о самоубийстве страдающих женщин или скорее все-таки развязка наступала помимо их воли. Именно таково завершение романа «Малина», повести «Три дороги к озеру», новеллы «О эти счастливые глаза» и других произведений. В последний момент бытия, утверждала писательница, человек, приблизившись к смерти, становится самим собой, отбрасывает шелуху обыденных привычек, суетности, обманчивых привязанностей. Если воспользоваться поэтической формулой М. Цветаевой, это своего рода «преувеличенность жизни в смертный час».

Вглядываясь сегодня в ступени и вежи житейского пути Ингеборг Бахман, нельзя не заметить, как напряженно и тревожно жила писательница. Ее отроческие годы совпали с самым мрачным периодом австрийской истории, когда страна была предана правителями и насильственно присоединена к гитлеровскому рейху. У Бахман есть небольшая автобиографическая зарисовка «Детство и отрочество в австрийском городе». Повествование здесь умышленно лише-

но традиционной трогательной лирики, это суровый рассказ о благопристойной нищете родительского крова, о марширующих колоннах, падающих с неба огненных рождественских елках, от которых надо было как можно скорее укрываться в убежище. Впечатление такое, что это написано для того, чтоб раз и навсегда отделаться от детских воспоминаний.

Сразу после разгрома фашизма Бахман поступает в университет, изучает философию и право. Ее докторская диссертация была посвящена Мартину Хайдеггеру. В начале 50-х годов к ней приходит известность, ее поэтические сборники выходят не только в Австрии, но и в ФРГ и ГДР, а вскоре и в США, Италии, ЧССР и других странах. Критика неизменно доброжелательна к таланту Бахман, в ней видят продолжательницу высоких традиций интеллектуальной лирики Гёльдерлина и Рильке.

Но кажется, что популярность только усиливала ее духовную обеспокоенность. Она много путешествует, живет в Париже, затем в Риме и Неаполе, едет в Цюрих, чтобы вскоре вернуться в Рим. Она нигде не живет дольше года, но и в странствиях неустанно работает. Из-под ее пера выходят либретто балетов «Идиот» по роману Достоевского и «Принц Гомбургский» на сюжет трагедии Клейста. Она публикует философские эссе, читает курсы лекций студентам Гарвардского университета, а затем в университете во Франкфурте-на-Майне. С конца 50-х годов Бахман обращается преимущественно к прозе, незадолго до гибели был опубликован роман «Малина», а послед-

няя книга «Причины смерти» осталась незавершенной.

Вскоре после появления поэтических сборников «Отсроченное время» и «Призыв к Большой Медведице» началось серьезное изучение ее творчества. Писательнице посвящены многочисленные статьи, монографии и диссертации. Литературоведы и лингвисты с академической дотошностью прокомментировали все наиболее важные ее поэтические творения.

Наследие Ингеборг Бахман по объему велико, собранные воедино, ее произведения составляют один большой том. Но Бахман не писала проходных вещей, неизменно стремясь к тому, чтобы стихотворение или новелла несли мысль, актуальную для ее поколения.

В некоторых зарубежных работах, посвященных творчеству Бахман, говорилось о социальном герметизме ее творчества, о равнодушии писательницы к общественным проблемам. Это вовсе несправедливо. Поэтесса начинала с пристального изучения современной истории, конец войны стал для нее началом нового летосчисления. Тема расчета с фашистским прошлым особенно отчетливо выразилась в рассказе «Среди убийц и безумцев», представляющем собой почти документальный очерк. Бывшие сотоварищи по певческому союзу через десять лет после войны с хмельной лихостью вспоминают удалые подвиги и батальные авантюры. Они гордятся своим военным опытом, сегодня на фоне тусклого, унылого быта, весьма скромного продвижения по службе события десятилетней давности рисуются геройским эпосом. Но в громкий разговор бывших гитлеровских вояк неожиданно вмешивается посторонний человек. У него своя исповедь: он не может себе простить службу в вермахте, он ощущает себя морально замаранным. Когда незнакомец вдруг попытался в одиночку воспрепятствовать доморощенным неонацистам горланить воинственные песнопения, такое вмешательство стоило ему жизни.

Автор рассказывает эту историю с обманчивым спокойствием, воспроизводя только застольную болтовню преступников. Сообщая хронику фактов, писательница почти ничем не выдает своего отношения к ним, разве только заглавием рассказа — «Среди убийц и безумцев». Бахман в прозе чужда патетики, однако за ее сдержанностью таится пафос протеста, а будничные, заурядные

происшествия постепенно обретают типический смысл.

Как и многие западные интеллигенты послевоенного периода, Ингеборг Бахман испытала определенное воздействие экзистенциализма, причем в самом его гуманистическом аспекте: писательницу волновала проблема самоощущения личности. Ей оказалась чрезвычайно близка идея Хайдеггера, утверждавшего, что человек являет в сути своей нечто большее, чем его обычное Dasein (в буквальном переводе «тут бытие», то есть существование в определенной временной конкретности и реальной среде). Но человек обязан не упустить свой звездный час, когда должна произойти максимальная реализация всех его личностных свойств. Именно такого рода событие и делает Бахман кульминацией своих новелл. В этом смысле особенно показателен рассказ «Тридцатый год», представляющий собой системный анализ всех вероятных возможностей безымянного и многоликого героя. У героя нет имени, он постоянно меняет свои занятия. То он студент-бунтарь, затем газетный репортер, потом просто путешественник-автостопом. Ровно через год ему стукнет тридцать. Была тысяча возможностей, но они упущены. Теперь надо выбрать одну-единственную, последнюю. Дело не в карьере и благополучии. В тридцать лет он не стал, как мнилось в юности, ни гением, ни святым, ни великим философом. Но кем-то он должен же стать! Кем? В поисках себя он отправляется в Рим, где когда-то, казалось, был близок к мечте. За эти утраченные годы бывшие возлюбленные вышли замуж, а приятели вышли в люди и преуспели. Он осознает, что ему позарез нужны какие-то обязанности, он хочет жить настоящим делом, но вырастить дерево или возделывать сад — такое годится как символика, неспособная, однако, стать содержанием реальной жизни.

Куда бы он ни поехал, его всюду подстерегает услужливый и доброжелательный Моль, «ибо мир каждого из нас, — замечает Бахман, — наполнен Молями». В юности Моль слыл инакомыслящим, сегодня он сделан деловым и преуспевающим, щедрым на добрые, но бесполезные советы. Система и пример Моля для героя малособлазнительны, хотя он уже стоит как бы вполоброта к Молю. Автор находит простые точные слова, передающие типичную раздвоенность сознания у западного интеллигента: «Ему не хотелось жить, как все, и не хоте-

лось быть каким-то особенным. Ему хотелось идти в ногу со временем и оказать сопротивление своему времени». Это своеобразное двоимирие, с которым многие мирятся и к которому привыкают, стараясь исправно поддерживать компромисное равновесие.

Нельзя жить, морально погибнув. Это нерушимое кредо писательница отстаивает каждой своей строкой. В развязке новеллы «Тридцатый год» Бахман, по существу, реализует классическую гётевскую формулу «умри и возродись». Переживая накануне своего тридцатилетия острый кризис, герой попадает в автомобильную катастрофу и едва остается жив. Но трагическая встряска заставляет тридцатилетнего заново начать жить так, чтоб ни единый день не был пустым и бесцельным.

Один из исследователей творчества И. Бахман, Хайнц Бекман, заметил, что трагедия героя рассказа «Тридцатый год» мотивирована тем, что герой влачит существование без отечества. Действительно, герои Бахман живут чаще всего вдали от родины. В юности они покидают отчий дом, стремясь обрести простор для творчества или деловой инициативы. Это реальный факт биографии очень многих австрийцев. Лишенные корней, всюду в равной мере свои и чужие, они сами добиваются успеха и уважения.

В прозе Бахман исследован оригинальный женский характер. Писательница варьирует его от рассказа к рассказу, жизнеописания героинь обретают дополнительные детали, каждая новелла открывает новые грани необычной женской природы. Героини Бахман — ее ровесницы, она одаривает их своими познаниями, проницательностью, склонностью к самоанализу и ностальгией. Журналистки и переводчицы, писательницы или актрисы, они истинные мастера в своей профессии. Тяжкую, изнурительную работу, требующую выдержки, а порой и отваги, они исполняют с блеском. Настоящие труженицы, они дорожат теми не столь уж частыми часами, когда можно пококетничать, представляя себе и окружающим светскими праздными дамами, или, натянув замызганные джинсы, щеголять показной распущенностью. Живущие в бешеном ритме, они стремятся не упустить случай, когда можно переключиться, отдохнуть от самой себя, какой бываешь ежедневно. Они могли бы прежде сделать другой выбор, пойти иным путем, и оттого, наверное, во

время очередного уик-энда они притворяются другими, как бы приглядываясь к самим себе, умно дурачатся, ибо они индивидуальности одаренные и неоднородные.

Их память перенасыщена воспоминаниями и фактами. Для сугубо современных героинь Бахман память стала их истинным проклятием. Уж не говоря о том, что синхронная переводчица Надя (новелла «Синхронно») «экипирована» всеми основными европейскими языками, она еще подсознательно каждое событие или ощущение, фразу или имя вставляет в систему пережитого, испытанного, знакомого. Для нее все чаще оказывается самым трудным «удержать себя в настоящем». Надя старается все время помнить, что с ней в машине Людвиг Франкель, человек, которого она, по-видимому, любит, а не кто-то другой, давний. Она вздрагивает, когда чуть было не произносит ту же фразу с той же интонацией, но уже сказанную прежде бывшему мужу или полузабытому возлюбленному. Бахман-прозаик утверждает, что люди подавлены прошлым, вчерашнее — всегдашняя точка отсчета, а воображение, отталкиваясь от текущего мгновения, тут же вырабатывает целую серию картин прогнозируемого будущего. Героини Бахман не успевают жить настоящим; сдобривая его всеми перфектами и плюсквамперфектами, они вместе с тем норовят опередить свое время.

Во имя чего же? Очевидно, ради тщательно оберегаемой независимости. Каждая из них чувствует себя личностью, гордится этим, позволяет любоваться собой и любить себя. Но кто в этой разномастной компании тот единственный, с кем можно всегда быть вдвоем? Для героинь Ингеборг Бахман этот выбор исключительно важен, исполнен серьезного смысла, за ошибки, идущие от чрезмерного ума или привычной осторожности, им приходится платить дорогой ценой непреодолимого одиночества.

Как это ни парадоксально, но автор повести «Три дороги к озеру» склонна видеть первопричину людской разьединенности в стихии языка. Бахман в каждом своем прозаическом произведении задумывается о метаморфозах языка. Язык призван быть индикатором во всех взаимоотношениях. Называя, человек извлекает предмет из вечно мира, выделяет лицо из толпы. Героини Бахман постоянно перескакивают с одного языка на другой, порой свою речь они с болью воспринимают как перевод с несуществующего оригинала. Лучше всего, по-

жалуй, о лингвистическом бедствии говорит Элизабет Матрай в повести «Три дороги к озеру»: «Приучив говорить человека штампами, его убивают, ибо лишают возможности переживать и мыслить».

Если не абсолютизировать эту истину, то наблюдения, конечно, верны. В обществе, где господствует «массовая культура», человеческая индивидуальность убита тем, что приходится повторять стершиеся слова и фразы, утратившие от бесконечного употребления первоначальный смысл. Бахман в этих своих размышлениях идет вслед за многими философами нашего века, и прежде всего за тем же Хайдеггером.

Элизабет и Надя — родственные натуры, не случайно у них, действующих в разных произведениях, есть общие друзья и знакомые. Автор применяет любопытный прием, подчеркивающий, что все ее герои — люди одного круга: в нескольких новеллах на заднем плане проходят все те же эпизодические персонажи. В отличие от переводчицы Нади Элизабет предпочитает слову образ. Не случайно статьи она писала весьма посредственные, а фотожурналист из нее получился блестящий. Ее документальные репортажи публикуют крупнейшие иллюстрированные еженедельники. Она была допущена благодаря своей профессии к частной жизни политиков и банкиров, прославленных живописцев, музыкантов и кинозвезд. Элизабет Матрай предана своему делу, так как убеждена, что ее фоторепортажи о массовом голоде и нищете, о несправедливостях правосудия, о военных преступлениях несут миру истину. Но эту уверенность несколько поколебал ее гордый друг Франц Йозеф Тротта. Нищий аристократ, по природе своей изгой и прирожденный неудачник, он привык занимать в жизни позицию стороннего наблюдателя. Про-

фессиональные восторги Элизабет он остужает, объясняя ей, что критический пафос ее фоторепортажей включается в отработанную систему массовой прессы как своего рода острая приправа к развлечениям и сенсациям. Ему кажется, что никакая горькая правда не пробудит обывателя от спячки. Вряд ли скептик Тротта абсолютно прав. Пусть в еженедельниках ее материал интегрируется и преподносится в соответствующей упаковке. Но ведь демократический читатель выработал дифференцированный подход, научился отбирать то, что важно и нужно. Для самой Элизабет Матрай пассивная позиция невозможна. Приближаясь к пятидесятилетнему рубежу, она раздумывает над пережитым, пытается понять, почему ее судьба складывалась всегда наперекор ее воле и ее желаниям. Она сентиментально счастлива в доме старика-отца, где прошло ее детство. Тем не менее она стремится скорее вырваться из этого спокойствия навстречу последней любви и беде.

Психологическая проза Ингеборг Бахман по сути своей антибуржуазна. Всю свою недолгую жизнь австрийская писательница размышляла над тем, почему невозможно свободное самоосуществление человека, почему ее соотечественники и современники вынуждены сами предавать свои идеалы, следовать принципам, которым они не доверяют. В рассказе «Тридцатый год» она выдвигает самое серьезное обвинение существующему порядку вещей: «Этот недостойный мир и есть результат беспрерывного отказа от свободы». Внушить человеку любовь к свободе, уважение к себе как к личности стремилась всем своим творчеством поэтесса и прозаик Ингеборг Бахман.

В. ПРОНИН.



Политика и наука

ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ МИРА

История внешней политики СССР. 1917—1975. М. «Наука». 1976. В двух томах. Т. 1. 1917—1945 гг. 519 стр. Т. 2. 1945—1975 гг. 671 стр.

В рецензируемых томах как бы спрессованы две истории — Советского социалистического государства и его внешней политики — более чем за полвека.

Эти две истории неразрывны и во времени

и по самой сути своей, ибо внешняя политика социалистического государства, как, впрочем, и любого другого, вытекает из внутренней, определяется в конечном счете характером экономического и социального

стройка. Каков строй, такова и его «визитная карточка», которую он вручает окружающему миру.

Как подчеркивал В. И. Ленин, «самые глубокие корни и внутренней, и внешней политики нашего государства определяются экономическими интересами, экономическим положением господствующих классов нашего государства»¹. И эти глубокие корни, органическая слитность социалистической внутренней и внешней политики воочию предстают перед нами со страниц фундаментального коллективного научного труда. Первые пятилетки, заложившие основу индустриальной и научно-технической мощи, создание в послевоенные годы атомного и термоядерного оружия, ракетно-космической техники, успехами которой восхищалось все человечество, когда был запущен первый искусственный спутник Земли, — так неуклонно рос мирный потенциал, укрепляясь и расширяясь базис советской внешней политики. Именно этот базис на всех этапах развития Советского государства создавал условия для эффективности его внешнеполитической деятельности, которая в свою очередь была направлена на то, чтобы обеспечить необходимые внешние условия для развертывания базиса.

Шесть десятилетий социалистическая внешняя политика верно служит своей главной цели — формированию такой международной обстановки, которая позволяла бы успешно осуществлять социалистическое и коммунистическое строительство. После победы Великого Октября ленинская дипломатия сумела обеспечить молодой республике необходимую передышку заключением Брестского договора, а затем, в 20-е годы, — возможность залечить раны, нанесенные иностранной военной интервенцией и гражданской войной. Мир, завоеванный после поражения интервентов и белогвардейцев, удалось сохранить в течение двух десятилетий. И хотя попытки предотвратить вторую мировую войну не увенчались успехом из-за мюнхенского сговора западных держав с агрессором, советской дипломатии все же удалось несколько отсрочить войну, предотвратить объединение империалистического мира против страны социализма, которое планировали «мюнхенцы».

После великой победы над фашизмом, продемонстрировавшей всему миру колос-

сальное могущество великой социалистической державы — а она еще недавно представлялась значительной части международной буржуазии «колоссом на глиняных ногах», — советская дипломатия успешно противостояла планам «мирового господства» американского империализма, который, сказочно разбогатев на войне, на бедствиях народов Европы и Азии, решил, что пробил его час для того, чтобы «отбросить коммунизм», подавить национально-освободительную борьбу, застопорить и обратить вспять весь мировой революционный процесс. Стратеги империализма сколотили НАТО и другие антисоветские военные блоки, опоясали рубежи социалистического мира сотнями военных баз, не раз испытывали на прочность те или иные звенья мировой социалистической системы. И если вот уже тридцать с лишним лет человечество избавлено от ужасов новой войны, если опасность ее отодвинута, то заслуга в этом принадлежит прежде всего социалистической внешней политике, сочетающей конструктивный поиск путей укрепления всеобщего мира с непримиримостью и твердым отпором любым агрессивным поползновениям.

Внешняя политика СССР отстояла не только революционные завоевания государства, которое представляла на международной арене. Социалистической политике органически присущ интернационализм. Еще до второй мировой войны СССР стал важнейшим оплотом международного мира, опорой народов, борющихся против империализма, за свою свободу и независимость. Ленинская внешняя политика КПСС и Советского правительства, советская дипломатия, представляющая собой инструмент этой политики, приложили все усилия к тому, чтобы обуздать агрессоров, оказать активную помощь народам Китая, Испании и других стран, ставших их жертвами.

После победы во второй мировой войне международная роль СССР в огромной мере выросла. На пути агрессивной политики империализма встал такой заслон, такой оборонительный вал, преодолеть который было уже невозможно без самоубийственного риска. В послевоенные годы Советский Союз сумел защитить новые социалистические страны в Европе и Азии, а позже Кубу в Америке, сорвать попытки американского империализма и его союзников восстановить в них старые порядки. Решительные меры СССР не раз преграждали путь империалистической экспансии на Ближнем Востоке,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 327.

помогали арабским народам отстоять свою свободу и независимость. Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Афганистан, Индия, Алжир, Индонезия, Бангладеш, Ангола — вот далеко не полный перечень стран, которые в своей борьбе за национальное освобождение и укрепление завоеванной независимости получили активную поддержку Советского Союза.

Историю называют лучшим и самым справедливым судьей. И это в полной мере относится к оценке того, насколько правильна и результативна внешняя политика государств. В двухтомном труде о внешней политике СССР на основе более чем полувековой практики подведены итоги, которым нет ни прецедентов, ни аналогий в развитии человеческого общества. Шестидесятилетие Советского государства и его внешней политики вместило в себя события и сдвиги такого масштаба, которые в значительной степени изменили всю картину современного мира.

Два основных этапа прошла история внешней политики СССР. Первый начался с победой Великого Октября и продолжался до отпадения от капитализма более чем десятка стран Европы и Азии, то есть примерно до конца второй мировой войны. В течение этого времени СССР и Монгольская Народная Республика были единственными социалистическими странами на земном шаре. Второй этап, продолжающийся на наших глазах, связан с ликвидацией капиталистического окружения, в котором СССР находился с 1917 года, и возникновением мировой социалистической системы. В рамках этой системы сформировалось могучее ядро — социалистическое содружество государств с такими эффективными механизмами экономического и политического сотрудничества, как Совет Экономической Взаимопомощи и Варшавский Договор. Этот братский союз — залог и гарант дальнейшего успешного развития мирового социализма, вообще всего освободительного движения и социального прогресса. И вместе с тем он важнейший фактор обуздания агрессивных сил империализма и предотвращения новой мировой войны.

В рецензируемом труде глубоко и детально исследуется процесс становления и возмужания международного союза социалистических государств, который уже сейчас играет ведущую роль в судьбах человечества, в мировой политике и которому суждено еще более великое грядущее. Такое

исследование основных черт, закономерностей и тенденций развития социалистического содружества является хорошим подспорьем для историков будущего, которые безусловно снова и снова будут возвращаться к середине XX века, когда социализм превратился в мировую систему.

Менее шестидесяти лет назад социализм занимал 16 процентов территории земного шара и насчитывал 7,8 процента его населения. Ныне социалистический мир занимает 26 процентов территории нашей планеты с 35 процентами ее населения.

Шестидесять лет назад началось и соревнование двух систем на экономическом поприще. Тогда Советская страна отставала от США по производству промышленной продукции не меньше чем в 8 раз. В годы разрухи отставание даже возросло. Но довоенные пятилетки позволили сократить разрыв, который стал особенно заметно убывать в пору зрелой социалистической экономики. В 1975 году производство промышленной продукции в СССР превысило четыре пятых того, что дала индустрия самой могущественной и технически развитой капиталистической державы. Более того, по добыче нефти, угля, железной руды, выплавке стали, чугуна, по производству тепловозов, электровозов, тракторов (суммарной мощности двигателей), цемента, хлопка, льна, минеральных удобрений и ряда других важнейших видов продукции СССР опередил США и прочно занял первое место в мире.

Вдумаемся в еще одно сопоставление. По общему объему промышленного производства страны СЭВ превосходят каждый из трех крупнейших центров экономической мощи современного капитализма — США, интеграционную группировку девяти стран «Общий рынок» и Японию. Социалистическое содружество, стало быть, не только самый динамичный по темпам экономического развития район земного шара, но и не имеет себе равных и по абсолютным масштабам экономической мощи.

Формирование социалистического содружества сопровождалось крушением колониальной системы империализма, появлением нескольких десятков независимых государств в Азии и Африке, большинство которых заняло антиимпериалистическую позицию. В результате всех этих изменений произошел подлинно эпохальный сдвиг в соотношении политических сил на мировой арене в пользу мира, демократии и социа-

лизма, в ущерб империализму, реакции и милитаризму. Такое смещение в общем балансе и расстановке сил позволило значительно укрепить и материальную основу и притягательную силу политики мирного существования.

Хотя природа империализма и не изменилась, его былому безраздельному господству пришел конец. Он уже не доминирует на мировой арене. Сфера его владычества сузилась, возможности сократились, и он все чаще и чаще ощущает на плечах смиренную рубашку. Отрезвлению тех, кто еще недавно рассчитывал на свою неуязвимость и безнаказанность в случае глобального конфликта, надеялся отсидеться в стороне от театра военных действий, способствовали и коренные изменения в стратегической обстановке. Америке, чья территория потеряла былую неуязвимость в результате появления межконтинентальной ракетной техники, пришлось отказаться от наиболее агрессивных доктрин, прежде всего таких, как «отбрасывание коммунизма» посредством ядерного удара или опережающий ядерный удар, который потерял свой смысл ввиду неотвратимости немедленного возмездия. В то же время провал американской авантюры во Вьетнаме ознаменовал собой и крах пентагоновской стратегии «локальных», «ограниченных» войн.

На основе анализа всех этих изменений КПСС, международное коммунистическое движение пришли к выводу: в новых условиях объединенными усилиями социалистического содружества, миролюбивых не социалистических государств, международного рабочего класса и всех сил, отстаивающих мир, мировую войну можно предотвратить. Вывод, который содержится во введении к первой части двухтомника, хорошо обобщает исторические сдвиги и перемены, описанные на его страницах: «Советская политика осуществлялась в условиях непрестанной и тяжелой борьбы народа, защищавшего свое государство против целого сонма непримиримых врагов. В течение десятилетий Советскому государству пришлось одному выдерживать натиск мирового империализма. Советское государство выиграло все войны, которые ему пришлось вести. Оно преодолело происки многочисленных, сильных и опасных врагов и отвоевало себе то выдающееся положение, которое занимает ныне в качестве великой социалистической державы, оказывающей огромное и возрастающее влияние на весь мир, способной

воздействовать на всю совокупность международных отношений современной эпохи, на общее направление их развития».

Борьба социалистической и империалистической внешней политики вот уже свыше полувека составляет ось всей международной жизни. Два мира — два внешнеполитических курса; этот контраст встает во весь рост со страниц обоих томов. Их авторы, используя обильный документальный материал, воссоздают живую, динамичную, подчас захватывающую своим драматизмом картину борьбы на дипломатическом фронте. Опыт этой борьбы — отнюдь не только достояние истории. Он подспорье для внешней политики. Он наставляет, предостерегает, помогает ориентироваться в лабиринте современных международных отношений. При знакомстве с этими книгами возникают многочисленные ассоциации, аналогии, которые соединяют мостом преемственности день вчерашний и день сегодняшний. Сопоставления помогают ясно различать то новое, что рождается в международной жизни, и те ситуации и политические явления, о которых обычно говорят: «История повторяется».

Во втором томе приведено примечательное признание бывшего государственно-го секретаря США Джона Фостера Даллеса, который вошел в историю дипломатии послевоенных лет как один из самых ярких поборников «холодной войны», как автор доктрины балансирования на грани войны. «Советский коммунизм», — писал Дж. Ф. Даллес в книге «Война или мир», — избегает всего того, что похоже на войну одного народа против другого... Некоторые из наиболее высокопоставленных и компетентных людей в Европе говорили мне недавно, что они не верят, чтобы коммунистическая партия осмелилась приказать русским армиям двинуться на Западную Европу в качестве армий вторжения, если только Россия сама не подвергнется нападению и русскому народу будет ясно, что эти действия необходимы для самозащиты... Большинство осведомленных людей склонны считать, что не существует непосредственной угрозы вторжения Красной Армии из России в Западную Европу или в Азию для ведения агрессивной войны».

И сейчас высокопоставленные и компетентные политики Западной Европы — Гельмут Шмидт, Валери Жискар д'Эстен, Джеймс Каллагэн, Бруно Крайский и другие — не верят в агрессивные намерения

СССР и открыто заявляют об этом. И тем не менее на Западе продолжают спекулировать на старом мифе о «советской угрозе». И не только спекулировать. Цифры военных бюджетов в западных странах неуклонно ползут вверх.

В рецензируемых книгах мы встречаем немало и других политико-идеологических «операций» против социализма, к которым охотно прибегает империалистическая реакция. Вспомним печально знаменитый «ультиматум Керзона» 20-х годов. Советский Союз тогда стремились представить в качестве нарушителя норм международного права, подняв шумную кампанию по поводу религиозных «преследований». И вот теперь, полвека спустя, в 70-е годы, кое-кто на Западе вновь пытается исключить Советский Союз из круга «цивилизованных народов», клеветнически обвиняя его в «нарушении прав человека»...

Авторы коллективного труда не ограничиваются последовательным и строго объективным изложением событий. Они группируют эти события по важнейшим темам, помогая читателю понять и осмыслить основные направления и тенденции развития международной жизни и политики, почувствовать «связь времен». На широком историческом фоне, освещенном светом марксистско-ленинского анализа, коллектив авторов раскрывает основные черты советской внешней политики и дипломатии, ее новаторский и инициативный, глубоко конструктивный, созидательный характер.

Социалистическая внешняя политика внесла в международные отношения дух гуманизма и творчества, высокой ответственности за судьбы мира и народов, новые приемы и методы дипломатической работы. Она отбросила прочь атрибуты старой дипломатии — обман и ложь, «талейранство» в худшем смысле этого слова, тайную дипломатию за спиной народов и государств. Советской внешней политике нечего скрывать от своего и остальных народов, это открытая политика, предусматривающая максимальную гласность в международном общении. Ей присущ подлинный демократизм.

Другие характерные черты советской внешней политики: верность своему слову, полное соответствие слов и дел, строгое соблюдение взятых на себя обязательств, глубокий, подлинно научный подход к явлениям и фактам международной жизни, пристальное исследование закономерностей и движущих сил нашего «меняющегося

мира», расстановки сил на международной арене.

Научный, марксистский анализ, как отмечается в книге, позволяет социалистической внешней политике разоблачать политику империализма, выделять из словесной оправы дипломатических нот и речей ее классовую сущность, отличать слова от дел, за красивыми фразами буржуазных политиков распознать и верно оценить их действительные замыслы. В то же время советская внешняя политика не забывает ленинского совета дифференцированно подходить к оценке буржуазного лагеря, различать в нем представителей умеренного крыла, тяготеющих к реализму, избегать огульного подхода, сокращающего возможности для гибкой и эффективной политики и для приобретения союзников, хотя бы и временных.

В. И. Ленин учил сочетать в политике, в том числе и внешней, высокую принципиальность с гибкостью. Он отменял всякое сектанство и догматизм. Ленин не чуждался компромиссов в тех случаях, когда они, не нанося ущерба принципам Коммунистической партии, приносят пользу Советскому государству, строительству социализма и коммунизма, претворению в жизнь его внешнеполитических интересов.

Особое место в современных международных отношениях занимает период 60—70-х годов, который ознаменовался переходом от «холодной войны» к разрядке международной напряженности. Он связан прежде всего с реализацией внешнеполитической программы XXIV и XXV съездов КПСС, которая вошла в сознание народов и дипломатический обиход как советская программа мира и советское мирное наступление.

Государственные деятели и международные обозреватели самых различных политических ориентаций сходятся в том, что последнее десятилетие стало самым динамичным, насыщенным и — это наиболее существенно — созидательным десятилетием за весь послевоенный период. Если попробовать свести к общему знаменателю всю гамму событий, обилие перемен, весь свод международных договоров и соглашений, то он будет выглядеть так.

В Европе решены политико-территориальные проблемы, которые являлись камнем преткновения в течение четверти века, а в результате общеевропейского совещания в Хельсинки принята хартия мирного сосуще-

ствования и отвергнута, по сути дела, политика «с позиции силы». В Азии потерпела провал стратегия локальных войн империализма. Еще четче обозначилась перспектива крушения фашистских режимов и оплотов колониализма, особенно после того как рухнула последняя колониальная империя — португальская.

На мировой арене начался и продолжается переход от «холодной войны» и жесткой конфронтации к политике разрядки. Нормализованы и продолжают развиваться по восходящей линии отношения государств различных систем. Фундаментом прогрессирующей перестройки международных отношений в духе принципов мирного сосуществования становится создание прочной инфраструктуры разрядки (двусторонние и многосторонние международно-правовые договоры, соглашения о деловом сотрудничестве и совместном решении общечеловеческих экологических и экономических проблем и так далее). Достигнут целый ряд полезных соглашений, оказывающих сдерживающее влияние на гонку вооружений. Общий вывод: международная жизнь стала безопаснее, а ее структура более прочной, угроза всеобщей войны уменьшилась, перспектива длительного сохранения мира стала отчетливой, реальной.

Главная движущая сила всех этих положительных перемен на мировой арене — инициативная и динамичная, конструктив-

ная и эффективная внешняя политика КПСС и Советского государства. «Ни одна страна,— подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своей речи в Туле 18 января этого года,— не выступала перед человечеством с такой широкой, конкретной и реалистической программой, нацеленной на ослабление, а затем и полное устранение опасности новой войны, как это сделал Советский Союз».

Как складывалась и формировалась эта программа, как она все более успешно воплощается в жизнь, и рассказывает убедительным языком фактов и документов двухтомник истории советской внешней политики. Книга вполне отвечает своему назначению: послужить более углубленному пониманию советской внешней политики как в самом Советском Союзе, так и за его рубежами. История помогает глубже понять современность, цели, мотивы, методы сложной и многогранной внешнеполитической деятельности, которая разворачивается на наших глазах.

Два тома истории ленинской внешней политики СССР— крупный, капитальный вклад в историческую науку, в исследование проблем внешней политики, удельный вес которой в жизни современного человечества неуклонно возрастает.

Вл. КУЗНЕЦОВ,

кандидат филологических наук.



ОЧЕРКИ О РУССКИХ ИЗДАТЕЛЯХ

С. В. Белов, А. П. Толстяков. Русские издатели конца XIX—начала XX века. Л. «Наука». 1976. 170 стр.

Кто из библиофилов, страстных любителей книги, не преклонялся перед Энциклопедическим словарем братьев Гранат? Кого из книголюбов не восхищали «Памятники мировой литературы» и «Записи прошлого» М. В. и С. В. Сабашниковых, серця «Жизнь замечательных людей» Ф. Ф. Павленкова?..

Однако, зная книги, достаточно ли хорошо мы осведомлены о самих издателях, об их деятельности, творческой судьбе, жизненном пути? Скажем прямо: не очень. По той простой причине, что труды на эту тему редкость. Вот почему с таким удовлетворением можно отметить факт: наша книговедческая литература пополнилась новой,

весьма примечательной работой С. Белова и А. Толстякова «Русские издатели конца XIX — начала XX века». По существу, это первая популярная книга подобного рода.

Одной из наиболее ярких фигур в ряду издателей является Ф. Ф. Павленков, названный Н. А. Рубакиным фанатичным издателем, поставившим своей задачей воспитывать с помощью книги «создателей нового строя, борцов против строя старого». Страстный приверженец Писарева, Павленков после его смерти берет на себя организацию сбора пожертвований на памятник Писареву и на учреждение стипендии его имени в Петербургском университете. Под различными предложениями царская охранка

высылает Павленкова вначале в Вятку, затем в Ялutorовск, но эти испытания не сломили стойкости его духа, не изменили его воззрений. Вернувшись из ссылки, Павленков с утроенной энергией берется за книгоиздательскую работу.

В 1889 году Павленков начинает издавать свою самую знаменитую серию — биографическую библиотеку «Жизнь замечательных людей», открывая для читателей многих прогрессивных деятелей культуры.

«Ф. Ф. Павленков относился к книге страстно и с боевым чувством... В этом море заглавий и фолиантов у него были свои друзья, для которых он был готов на всевозможные жертвы, и враги, которых он страстно ненавидел и с которыми боролся противоположными изданиями». Эти слова В. Г. Короленко, сказанные о Павленкове, можно было бы в значительной степени отнести и к некоторым другим издателям.

В книге прекрасно показана роль издателя, бравших на себя смелость выпускать произведения подлинно демократического, а то и открыто революционного содержания. Братья Гранат в 1915 году публикуют в своем Энциклопедическом словаре под псевдонимом В. Ильин статью В. И. Ленина «Карл Маркс», они издают книги в специальной серии с характерным названием «Классовая борьба в XIX столетии». Братья Сабашниковы выпускают книгу К. А. Тимирязева «Жизнь растения», работу ученика и сподвижника Ч. Дарвина А. Уоллеса «Дарвинизм», книгу В. Розенберга и В. Якушкина «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем», в которой собраны факты вопиющего цензурного произвола.

П. П. Сойкин печатает статьи К. Э. Циолковского, поддерживает идеи гениального ученого. Издаваемый Сойкиным журнал «Научное обозрение» становится одним из немногих русских легальных периодических органов, систематически публикующих марксистские статьи. В журнале появляются работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова.

В книге верно подчеркнута мысль: издатель, выпускавший марксистскую литературу, не руководствовался материальными соображениями. Капитала на этом они не наживали. Значит, решающее значение здесь имела сила идей, убеждений, воззрений. Под чьим влиянием формировались эти воззрения? К сожалению, в книге не всегда можно найти ответы на эти вопросы. Лишь раскрывая издательскую деятельность

Солдатенкова, авторы дают характеристику его окружения.

Взгляды Солдатенкова формировались под влиянием его тесной связи с членами московского кружка передовой интеллигенции, руководимого профессором Грановским. Чтобы понять роль этого кружка, достаточно сказать, что именно он стал «главным поставщиком тайной корреспонденции для «Полярной звезды». Конечно, было бы бесплодным занятием выявлять в общественной позиции Солдатенкова четкую политическую линию, стройную систему общественно-политических взглядов. Важно одно — он постоянно поддерживал все прогрессивное, демократическое. И об этом свидетельствует прежде всего направленность его издательской деятельности.

Естественнонаучная материалистическая литература, журналы «Знание для всех» и «Природа и люди» («материалистический орган, который вел борьбу с суевериями и религиозными предрассудками в народе», по словам П. В. Маненкова) и, наконец, сельскохозяйственная литература — вот что определяло лицо издательства «П. П. Сойкин».

Видное место в книге занимает раздел, посвященный братьям Михаилу и Сергею Сабашниковым, создавшим, по словам К. С. Станиславского, «замечательное в культурном отношении издательство».

Авторы справедливо рассматривают М. и С. Сабашниковых как издателей, отличавшихся постоянством и настойчивостью, выполнявших свою культурную миссию на протяжении сорока лет. Огромный авторитет завоевали их серийные издания «Памятники мировой литературы», «Русские Пропилеи», «Пушкинская библиотека», «Записки прошлого» и другие. Показывая многолетнюю работу издателей, авторы заостряют внимание читателя на тех достижениях, которые принесли прочную славу, говоря словами критика А. Эфроса, «своеобразной Сабашниковской Академии».

Свое дело братья начали тогда, когда рынок сбыта был поделен между крупными производителями книги и каждый из них имел свою «сферу влияния»: русская классическая литература издавалась в основном А. Ф. Марксом, фантастика и приключения — П. П. Сойкиным, медицинская — К. Л. Риккером и т. д. Как же удалось М. и С. Сабашниковым в таких сложных условиях создать издательство, не только выдержавшее конкурентную борьбу, но и принесшее огромную славу его основателям?

Этот вопрос возникает у читателя еще и потому, что он сталкивается, по существу, с фактом беспрецедентным в истории русского издательского дела: когда Михаил и Сергей Сабашниковы задумали издать первую книгу, первому было семнадцать лет, а второму пятнадцать. Но авторы дают убедительный ответ на возникшие перед читателем вопросы. «Сабашниковы были блестяще образованными людьми, с большими способностями к науке». Выпускники Московского университета, они «могли составить собственное мнение» о книге, к которому, «как правило, прислушивались сами авторы монографий».

Но это лишь одно из достоинств, присущих издателям. По мере ознакомления с их деятельностью мы узнаем и о других качествах: умении сплотить вокруг себя передовых ученых, решимости нередко обходить цензурные запреты, об их бескорыстии. Издательство никогда не стремилось извлечь прибыль, а довольствовалось тем, что работало на условиях самоокупаемости изданий. Именно поэтому с Сабашниковыми сотрудничали передовые деятели науки и культуры России К. А. Тимирязев, М. А. Мензбир, В. Н. Львов, Ф. Ф. Зелинский и другие.

Издательство М. и С. Сабашниковых — одно из немногих частных издательств, не национализированных советской властью. Авторы книги приводят слова А. В. Луначарского: «Издательство Сабашниковых имело высококультурное значение, что признавалось, между прочим, и самим Владимиром Ильичем. При обсуждении вопроса о частных издательствах он сказал мне: «Наиболее культурным из них, вроде Сабашниковых, надо помогать, пока не будем в силах их заменить полностью».

Авторы справедливо отмечают, что многие русские издатели были людьми высокой эрудиции, большой культуры, острого восприятия всего нового, передового. Но, на мой взгляд, в книге несколько переоценивается значение издателей в литературных судьбах писателей и деятелей науки. Проявленный интерес не всегда свидетельствует четких воззрений и уж совсем далеко не всегда единомыслия или идейной близости. В не меньшей степени можно было бы говорить о другом, а именно о влиянии пи-

сателей на издателей. К сожалению, эта сторона не находит должного освещения.

Правда, об идейных позициях некоторых издателей говорится недвусмысленно. Так, авторы подчеркивают, что Сойкин не был ни марксистом, ни революционером. Его идейные позиции охарактеризованы в книге словами писателя Л. Пантелеева, сказавшего, что «Петр Петрович Сойкин и в тех «либерально-демократических» одеждах, которые он носил, имеет право на благодарность и внимание русского читателя».

Много сделал для издательского дела и И. Д. Сытин. Выпуск им прогрессивных и дешевых изданий имеет большое культурно-просветительное значение. Но авторы справедливо замечают: «Сытин-издатель — фигура чрезвычайно противоречивая, сложная. Умный, смелый, предприимчивый, он сыграл огромную роль в просвещении русского народа». Да, действительно это так, этому веришь, поскольку данный тезис подтверждается многочисленным фактическим материалом. Но мы знаем, что И. Д. Сытину присущи были и иные черты, и авторы не скрывают этого, упрекая издателя в «известной всеядности». «Именно он выпускал, — пишет С. Белов и А. Толстяков, — например, более трети всей издававшейся в России «духовно-нравственной» литературы». Однако, сказав об этом, авторы тут же спешат объявить, что «это была дань историческим условиям времени». Собственно говоря, вывод ничего не объясняет. Разве не в это же время жили и боролись с духовенством воинствующие атеисты? Разве не тогда православной церковью предавался анафеме Лев Толстой, с которым так тесно был связан Сытин? Неполнота характеристики издателя придает его фигуре некоторую однобокость.

В целом же книга С. Белова и А. Толстякова и удачная и нужная. Думаю, что даже человек, подготовленный в области книговедения, прочитав очерки, извлечет для себя немало пользы. Насыщенная фактическим материалом, многочисленными аналогиями и сопоставлениями, книга обогащает читателя не просто теми или иными данными, а дает целостное представление об участии прогрессивных издателей в процессе развития русской культуры.

АВ. ЧИРВА.



ПОВЕДЕНИЕ: МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕГУЛЯЦИИ

Психологические проблемы социальной регуляции поведения.
М. «Наука». 1976. 368 стр.

Что такое поведение? Что им движет? Каковы «механизмы», лежащие в его основе? Эти и многие другие вопросы, вытекающие из них, давно и настойчиво интересуют не только ученых (психологов, педагогов, социологов, философов, юристов), но и практических работников (руководителей и воспитателей) и творческих — прежде всего писателей, которые в конечном счете всегда имеют дело с характерами и поведением людей.

Наука давно пытается ответить на эти вопросы. Однако они настолько сложны и многогранны, что ответы на них чаще всего страдают односторонностью, или, как говорят ученые, редукционизмом, когда сложное явление сводится к его части, или (другая беда) отвлеченностью, когда за общими, пусть и правильными положениями исчезают важнейшие процессы и детали явления...

В последнее время проблемами поведения активно занимается недавно возродившаяся у нас социальная психология — наука, которая по характеру своему, рассматривая личность в различных социальных общностях и группах, способна, видимо, ближе других наук подойти к адекватному пониманию глубинных механизмов поведения.

Новым шагом в этом направлении явилась коллективная работа «Психологические проблемы социальной регуляции поведения», подготовленная научными сотрудниками Института психологии Академии наук СССР. Книга эта, как сказано в предисловии, является первым монографическим исследованием теоретических и методологических проблем регуляции поведения. Она посвящена изучению психологических закономерностей, «психологических механизмов действия средств социальной регуляции поведения, особенностей и специфики социального поведения и проявления личности человека, закономерностей формирования внутреннего мира личности, ее мотивационной сферы, ее нравственных убеждений, социальных установок, потребностей и т. п.».

Две существенные черты определяют особенности книги. Первая из них — системный подход к анализу процесса фор-

мирования личности и ее поведения; вторая — исследование механизмов социальной детерминации поведения, которое авторы понимают как раскрытие закономерностей перехода внешней детерминации во внутренние побудительные мотивы.

Системный подход не только охватывает всю совокупность основных факторов, определяющих поведение человека, но и дает возможность выявить иерархию этих факторов в соответствии с их значимостью. Факторы эти могут быть объединены в три группы: материальные условия жизни общества; объективные общественные, прежде всего производственные, отношения; формы общественного сознания (куда, кстати говоря, входят литература и искусство). В этой системе личность человека играет отнюдь не пассивную роль — она взаимодействует с внешними факторами в такой степени, что сама становится важнейшим фактором своего формирования и поведения.

Эта четкая марксистская позиция позволяет авторам правильно оценить концепции, господствующие в современной зарубежной философии, психологии и социологии, в частности концепции Парсонса и Скиннера, которые каждая на свой лад механистически трактуют взаимоотношения человека с внешним миром и приводят к идеалистическим выводам.

Собственно психологический, социально-психологический аспект детерминации поведения связан с выявлением ее механизмов. Механизмы же «социальной детерминации поведения личности раскрываются при исследовании воздействия на личность социальной среды, микросреды, коллектива, в анализе связи общественных отношений со структурой личности, посредством выделения в самой личности социально значимых свойств, при рассмотрении личности как элемента конкретных социальных структур, совокупности социальных функций и социальных ролей, выделения и изучения ценностной ориентации личности». Исследованию этих механизмов посвящена основная часть книги.

Большой интерес представляет изучение психологических механизмов воздействия на поведение людей социальных норм, под которыми понимаются установившиеся пра-

вила и модели поведения. Вопрос о том, почему одни и те же общеизвестные и общепризнанные нормы по-разному проявляются в поведении различных людей, о том, каковы механизмы их действия на личность, остается одним из старых и нерешенных вопросов. В книге предлагается гипотеза, объясняющая это явление. Социальные нормы могут быть представлены, внедрены в самой «структуре индивидуального сознания и поведения и именно через структуру, ее преобразование, ее перестройку... оказывают регулятивное воздействие на поведение человека». Этот подход, отличный от распространенного понимания усвоения нормы как знания, нам кажется плодотворным и нуждающимся в дальнейшей разработке.

В отдельную главу, и вполне правомерно, выделены вопросы мотивации поведения. Мотивационная система понимается как стержень личности, к которому стягиваются такие ее свойства, как направленность, ценностные ориентации, социальные ожидания, притязания и другие социально-психологические характеристики. Образуется сплав движущих сил поведения — потребностей, интересов, целей, влечений, идеалов и проч. За одним и тем же поступком могут лежать различные мотивы и даже иерархия мотивов, где какой-то из них является главным, смыслообразующим. Процесс формирования мотивационной структуры — это один из важнейших механизмов регуляции поведения. Он протекает как стихийно, снизу вверх, так и организованно, сверху вниз. Организация взаимодействия этих двух сторон процесса — важная задача воспитания в широком смысле. Мотивационная система закрепляется в личности. Эти образования нельзя игнорировать — их надо учитывать и, если требуется, умело перестраивать.

«Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей...»¹ — это положение Маркса лежит в основе изучения регуляторной функции потребностей. К сожалению, глава, посвященная этой проблеме, ограничивается описанием природы и путей развития потребностей и не затрагивает психологических механизмов их воздействия на поведение человека. Можно на-

деяться, что это будет следующий шаг исследования.

Это же замечание, хотя и в меньшей степени, возникает при ознакомлении с главой, в которой рассматривается воздействие обычаев и ритуалов на поведение. Она представляет собою добросовестный обзор советской и зарубежной литературы по этому вопросу, в некоторой части критический, но глубокого исследования механизмов воздействия обычаев и ритуалов на поведение людей не содержит. Между тем выявление этих механизмов представляет собой немаловажную задачу науки.

В этом отношении выгодно отличается глава о нравственной регуляции поведения, содержащая данные эмпирических работ. Взяв для рассмотрения широко распространенную нравственную категорию «коллективизм», исследователь выявляет ее сложность и противоречивость, требующие разделить ее по крайней мере на две категории — собственно коллективизм и «групповой эгоизм»; для последнего характерна замкнутость целей внутри группы. Воздействие этих двух нравственных регуляторов на поведение людей различно, а иногда и противоположно, хотя внешне распознать их отличие бывает довольно затруднительно, что, кстати сказать, показал и эксперимент, проведенный исследователем. Можно согласиться с ним, что продолжение работы в этом направлении позволит «в дальнейшем перейти к широкому экспериментальным исследованиям психологических механизмов нормативно-нравственной регуляции поведения человека».

В последние годы все больше уделяется внимания изучению системы ценностей и ценностных ориентаций личности. Думается, что это направление чрезвычайно плодотворно, хотя и сопряжено с большими трудностями «технического» порядка — методы исследования в этой области еще несовершенны. В монографии ценности рассматриваются как регуляторы поведения и, что особенно важно, предпринимается попытка выявить социально-психологические движители групповой активности. Но, к сожалению, делается это лишь умозрительно или путем анализа уже опубликованных работ советских и зарубежных авторов. Между тем окружающая нас сегодня жизнь дает богатый материал для подобных обобщений.

Психологическое понятие «установка»

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 245.

широко используется в советской и зарубежной психологии. Особенно много для ее разработки сделала грузинская группа психологов, возглавлявшаяся Д. Узнадзе. В книге рассматривается социальная установка (аттитюд) как фактор регуляции поведения. Этот вид установки определяется как «фиксированный психический образ, имеющий единый «личностный смысл» для членов данной социальной общности и выполняющий функцию психологического интегратора их поведения». В этом состоит то новое, что вносится в психологию установки. Понимание установки как образа делает более конкретным это очень широкое и недостаточно определенное понятие и, следовательно, открывает новые возможности для его изучения, в частности и эмпирического.

В заключительной главе рассматриваются вопросы отклоняющегося поведения. Этот термин взят из зарубежной социологии и обозначает в ней поведение, не соответствующее разного рода социальным нормам. Думается, что перенесение этого термина в советскую науку неудачно. Дело в том, что буржуазные социологи и психо-

логи относят к отклоняющемуся поведению все виды поведения, не соответствующие норме независимо от их содержания. Таким способом ими как бы уравнивается преднамеренное и непреднамеренное нарушение нормы, вредные и полезные поступки, уголовное преступление и революционное действие. К чему ведет такой объективистский подход, понять нетрудно. Апологетами капитализма он используется для защиты его устоев. Но и по содержанию последняя глава ограничивается лишь обзором литературы об отклоняющемся поведении, а когда заходит речь о регуляции этого поведения, совершенно не затрагивает глубинных механизмов регуляции (как стихийного формирования, так и организуемого исправления) антиобщественного поведения. Между тем в этом-то как раз и ощущается большая нужда.

В целом же книга — чрезвычайно полезный труд наших психологов. Теперь надо надеяться, что за первым шагом последуют и другие и что при этом будут учтены неизбежные в начале большого дела недостатки.

ВадиМ МОНАХОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

В. ПОМЕРАНЦЕВ. Зрелось пришла. Повести, рассказы, роман. М. «Советский писатель». 1976. 608 стр.

Избранное писателя — это, как правило, своеобразное подведение творческих итогов прожитого, а потому требования к произведениям, включаемым в такую книгу, особенно значимы, ибо избранное должно в себя включать не только творческие пики писателя, но и представлять этапы его творческого пути, глубину писательского «я», наконец, те основные нравственные принципы, которые характерны именно для данного писателя. Только в этом случае избранное станет главной книгой писателя.

«Зрелось пришла» — так по названию одной из повестей Владимира Померанцева названа эта книга. Бережно составленная А. В. Белявским, она вышла через пять лет после смерти писателя и раскрывает сегодняшнему читателю личность автора, четко обозначает нравственную проблематику его произведений.

В книгу включены повести «Зрелось пришла» и «Оборотень», роман «Дочь букиниста», рассказы «Загробная жизнь», «Шкапулка», «Встреча со сменщиком», «Сложный больной», «Валя» и «Мишкин возраст».

В. Померанцев писал остро и современно. Современность эта сказывалась не только в выборе сюжетов и разработке животрепещущих проблем, но прежде всего в гуманистической направленности произведений, в том, что главные их герои — герои-действователи, активно строящие наше сегодня, а потому непримиримые ко всему, что мешает этому строительству. Так, уже в первом крупном произведении «Дочь букиниста» писатель точно и ясно показал в лице главных своих героев Эммы, Бигля, Гайдауэра людей, активно борющихся за создание новой, демократической Германии.

Своеобразным внутренним продолжением «Дочери букиниста» стала повесть «Зрелось пришла», где писатель на жизненном материале конца 40-х — начала 50-х годов ставил сложные проблемы развития послевоенного советского общества, проблемы, с которыми приходилось сталкиваться его герою, помощнику районного прокурора Алексею Корневу. Повествование о том, как «приходит зрелость», как обретаются силы в борьбе со всем, что мешает восстановлению народного хозяйства, в борьбе с мещанами самого разного обличья, читается и сегодня с неослабевающим интересом. Пи-

сатель показал, как происходит становление молодого коммуниста, для которого жизнь, деловые, духовные интересы окружающих его людей — центр его внимания.

Трудные испытания выпадают на долю молодого прокурора. Тут-то и сказывается его характер. И одновременно нравственная позиция писателя. Померанцев всей душой за того, кто в трудную минуту не сгибается духовно, не мирится с ложью.

Писатель тяготеет к документальности, порой даже нелегко уловить, где кончается документ, где начинается писательский домысел («Оборотень», «Загробная жизнь», «Сложный больной» и т. д.). Особенно близок к очерку рассказ «Встреча со сменщиком».

Отказавшись от острой сюжетности, писатель увлекает нас раскрытием граней характера рабочего парня Витьки, за которым — тысячи сегодняшних молодых людей, строящих БАМ, предприятия Сибири и Дальнего Востока. Померанцев создает далекий от прописной благости, живой портрет современного молодого человека, истинно действующего.

Составителю книги удалось представить автора наиболее характерными для него произведениями. Отойдут в прошлое иные из проблем, о которых так живо и заинтересованно писал В. Померанцев, но жив и близок читателю останется пафос борьбы за наше новое, советское общество, антимещанская направленность книг писателя, останется высота его нравственной позиции.

Борис Яранцев.



ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА. Постоянство. Стихи. М. «Советский писатель». 1976. 151 стр.

Если попытаться обозначить контуры характера лирической героини в книге Людмилы Щипахиной «Постоянство», то, вероятно, надо будет прежде всего выделить семейный, домашний «инстинкт» («Мне нравится забота женщин всю жизнь лелеять свой очаг»), и женственность, и уязвимость души и сердца, открытых для «любви и страданий», и счастливые ощущения «первородной связи» с природой, и жажду книжного знания, и при всем этом дух кочевья, азарт познания неведомого («Плыть заливом надежды. У берега бед ночевать»).

Разумеется, я выделил не все грани лирического характера. Мне хотелось обратить внимание на главное, порою контрастирующее меж собой, чтобы показать широту и богатство природы, сказавшиеся в образе лирической героини книги. Существенно же это потому, что не так уж часто в стихах наших поэтов наблюдается гармония силы, мужской предприимчивости — и женственности, милой незащищенности в век рационализма и прагматизма. Чаще встречается что-то одно...

Видно, характером, натурой героини объясняется столь настойчивое, столь убежденно выраженное стремление к гармонии, к познанию духа, разумной души человека. На нее и уповаet поэтесса:

Она благословляет лад
Между людьми. И ждет ответа.
И вера праведная эта —
Ее незыблемый уклад.

Повелевает нами дух!
То счет предъявит. То возвысит.
Что видит глаз и слышит слух —
Все только от него зависит.

Не скажу, что во всех случаях широте охвата явлений соответствует глубина и поэтическая свежесть их постижения; сила инерции порою несет поэтессу своим течением по поверхности, но, надо отдать должное, Щипахина сопротивляется ей. Может быть, еще не с полным напряжением, но — сопротивляется.

Вот стихотворение «В читальном зале», оно в определенном смысле именно такое преодоление инерции. Инерции противопоставления жизненного опыта книжным знаниям, весьма заметного в лирике последних лет. Щипахина могла бы пойти по пути логического мудрствования насчет соединения того и другого, но нет! — она целиком углубилась в мир книг, который влечет к себе «за утоленьем жажды». И общение с книгами представляется ей верховным актом познания жизни, совсем не легким, ибо познание рождает еще большую тоску по непознанному:

Так каждый день иду с тоской
Сквозь дождь, сквозь ветер городской
Туда, где осиян
Не бледным солнцем, а строкой
Печатной мудрости людской
Всемирный океан!

Цена этого признания тем выше, что Щипахина отнюдь не книжная поэтесса, что жажда книжных знаний пришла к ней вместе с немалым жизненным опытом или, может быть, как его следствие.

Один из признаков подлинности дарования и его зрелости — улавливание психологических переходов, смены состояний в лирике. У Щипахиной есть несомненные удачи такого плана. Я бы назвал стихотворения «В воскресенье», «Вторая победа», «Это так у меня получалось...» и некоторые другие. В первом смена состояний дана не только эмоционально, но и закреплена в зрительной психологической детали.

Впрочем, без подробного анализа показать это трудно, и, адресуя читателя к

стихам Щипахиной. отмечу еще пластику ее письма. У нее приметливый глаз, которому она очень доверяет. Вот только в отборе деталей и красок не помешало бы больше строгости, благородной сдержанности. Не надо один выразительный и точный штрих, один мазок заменять или дополнять несколькими менее выразительными, как в стихотворении «Отражение в луже».

«Постоянство» Людмилы Щипахиной относится к тем поэтическим книгам, о которых интересно поговорить и поразмышлять, в ней есть десятка два стихотворения, которые выбиваются из привычного ряда и внушают перспективу нового рубежа зрелости. Я позволил себе здесь лишь конспективно наметить тему будущего, более подробного обсуждения ее творчества, поддержать постоянство жизненных целей (видим, это качество закреплено в названии книги) и постоянство движения, роста.

Ал. Михайлов.



ИБРАГИМ КЭБИРЛИ. Огненная судьба. Стихи. Авторизованный перевод с азербайджанского Владимира Цыбина. М. Воениздат. 1976. 144 стр.

Рассуждения о том, что «стихи не пишутся — случаются», что поэзия — это не профессия, а судьба, стали уже достаточно общим местом (если не сказать — аксиомой) и для самих поэтов и для их аудитории. И все же слово «судьба», вынесенное в заголовок поэтической книги, невольно задевает внимание.

Новый сборник азербайджанского поэта Ибрагима Кэбирли при всей неравноценности вошедших в него стихотворений — бесспорное свидетельство «своей строки, своей судьбы» его автора. «Сквозь пули... и картечь» шел лирический герой Кэбирли дорогой бойца. Военная страда в известной мере воздействовала на самую образную систему поэзии Кэбирли. Вот несколько характерных примеров: «А солнце, как рана, над нами пылает, лучами, как кровью густой, истекает»; «Я живу — на виду, мое сердце все время в разведке...».

Не надо обладать чересчур обостренным поэтическим чутьем, чтобы вывить лейтмотивный образ книги — образ огня. Именно в «огненном ключе» И. Кэбирли формулирует главный конфликт своей поэзии: «Огонь себя сжигает на огне, огонь с другим сражается огнем, огонь огня касается крылом». И в том же ключе его решает: «Огнем мы стали в яростном огне. Огонь сердце сильней огня войны... Ведь у огня крутого от огня не страх родится — мужество родится». Весьма показательно в этом смысле лучшее, на мой взгляд, стихотворение сборника — «Охалки лучей...». Однако уже в том цикле (условно назовем его ключевым), куда оно входит, проявляются ноты, вызывающие у читающего внутренний протест. Возникает, к примеру, образ некоего

абстрактного — «огненного» — человека, весьма последовательно проведенный через всю книгу. Это и не автор, и не лирический герой, а эдакий недостижимый эталон, лишенный признаков реального существования в пространстве и времени. Тем не менее лирический герой берет у него «в долг» нежность и от его слова перенимает свою душу (так и сказано в тексте). Но слишком расплывчаты контуры «огненного» человека и неведомо, какой душой он способен одарить...

Лирический герой И. Кэбирли решительно отказывается от той радости, которой не смог бы поделиться с друзьями. В то же время без дружеской поддержки сам он не сможет прожить и дня. Своей радостью он измеряет мир, чтобы слиться «всем сердцем, всей душой с ликующей радостью чужой».

Авторская концепция радости может служить своеобразным ключом к эгоцентризму, столь ярко выраженному у лирического героя И. Кэбирли. «Любить себя — это совсем не грех», — дерзко бросает он. Но, оказываясь, для этого надо в себе самом любить других. И он действительно любит других: чувствует «свой долг — вводить в сердца стремительные новые слова», совершенно бескорыстно указывает незнакомцу «дорогу на ближайший перевал» и т. п. Другое дело — за что он их любит, отчего им верит? На этот вопрос также находится весьма недвусмысленный ответ: «Я верю, словно в правду, в человека за то, что он не раз спасал меня». Но и тут с оговоркой: «Чтоб верить им (людям. — М. А.) — сперва в себя поверил!..» По совести говоря, столь настойчиво проповедуемая вера в себя не внушает большой симпатии. В то время как первое, по Декарту, свойство мыслящего разума — способность сомневаться — давно закрепилось в своих правах, И. Кэбирли рассуждает иначе: «Сомнение... Оно страшней всего... Оно калеки рождает и сирот... И в душу льет свой сладкий сироп». К счастью, в другом стихотворении поэт отходит от своей несостоятельной теории:

Я дыханье на миг задержу
И подумаю: «Так ли живу?»
Думу в сердце своем берегу:
«А своим ли я руслом теку?»

Конечно же, такие вопросы куда более плодотворны. Особенно в поэзии.

М. Анцыферов.



Л. ТЕРАКОПЯН. Миколас Слуцкис. Очерк творчества. М. «Советский писатель». 1976. 295 стр.

Миколас Слуцкис принадлежит к последнему поколению советских писателей. Начало его юности совпадает с резким поворотом в судьбе Литвы, когда она после изгнания немецких оккупантов с новой силой продолжила социалистические преобра-

зования. Читатель книги Л. Теракопяна видит, как формируется художник, как связь с историей народа определяет важнейшие линии его творчества: утверждение идейно-нравственных ценностей социализма и критическое неприятие старого. По-своему переплавив традиции П. Цвирки, Ю. Жемайте, Е. Симонайтите, Й. Билюнаса, Миколас Слуцкис уже в произведениях 50—60-х годов обнаруживает острый интерес к драматизму и психологической напряженности, сообщает иным традиционным темам новое звучание. Пафос выбора, утверждение человека не фатально обреченного, зажатого между жерновами истории, а находящегося в поиске истины, в мучительном прозрении, характеризуют зрелость писателя.

К широко известным романам М. Слуцкиса «Лестница в небо», «Адамово яблоко», «Жажда» и другим Л. Теракопян подводит читателя, основательно вооружив его пониманием сложной диалектической связи исторических обстоятельств и сознания художника.

Не могу не отметить возросшую экспрессивность и ассоциативную насыщенность мысли критика при анализе романа «внутреннего монолога» (разделы «Утверждение ответственности», «Мечта, которая реальна», «Жажда цельности», «Право голоса»). Такая форма исследования — естественное следствие проникновения в «глубинные залегания» творческих идей. Этому способствует и то, что критик предоставил здесь писателю «провести» читателя по своей лаборатории, — я имею в виду искусно подобранную систему высказываний М. Слуцкиса о своем труде. «Диалог» писателя и критика оказывается плодотворным. В ходе его созревают выводы, которые намного уточняют существовавшие прежде оценки книг прозаика; кстати, к своим предшественникам — В. Кубилоусу, А. Бучису и другим — Л. Теракопян относится с самым почтительным вниманием, опирается на их мнение и широко вводит в книгу.

Критик утверждает, что лирическая проза Слуцкиса — социальное, историческое, психологическое исследование. В этом смысле она, как и литовский лирико-психологический роман в целом, не отгорожена от эпической традиции. Л. Теракопян не сводит все достижения литовской прозы к роману внутреннего монолога, видит и другие плодотворные тенденции, хотя конкретных наблюдений здесь, мне кажется, маловато.

Заслуживает самого пристального внимания впервые представленная в книге Л. Теракопяна картина художественной эволюции Слуцкиса. Критик проследживает динамическое постоянство мотивов в пределах романа «внутреннего монолога». А потом, обращаясь к двум «полярным» явлениям — ранним рассказам и произведениям последних лет (сборник «Девичье воскресенье» и повесть «Отдых»), — очерчивает картину в целом. В «Лестнице в небо» и «Адамовом яблоке» писатель вел своих героев от рефлексий к поступкам. В новых рассказах — от запрограммированных автоматических поступков к анализу, внутренней сосредото-

ченности. Тогда преобладал выбор между абстрактной догмой и конкретным долгом, теперь — между прозябанием и духовной активностью между приглушением мечты и верностью ей. Начинающий Слуцкис жил одной жизнью со своими романтиками, теперь он отходит от героев на почтительное расстояние. Там — взволнованная лирическая исповедь, неудержимое желание высказать, выразить себя. Ныне исповедальность перестала быть доминирующим приемом... Пусть не все бесспорно в этих выводах, но не будем забывать и о таком качестве романов самого М. Слуцкиса, как полемичности!

Умная и яркая книга Л. Теракопяна вносит, как мне кажется, значительный вклад в понимание самобытного дарования писателя, впервые представив творчество М. Слуцкиса в целом, в неустойчивой динамике и неприятии успокоенности.

Нива Надъярных.



З. ПАПЕРНЫЙ. Записные книжки Чехова. М. «Советский писатель». 1976. 391 стр.

«Разбираться в чеховских записных книжках — значит, иметь дело со многими неизвестными». Это сказано З. Паперным, автором книги «Записные книжки Чехова», по конкретному, частному поводу (анализ заметок, относящихся к замыслу «Дамы с собачкой»), но смысл этих слов много шире и, я бы сказал, знаменательнее. «Нельзя видеть в них только заготовки, — говорится о записных книжках далее. — На их страницах немало разбросано таких «ума холодных» наблюдений и сердца горестных замет», которые непосредственно к произведениям не приурочивались. Жизнь писательского духа шире понятия «творческой лаборатории»...»

Этот важный вывод сделан после весьма детального рассмотрения «поэтического хозяйства» (как называется первая глава книги); предстоящего перед читателем чеховских записей.

Вначале, говоря о многих из этих записей, содержащих зерна будущих произведений или оставшихся «без употребления», З. Паперный определяет их как «горестно-шутливые узлы и узелки противоречий, чеховские микромиры, в которых уже заложено многое, что присуще творчеству писателя в целом». В дальнейшем он крайне справедливо оспаривает мнения некоторых исследователей о прямолинейной и простой реализации первоначальных замыслов, или, как выразился один автор, «стройности работы над созданием произведения», и убедительно демонстрирует как раз «живое и конфликтное развитие» чеховских идей, «путь от заготовки к произведению, полный неожиданных поворотов, сдвигов, отходов от ранее намеченного творческого маршрута».

В логической связи с этими плодотворными мыслями находится и стремление З. Паперного рассматривать разнообразные детали, «задаваемые» Чеховым в записных

книжках, не только как рачительно подобранные «впрок», но и как отражение динамики формирования, развития, уточнения замысла. «Подробность возникает в черновой заметке не как статическая деталь, но — движущаяся, — пишет автор. — Не только примета образа, но и момент его движения». Так в «микромирах» чеховских записей проглядывает «космос» всего творчества, всей жизни писателя. И надо сказать, что, выйдя на этот «оперативный простор», книга обретает все больший интерес, преодолевая некоторую описательность начальных глав (впрочем, вполне закономерную в книге, вводящей в обиход малоизученный материал).

Творческая история «Чайки» и «Вишневого сада», «Мужиков», «Человека в футляре» и ряда других рассказов, пожалуй, принадлежит к самым лучшим страницам книги.

Характерно, что, высказывая целый ряд тонких мыслей о «Чайке», З. Паперный не собирается при этом «взять патент» на единственно верное понимание пьесы: «Можно постигать «Чайку», но, очевидно, нельзя ее постичь — до конца, так, чтобы вопросов больше не оставалось». Есть в книге, особенно в заключительных ее главах, привлекательное ощущение какого-то простора — богатства и многозначности самого чеховского творчества да и различных возможностей его истолкования, тех путей и дорог, которыми идут при этом исследователи, коллеги автора, чьи открытия и находки он обильно, охотно, заинтересованно пропагандирует (единственным досадным исключением, на мой взгляд, в этом отношении является его полемика с автором интересной, хотя и вызвавшей споры, работы А. Чудаковым «Поэтика Чехова», говоря о которой З. Паперный нет-нет да и сбивается на излишнюю язвительность).

Строго говоря, многое в этой книге как бы выходит за пределы темы, и записные книжки Чехова делаются скорее плацдармом для глубокого анализа творчества писателя в целом.

В свое время З. Паперный написал очень неплохой очерк творчества Чехова. Но с той поры много воды утекло, и сам исследователь работает сейчас на неизмеримо более высоком уровне (стоит вспомнить и его статью о Чехове в Краткой литературной энциклопедии). Думается, что не за горами такая его книга, которая в известной мере обобщит и подытожит все сделанное и накопленное автором в этой области, где он с успехом трудится около тридцати лет.

А. Турков.



И. А. ДУБАШИНСКИЙ. Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльда-Гарольда». Даугавпилсский педагогический институт. Рига. «Звайгзне». 1975. 98 стр.

И. А. ДУБАШИНСКИЙ. Поэма Байрона «Дон-Жуан». М. «Высшая школа». 1976. 112 стр.

Издательство «Высшая школа» выпускает серию книг, посвященных анализу выдаю-

щихся произведений мировой литературы. Книги этой серии — учебные пособия, призванные в первую очередь дополнить, расширить и уточнить характеристики произведений, содержащиеся в курсах лекций и учебниках по истории литературы. К исследованиям этого типа и относятся книги И. Дубашинского.

В предисловии к анализу «Дон-Жуана» он отмечает, что «в лекциях и имеющихся пособиях рассмотрение отдельных произведений по необходимости носит обзорный характер, так как упор делается на анализе литературного процесса в целом, эволюции того или иного писателя». Так ли уж по необходимости? Не имеем ли мы дело чаще с неумением ввести в курс лекций или учебник сжатый, но яркий и конкретный анализ произведения или его фрагмента? И не ведет ли эта обзорность, это отсутствие «доказательств» к недостаткам профессиональной подготовки студентов-филологов? Так или иначе, книги И. Дубашинского во многом восполняют пробелы в вузовском изучении творчества Байрона.

Анализ поэм «Паломничество Чайльд-Гарольда» и «Дон-Жуан» связан с разделом курса «Романтизм», легко в него включается, и при этом литературные притяжения и отталкивания Байрона показаны в основном на материале самих этих произведений. И. Дубашинскому удалось очертить специфически байроновскую концепцию суверенной личности, неразрывно связанной с общественно-политической средой то отношениями вражды и борьбы со всем миром, то горячими симпатиями к национально-освободительным движениям, то — до известной степени — отношением зависимости от среды, при котором среда формирует личность.

Широко известное положение о развитии реалистического метода в поэме «Дон-Жуан» И. Дубашинский конкретизирует и доказывает при помощи скрупулезного анализа разнородного материала поэмы, обнаруживая мозаику романтических и реалистических элементов, связанных и противостоящих друг другу.

И «Паломничество Чайльд-Гарольда» и «Дон-Жуан» создавались на протяжении ряда лет, наполненных бурными событиями общественной жизни и сложными перипетиями личной жизни художника. Удачей книг И. Дубашинского представляется анализ этих поэм как творческого процесса. Перед нами возникает картина непрерывного движения и перемен в соотношении повествователь — герой, в функции пейзажных зарисовок, в тональности произведения, в темпах сюжетного развития. В исследованиях говорится об исторических и идейных предпосылках этого многообразного движения, о переходе поэта к реализму.

В анализе поэм Байрона И. Дубашинский в большей мере поглощен тематикой и идеями, героями, сюжетом и в меньшей — сферой художественной речи. Правда, в нескольких случаях он отсылает читателя к работам Н. Дьяконовой и Е. Клименко, иногда излагая их положения. В целом книги

И. Дубашинского, адресованные прежде всего студенчеству, удачно подытоживают достижения современного советского байроноведения и отражают его серьезный научный уровень.

А. Парфенов,
кандидат филологических наук.



Н. С. НИКОЛАЕВА. Японские сады. М. «Изобразительное искусство». 254 стр.

«Японские сады хочется уподобить стихам — так точны они в своем метафорическом языке, так разнообразны по эмоциональному строю, так философски глубоки по смыслу. Поэт из обычных слов повседневной речи строит образ емкий и лаконичный, художник японского сада из предметов самой природы творит новый мир со своим особым значением».

Сады как стихи — с этого сравнения начинается Н. Николаева свое исследование о японских декоративных садах, удивительной и самобытной грани японского национального искусства.

До нашего времени дошли шедевры, созданные в эпоху средневековья «мастерами сада», такие, например, как всемирно известный сад камней при храме Рёандзи в Киото, старинной столице Японии. (Кстати, именно впечатление и раздумья, навеянные посещением его, легли в основу интересной книги Д. Гранина «Сад камней», о нем рассказывает также Г. Козинцев в «Пространстве трагедии».)

Японский сад из немногих растений, камней и песка — картина под открытым небом. Он предназначен не для того, чтобы скользнуть по нему взглядом и пройти мимо. Японское искусство вообще, будь то поэзия, живопись или сад, как бы ищет внимательного собеседника, чтобы ввести его в мир поэтических переживаний, разбудить в нем фантазию и чувство. Для этого в течение веков были созданы особые каноны образов-символов.

Образ-символ в искусстве нельзя, конечно, свести к однозначному смысловому коду. Каждая художественная деталь японского сада работает в широком круге ассоциаций. Они, словно связующие нити, переброшены к смежным областям искусства — архитектуре, живописи, скульптуре. Философия и религиозные культы, древние легенды, поэзия и театр — все послужило источником вдохновения.

В основу средневековой японской эстетики был положен принцип «югэн» — скрытой красоты, которая открывается только неспешному, сосредоточенному взгляду. Художник японского сада позволял камню, песку, воде, растению как бы высказать свою внутреннюю сущность. Важное значение в композиции сада имеет соприкосновение различных стихий: вода обхватывает камень, корни дерева обнимают глыбу земли. Воде предоставляется слово в маленьких водопадах.

«В малом и единичном,— пишет автор,— человек видел отражение великого и всеобщего, самой Природы как всеобъемлющего макрокосма... Природные формы изображают не сами себя и даже не себя в увеличенном масштабе (камень — гора, а пруд — океан), но выражают представление людей той эпохи о бытии мира, о движении и покое, о пространстве и времени, о бесконечном и конечном. Далеко не сразу становится ясно, что в композиции из нескольких камней, песка, мхов заключен столь глубокий смысл, целая концепция мироздания, к которой пришли постепенно многие поколения людей». Любопытно сравнить эту мысль автора с высказыванием Г. Козинцева: «Мне показалось, будто с небольшого помоста я увидел мир с высоты птичьего полета».

Н. Николаева прослеживает историю японских садов с их возникновения до наших дней, их трансформацию и типологию, не вычленив предмета своего исследования из общей культурно-исторической панорамы. Книга содержит ценнейшие сведения по истории японской эстетической и философской мысли, истории архитектуры, ваяния, живописи, воскрешая одну за другой старинные плодотворные пласты японской культуры.

Японский сад близок искусству наших дней, отлично сочетаясь с геометрически строгими очертаниями современных зданий. Архитекторы на различных континентах охотно заимствуют некоторые особенности японских садовых композиций. Поэзия старинных садов не исчерпала себя, она продолжает жить и развиваться.

Вера Маркова.



А. В. РЯБУШИН. Развитие жилой среды. Проблемы, закономерности, тенденции. М. Стройиздат. 1976. 381 стр.

«Если человек черпает все свои знания, ощущения и пр. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека»¹. Эта мысль К. Маркса как бы задает оценочный масштаб концепции целостного (интегрального) проектирования жилой среды, которую А. Рябушин выдвигает и успешно развивает в своей новой книге.

Уже само появление такой идеи стало возможным на качественно новом этапе развития жилища, подчеркнуто ориентированном, по выражению автора, на удовлетворение многих сугубо личностных потребностей человека. Предпосылки же к разработке концепций жилой среды подготовлены успехами урбанизации, которую было бы, очевидно, неправильно сводить только к росту доли населения, занятого не-

сельскохозяйственным трудом, или к концентрации и интенсификации общения.

Урбанизация — это, если хотите, образ мышления, система социальных установок, процесс, который приводит к существенным сдвигам во многих сторонах жизни. В том числе и в росте городов. В самом деле, лишь за последнее десятилетие на карте нашей страны прибавилось около 200 городов, а городское население приросло почти на 30 миллионов человек. Основным итогом большой работы этих лет явилось существенное утолщение жилищного голода — обстоятельство, позволяющее произвести серьезную «переоценку ценностей» в наших взглядах на современное жилище, на устройство быта и среды обитания в целом.

Сегодня нас уже не устраивают просто квадратные метры жилья. Нам совсем не безразлично, как именно эти метры организуют нашу квартиру. Мы очень заинтересованно относимся к внешнему виду дома, в котором живем. Словом, мы поднялись на новую ступень в оценке, если позволительно так выразиться, потребительских свойств продукции зодчих.

Итак, еще одно исследование по жилищной проблематике? Да, в нем прослеживается эволюция жилища, обусловленная несколькими сменами архитектурной «погоды». Может быть, и не стоило бы о ней говорить — эка невидаль! — если бы не одно обстоятельство. Автор дополняет традиционное для архитектуры исследование предмета дизайнерским подходом к теме — жилище рассматривается на широком социальном фоне, в контексте с заполняющими его предметами.

«Вопреки внешней очевидности,— отмечает автор,— конечной целью проектирования среды — и это одно из основных положений нашей концепции — являются не «дома» и «вещи», а те отношения, которые осуществляются через и посредством производства и потребления этих домов и вещей. Проектирование среды в целом, т. е. предметного комплекса и его пространственной организации, в последнем счете должно рассматриваться как целенаправленная организация жизненных процессов».

Рассматриваемая концепция возникла на стыке архитектуры, дизайна и социологии, точнее, одного из ее приложений — социологии жилища. Может быть, отсюда порой сложность языка монографии, обусловленная разнородностью используемого понятийного аппарата...

Плодотворность такого подхода к проблеме жилища очевидна. Рассматривая широкий спектр вопросов, связанных с проектированием жилой среды и с социальной ее природой, автор очень обстоятельно анализирует градостроительные последствия современной научно-технической революции. Хорошему проникновению в сущность излагаемой системы взглядов способствует добротный обзор отечественных и зарубежных поисковых разработок по жилищу будущего, в частности оценка новых направлений этих поисков.

Анализируя перспективы развития жилой среды, А. Рябушин соотносит возможные

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 145.

сдвиги в архитектуре жилища с теми социальными последствиями, которые явятся результатом все ускоряющейся научно-технической революции, в частности со значительным увеличением свободного времени. Представляются довольно интересными, хотя и не всегда бесспорными, взгляды автора на изменившуюся роль жилища в связи со все возрастающим потоком информации. Читателя, безусловно, заинтересуют те части монографии, в которых исследуется проблема технизации среды, мысли автора о социально-культурном характере интегрального проектирования. Ну и, естественно, экспериментальные предложения, иллюстрирующие новые структурные модели среды, в том числе разработанные под руководством и при участии автора книги.

И. Дрейцер.

Кемерово.

★

Н. И. МИХАЙЛОВ. Природа Сибири. Географические проблемы. М. «Мысль». 1976. 158 стр.

Горбатым барьером гранитных скал лег древний Урал между крупнейшими равнинами планеты. Он как каменный шов соединил небольшую Европу с огромной Азией, образовав гигантский материк — Евразию. Здесь, за Уральским хребтом, начинается Сибирь...

Только с севера на юг Западно-Сибирская равнина — одна из величайших в мире — вытянулась почти на три тысячи километров. Царство болот и тайги, которое на севере теснят льды Карского моря, а на юге иссушают знойные ветры казахских степей, — такова неведомая Сибирь в своей западной половине.

В Кузнецкой котловине, что будто вдавлена между Салаиром и Кузнецким Алатау, разместилась гигантская природная кладовая угля. Причем угля особенного — высшего качества, почти три четверти союзных запасов коксующихся углей приходится на долю Кузбасса.

Но не уголь явился черным золотом, прославившим Сибирь на весь мир, — нефть! 21 июня 1960 года мощный черный густой фонтан указал близ Конды на Трехозерное месторождение, первое в Западной Сибири. А потом последовал буквально каскад открытий (Мегионское, Усть-Балыкское и наконец Самотлорское).

«Географические проблемы» сегодня переросли в экономические: как осваивать новые месторождения? как рациональнее использовать сибирское богатство?

К Сибири, ее природе, ее хозяйству все чаще и чаще стали обращать взоры ученые самых разных специальностей. Именно этим объясняется заметно увеличившийся за последние годы «сибирский» список научно-популярной литературы (помимо рецензируемой книги, особо следует упомянуть недав-

но вышедшую работу профессора Б. Орлова «Сибирь сегодня: проблемы и решения» и целый ряд других). Чем больше ученых становятся специалистами по Сибири, тем шире и результативнее становятся дискуссии по самым разнообразным вопросам многоликой Сибири (не потому ли так часто слово «проблемы» выносятся в название книг).

Природные различия этой огромной территории очень влияют на организацию хозяйства, определяют методы экономического освоения. Особая важность этого вопроса для географической науки чувствуется именно сейчас, после XXV съезда КПСС, с трибуны которого Л. И. Брежнев сказал: «За нефтью, газом, углем, рудой мы идем теперь все дальше на восток и на север».

Именно многогранность природы Сибири обуславливает трудности ее равномерно-го освоения. На вечной мерзлоте, например, нельзя проложить нефтепровод «как обычно». Температура перегоняемой нефти во много раз выше температуры окружающей среды. Теплые трубы растопят «вечномерзлый» слой — и нефтепровод просто-напросто провалится.

А в болотной Тюмени и дороги не похожи ни на какие другие — там есть и с искусственно созданной, «невечной» мерзлотой, которые нефтяники прозвали «снегурочками», и лежневки, где дорогу делает твердой настил из бревен и веток, набросанных на чавкающую трясину, и обычные шоссейные.

Так сибирские природные условия «формируют» экономическое разнообразие.

Нефть и газ, уголь и лес, золото и алмазы, руды цветных и черных металлов, богатейшие гидроэнергетические ресурсы рек, всевозможное сырье для химической и многих других отраслей промышленности — вот далеко не полный перечень «наличия» природных кладовых Сибири. Причем нужно помнить, что геологическими съемками пока покрыта лишь часть Сибири, далеко не самая большая. Как тут не вспомнить пророческие слова великого русского революционера-демократа А. Н. Радищева, в конце XVIII века писавшего: «Что за богатый край сия Сибирь, что за мощный край! Потребны еще века, но, когда она будет заселена, она предназначена играть большую роль в анналах мира». А сравнительно недавно французский публицист Пьер Рондьер после поездки в Сибирь отмечал: «Сибирь... уже сейчас давит весом производимой ею стали и угля на судьбы мира. А через 30—40 лет, к началу XXI столетия... она может возглавить таблицу мировых производителей. Скажочная и необытная, она уже существует. И тот, кто ничего не знает о ней, не знает будущего нашей планеты».

М. Аджиев,

кандидат экономических наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

- Фридрих Энгельс.** Биография. Изд. 2-е. 610 стр. Цена 1 р. 90 к.
В. И. Ленин. Апрельские тезисы. 16 стр. Цена 4 к.
Ленин об Октябре. Сборник. 143 стр. Цена 2 р. 55 к.
Л. И. Брежнев. Советские профсоюзы — влиятельная сила нашего общества. Речь на XVI съезде профессиональных союзов СССР 21 марта 1977 г. 39 стр. Цена 15 к.
Рассказы о партии. В 3-х тт. Изд. 2-е, дополненное. 511 стр. Цена 2 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Н. Астафьева.** В ритме природы. Стихи. 190 стр. Цена 47 к.
Р. Ахматова. Перевал. Стихи и поэмы. Перевод с чеченского. 143 стр. Цена 44 к.
Н. Грибачев. Стрелка секундомера. Стихи. 127 стр. Цена 37 к.
Ф. Искандер. Сандро из Чегема. Роман. — Рассказы. 479 стр. Цена 1 р. 85 к.
И. Кашкин. Для читателя-современника. Статьи и исследования. 558 стр. Цена 1 р. 55 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Д. Гранин.** Дождь в чужом городе. Повесть. 443 стр. Цена 1 р. 91 к.
П. Громов. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». 484 стр. Цена 1 р. 39 к.
В. Луговской. Стихотворения и поэмы. Предисловие К. Симонова. 429 стр. Цена 1 р. 96 к.
Нгуен Туан. Тени и отзвуки времени. Повесть и рассказы. Перевод с вьетнамского. 302 стр. Цена 1 р. 90 к.
Н. Чуковский. Избранные произведения. В 2-х тт. Предисловие Н. Атарова. Т. 1. Балтийское небо. Роман. 525 стр. Цена 1 р. 11 к. Т. 2. Варя. Повесть. — Рассказы. 461 стр. Цена 96 к.
Р. Фиш. Разум сердца. Лирика Назыма Хикмета. («Массовая историко-литературная библиотека») 125 стр. Цена 34 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Н. Баранская.** Отрицательная Жизель. Рассказы. Повести. 239 стр. Цена 38 к.
Бригантина-76. Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. 318 стр. Цена 1 р. 72 к.
Г. Горбовский. Видения на холмах. 127 стр. Цена 42 к.
Л. Кулиин. Зов. Стихи. 78 стр. Цена 24 к.
В. Санин. Вокруг света — за погодой (Записки пассажира). — Новичок в Антарктиде (Полярные были). 480 стр. Цена 2 р. 26 к.
К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Т. 2. 1942—1945 годы. 781 стр. Цена 3 р. 25 к.

«СОВРЕМЕННОК»

- Е. Винокуров.** Дом и мир. Стихи. («Библиотека поэзии «Россия») 271 стр. Цена 1 р. 21 к. (с пластинкой).
Е. Евтушенко. В полный рост. Новая книга стихов и поэм. («Новинки «Современника») 158 стр. Цена 79 к.
А. Курчаткин. Семь дней недели. Рассказы и повести. («Новинки «Современника») 383 стр. Цена 1 р. 9 к.
В. Леднов. Люди Большой Медведицы. Дилогия. Перевод с немецкого. 351 стр. Цена 1 р. 42 к.
Р. Сафин. Белая музыка. Стихи. Перевод с башкирского. («Новинки «Современника») 93 стр. Цена 44 к.
Г. Семенихин. Послеловие к подвигу. Повесть, роман, рассказы. («Новинки «Современника») 446 стр. Цена 1 р. 88 к.

«ИСКУССТВО»

- В. Дунаев.** В мире бизнеса. Сценарии документальных телефильмов. Вступительная статья В. Вильчека. 100 стр. Цена 62 к.
Е. Калмановский. Театр кукол, день сегодняшний. Из записок критика. 117 стр. Цена 56 к.
Н. Лапшина. «Мир искусства» Очерки истории и творческой практики. 343 стр. Цена 4 р. 38 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 25/IV 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 1/VI 1977 г.
А 09782. Формат бумаги 70×108/16, 28,7 уч.изд. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.) Тираж 180.000 экз. Зак. 1403.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 02751.

Цена 70 коп.

70636